12.1976

Иностранная литература

Иностранная литература

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1976

12 ДЕКАБРЬ

Содержание

СИТАКАНТ МАХАПАТРА — Стихи *(Перевод с английского Ст. Куняева. Вступление М. Салганик)* 3

НАДА КРАЙГЕР — Terminus *(Роман. Перевод со словенского Александра Романенко)* 9

Литературное наследие

ЭМИЛИ ДИКИНСОН — Стихи *(Перевод с английского и вступление Веры Марковой)* 89

ГРАСИЛИАНО РАМОС — Сан-Бернардо *(Роман. Окончание. Перевод с португальского Инны Чежеговой)* 98

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Портрет художника в юности *(Роман. Окончание. Перевод с английского М. Богословской-Бобровой)* 139

Критика

К. ЯЦКОВСКАЯ — Певец новой Монголии (К 70-летию со дня рождения Дашдоржийна Нацагдоржа) 183

Д. УРНОВ — Другая книга Джеймса Джойса (О романе «Портрет художника в юности») 187

Заметки писателя

Н. ФЕДОРЕНКО — Творческое воображение и реальность (Размышления над итогами лондонского конгресса ПЕН-клуба) 197

Культура и современность

Заметки на полях

К. Мяло — Современная утопия (Молодежь Запада в поисках новых ценностей: находки и потери) 205

Советская литература за рубежом

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Эпическое повествование о Сибири *(Перевод с польского В. Борисова)* 210

Публицистика

ДЕННИС СМИТ — Пожарная команда № 82 *(Фрагменты книги. Перевод с английского Ф. Лурье. Предисловие К. Чугунова)* 212

Антирубрика

Из французских поэтов XVII века *(Перевод Михаила Кудинова)* 239

ХЕНРИК БАРДИЕВСКИЙ—Зеркальное отображение *(Рассказы. Перевод с польского Дмитрия Шурыгина)* 241

Старинные китайские анекдоты *(Перевод с китайского Алексея Желоховцева)* 246

К 75-ЛЕТИЮ А. А. ФАДЕЕВА

Певец подвига 248

Среди книг

Издано в СССР

А. Ермонский — Польша: литературные портреты. Иштван Кришто Надь — Об «Эстер Эгетё» — четверть века спустя. А. Чанцев — Диалог со временем 251

Издано за рубежом

Мэри Крус — Кровь и пламя Кубы. Татьяна Николеску — Несостоявшееся прозрение ✦ Новые книги Мигеля Делибеса. Н. Ильина — Глазами Кико. В. Ясный — Судьба Пасифико Переса 258

Из месяца в месяц 265

Авторы этого номера 280

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1976 г. [№ 1—12] 283

На обложке: картина ИВАНА ГЕНЕРАЛИЧА «За хворостом».

© «Иностранная литература», 1976

СИТАКАНТ МАХАПАТРА

■

Перевод с английского СТ. КУНЯЕВА

Спокойная ярость

Так при подробном изучении предметов
при помощи кислот, резцов, линеек,
циркулей
выходит на поверхность
поверхностей предательская суть[1].

Ситакант Махапатра родился в Ориссе в 1937 году — значит, ему было десять лет, когда Индия перестала быть британской колонией и вступила на новый путь развития. После окончания университета Ситакант Махапатра занял должность администратора области, населенной общинами первобытных племен, что дало ему возможность стать непосредственным участником процесса вовлечения «естественного человека» в современную цивилизацию. Поэт увлекся фольклором, занялся его сбором и переводом на английский язык, которым он владеет, как своим родным ория. В 70-х годах он опубликовал несколько фольклорных сборников; один из них — «Деревянная сабля» (1974) — открывается эпиграфом из Лорки: «...Возврати мне древнюю душу ребенка, завороженного сказками, в шапочке с перьями и с деревянной саблей».

Познание души народа, погружение в истоки одной из древнейших цивилизаций мира предопределило направление поэтических исканий Ситаканта Махапатры.

Джавахарлал Неру когда-то сказал, что гений Индии — в способности синтезировать. Вторая половина XX века поставила индийскую литературу перед необходимостью отыскать способ и формы для сопряжения национальной культуры—с мировой, тысячелетней традиции — с научно-технической революцией. Ситакант Махапатра вошел в литературу в 70-е годы, когда эти вопросы встали особенно остро.

Сборники «Спокойная ярость» (1970), «Другое безмолвие» (1973), «Старик летом» (1975) были сразу замечены критикой и получили признание как яркое явление в новой поэзии.

Ситакант Махапатра продолжает и развивает традицию высокой философской лирики, прославившую Индию еще сорок веков назад. Но мироощущение поэта и стихотворные формы, в которые оно выливается, динамичны и остросовременны. Дело не в материальных признаках нашего нынешнего бытия — хотя Ситакант Махапатра наделен острым зрением, позволяющим ему видеть бесконечность мира в автобусном зеркальце,— а в глубоко личном восприятии всего мироздания, в стремлении проникнуть сквозь оболочку фактов в суть процесса, ибо без этого человек не в силах ничего изменить.

Строй стиха Ситаканта Махапатры основан на пересечении временных и пространственных осей, из сближения отдаленного возникает своеобразная гармония мира его поэзии. Смешение эпох, в котором живет Ситакант Махапатра и которое он чутко воспринимает, не нарушило, а подчеркнуло связь времен, и поэт пишет:

...видя все и прозревая
минувшее в сиюминутном
и будущее в том, что миновало.

[1] Здесь и далее подстрочный перевод М. Салганик.

Для Ситаканта Махапатры, как и для его великих предшественников, человек тождествен вселенной:

В моем кармане
аккуратно сложенное небо,
в него завернута земля.
Вселенная вместилась
в мой окоем,
и соль семи морей в моей крови.

Важней всего для поэта — умение объять собственным сердцем боль всех людей на свете: тогда самопознание равнозначно состраданию и сострадание становится действенным. Поэтому человеческое страдание в его стихах заполняет собой космические просторы и никакие технические суперчудеса не в силах избавить от боли.

Поэт не приемлет отрешенности, ухода от социальной ответственности в эгоизм элитарности. Ситакант Махапатра пишет:

Из синей пустоты нирваны
дождем пролейся на иссохшую страну —
ты видишь? В нестерпимой боли
она грядет к тебе на остров.

Островная психология принципиально чужда поэту, во всем стремящемуся найти не отъединенность, а единство и внутреннюю гармонию. Остров и океан обусловливают существование друг друга, как человек и вселенная, как возвышенное и земное, как восток и запад, как день и ночь. Для него естественно сополагать концепции индусской мистики с европейским рационализмом, символику индусской мифологии и фольклора с метафорами, пришедшими из западной культуры или рожденными научно-технической революцией. Стихи Ситаканта Махапатры вызывают ощущение достоверности, свободы от умозрительности,— может быть, помогает поэту и то, что он хорошо знаком и с жизнью больших европейских городов (он учился в Англии), и с жизнью индийского народа.

Боль души, одиночество, страдание, тоска по высшему смыслу человеческого существования вызывают у Ситаканта Махапатры не бесплодное отчаяние, а острую потребность осмыслить дисгармонию современного бытия. Стихи его наполнены напряженными поисками, они ярко эмоциональны и человечны:

Боже, эти люди одиноки,
невежественны,
не понять им того, что понимаешь Ты:
они не знают, что весь мир
принадлежать им завтра будет.
Они живут в своей эпохе.
...Им горько жить.

А поэт, живущий в нескольких эпохах сразу, знает это и верит в силу и красоту человеческой души.

М. САЛГАНИК

Мой сад

Океан тянется к острову,
а небо — к горе.

Я тебя ожидаю
в маленьком садике.
Ты заходишь без предупрежденья,
как положено старым друзьям,
друг мой самый сердечный —
тоска.

Маленький садик за низким забором,
квадратики клумб,
тишина...

В тихой комнате
выпью чаю,
полистаю газеты,
празднуя встречу
острова с океаном.

Угасает закат — а тебя все не видно,
и восходит луна — а тебя все не видно.
Я на свежую рану кладу
лепестки асфоделей,
полусгнившие листья,
трухлявые корни...
В пышных розах
слышен шелест
жирных гусениц.

Исчезающие мгновенья
горя и радости —
как беззвучные песнопенья
в честь бесплодного времени!
Радостные воробьиные хлопоты
заполняют космические просторы.
Ненасытные взоры —
козьи, чертячьи, коровьи —
поблескивают за оградой.
Им смешны усилья растений,
непонятны им муки цветенья...

А в конце бесконечного сада
я увидел язык дороги
и подумал:
как просто слизнуть
мой заборчик, мой садик, мои хризантемы
и смешать их с ничем...

Пусть океан стремится к острову,
а небо — к горе.
Я здесь подожду твоего прихода,
мой неизбежный друг.

Закат в автобусном зеркальце

Солнце садится в автобусном зеркальце.

Словно щёки Маниши
пылает стеклянная сфера.
Желтые листья далий
падают наземь от ветра.
Красная роза
отражается на серебряной глади.

В зеркале, как на конвейере,
стадо мелькнуло,
следом — пастух, пешеходы, велосипедисты,
цветы и деревья, дорожные знаки —
все исчезает за грань бытия,
чтобы во мраке
кануть...
уйти в мировые просторы.

В благоговейном божественном страхе
ниц опускает Арджуна[1] нескромные взоры
перед Великим Прозреньем...

Сколько галактик, времен и событий
вечность в себя засосала,
как ненасытное дымное чрево вокзала!

Все растворяется
в автобусном зеркальце,
в Солнце Великом.
Небо? А что там за небом?
Вот и оно растворилось в пространстве безликом.

В зеркальце плещется алый закат,
как биение волн пламенеющей жизни.

Верблюд. Ночь в оазисе

Жажда твоя — неизвестная миру пустыня.
Боли твои — никому не известные раны.
Твое одиночество — непроходимая чаща.

Даже те, кто еще не вкусил
одиночества, жажды и боли,
все равно сострадают
странной доле твоей.
Бесконечные мили
вечных странствий!
Как тебе удается не сгинуть в пустыне?
Если б знали они,
сколько влажности в сини
дальнего горизонта,
сколько сладости в зелени
миражей и видений.
Если б слышали музыку ветра
и звон полуденных цикад
в шелестящих песках
львиного цвета!

---

[1] Арджуна—один из героев «Махабхараты», великой эпической поэмы древней Индии, которому в беседах с богом Кришной открылся высший смысл бытия.

Если б знали они про другого верблюда,
что бредет по пустыне другой,
если б знали о друге,
что движется рядом с тобой,
о паломничестве неисчезающей тени,
о колеблющемся сновиденье
на медовом песке!

Шепот ветра ночного
да эхо поющей воды...
Тьма,
набитая звуками жизни зеленой...
Ты идешь,
а навстречу из темноты
выплывают, как волны, барханы,
облитые мертвым сияньем луны.

Кто-то в мире изрек:
наша цель — это завтрашний день.
Новый день — это новый кирпич
в той кирпичной ограде,
что возводится Временем.

Свежая жажда древней пустыни.
Новая боль зарубцевавшейся раны.
Новое одиночество доисторической чащи.

Полночь в мегалополисе

Одинокая турбоптица
со сновиденьями в клюве
вырвалась из теснины
городских кварталов.

В эту ночь, вероятно, кому-то приснится
нечто грустное,
как аккорд гитары
одинокого гитариста
в метрополитене.

Эта ночь и движение сердца
совпали
под пустынным сверкающим небом.

Этой ночью,
как в тюремном вагоне, не спали
женщины в магазинной витрине
и мои утомленные взоры
умирали,
словно мухи, в их паутине.

Конь мелькнул метеором
и пропал,
поглощенный простором
телеэкрана.

Груда жестов беззвучных
вслед за ним погрузилась
в застекленный колодец.

Под холодной луною
всюду мечутся немо
тени, отзвуки жесты.
Но не будет возврата
в переулки Капилавасты[1],
и не вымрут вовеки
улицы Вифлеема.

Даже Будде
было свойственно ошибаться:
до него умирали люди,
до него и болезнь, и старость
были долей их неизменной.
Боль людская — с людьми повсюду
ото дня сотворенья Вселенной.

О том свидетельствуют и визитные карточки,
и метод радиоуглеродного анализа.
Боль можно конденсировать
и, обработав на ЭВМ,
передавать по бесконечной цепи сердец
в охлажденном виде.

НАДА КРАЙГЕР

Terminus

РОМАН

Перевод со словенского АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

Июль

В июле мы перевезли его в больницу. Он болел уже давно, но мы до сих пор так остро этого не ощущали. Он ходил по квартире, сидел с нами, разговаривал, словом, так или иначе участвовал в нашей жизни. Только после приступа он уже не оправился. Это случилось в начале июля.

День с утра обещал быть ясным и не слишком жарким.

Смотри, какая погода! — воскликнул он, глядя в окно. Давай съездим к тете Мици?

Давай.

Мы и прежде, когда тетка жила в городе, регулярно навещали ее. Обычно раз в неделю. Нашу тетю Мици, которая, собственно, не приходилась родственницей ни ему, ни мне... Удивительная это была женщина! Маленькая, худенькая, с огромным благородным сердцем. И очень живая, несмотря на свои восемьдесят шесть лет.

Обычно я провожала его до подъезда и ехала дальше на работу. Он медленно поднимался — три пролета лестницы, потом звонил, хотя дверь ее квартиры никогда не запиралась.

Ждал он недолго. И едва тетка подбегала к порогу, они принимались — старая забава! — за свой обычный церемониал: кланялись друг другу по-китайски. Сложив на груди руки, низко опуская голову и почти касаясь друг друга теменем.

Тетка помогала ему снять пальто и улыбалась. Она ему даже до плечей не достает! И вела его в комнату, усаживала в удобное кресло.

Вот так хорошо? Сейчас сварю кофе, минутку подожди, пожалуйста!

Ее вовсе не беспокоило, если он вдруг задремлет в кресле. Ей было приятно уже само его присутствие, и она терпеливо ждала, когда он проснется.

Terminus — рубеж, предел *(лат.). (Здесь и далее — примечания переводчика.)*

Смотри-ка, кофе на столе! — спустя некоторое время с удивлением восклицал он. И весело добавлял: я, значит, немного вздремнул!

Они смеются, пьют кофе, а потом пускаются в долгие разговоры об искусстве, о музыке, о минувших временах, которые они оба еще живо помнят, и ждут, пока я за ним приду.

В тот день, о котором я вспоминаю, он рано утром предложил навестить тетю Мици, отдыхавшую на даче.

Разумеется, я согласилась.

Родственники вызвались подвезти нас.

Только не гоните, предупредила я, быструю езду он не выносит.

Племянник внял моей просьбе и полз, как улитка. И хотя расстояние было небольшим, мы добрались до места лишь около двенадцати. Никого не удивило, что сразу после обеда он задремал в кресле. К тому же он выпил стакан пива. Вполне естественно, что потянуло ко сну.

Сон его был долгим и глубоким. А когда мы возвращались, он пожаловался на головную боль. Мы ехали медленно и осторожно, и до самого дома я не замечала в его поведении ничего необычного.

Только помогая ему выбраться из машины, увидела, что он не может идти.

Что с тобой? Тебе плохо? Что-нибудь болит?

Нет. Он хорошо себя чувствовал, только ноги не слушались.

Ты видишь?

Вижу. Но все-таки давай попробуем!

Несколько неверных, маленьких шагов, и опять остановка. Словно бы каблуки врастали у него в землю.

Теперь мы оба с племянником его поддерживали.

Ну еще несколько шагов! — подбадривала я.

Кузина побежала за стулом.

Садись, сказала я, немного передохни, ведь ничего страшного не случилось!

Я должна что-то говорить. Сейчас нельзя поддаваться панике. Сейчас, когда он сник и всем телом тяжело опирается на меня. Нельзя!

Так шаг за шагом мы двигались вперед. Несколько мелких шагов — и остановка. Ступеньки, одна за другой. Руками передвигаем ему ноги, переставляем на ступеньку повыше, помогаем идти. Проходит бесконечно много времени, пока мы достигаем цели. Мы дома.

В растерянном взоре кузины вопрос. Ты сама его уложишь в постель? Помочь тебе?

Он перехватил ее взгляд и покачал головой.

Мы сами, не волнуйтесь! — успокоил он ее. Я немного полежу, а потом присоединюсь к вашей компании.

Тебе лучше? — я хотела ободрить его и утешить себя. Ну как ты?

Уже проходит! — усмехнулся он. Хотя в глазах у него неуверенность. Ты иди к ним, а я следом за тобой!

Как странно изменился его голос: протяжный, монотонный, с хрипотцой.

Я закрыла за собой дверь и пошла в гостиную.

Племянник и кузина смотрели на меня. В их глазах вопрос и тревога.

Нет, нет, ничего страшного не должно случиться, не должно! Скоро все опять будет хорошо, не тревожьтесь!

Разве раньше что-нибудь...

Н нет, протянула я. Такого еще не бывало. Мысли мои разбегаются в разные стороны словно в поисках воспоминаний прежних лет.

Собственно говоря, с ногами у него давно неладно. Впервые это произошло, когда мы собирались идти на какое-то торжество...

Ты готов? — спросила я, повесила на руку его пальто и вошла в комнату.

А он стоял на месте, испуганно глядя на меня.

Что с тобой?

Я не могу двинуться с места, растерянно сообщил он и слабо улыбнулся.

Как не можешь? — удивилась я, глядя на его ноги. А ты пытался? — глуповато спросила я и почувствовала, как страх холодом поднимается у меня по спине. Тебе помочь?

Он тоже посмотрел на свои ноги, которые его уже не слушались.

Погоди, решительно произнес он, сейчас пойду! Раз, два — раз, два.

И когда все было позади, мы оба расхохотались, а через несколько дней забыли об этой истории.

И вот все эти годы ему то лучше, то хуже. Бывало, что с ногами вроде бы в порядке, но трудно было произносить слова. Я слыхала, что внешние признаки болезни именно такие. Но сейчас лучше об этом не думать. Сейчас нам нужно говорить о чем угодно, только не об этом. Сейчас нужно перекричать горькое чувство собственного бессилия. А наши уши тем временем настроены на малейший шум, который может раздаться оттуда, из-за закрытой двери, и напряженные мускулы только и ждут команды, чтобы перенести нас к нему, если он позовет.

И в эти минуты тягостного ожидания мы вдруг услыхали, как его дверь тихо открывается.

Ку-ку! — он стоял на пороге и лукаво нам улыбался, ку-ку!

Мы смотрели на него, как на призрак. Видно было, что ему доставляет огромное удовольствие стоять на собственных ногах. Во всяком случае, так мне сперва показалось. Потом наши взгляды встретились. И я вдруг поняла, что он опять не может сдвинуться с места.

Я подбежала к нему и обхватила его.

В его глазах безмолвный вопрос: ты думаешь, пройдет? И просьба: помоги!

Конечно пройдет. Вот смотри: раз, два...

Два маленьких шага. Остановка. И опять: раз, два.

Наконец добрались до стола.

Тебе лучше?

Улыбка словно застыла у него на лице. Делает вид, будто все в порядке.

Ну и ночь! Непонятный шум разбудил меня. Что случилось?

Я вбежала к нему в комнату и вижу — он упал с постели и барахтается, пытаясь подняться.

Мы долго мучились. Теперь я уж и не знаю, как в конце концов мы с этим справились!

Подожди, говорю, сейчас я поставлю кресло рядом с кроватью, вот так! Лягу здесь и буду следить, чтобы ты опять не свалился.

Ночная лампа у меня за спиной отбрасывает причудливые тени на стены и потолок. Я смотрю на его бледное лицо. Вздрагивающие веки, темные круги под глазами. Спит?

Прошла целая вечность, прежде чем темная ночь за окном стала отступать перед утренним светом. На колокольне куранты отбивают каждую четверть часа. Шестьдесят долгих секунд через пятнадцать бесконечных минут. Бом.

К утру я поняла — случилось что-то серьезное. Теперь уже и без советов врачей ясно: надо ехать в больницу.

Я могу узнать, что, собственно, с ним?

Видите ли...

Нет, нет! Все во мне протестовало. Я ничего не хочу знать. Я не буду вас слушать, хотя, разумеется, я сообщу детям... И Мариан.

До самого вечера я занята какими-то ненужными лихорадочными делами, пытаясь избавиться от леденящего, пронизывающего страха. Перед сном приняла сильное снотворное, которому надлежало навести хоть какой-нибудь порядок в моей смятенной голове и вызвать ту бездумную тьму, погрузившись в которую я могла бы дождаться утра.

Наконец-то утро! Свежий, еще не тронутый день, который наполняет меня надеждой.

Как давно это началось? — спросила Мариан, прямо с вокзала примчавшись в больницу.

Depuis quand? [1] — твердит она, обнимая меня. На своем лице я чувствую ее теплые губы.

Слушай, она усадила меня в кресло, устроившись рядом со мною на ручке.

Ее длинные пальцы обхватили запястья моих рук. Как она их сжимает. И ее растерянный взгляд. Давно?

Совсем недавно, Мариан, робко отвечаю я. Все будет хорошо!

Разумеется. Я, однако, должна тебе кое-что объяснить.

Не надо. Не говори ничего. Он очень сильный и бесконечно привязан к жизни. А ведь это главное, ты согласна?

Да. Хотя атеросклероз, как ты сама знаешь...

Да, я знаю.

Иногда случаются судороги, которые поражают жизненно важные центры, и тогда...

Не хочу ничего этого слышать. Я вовсе не обязана внимать ее словам. Правда, Мариан наш близкий друг, его сотрудница. Они долгие годы работали вместе. Вместе ездили на конгрессы и международные конференции... Все это так, но в конце концов Мариан всего лишь врач. Ей не дано ничего предвидеть, и она не может знать силы его характера. Я не стану ее слушать. Я оборву ее раз и навсегда.

Тебе не кажется, что погода меняется? Вот-вот выглянет солнце! А он очень чувствителен к капризам погоды.

Необходимо перевести разговор на другое. Я не желаю слышать медицинских советов и прогнозов, особенно если они плохие! Забудь, что ты врач, Мариан, и поговорим о чем-нибудь другом, хотя бы о погоде!

Мариан не уступает.

---

[1] С каких пор? *(франц.)*

Она должна разъяснить мне его случай. Потому что есть вещи, говорит она осторожно, которые следует знать, которые неизбежны. Она уже несколько лет наблюдает за развитием его болезни.

Я знаю. А ты заметила, что мне дали для него те самые комнаты, где он лежал два года назад? Вот повезло, верно? Хотя в его теперешнем состоянии ему не нужно так много места.

Две отличные комнаты в больнице-санатории. Спальня и гостиная. Обе окнами в сад. А какие большие окна! Солнца в его комнатах в изобилии.

Прости, Мариан, я должна задернуть шторы, чтобы ему не мешал яркий свет.

Я вхожу в спальню и задергиваю шторы.

Вот так будет хорошо? — я разговариваю сама с собой, ведь он не может мне ответить. Тебе лучше?

Я осторожно прикрыла дверь и вернулась к Мариан.

Ему хорошо, сказала я, избегая ее тревожного взгляда. Хочешь сигарету?

Мариан пристально смотрит на меня. Глаза ее за толстыми стеклами очков, кажется, округлились от удивления.

Пойми, Мариан, начала я решительно, глядя в эти блестящие стекла, пойми наконец, что я не хочу так просто сдаваться. Как я смогу ему помочь, если сама впаду в отчаяние? В конце концов, может случиться, что через день, другой все будет в норме. Ты не веришь? Ты забыла, что два года назад... три? Ну да, три года назад! Ты забыла?

1966:

Уже в мае Мариан сообщила, что она вместе с сестрой и братом хотела бы провести отпуск у нас на побережье.

В течение целого месяца письма шли из Порторожа в Париж и обратно, пока наконец все не уладилось. Но в последний момент телеграмма от Мариан: на своей машине они не могут приехать.

Придется мне отправиться в Триест, сказала я. Если поеду одна, и то места в машине на всех едва хватит.

Но он не отпускал меня одну. И хотя уже был тяжело болен, решил вместе со мной встретить гостей.

Можно попросить Яна поехать вместе с нами на другой машине, решил он. Всем будет удобнее!

Мы отправились заблаговременно, но приехали с опозданием. Наши гости уже ждали нас у вокзала. Рядом с ними высилась гора чемоданов!

Так-таки гора? Mais n'exagère pas, voyons! [1]

Я вовсе не преувеличиваю.

И вот мы все вместе едем в Порторож. И ослепительное солнце светит нам весь день.

И гостиница всем понравилась, маленькая, уютная, одна из тех, что уцелели еще в укромных уголках побережья, где когда-то правил Франц-Иосиф. Даже наша атомная современность, превращающая любой живописный уголок в туристический кэмпинг, не могла уничтожить аромат далекой эпохи. Вот только ступеньки меня беспокоили.

Не слишком ли круто? — раздумывала я.

Но Мариан меня успокоила. Не волнуйся и возвращайся на работу, заявила она, я сама за всем прослежу. И буду каждый вечер тебе звонить, положись на меня!

Ему гостиница тоже пришлась по душе.

[1] Ну не преувеличивай! *(франц.)*

Будто по заказу для отдыха! — и вопросительно взглянув на меня, добавил: и для работы...

Он не переставал надеяться, что все еще будет участвовать в той исследовательской работе, которая в последние годы уже целиком перешла в руки Мариан.

Домой я возвращалась еще засветло. Всю дорогу меня одолевали тревожные мысли об этих крутых ступеньках,— а что если у него вдруг закружится голова. Я была недовольна собой. Нельзя впадать в панику, внушала я себе, надо твердо верить, что все будет хорошо.

Едва переступив порог дома, метнулась к телефону.

Да, Мариан, это я. Как он? Все нормально?

Ее далекий голос мгновенно перенес меня туда, откуда я только что приехала...

...и опять я сидела на просторной веранде гостиницы и разговаривала с ними. Он прикидывал, когда сможет взяться за работу. И сможет ли?

Мариан отвечала спокойно. Как вообще в этом можно сомневаться? Ведь ты один из ведущих фтизиатров мира. И сам знаешь, как мне нужны твои советы, твоя помощь! Но сейчас спешить некуда! Нам всем нужно как следует отдохнуть! А о работе поговорим позже, не возражаешь?

Ну что ж. Позже так позже.

Озорная усмешка скользнула по его лицу и смягчила неестественно застывшее выражение.

Далекий голос Мариан снова звучал у меня в ушах.

Ты слышишь меня? Я была у него. Он спит. Ты меня слышишь?

Слышу.

Я легла, потушила лампу, и перед глазами у меня возникло его лицо. Бледное и даже во сне сведенное судорогой. Под глазами темные круги. Веки нервно вздрагивают.

Утро всегда вестник новых надежд.

Славно, что сейчас он на море с Мариан и ее родными. Они любят прогулки в горах. Брат Мариан увлекается гимнастикой. Я была убеждена, что они немного его расшевелят и это пойдет ему только на пользу.

Сколько раз я пыталась заставить его делать зарядку, но он всегда отшучивался...

Как хорошо, что он с ними, говорила я себе. И погода стояла чудесная. Лучшего нельзя было и пожелать!

И вдруг в мою благодушную успокоенность врывается телефонный звонок Мариан Скорее приезжай. Состояние резко ухудшилось. Афазия [1], выдохнула она и положила трубку.

---

[1] Полная или частичная утрата способности речи вследствие поражения головного мозга.

Это случилось два года назад, ты помнишь?

Три года, поправила меня Мариан. Но тогда болезнь проявлялась иначе.

Что ты имеешь в виду? Он тогда с большим трудом говорил, и у него часто кружилась голова. Я хорошо помню, это было похоже на то, что сейчас, но...

Мариан молчала.

Она молчит, потому что три года назад и в самом деле все было иначе. В тот день мы еще не доехали до дома, а ему стало легче. Я до сих пор вспоминаю ту поездку. Лило как из ведра. По крыше автомобиля стучало и барабанило с такой силой, что нам приходилось кричать друг другу. Молнии разрывали небо и лишь на мгновение освещали дорогу.

И мы все тогда очень удивлялись: ему вдруг стало легче, он говорил уже без усилий. Даже смог нас убедить, что ему совсем хорошо.

Везите меня домой, решительно заявил он, а в больницу завтра, нам спешить некуда!

Мариан по-прежнему молчала.

Я отдавала себе отчет в том, что слишком много болтаю, но ничего не могла с собой поделать.

Она по-прежнему неподвижно сидела на своем стуле, очень прямо. Даже слишком прямо. Стройная фигура в черном, красивые глаза за толстыми стеклами очков и странно напряженное выражение лица.

Почему ты так на меня смотришь? — спросила я.

Я на тебя смотрю, в самом деле?

Мариан взяла сигарету и не спеша прикурила. Ты говори, продолжай, я тебя слушаю!

Ну вот, после того случая я и доставила его сюда. Он получил вот эти две комнаты. И очень скоро поправился. Афазия или что другое, все быстро прошло. В больнице он пробыл только несколько недель.

Мариан изредка кивала, не глядя на меня. Она знает эту историю до мельчайших подробностей, но я не могу остановиться. Я должна еще раз все пережить.

1966:

Когда три года назад он выходил из больницы, стояла невыносимая жара. Она вполне могла и здорового-то выбить из колеи.

Тебе не хочется съездить на Гореньско? — предложила я.

Пожалуй, нет! — смеясь возразил он. При моих хворях мне больше нужны люди, чем свежий воздух. Кроме того, жара как раз по мне.

Однако на душе у меня было тревожно. Всем нам было тревожно. Тогда-то и пришел на помощь директор санатория, который просил его написать историю этого лечебного заведения. Кто лучше вас может с этим справиться? — убеждал он его. Ведь санаторий — ваше детище, поживите у нас, оглядитесь.

Я с облегчением вздохнула, когда в конце концов он согласился и принял это предложение. Я была убеждена, что мы его перехитрили. А на самом деле он в тот день записал в дневнике: чувствую себя плохо. Кружится голова. Депрессия. Беспокоит меня слияние клиники с институтом. Это надо уладить, пока не поздно. Снова принимаю снотворное. Жара в городе становится невыносимой. Они хотят обмануть меня и отправить в санаторий. Дескать, мол, писать его историю... Или они в самом деле считают, что я справлюсь?

Это было три года назад. После Советского Союза и перед Румынией. Он был уже тяжело болен и готов был на все, лишь бы одолеть болезнь.

В санатории ему предоставили светлую комнату с большой верандой, перед которой росли высокие, стройные и гордые сосны.

Великолепные деревья, так бы и смотрела на них все время...

Ну, где же ты? — оглянулась я.

Он занимался кабинетом.

Пока я была на веранде, ему принесли еще один стол, который он велел поставить возле самой кровати, и на нем тут же выросла груда книг, бумаг и рукописей.

Не вздыхай, успокаивал он, все будет хорошо! Прежде всего хочу как следует отоспаться. Знаешь, от этого воздуха меня отчаянно клонит ко сну. А потом, вот увидишь, начну потихоньку работать!

Ах, если бы он в самом деле смог работать!

Иногда я не находила себе места от отчаяния. Хотя и понимала, что должна быть сильной — ради него, ведь он хватался за меня как утопающий за соломинку.

Куда ты?

Ухожу.

Я должна уйти, чтобы не выбить у него из-под ног последней опоры.

Телефон тебе поставить?

Конечно!

Если ты не сможешь выбраться ко мне, я все-таки...

Да, да. Конечно.

Но это было в самый первый день. А потом разлука с домом становилась для него все более мучительной. Он часто звонил мне.

Алло, алло, ты дома? Это ты?

Навеки застрял у меня в ушах его дрожащий голос. Вибрирующий от тревоги, тоски, беспомощности и грусти.

Как только мне удавалось освободиться, я спешила к нему. Дорога к санаторию словно сама бежала мне навстречу. Точно старая, добрая знакомая. Настолько знакомая, что я свыклась с ней, но все равно восхищалась ею. Восхищалась ранним утром, когда природа протирала глаза после сна, и вечером, когда она уже мягко погружалась в туманную дремоту.

Ну разве не чудо? — спрашивала я тетку, с которой мы часто ездили вместе.

И она тоже радовалась.

Потому что человеку доступно одновременно многое. Наслаждаться красотой, хотя сердце у него разрывается от тоски и тревоги. Будет ли ему сегодня лучше? Удастся ли вообще побороть болезнь?

Я знал, что ты приедешь, сказал он, улыбаясь, я чувствовал!

Я смотрю на него и стараюсь уловить признаки малейших перемен к лучшему. Он держит себя в руках или в самом деле ему стало легче? Собранности больше или...

Ну, как дела?

Идут помаленьку.

На прогулке с ним то и дело здороваются, заговаривают. Господин главный доктор, называют его здесь.

На вершине холма нас встретил Матичек.

А ведь вы спасли мне жену и сына, не забыли?

Ну полноте...

Но Матичек все равно рассказывает. Рассказывает мне, потому что господин главный доктор озирается по сторонам, делая вид, что не слушает, занят другим.

Ох господи, какой ливень лил в ту ночь! Господин главный доктор пришли к нам до костей промокшие! Тогда еще нельзя было подъехать к дому, как сейчас! Тогда надо было порядочно пройти пешком! И все в гору, да такую крутую, что хоть колени кусай!

Первенец, одно слово! Пришлось наложить щипцы — на кухонном столе при свечах! — и вода на очаге все время булькала — ни одной живой души больше, даже бабки нету! Громыхало точно сто чертей! А наш дом у самой вершины! Кто бы в такую ночь к нам полез...

На сегодня, пожалуй, хватит, пошли обратно?

Матичек проводил нас до самого санатория.

Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что на его жизненном пути было немало светлых вех.

Его комнату заливал зеленый свет. Сосны опьяняли.

Пошли на веранду, сказал он, ведь раскладушки там?

Да, ты приляг, отдохни, я сейчас приду!

На письменном столе у него опять беспорядок. Возможно, что ему нужно расчистить стол, прежде чем приступить к новой работе. Только пока дело не идет дальше разбора бумаг. Я роюсь в бумагах, и их шелест выдает меня.

Не ищи, доносится с веранды, я еще не продвинулся так далеко. Пока я только разгребаю письменный стол. Ведь еще уйма времени!

Разумеется.

Ага, есть что-то! — обрадовалась я, увидев папку с надписью: «История...»

Несколько страничек, исписанных мелким неуверенным почерком, строки сползают вниз, точно уже сейчас хотят нырнуть в пустоту. По всему видно, что это пока черновой набросок. Но все-таки он уже начал работать.

Чем ты занята? Где ты?

Иду, ответила я, и направилась к веранде. Тебе не холодно? Дать одеяло?

Прикрыв глаза, он покачал головой. Ему так хорошо.

Мне тоже.

А когда-то я вот так же лежала и ждала. Ждала — его. Еще до войны.

В жаркие летние дни наши кровати выносили в лесочек, и до полудня мы лежали среди сосен и лиственниц.

Кровать Вукицы стоит рядом с моей. Вплотную, хотя это не разрешается. Почему ты не отодвинешься?

Вукица отодвигает кровать. Сегодня, говорит она, ко мне никто не придет.

Придет, наверняка придет, ведь еще рано!

Вукица все равно волнуется. Если главный доктор не придет, говорит она, то после полудня я сама отправлюсь к нему.

Все наши надежды связаны с ним.

Вукица даже умереть не могла, не увидев его, она до тех пор удерживала свой последний вздох, пока он не вернулся из Краня Он присел у нее в изголовье и, взяв ее за тонкие запястья, стал говорить о

том, как они поедут в Венецию. Разумеется, вместе. И пока он будет на заседании, Вукица станет его ждать...

...я буду кормить голубей на площади святого Марка... в облаке взметенных крыльев...

Даже смерть не могла стереть с ее губ счастливой улыбки.

Почему ты молчишь? О чем ты думаешь?

О минувших днях. Сколько раз я так же лежала...

Его горячая рука накрыла мою.

Опять в санаторий? — спрашивали друзья, а не тяжело тебе?

Как может быть тяжело, если ты знаешь, что кому-то нужен? Я чувствовала, что становлюсь сильнее с каждым днем. За двоих.

И всю дорогу до санатория я разговариваю с деревьями. В санатории, который стал делом его жизни, он наверняка поправится. Он основал этот санаторий, следил за его развитием и посвятил ему свой ум и сердце.

Он до конца сражался за жизнь своих больных. Даже тогда, когда в бессилии отступала наука, умел помочь любовью, уважением и верой в человека и в его силы.

Я верил в него как в бога! — сказал мне вчера Миха. Стоило ему присесть на мою постель, и мне уже было легче! Его слова для меня больше значили, чем все лекарства! Он словно передавал мне свою силу, веришь?

Верю.

Волю и силу, значит, можно передавать, как бы переливать из сосуда в сосуд. Надо попробовать! Я гляжу на деревья и вижу, что они меня понимают. Одобрительно кивают мне зелеными ветками, а между собою о чем-то таинственно перешептываются.

Я бесшумно открываю дверь в его комнату и останавливаюсь на пороге. Он спит. Даже во сне его лицо напряжено. Только когда он проснулся, лицо смягчила ласковая улыбка.

Как хорошо, что ты приехала! Ты мне так нужна... прости меня!..

Не надо! — я возражаю ему улыбкой, пряча свою растерянность, не надо! Молча умоляю его, чтобы он ни в чем не оправдывался; убеждаю его в том, что черпаю силу в его бессилии.

Завтра ты приедешь?

Завтра, видишь ли... Ты бы мог обойтись завтра без меня? В порядке исключения. Я буду работать дома, и как только ты меня вызовешь...

Ну разумеется! Работа есть работа, как не понять! Да я и сам примусь за работу, достаточно я бездельничал, будь покойна!

Вот так мы условились. На другой день я едва переступила порог, как зазвенел телефон.

Санаторий.

Господи, что случилось?

У меня всегда сжимается сердце, когда я слышу голос медсестры. Ему плохо?

Нет, нет, все в порядке. Она только хотела мне сказать, что он забыл о нашем уговоре и уже целый час ждет меня в коридоре...

И в следующую минуту я уже за рулем.

Я вот что тебе скажу, Мариан, ведь этот приступ три года назад был коротким, недолгим, ты понимаешь? Почему же и сейчас ему не выкарабкаться? Может, не так скоро, как тогда, но все-таки...

Мариан потирала тонкие руки и молчала. Она не желала спорить со мной.

В конце концов, она врач.

Но позволь мне все же думать своей головой, не перегруженной медициной. И что вы, врачи, знаете о силе внушения?

Очень многое, дорогая!

Видишь ли, он крепко привязан к жизни. И все силы приложит, чтобы выбраться из этой неподвижности. Ты веришь?

Всякий раз, когда Мариан поворачивается к окну, в стеклах ее очков прыгают зайчики. На меня она смотрит украдкой. Изредка. Она не находит нужных слов. Я знаю ее и знаю, что она никогда и ни во что не верила слепо. Хотя и не отговаривала нас, когда мы поехали в Советский Союз (а потом в Румынию) с надеждой, что еще не поздно и что ему смогут помочь.

1966:

Просторные советские вагоны. На столике у окна лампа под абажуром.

Хотите чаю?

Хотим.

Мы глотаем горячий напиток, полеживаем, почитываем, беседуем. По коридору ходят пассажиры. Едем бесконечно долго. Равнина уходит к самому горизонту и еще дальше. Здесь все широко, необъятно, необозримо.

Просторны московские улицы и площади. Огромен и наш номер в гостинице, построенной много лет назад. Полы в ней устланы толстыми коврами, колонны позолочены. Она очень теплая и уютная. И горничная напоминает добрую няню.

Николай Николаевич проводит обследование.

В свободное время Наталья Ивановна возит нас по Москве. Мы с ней знакомы уже давно. По Женеве, Парижу, Лондону, по конгрессам и конференциям. Она тоже считается светилом фтизиатрии; бегло говорит по-французски, но с очаровательным русским акцентом. Впрочем, едва заметным.

Восьмисотлетняя Москва.

Вот памятник Островскому на площади Свердлова. Рядом с Большим — Малый театр. Центральный детский театр и памятник Марксу. Вот улица Горького, а вон Кремль.

Мы переглядываемся. И вспоминаем нашего поэта, который в годы оккупации слушал кремлевские куранты, подвергаясь смертельной опасности.

На одной из улиц передвигают дом, имеющий историческое значение. Его сняли с фундамента и теперь передвигают на катках со скоростью восемь километров в час.

Площадь Пушкина с памятником поэту. Новый кинотеатр на две тысячи мест. Здание газеты «Известия». Музей Революции, площадь Маяковского и пятнадцатикилометровое Садовое кольцо...

На сегодня хватит, прошу я Наталью Ивановну. Боюсь, он слишком устанет. Поедем обратно в гостиницу.

Постели высокие, мягкие. В одной из комнат письменный стол с телефоном.

Ты приляжешь? Ложись, передохни немного! Вечером у нас еще «Дон Карлос», а до этого ужин с Наташей, ты не забыл?

Да, я, пожалуй, вздремну немного. От масштабов этой великой страны у меня перехватывает дыхание даже в комнате отеля.

Ну, ложись, я скоро вернусь!

Николай Николаевич долго беседовал с нами. Потом наедине со мной признался, что уже поздно рассчитывать на быстрое выздоровление.

А геронтологический институт в Киеве?

Пациент очень сильно тоскует по дому, и Киев едва ли может быть ему полезен...

Наталья Ивановна первой назвала мне институт д-ра Аслановой в Бухаресте.

Новая надежда, за которую цепляешься с новыми силами.

Когда мы вернулись домой, позвонила из Парижа Мариан. Она хотела знать, что мне удалось сделать.

Я упомянула об институте Аслановой и по молчанию на другом конце телефонного кабеля поняла, о чем думает Мариан. Зачем ты таскаешь его по свету, ведь никто ничего не может сделать?

Неужели она не понимает, что жизнь только там, где действие, в примирении с судьбой ее нет.

Однако близкие тоже смолкли, очевидно, подавленные той же мыслью. Мне пришлось обратиться к его младшему сыну, с которым мы были во многом единодушны.

Если я попробую еще это? — напрямик спросила я его, ты поедешь с нами?

Он с радостью согласился. До Бухареста рукой подать. И говорят, летом это настоящий цветущий сад.

1967:

Опять мы в дороге.

Какое наслаждение, говорил он, путешествовать всем вместе, втроем.

И город восхитительный. Какие ухоженные парки, сады и бульвары.

В институтском саду мы с Владо не раз находили четырехлистный клевер. Это хорошая примета!

До полудня и после полудня проводились обследования, с наступлением вечера доктор Булла показывал нам город.

Мы совершили прогулку к Дымбовице, посидели на ее берегу и покатились по живописным озерам.

Неделя пролетела быстро. Слишком быстро. Нам с Владо пришлось ехать домой, хотя мы видели, что он охотно присоединился бы к нам.

Ведь он мог бы и дома продолжать лечение...

Мы его уговаривали. Ведь здесь он будет лечиться под наблюдением авторитетных врачей.

Вы правы, и я постараюсь быть дома раньше, чем вы думаете.

Но перед самым нашим отъездом он опять приуныл.

Вам именно сегодня необходимо уезжать? Отложить не могли бы?..

Когда нужно было ехать на вокзал, мы незаметно дали ему снотворное, чтобы легче было перенести наш отъезд. А с вокзала перед

отходом поезда написали ему. Писали и с каждой большой станции по дороге.

Из его писем мы поняли, что его грызет тоска по родине и что он долго не выдержит.

Лучше всего было бы, писал он, если бы ты приехала сюда и мы вместе махнули бы к Черному морю. Это заставило бы быстрей бежать мою холодеющую цыганскую кровь. Телеграфируй, когда приедешь!

Коротенькое письмецо, но слова разбросаны по всей странице.

Спустя четырнадцать дней меня вызвала доктор Асланова. Продолжать лечение можно дома.

Это его идея?

Приезжайте за ним, посоветовала она, он очень тоскует по дому.

■ ■ ■

Мариан по-прежнему считает, что все эти поездки ничуть не помогли.

Ты не можешь так говорить, сопротивлялась я. Кто знает, что бы уже случилось, если бы мы все не перепробовали. И потом, я не верю, что состояние безнадежное.

Когда произошла та автомобильная катастрофа?

Но ведь болезнь не имеет к ней никакого отношения!

А все-таки когда?

Десять лет назад.

1959:

Работы у него было более чем достаточно. Университет, клиника, разные комиссии и комитеты дома и за границей и санаторий в Сежане.

Санаторий в Сежане, которому он отдавал всю свою душу. Он стремился чаще бывать там, и если обстоятельства позволяли, то в конце недели мы убегали туда из Любляны.

Чудесные места! — обычно говорил он, останавливая машину на обочине. Терпкая прелесть нашего Краса!

Крас всегда изумителен. Особенно осенью, когда вспыхивают дуб боровой и виноградная лоза.

Задняя стена нашего дома упирается в холм. До вершины Табора каких-нибудь двадцать минут. Он всегда обгонял меня, чтобы первым быть на вершине.

Эй, кричит он, мы опять очень удачно вышли, кресла уже поджидают!

Мы садимся на скалы — в наши кресла — и наслаждаемся пейзажем. Внизу раскинулась Випавская долина, вокруг горы. В хорошую погоду видны даже отдаленные Доломиты!

И когда возвращаемся домой, солнца еще предостаточно. Мы выходим на балкон и смотрим через границу в сторону Италии. В ясные дни, особенно после непогоды, видны даже море и контуры Градежа.

А потом мы работаем до самой ночи. Каждый у себя. Двери на общий балкон распахнуты, и дробный стук наших машинок причудливо смешивается.

Когда перестает стучать его машинка, я догадываюсь, что он пошел на кухню сварить кофе.

Я на цыпочках пробираюсь на балкон и заглядываю к нему в комнату. Так и есть. Комната пуста, и дверь в кухню прикрыта.

Возвращаюсь к себе и продолжаю работать, будто ничего не заметила.

А вскоре на мои бумаги падает его тень. Словно солнце на мгновенье тускнеет.

Ох, как ты меня напугал! — шутливо кричу я.

Галантным жестом он приглашает меня на кофе.

Как жалко, сокрушался он, зажигая нам сигареты, что мы не можем здесь жить постоянно!

Я смотрела в раскрытое окно. Темно-зеленые сосны, невысокие терновые кусты и огненно-красные деревья. Точно языки пламени в зелени.

Конечно, жалко, но что поделаешь? Ты сам на себя много взял. Ведь ты непрерывно в дороге.

Ты, пожалуй, права, я и в самом деле много взвалил на себя. Кое от чего можно бы и отказаться...

От чего, собственно? Откажешься от двух обязанностей, останутся еще двадцать две.

Ну зачем же так преувеличивать, весело смеялся он.

Я преувеличиваю? Пожалуйста, считай: университет, клиника, санаторий, Общество университетских профессоров, академия, президиум Общества врачей, какие-то дела в Белграде, Загребе и кто знает где еще... а за границей: секретарь Американского общества фтизиатров, член Британского медицинского общества, эксперт Всемирной Организации Здравоохранения, да еще конгрессы, конференции, комиссии и семинары и так далее и тому подобное... У меня не хватало пальцев на руках.

Ну, ну, прервал он, ты же знаешь, что все это не требует от меня полной отдачи... Но погоди, какой свет! Не двигайся, пожалуйста, я должен тебя сфотографировать!

И как раз в один из таких субботних дней, когда мы ехали в свой тускул [1], случилось несчастье.

Центр города остался позади, и только я миновала Долгий мост, сразу увидела, как шедшая навстречу «альфа-ромео» пытается обойти маленький «фиат». Оба автомобиля находились еще довольно далеко, и шоссе было почти пустым. Места хватало всем.

И тут «альфа-ромео» на полной скорости стало кидать то влево, то вправо. Что с ним, он с ума сошел?

Видимо, водитель потерял управление. Его бросало из стороны в сторону, и трудно было сказать, куда он метнется в следующий миг.

Я сбросила скорость и осторожно перевела машину в крайний правый ряд. Собственно говоря, я уже остановилась, когда он врезался в нас. Мне показалось, будто я пережила эту катастрофу еще до того, как она произошла, и будто мои страхи магнитом притянули к нам эту «альфа-ромео». Ведь дорога была пуста. Кругом достаточно места, взбесившийся автомобиль могло швырнуть куда угодно.

Оглушительный грохот смятой стали и треск разбитых стекол.

Несмотря на шок, я видела, что он, сидевший рядом со мною, головой ударился о крышу автомобиля и вылетел на дорогу — дверца была сорвана.

[1] Тускул (Tusculum) *(лат.)* — уединенная вилла Цицерона в Тускуле (ныне Фраскати), стало нарицательным названием.

Я бросилась к нему. И по сей день мне кажется, будто он сразу же пришел в себя. Хотя позже он с трудом вспоминал этот эпизод. Или вспоминал неточно.

Милиционер прочел мне его показания, и меня поразило его утверждение, будто «альфа-ромео» была темно-зеленой, ведь она была ярко-красной!

В больницу его приняли с диагнозом: fractura baseos cranii...[1]

■ ■ ■

Подняв палец, Мариан прервала меня. Тише! Мускулы у нее на лице напряглись.

Кажется, он проснулся.

Мгновенно оказываюсь у его дверей и заглядываю в щелку. Затылком чувствую горячее дыхание Мариан.

В комнате темно — шторы закрывают окна. Я скорее чувствую, чем вижу, что у него открыты глаза.

На цыпочках подхожу к постели. Мариан — с другой стороны.

Так и есть.

Он неподвижно лежит на спине. А его большие темные глаза широко раскрыты. Ему хочется говорить, но слышно лишь невнятное бормотанье.

Сейчас все пройдет, не беспокойся! — говорю я, чтобы хоть что-нибудь сказать.

Видишь, кто приехал к нам в гости? — я улыбнулась и указала на Мариан. Целую неделю она пробудет у нас. Я помещу ее в твою комнату, разрешаешь?

Он молча благодарит меня.

Белые руки Мариан — на его скрюченных пальцах. Тревожный взгляд ее — на напряженных мускулах его лица. Когда она поворачивается ко мне, я вижу в ее глазах слезы.

Нет, Мариан, неправда, что он безнадежно болен. Пойми, если мы хотим ему помочь, мы сами должны верить! Мариан, прошу тебя, перестань!

Мариан послушно отошла к окну и громко всхлипнула.

Да? Я повернулась снова к нему, к его глазам, которые хотят что-то сказать мне. Да?

Но я не могу ждать ответа, которого не будет. Я сама должна говорить, чтоб он не подумал, будто мне его жаль. Я должна что-то придумать. Что-то хорошее. Ох, как же я могла забыть, ты знаешь, Яра с детьми в Любляне!

И прихожу в себя, заметив, как вспыхивают его глаза. В них зажигаются огоньки.

И боюсь, как бы он не догадался, *почему* они в городе. Впрочем, он не догадается. Он радуется своим детям. Ждет не дождется, когда их увидит.

Он медленно, с усилием повернул голову к стене.

Его всегда успокаивало, когда я слегка массировала ему затылок. Так хорошо? Совсем хорошо? Доброй ночи, дорогой мой, спи! До свиданья!

Мариан удивленно глядит на меня.

Ты не считаешь, что лучше остаться в больнице? — спрашивает она и беспомощно разводит руками — где-нибудь здесь устроимся?

Нет. Ничего не случится. Пошли?

---

[1] Перелом основания черепа *(лат.)*.

А когда я отпирала дверь квартиры — телефонный звонок. Пронзительный и зловещий.

Да, слушаю. Кто? Ах, это ты? Я с облегчением перевела дух и рукой прикрыла трубку, чтобы объяснить Мариан, кто это. Не из больницы. Брацо и Сека едут сюда.

А ты перепугалась? — весело спросила я ее, глядя на смертельно бледное лицо Мариан.

Мариан знает, что Брацо и Сека очень близкие нам люди. Она знает и ценит всех наших добрых друзей. Я хочу сказать, тех, кто еще остался.

Впрочем, для быстро развивающегося общества потребления стало характерным, что яркая личность, с определившимися культурными запросами и трудовыми навыками, оказывается подчас одинокой.

Иногда и молодые люди с трудом находят себя. Они суетятся и топают ногами. Где наше место, кричат, что нам делать? Кидаются из стороны в сторону.

Потом, может быть, успокаиваются. Утихают и приспосабливаются. Или не желают приспосабливаться и уезжают. Или даже превращаются в хиппи и на всю жизнь остаются младенцами. Или же...

А наших сверстников общество давно уже оттеснило в тупик и там о них позабыло. Мы общаемся, обсуждаем разные проблемы и удивляемся, что никому не нужен наш мозг. И мы продолжаем работать, хотя знаем, что многие подлинные ценности уже обесценены. Остались пустые фразы...

Я протестую. Я не терплю малодушия. Если ты знаешь верную дорогу, иди по ней. Всего общества не изменишь, а свое окружение можешь...

Если у тебя есть мечты, осуществляй их! (Что со мной происходит? Почему я кричу на них, ведь они не глухие! Хороша хозяйка!)

В комнате вдруг воцарилось тягостное молчание. Взгляд Мариан за толстыми линзами очков буквально остекленел. Она слабо улыбалась и время от времени втягивала носом воздух.

Брацо сидел опустив голову, глядя на свои руки, вертевшие зажигалку.

Сека отвернулась к книжной полке и копалась в книгах. Будто они ее сейчас интересуют больше всего.

Ну почему я так себя веду? Почему у меня из-за пустяка сдали нервы? Или мне так его не хватает? Нам всем его не хватает. Если бы он был с нами, он нашел бы ласковое слово и всех успокоил. А я по-прежнему нетерпима к людям!

Считай! — приказываю я себе.

Считаю, хотя толку никакого. Через тонкую стену слышу нервные шаги Мариан. Будь я одна дома, я бы разревелась в полный голос... Но сейчас я прислушиваюсь к сухому покашливанию и всхлипам, долетающим из соседней комнаты. Мариан не на шутку встревожена. Она считает, что болезнь — следствие той автомобильной катастрофы, но она не права! Я хорошо помню все, что было после того несчастья.

1959:

После катастрофы он вернулся из больницы всего на несколько дней. Только чтобы собраться в санаторий.

Сперва он сопротивлялся. Не нужно, спорил, зачем?

Ведь это пойдет тебе на пользу!

А ты? Ты поедешь со мной?

Я тебя буду навещать!

Медики — тяжелые больные. Да еще его многочисленные неотложные дела.

Перед самым отъездом мы чуть не поссорились.

Зачем ты суешь в чемодан все эти бумаги? — спросила я.

Он растерянно посмотрел на меня, как застигнутый врасплох школьник. Потом решительно захлопнул крышку чемодана и уселся на него.

Послушай, взмолилась я. Ведь ты сам знаешь, что твоя первейшая обязанность — отдыхать. Затем...

...затем я должен буду делать зарядку, плавать, гулять и так далее!

Это хорошо, что ты знаешь, ответила я. Вот поэтому и не бери с собой никакой работы, лечись!

Ты немного уступишь, и мы договоримся, ладно?

Ладно.

Мне редко удавалось настоять на своем. Я всегда ему уступала. Да к тому же мы торопились.

В результате он взял с собой корректуру журнала «Туберкулез» и письма, которые ждали ответа.

Работа не шла у него, хотя он и пробовал что-то сделать. Много раз я заставала его за письменным столом.

Почему ты не на воздухе? Ты не слишком много работаешь?

Ну что ты! Это мне только помогает позабыть о своих неприятностях. Слушай, а я тебе показывал письмо Джоса? Опять меня приглашает Всемирная Организация Здравоохранения. Надо ехать в конце июля. Что скажешь?

Не знаю, что тебе сказать, ответила я и спрятала письмо, даже не прочитав его.

Не будешь читать? — разочарованно спросил он.

Разумеется прочту, только дома, в спокойной обстановке, ведь особой спешки нет?

Ему, очевидно, не хватало терпения, потому что уже на другой день я получила от него письмо.

Погода ужасная, сетовал он. Льет как из ведра! А у меня в комнатке слишком тихо и мирно. Мне очень тревожно и все действует на нервы. Все время думаю, принимать женевское предложение или нет. Сам не знаю, могу ли я брать на себя новые обязательства. Как ты считаешь? Эти сомнения меня буквально съедают. Ты уже решила? Если да, то поговори с секретарем факультета, ладно? Скоро приедешь? Приезжай! Вчера все было просто и ясно. Когда ты рядом, я верю в себя. Если ж тебя нет... Вот сейчас, например, я разорван на мелкие лоскутки, которые порхают по комнате. Тебе смешно?

Включил радио. *Моя родина.* Гениальная музыка! Не можешь себе представить, как меня трогает! Или я сейчас так все обостренно воспринимаю?

Проблема родины его всегда очень волновала. Родине он посвятил все свои силы, знания и любовь. Самое скромное признание дома означало для него бесконечно больше, чем самые высокие почести, которыми его то и дело осыпали на чужбине.

Последнее время я сама заметила в нем перемену. Прежде всего повышенную отзывчивость на все доброе.

Нужно сражаться за его здоровье, как за все в жизни. Бой — единственное содержание жизни. Нужно драться. Но как? Где тот самый допустимый предел? Достаточно ли у него сил для новых обязательств? Пусть соглашается, если предложение так привлекает его.

Снова и снова перечитываю я письмо Джоса.

Руководитель секции туберкулезных заболеваний Всемирной Организации Здравоохранения считал, что следует подвести итоги международной акции по прививкам. Несколько заполненных мелким шрифтом страничек. Почти сплошь специальные термины, и в конце письма предложение, которое требует немедленного ответа.

Принять ли ему должность чрезвычайного эксперта сроком на шесть месяцев? Сможет ли он за столь короткое время разобраться во всем и представить исчерпывающий доклад?

Я советовалась с врачами, коллегами, друзьями, собирала самые разные суждения.

Он еще не готов для серьезных занятий... Умеренная работа могла бы ему помочь... Совершенно исключено, ведь он должен отдыхать, отдыхать, отдыхать... Никаких перегрузок... Бездельничая, он никогда не выкарабкается. Рано или поздно ему придется снова приняться за работу... Он должен испытать свои силы.

Но эта должность чрезвычайного эксперта меня беспокоила. Беспокоила из-за ограниченного срока. Что делать? Конечно, интересная работа не может никому повредить. Только он должен разумно к ней подойти. С чувством меры. А что значит разумно? И какое чувство меры истинное?

Все эти вопросы и ответы мы потом обсуждали вместе. И хотя мы несколько раз перечитали письмо Джоса, и вместе и каждый в отдельности, срок не становился больше.

Меня это беспокоит, в который раз осторожно начинаю я.

Тебе срок кажется небольшим? — бодро спрашивал он, и я чувствовала, что ему уже не терпится приняться за дело.

Только не спеши, умоляла я его, хорошенько все обдумай!

Да ведь я только это и делаю! — вздохнул он и посмотрел в окно.

Солнце падало прямо на его письменный стол. Папиросная бумага, вложенная в машинку, свернулась от жары.

С тех пор, как я получил это письмо, сомнения одолевают меня. С одной стороны, дело мне по душе, а с другой — я боюсь... А ты, как ты считаешь?

Я колебалась. Напряженная работа потребует от него много сил! А какая работа не требует сил? И вообще, что может быть прекраснее дела, которое тебя радует?

Со своими колебаниями, впрочем, он быстро справился, да и мои больше не принимал в расчет. Он убедил меня, и мы телеграфировали о его согласии.

В июле он уехал.

В поезде он снова перечитывал это письмо, и настроение его менялось. От твердой веры в себя переходил к отчаянию. И только после разговора с Джосом все прояснилось.

Задача была такой обширной, что даже целая комиссия вряд ли решила бы ее в течение года. Судя по всему, никто не отваживался взяться за ее решение, а он просто-напросто попал в западню.

Если б хоть ты была со мной! — сетовал он в своем первом письме. Мне так не хватает твоей энергии, сейчас она мне дьявольски нужна! О моем здоровье не беспокойся, я обязательно покажусь врачам!

И несколько дней спустя:

Я обложен материалами, как ватой, из которой изредка высовываю нос, чтобы глотнуть свежего воздуха! А крайне нужные данные получаю с трудом. По-прежнему нахожусь в начальной стадии работы: обдумываю общий план. И каждый день у меня головные боли. Но если судить по анализам, все как будто в порядке: гемоглобин 92%, давление 150 и так далее и тому подобное. В легких чисто!

■ ■ ■

Бесконечно долгая белая ночь. Только три? Позвоню в больницу.

Пожалуйста, тихо говорю в трубку, опасаясь разбудить Мариан, позовите дежурную сестру.

А Мариан уже в комнате. Как дух. Как ангел ночи.

Что случилось?

Я качаю головой. Звоню дежурной сестре... Сестра? Как дела?.. Он не просыпался? Хорошо, спасибо. У вас ведь есть мой номер телефона, да? Большое вам спасибо, спокойной ночи!

Я тебя разбудила? — спрашиваю Мариан, ты испугалась?

Ох, что ты, ведь я еще не спала, а ты?

Я все думаю — где, когда это началось...

Очевидно, катастрофа?

Нет. После той катастрофы он очень активно работал. Но еще до нее у него иногда бывало такое состояние, которое очень напоминало теперешнюю болезнь. Это случалось всякий раз, когда по тем или иным обстоятельствам его работа теряла смысл.

Какое состояние ты имеешь в виду?

Как тебе объяснить! У него будто наступал паралич воли.

1951:

Он в Белграде. Простенькая студенческая комната. В ней старый кособокий письменный стол, постоянно заваленный книгами и рукописями. На полу, на стульях кипы книг и бумаг.

Прошу вас садиться, поддразниваю я его, в тщетной надежде озираясь вокруг. У тебя не найдется еще одного стула?

Но сегодня ему не до шуток. У него голова идет кругом от предстоящего доклада.

Для него очевидно, что войну против туберкулеза нужно вести из одного центра. Действия должны быть согласованы, нужно наладить контроль и проверку исполнения. Для него очевидно, что...

С утра до вечера доклады, лекции, заседания.

Как увязать проблемы эпидемиологии и требования профилактики в медицине с децентрализацией? И что сейчас наиболее важно в борьбе против туберкулеза как массового заболевания?

Коллега Воя упорно уговаривает его согласиться на объединение с клиникой.

Ни в коем случае! Слияние с существующей клиникой для меня неприемлемо! Я вам уже давно предлагал открыть кафедру эпидемиологии и социальной патологии. А против слияния я решительно возражаю. Я не могу принимать к себе работников, если заранее знаю, что сотрудничества не получится!

Мы все устроим, не беспокойся! Главное, чтобы ты остался. Чтобы работа велась под твоим руководством.

Доклад отложили. Он и сам не верит, что с массовым заболеванием можно бороться на основе добровольных соглашений. Даже с помощью авторитетного центра немногого смогли добиться.

А должны.

В области борьбы с туберкулезом за последние двадцать лет произошли огромные изменения. Они заставляют нас пересмотреть свои прежние взгляды. Нам нужно развивать научно-исследовательскую работу, чтобы окончательно ликвидировать это заболевание.

Телефон.

Совещание комитета. Совещание в Центральном правлении Красного Креста. В министерстве...

А вечером движемся дальше...

Почему же Югославия, несмотря на стремительный подъем экономики, несмотря на развитие всех сил общества и непрерывное повышение уровня здравоохранения... в сравнении с государствами, идущими похожим путем... в борьбе против туберкулеза отстает. *Отстает.* В среднем по всей стране чахотка не сдает своих позиций, я имею в виду как число заболеваний, так и остроту процесса.

Неужели так серьезно?

Да, и данные коллеги Савича это подтверждают! Разумеется, есть различия по республикам, по местностям. И хотя важную роль играют общественно-экономические условия, факт остается фактом.

Что же делать?

Следует бросить все наши силы туда, где это больше всего необходимо. Мы должны работать для всего *общества*, а не для отдельных личностей...

Другой важнейший принцип заключается в том, что мы должны добиваться максимальных успехов с минимальными затратами. Тривиально звучит, правда? Но когда видишь, как легко этот принцип забывается, совсем не думаешь о тривиальности! Одни сверх всякой меры расточительны, другие экономят там, где не нужно!..

Третье важнейшее условие... борьба против туберкулеза как массового заболевания возможна только по заранее разработанному плану. Детально продуманному и в то же время гибкому. Но для подготовки такого плана опять-таки необходимо ориентироваться в эпидемиологической ситуации и четко представлять, какими возможностями мы располагаем на данном этапе. Ведь только так мы определим стратегию и тактику и решим, как лучше распределить наши силы...

Идем дальше. Поскольку в условиях децентрализации уже самая идея руководства из одного центра отпадает, значит, мы должны будем сами договариваться о...

Ох, как все запутано! — он обхватил голову, ведь даже при руководстве из одного центра не все шло гладко! Больше не могу!

И не надо, быстро согласилась я, хватит на сегодня! И включила радио.

Шестая — Патетическая — Чайковского.

Странно, наши станции передают самую чудесную музыку чуть ли не глубокой ночью.

Он и теперь у меня перед глазами. Оперся локтем о стол и спрятал лицо в ладонях. Все тело дрожит от душевного и физического переутомления.

Всю следующую неделю он не мог по-настоящему работать. Подавленный, целыми днями бродил от стола к постели. Его все время клонило ко сну и мучили сильные головокружения.

■ ■ ■

Я смотрю на Мариан, которая не переставая ходит из угла в угол. Будто потерянная душа. То исчезает во тьме, то выходит к свету. Поблескивают стекла очков. Но я не знаю, открыты ли у нее глаза или зажмурены.

Успокойся, пожалуйста, прошу я. Ну что ты все время бродишь точно призрак. Присядь!

Мариан послушно села на постель, подогнув ноги. Она в черной шелковой пижаме. Не шевельнется. Словно Будда в очках. Я смотрю на ее бледное лицо и вновь погружаюсь в прошлое, оживляя его, восстанавливая оборванную нить.

Из-за начавшейся тогда перестройки в Комитете по здравоохранению воцарилась порядочная неразбериха. Никто не знал, во что выльется эта реорганизация, и многие специалисты возвращались к себе в республики. В разгар суматохи он и получил несколько приглашений из-за границы.

Его приглашали в Копенгаген в Институт туберкулеза Всемирной Организации Здравоохранения, его приглашал Всемирный союз по борьбе с туберкулезом на должность секретаря исполкома. Но его звали и в Словению, где предлагали прочесть курс лекций в университете и взять на себя руководство санаториями в Приморье.

При таком количестве приглашений, шутила я, тебе придется четвертовать себя! А что же с Белградом?

Это самое важное, сказал он. Чего бы я только не отдал, плюнул бы на все приглашения в мире, если б мог по-настоящему работать дома! Попрошу встречи с министром.

Но еще до этой встречи положение прояснилось само собой. Децентрализация набирала темп, и у многих уже не было уверенности в том, что без него не смогут обойтись.

Совещание у министра. Участники его уютно расположились в глубоких креслах, пили кофе, курили, беседовали о разных, ничего не значащих вещах.

Убедившись, что толку из такой беседы не будет, он попросил слова.

Товарищи, я предлагаю поговорить откровенно. Отведаем, так сказать, неразбавленного вина. Я получил несколько интересных предложений. Мне хотелось бы знать, какие у вас планы в отношении меня. Чего вы от меня хотите? Я учту ваши пожелания и приму решение!

Он умолк. Потом спокойно потягивал сигарету, пережидая, когда схлынет поток комплиментов, планов и проектов. Из этой словесной лавины он понял, что все хотят, чтобы он остался в Белграде. Однако конкретной работы ему предложить не могут. Вот, правда, если он согласится на слияние с фтизиатрической клиникой...

Как раз это я обсуждать не стану. Руководство делить я ни с кем не намерен. У меня есть горький опыт...

Но мы ведь собираемся преобразовать фтизиатрическую клинику в институт...

По существу это ничего не изменит. Еще что?

Мы планируем строительство крупного санатория на четыреста мест. Это даст возможность развернуться... Как ты считаешь?

Слияние с фтизиатрической клиникой исключается, это первое. Строительство санатория — пока только перспектива, это второе. Я же считаю, что нам следует решать вопросы кардинально. Все мы знаем, что следовало бы предпринять: отправить на пенсию нынешнего руководителя клиники. Коль скоро этого сделать нельзя, у меня есть конкретное предложение, которое всех устроит.

На мое место, продолжал он, вонзив взгляд в министра, и тот нервным движением стряхнул на ковер пепел, идет серб — ваш человек. Нынешняя реорганизация продлится еще долго, такие дела за неделю не делаются! Используйте это время и отправьте нескольких человек за границу, на специализацию. Подготовьте своих профессоров-фтизиатров, не откладывайте! Позаботьтесь о смене!

Все протесты и уговоры после этого были пустой формальностью. У всех отлегло на душе. А он вернулся в Словению.

■ ■ ■

Почему ты молчишь? — спрашивает Мариан. О чем ты задумалась?

Я вспоминала то время, когда он вот так бесцельно погружался в ничто, в пустоту. Время, которое для зрелого человека с каждым днем становится все драгоценнее, которое необходимо использовать. А его силы между тем применить было некуда! Ощущение, что дома ты никому не нужен, убивает. В Словении у него не было даже клиники, а санаторий еще только строился...

Идем-ка лучше спать, ведь скоро рассвет.

Я до смерти устала и постараюсь больше ни о чем не думать. Не думать даже о том, что одни люди все силы отдают работе, а другие — заняты только собой. Он принадлежал к первым. Обществу, которое сумело бы правильно использовать его, и по сей день пригодились бы его обширные знания, опыт. И по сей день...

Все-таки мы чуточку поспали. Поедем в больницу?

Мариан считает, что слишком рано. Мы только помешаем врачам. Дай мне еще кофе, пожалуйста!

Я прекрасно знаю, что Мариан кофе не любит. Она нарочно медлит.

Ведь мы могли бы подождать и в больнице! Мне там как-то легче!

Судя по всему, мы слишком рано явились.

Мариан отдергивает шторы и настежь распахивает окна. Правильно, только так.

Я прилипаю к двери в его палату и осторожно пытаюсь ее отворить. Оглядываюсь на Мариан, да перестань ты метаться по комнате. Она выбрасывает окурки и перехватывает мой взгляд. Ну что?

Жестами я подзываю ее.

И когда она оказывается рядом со мной, я медленно, осторожно, опасаясь малейшего скрипа, отворяю дверь. Так и есть.

А чего мы, собственно, ждали?

Мы обе стараемся скрыть свое разочарование. В конце концов было бы уж слишком самонадеянно думать, что он проснется и нас узнает!

Я стою у двери, за которой таилось столько надежд.

Ну, ты будешь смотреть эти бумаги? — спрашивает Мариан, протягивая мне папку. Я ведь тебе говорила, что еще слишком рано. Пока не будет утреннего обхода... Впрочем, после снотворного мы все выглядим немного странно...

Стучат?

Да. Это — сестры. Мы уходим на веранду, чтобы не мешать им.

Молча стоим возле перил. Дым наших сигарет привольно плавает, гонимый слабым ветерком. Потом Мариан спрашивает, выйдет ли он еще на эту веранду, как два, нет, три года назад...

Вернувшись в палату, я просматриваю его дневники, письма и рассказываю Мариан о том, как мы переселились в Сежану.

1951:

Переоборудование больницы в полном разгаре. На письменном столе у него груды проектов. В кабинете пеленой стелется табачный дым. В доме все время люди. Архитекторы, прорабы, поварихи. Все хотят помочь своими советами. Спорят, потом снова разбегаются по стройке и снова прикидывают, раздумывают...

Наш пострел везде поспел! — пытаюсь я вечером шутить.

Да, мне жалко своего времени, отвечает он, задумчиво глядя в открытое окно. В конце концов у меня его не так уж много остается. Надо бы заняться своей работой, знаю! Но что поделаешь, если в данный момент у меня нет такой возможности...

Однако его достаточно высоко ценили за границей, и Всемирная Организация Здравоохранения пригласила его как специалиста в Копенгаген.

Мариан хорошо помнит то время. Он писал ей в Париж, хотел, чтобы и она работала в Институте борьбы против туберкулеза.

Я знаю, он рассказывал. Работа в институте сделала его совсем другим человеком, хотя он пробыл там каких-нибудь несколько месяцев.

Прочесть тебе некоторые его письма, а?

...ну вот, теперь мое время снова нормально течет. Дома дни ползли, как улитки, а теперь мчатся. И помчатся еще быстрее, потому что работа целиком захватила меня! Я живу в атмосфере научного поиска. Атмосфере, которую я, к сожалению, вряд ли бы смог создать у нас. Работы, конечно, много, но условия великолепные, о таких человек может только мечтать. Ты понимаешь, что я имею в виду.

Эти слова мне придется разъяснить. Она ведь не знает, что в первые послевоенные годы у нас не хватало даже самых обычных кан-

целярских товаров, не говоря уж о пишущих и счетных машинах, диктофонах и тому подобном.

И о зависти Ее достаточно везде, но в этом институте работал дружный коллектив, и ей здесь не было места.

Лидия тоже была в этой группе? — с любопытством спросила Мариан. Впрочем, почитай еще!

...Мир окутан серым туманом. В порту непрерывно воет сирена, чтобы корабли не столкнулись друг с другом, воет надрывно и тоскливо — у-у-у! Но мне это ничуть не мешает! Потому что мы с моей сотрудницей (помнишь Лидию из Бари?) только что закончили очень любопытный эксперимент. Трудились от зари до зари.

Не скучай! И чтобы ты не волновалась за меня, признаюсь, что работа здесь мне доставляет истинное наслаждение.

Потом он писал мне из Норвегии.

А через три месяца, если меня не подводит память, он вернулся на стройку, на которой мало что за это время изменилось.

Стоя на балконе, мы смотрели на двух рабочих, а те, в свою очередь, опершись на лопаты, смотрели на солнце. Полдень? Может, хватит на сегодня? Они не спешили. Водопровод по-прежнему был только на бумаге. Денег ни гроша. Только груды проектов переносили с заседания на заседание. А без денег стройка не сдвинется с места. И с клиникой обстоит не лучше.

Не знаю, чем заняться. Оказался не у дел.

И все-таки тебе следует что-то предпринять.

Да, конечно...

Если ты считаешь, что зря тратишь здесь время, решайся и принимай приглашение из Женевы.

Но все эти переезды меня дьявольски утомляют. Мне уже под шестьдесят, а здесь потребуется определенная гибкость, она же никогда не была мне свойственна.

1952:

Два невыносимо долгих месяца перед отъездом в Женеву.

Однажды я вошла к нему в комнату, он сидел за письменным столом и листал какие-то бумаги.

Ты собираешься писать? — обрадовалась я. Меня никогда не покидала надежда, что он напишет курс лекций, подготовит учебник или еще что-то в этом роде. Пишешь?

Нет, просто разбираюсь.

А не хотел бы ты?..

Мне трудно сосредоточиться. Попытаюсь.

После обеда он сел раскладывать пасьянс.

Не жаль времени?

Мало ли чего жаль!

Поднялся из-за стола и лег в постель. Среди бела дня.

Тебе нехорошо?

Да так. Голова что-то кружится, пройдет!

■ ■ ■

Значит, уже тогда, почти двадцать лет назад, у него начались приступы апатии, рождавшие во мне страх и печаль. Это случалось и позд-

нее. Всякий раз, когда он чувствовал, что не может заняться настоящим делом и что...

Тише! Тише!

Что такое?

Сюда кто-то идет.

Мы разом повернулись к двери.

Два врача и старшая сестра. С сосредоточенными замкнутыми лицами. Слегка кивнули в ответ на наше приветствие и прошли в его палату.

Мы обе замерли. Я судорожно цеплялась за свою надежду. Мы будем упорно сражаться за его здоровье. Жизнь — вечный бой, твержу я себе.

Смотрю на Мариан. Лицо ее точно высечено из мрамора. Она не сводит неподвижного взгляда с ногтей, покрытых лаком.

Но ведь ты не знаешь, какие сверхъестественные силы появляются у людей, когда им угрожает смертельная опасность!

На ее поникшей голове лежит солнечный луч. Точно белая бабочка на темном цветке.

Они вышли. Оба доктора и старшая сестра, серьезные, озабоченные.

Мы садимся вокруг столика посреди комнаты. Глотаем кофе, бог весть кем поданный, и курим.

Я не различаю их голоса. Заставляю себя сосредоточиться, вникнуть в слова, которые бьют мне в уши. Ригидность [1]. Нарушение мозгового кровообращения. Прогрессирующий процесс.

Я начинаю сердиться. Не из-за этих слов, но из-за того, как они произнесены. Неужели они все не хотят принять во внимание... В конце концов течение болезни зависит и от...

Снова мы вдвоем с Мариан. Не помню, когда врачи ушли. Мариан с разгоревшимся лицом что-то мне втолковывает. Даже руками размахивает, хотя обычно она очень сдержана.

Я говорю, что можно ожидать... Прости, тебе нехорошо?

Не знаю. Вот здесь где-то лежит тяжелый камень. Но ведь любую физическую боль можно подавить с помощью...

Пожалуйста! Возьми себя в руки. Ты не можешь вынести правды?

...разума. Значит, силой разума мы можем устранить болезнь.

Дети пришли все вместе. Четверо его и мой. Когда они здесь, все по-другому. Мне стало легче, и теперь я даже могу разговаривать. Рассказываю им, как обстоят дела. И подчеркиваю главное: надо надеяться... В ближайшие дни все прояснится. А может быть, через неделю, через две...

Предлагаю сигареты. Ох, в самом деле, ведь я забыла, что ты не куришь. А помнишь, как в прошлом году он быстро поправился?

Как не помнить!

Ну так вот. И на этот раз ничего страшного не произойдет, верно?

Они охотно верят мне и надеются, хотя трое из них сами врачи. Но сейчас они прислушиваются к моим словам.

Внушая им надежду, я сама собираюсь с силами. И я тоже убеж-

[1] Оцепенелость, вызванная напряжением мышц.

дена, что все кончится хорошо. Ведь природа иногда творит чудеса! Об этом нельзя забывать!

Ну, пожалуйста, прошу тебя, не плачь! Ради отца ты должна быть сильной. Если ты дрогнешь, он лишится последней опоры, слышишь?

Мы разговариваем вполголоса, пытаемся обсудить наши повседневные дела, но снова и снова возвращаемся к тому, что нас тревожит.

Как он хорошо себя чувствовал, когда мы виделись в последний раз.

Может быть, поздно обратились к врачам?

А как было два года назад?

Это было три года назад!

Да, да, три года. Он тогда еще не совсем поправился, но уже сел за письменный стол, вот этот самый, и работал, работал...

Наконец они уходят. Поочередно прощаются. Завтра придут снова.

Хочешь, я останусь с тобой?

Ни за что. Я тебе позвоню, если... да ведь ничего страшного не случится, не беспокойся!

После их ухода мы с Мариан сидим молча. Пустые — точно воздушные шары, из которых выпустили воздух.

А через три дня Мариан должна уезжать. Ее ждет срочная работа. Недобрые предчувствия одолевают ее.

Перед самым отъездом мы идем к нему Мариан наклоняется, что-то говорит И он на нас смотрит Даже делает вид, будто все понимает. Улыбается Потом пытается поднять свои жалкие, высохшие руки. Точно хочет сказать, видите, как хорошо я уже владею своими руками?

Ждем поезда на перроне. Сморкаемся, точно у обеих сильный насморк. А может быть, это и от погоды. К вечеру температура так резко понижается.

Ну вот, мы обо всем договорились? Дома я бываю около десяти. Пожалуйста, звони!

Поезд трогается. Мариан стоит у окна. Светлая фигура в черной раме. А потом я вижу только ее вяло машущую мне руку. И вот Мариан уже точка которую я с трудом могла бы различить, даже если бы у меня были совсем сухие глаза.

Всю дорогу домой пытаюсь избавиться от назойливых тревожных мыслей Выравниваю ритм дыхания соответственно ритму ходьбы. Четыре шага — вдох. Полный, как у йогов, вдох. Следующие четыре — задерживаю дыхание, затем — долгий выдох. И снова. Без устали. До самого дома.

Принимаю снотворное и ложусь. Завтра — новый день.

Сразу после двух я отправляюсь в больницу. У лифта встречаю одного из наших знакомых, тоже врача.

Опять? Зачем? Ведь ты ничего не изменишь. Я даже не знаю, нужна ли ты еще ему.

Ты так считаешь?

За ним здесь прекрасно ухаживают. Тебе надо подумать о себе. Ведь это может растянуться до бесконечности!

Но ведь я не просто так хожу к нему, говорю я себе, я делаю это с радостью. Я все больше и больше убеждаюсь, что он действительно нуждается во мне. И я уже привыкаю к его нынешнему образу жизни. Меня ничто не смущает.

Сперва заглядываю в щелочку, только чтобы понять, как дела.

Он дремлет. Лицо его как сплошное тусклое пятно.

Тихонько вхожу в комнату и разглядываю его. Со вчерашнего дня он ничуть не изменился.

Рот приоткрыт, дыхание чуть заметно, опущенные веки подрагивают. Лежащие поверх одеяла руки сжаты в кулаки. Чуть позже, проснувшись, он поднимает ладонь в знак привета, не замечая, как она у него сведена. Обеими руками я пытаюсь разжать кулак. Однако пальцы его сжимаются сами собой. Это плохой признак. Надо как-то помешать его ногтям вонзиться в ладони. Надо купить резиновые мячики и сунуть ему в руки. Маленькие, пестрые детские мячики, которых я нигде не могу найти. Продаются только большие мячи. Или шарики для пинг-понга, но они слишком малы и выскальзывают у него из рук.

Однако вскоре мне удалось их купить. Ему стало полегче. Но когда судорога проходит и пальцы обретают некоторую свободу, мячики выкатываются у него из рук. Я подбираю их и снова втискиваю в ладонь. Нет, ей-богу, ему и впрямь становится лучше. Когда он не спит, пальцы у него чуть-чуть двигаются.

Разумеется, ему становится лучше, упорствую я, стараясь не замечать удивленных взглядов окружающих. Вы не так часто бываете у него, и вам трудно заметить небольшое улучшение. Вам трудно понять, ведь неделю назад его положение вообще было отчаянным, и нынешнее состояние — хотя и не бог знает какой прогресс — все же лучше вчерашнего!

Он спит, и я сижу за его письменным столом в соседней комнате. Потом кормлю его. Он никогда не был таким худым, как сейчас. Кожа да кости. Ребра наперечет, хотя ест он неплохо. И даже пытается взглядом дать понять, что еда ему нравится.

Я давно заметила существование обратной связи между свободой движения и свободой речи. Так и у него. Если судорога ослабевает и оцепенение чуть-чуть проходит, он едва может говорить. Если же тело скована, слова льются потоком.

Вот, например, сейчас он лежит неподвижно, сжав кулаки, лицо окаменело, но слова бьют из него ключом. Они никак не связаны с окружающей обстановкой, но в них все-таки есть своя логика.

Я опять опаздываю на лекцию! Студенты ждут, а мы все еще возимся, говорит он и умоляюще смотрит на меня.

Ничего, ничего, убеждаю я его, вот только кофе выпьешь, и можно идти! Машина ждет!

Ну, ладно! Тогда хорошо, успокоился он. Я бы не хотел заставлять студентов ждать. Я люблю молодежь. Мне стыдно, что я так мало им даю. А вчера я и вовсе не подготовился. Да, чтоб не позабыть! Диапозитивы у тебя? Проверь, пожалуйста!

Все в сумке, не беспокойся!

Ну тогда пошли?

Уже идем!

Никогда не превышай скорость! Быстрая езда последнее время очень меня утомляет. Начинает кружиться голова, я тебе, кажется, говорил?..

Нет, пожалуй, сегодня мне не придется ехать. Позвони секретарю, извинись! Скажи, что я на конференции. Да, чуть не забыл, завтра гости будут здесь. А кто-нибудь позаботился о гостинице для них?

Разумеется. Позвонила секретарша и сказала, что бронь есть, беспокоиться не надо.

Ну, слава богу! Было бы очень скверно, если б мы не смогли все организовать. Так ты говоришь, что в гостиницах всем хватит места? Несмотря на то, что в городе полно иностранцев? Опять какой-нибудь чемпионат?

Все в порядке, не волнуйся! Спортсмены живут в Гробле.

За городом?

До Гробле рукой подать. А потом им предоставили автобус, он и возит их туда-обратно.

Могли б и мы им помочь, раз нам отремонтировали машину, как ты считаешь?

Могли бы. Вечером я могу отвезти их обратно в Гробле, а утром...

Утром тебе придется приехать сюда, чтоб мы успели написать заключение о слиянии клиники с санаторием. Я давно уже обещал написать, но до сих пор не сделал. Не выходит, да и все тут. Эти вечерние заседания буквально сжирают у меня время. Как это смешно звучит, правда? Сжирают время! Уже половина второго или около того, а я еще не делал обхода. И больные ждут. Дай мне ботинки, пожалуйста.

Тебе помочь?

Нет, не нужно! Ведь я сказал ассистенту, чтоб он начал обход без меня. И он позвонил, сообщил, как обстоят дела. Правда, Селену придется оперировать, но об этом мы поговорим завтра на летучке. Ой, да ведь завтра я не успею! Завтра я еду в Париж на конференцию Союза! Видишь, чуть не забыл! Билет у тебя уже есть?

Есть. Не волнуйся!

Да я и не волнуюсь. Я бы стал волноваться, если б речь шла о самолете. Но у меня-то билет на поезд. Там я могу писать, времени предостаточно. Вот взгляни-ка в окошко, какой вид!

Да, багряная листва точно костер посреди поля. Милый наш Крас! Какое счастье, что мы живем на Красе.

***

Я здесь! Ты меня зовешь?

Ух, как долго я тебя зову! Где ты так долго была? Я уже стал беспокоиться, не случилось ли чего. Но что это? Землетрясение? Кровать трясется!

Мы с сестрой переложили его, и нервная дрожь прекратилась.

Ты обо всем договорилась?

Обо всем. Все тебе шлют привет и просят передать, что им очень тебя недостает, ты понял?

Да? (Лукавый взгляд из-под опущенных век.) Это хорошо, очень хорошо, потому что на самом деле незаменимых людей нет!

И лицо его озарила улыбка.

Ну, вот ты и успокоился, шепчу я. Даже ногти у тебя больше не вонзаются в ладони. Но на всякий случай я всуну мячики, хорошо? Пока человек сражается, он не побежден, хотя и может проиграть. Ты слышишь меня?..

■ ■ ■

Он лежит без движения.

Почему ничего не предпринимают? Неужели все настолько заняты, что никто не может подойти? Где сестра? Сестра-а-а!

И опять все сначала.

Опять я беседую с врачами и тону в бесконечно долгих разговорах. Попытаемся применить новые таблетки, лекарства, уколы.

Опять обследования и консилиумы.

Я должна избавиться от страха. Силой его подавить. Ибо страх убивает людей, уничтожает надежды, страх — самый большой враг человека!

Смотрю на деревья в парке, которые сгибает ветер. Или вслушиваюсь в стук дождевых капель по оконным стеклам. Или просто-напросто вглядываюсь в тусклый свет, гаснущий за тонкими занавесками.

Я знаю, что нельзя. Нельзя плыть по течению. Заколдованный круг я должна пробить активностью, действием.

Машинально сажусь за письменный стол и включаю свет. С тех пор, как уехала Мариан, я забросила его бумаги. А теперь у меня снова есть время. Время, тяжкое и липкое, лежит у меня на раскрытых ладонях. Я отбрасываю его. Отбрасываю обратно в прошлое. И поворачиваюсь к ушедшим годам, точно направляю луч фонаря во мрак. Что, например, было десять лет назад? Я никогда не верила, что именно та катастрофа могла повлечь за собой болезнь. Ведь после нее он много работал, много ездил...

...и отовсюду писал. Из Женевы, из Скандинавских стран. Большое письмо пришло из Польши. Когда я ехал через Галицию, писал он, мне невольно вспомнились годы первой мировой войны. Меня призвали сразу же после окончания гимназии...

1916:

Долгая вереница вагонов, набитых австрийскими солдатами, ползет к Галиции, где наступают войска генерала Брусилова.

Прибыли.

Длинные колонны солдат тянутся от станции разгрузки к полю боя.

Деревушка, куда они следуют, под непрерывным огнем противника. Понтонный мост разбит, дома изрешечены пулями.

Грохот немыслимый.

Густой, низкий туман разрывают ослепительные вспышки, слышится рев орудий, треск пулеметов, рвутся гранаты.

Горстка солдат медленно продвигается вперед. Они падают, прячутся за какими-то кочками, ползут и опять поднимаются. Отдышаться можно только в окопах, к которым, кто знает благодаря какой случайности, вышли. Дьявольская передряга, сущий ад!

По-прежнему моросит, туман рассеивается, и взгляду постепенно открывается опустошенная местность.

Он растерянно озирается по сторонам, не зная, что ему делать.

Нигде ни души.

Его товарищи тараканами расползлись по окопам, и оттуда доносится неясный гул голосов.

Ему показалось, что стрелять стали реже, и он решил осмотреться.

Значит вон там. В той стороне проходит линия русских. Там противник. Какой он? Как выглядит?

Вдруг снова посыпались пули, и он упал на дно окопа. Он в самом деле видел вражеского солдата или ему только показалось?

Он ждал. А когда выстрелы стихли, осторожно приподнял голову... в этот момент пуля его и настигла.

1959:

Путь через Галицию, писал он, невольно отбросил меня почти на полстолетия назад. И я посмеялся над зеленым гимназистом, которого ранило в первый же день едва он высунул нос из окопа!

Собственно говоря я вернулся к действительности лишь на вокзале в возрожденной Варшаве. И поразился. Как только удалось полякам поднять свой город из руин? Он такой же, каким был прежде!

Вопросами здравоохранения здесь, главным образом, занимаются женщины. Сегодня одна из них отвезла меня в министерство, где состоялось первое заседание. И оно прошло успешно, несмотря на обилие языков, на которых мы разговаривали. Истинный Вавилон.

На обратном пути мы осмотрели одну из клиник. Больные преподнесли мне большой букет красных гвоздик. Посылаю тебе несколько лепестков!

Во второй половине дня я увидел группу по прививкам за работой. Организация дела меня вполне удовлетворяет, и замечаний у меня нет. Я побывал также в школе, где делают прививки детям и где нас очень тепло встречали.

В гостинице у меня просторный номер с ванной, но я здесь почти не бываю. У меня всегда времени в обрез. А если б мне и удалось его выкроить, я предпочел бы слоняться по городу. Но пока не выходит Осматриваю больницы, институты и так далее. Женщины-коллеги неумолимы!

Особенно мне нравятся в Польше города. Повсюду зелень, газоны и сады... жаль, что у себя дома мы уделяем озеленению городов мало внимания!

...Только что вернулся из Люблина, расположенного на равнине. А вокруг сосновые леса вспаханные поля...

Под Люблином осматривал институт вакцин, где вырабатывают противодифтеритную сыворотку.

В Люблине существует также институт, где вырабатывают сыворотку против тбц и поливакцину. Производство очень простое, но функционирует отлично. После обеда совершили небольшую экскурсию в старый город, который, подобно Варшаве, был полностью восстановлен. Я любовался ренессансной архитектурой и с удовольствием осмотрел очень богатый музей, расположенный в древней цитадели

...Очень доволен поездкой в Польшу. Удалось собрать много интересных материалов. Исключительно любопытен Институт туберкулеза. Все девяносто его врачей живут в небольших временных помещениях, но клинический тракт на удивление просторный и превосходно оборудованный!

Сегодня возвращаюсь в Женеву.

Не обошлось без осложнений. В результате неправильно оформленных билетов пришлось сделать пересадку в Вене. Воспользовался случаем и выпил чашку кофе в том самом кафе, где несколько лет назад нам было так хорошо.

Я отлично помню то время. Он сообщил мне с Цейлона, что конгресс вскоре состоится в Вене.

Найди возможность и приезжай хотя бы на несколько дней...

1954:

Когда поезд вошел в вокзал, я висела в окошке и сразу заметила его. Эге, здесь я, здесь!

А потом пешком гуляли по Вене, и он взял на себя роль гида. По этим улицам он бродил еще в студенческие годы.

1959:

Телеграмма из Женевы. По дороге в Грецию смогу побыть дома. Разумеется, как всегда, недолго! Ровно столько, чтобы встретиться и вскоре распрощаться.

Время мы использовали максимально. Навестили родных и друзей, повидали много людей, с которыми ему нужно было встретиться. Были вместе, но никогда не оставались одни.

■ ■ ■

...Уже поздно.

Убираю бумаги, подхожу к дверям его комнаты. Затаив дыхание, напряженно вслушиваюсь. Ничего не слышно. Заглянуть? Спит? Дремлет? Ждать ли его сына? А он придет? Да непременно. Как бы он ни был занят, он всегда найдет время, чтоб заскочить к отцу.

Он часто мне рассказывал о своем младшем, способном, но слабо развитом физически мальчике.

Идет! Я узнаю его по быстрой, летящей походке. Только походка осталась у него прежней. Во всем остальном он очень изменился. Похудел, лицо бледное, осунувшееся. Точно сам слабел вместе с отцом.

Ну как дела? Тревожный взгляд в мою сторону.

Пойдем поглядим!

Мы приоткрыли дверь и осторожно, на цыпочках подошли к постели.

В свете ночника он выглядел еще более бледным.

Спит, говорю я, но почему стонет?

Юноша протягивает руку к запястью больного. И взгляд его застывает на секундной стрелке.

Я тоже смотрю на эти часы и вдруг осознаю, что прошло уже два часа с тех пор, как мы с сестрой перевернули его.

Ему тяжело лежать в одном положении, объясняю я. Давай сами переложим?

Он обнял отца и крепко, но нежно прижал его к себе, а я массировала ему спину и расправляла простыни. Не должно быть ни единой складки, ни одной морщинки.

Ну вот, все в порядке. Сейчас придут сестры готовить его к ночи. Пошли?

1965:

Опатия, санаторий. Он жил в комнате с балконом, с которого открывался великолепный вид на побережье.

Он любил сидеть здесь, наслаждаясь морем и солнцем. Или лежал в шезлонге с книгой. И ждал меня.

Я приезжала обычно сразу после обеда, ставила машину и свистела.

Потом мы выходим на прогулку. Идем по тропинке вдоль берега, здесь он обычно гуляет с главным инженером. Его трость в правой руке ударяет в такт шагам: раз, два — тук, раз, два — тук.

А почему бы не провести один из международных семинаров по борьбе с туберкулезом именно в Опатии? Эта идея целиком захватила его, и он готов был отдать ей свои последние силы.

А ты справишься?

Не волнуйся, все будет хорошо! Мариан мне поможет, она приедет сюда на неделю раньше.

Я возражаю, однако недостаточно решительно. Может быть, он прав! Для человека нет ничего хуже, чем ощущение своей ненужности обществу. Это ранит даже молодых, абсолютно здоровых. И они порой готовы пойти на что угодно, только бы их заметили, обратили на них внимание.

Тогда он впервые сказал, что принимает первитин, прелюдин, сама не знаю что еще!

Владо молчит. Широко раскрыв глаза, он смотрит мимо меня куда-то во тьму.

Знаешь, на Цейлоне нет большего мученика, чем одинокий слон. Слон, которого отвергло стадо. Ты понимаешь?

■ ■ ■

Снова суббота. Конец рабочей недели. Раньше, когда он был еще дома, он всегда придумывал, как провести свободный день.

Ну-ка поглядим, сегодня, кажется, суббота?

Завтра будет суббота, сегодня пятница.

Ах, завтра! Значит, есть еще время позвонить в Загреб и пригласить Франьо и Фанику, не возражаешь?

И отвезти их завтра в Шкофью Локу в музей, если они еще там не были.

Были.

Да? Ну, что ж. Отвезем их тогда на Любель. Там они наверняка еще не бывали.

А потом по канатной дороге на Зеленицу, и...

И гигантский слалом вниз!

Ничего прекраснее быть не может!

И когда мы на следующий день повезли друзей на Любель, он не забыл о Зеленице.

Съездим? — предложил он не без колебания, однако с очевидным желанием испытать свои силы.

Франьо и Фаника, оба врачи, испугались.

Не слишком разумно! — возразили они, смущенно улыбаясь. И поглядели на меня, дескать, что ж ты-то молчишь?

Я направилась к канатной дороге.

Фаника подбежала ко мне.

Зачем ты это делаешь, зашептала она, это может ему повредить! Да ему и не забраться на сиденье!

А мы на мгновенье остановим кресло, поможем ему, давай лучше подумаем, как побыстрее все сделать!

И вот мы поднимаемся кверху.

Горы уменьшаются, отступают куда-то вниз, зато целиком раскрывается небо, оно становится огромным и беспредельным, легкие наполняет весенний, холодный воздух, и душа замирает перед безмолвным величием природы.

Я оборачиваюсь, машу ему, что-то кричу.

Ого-го-го! — откликается он. И смеется. Смеется во весь рот и по-мальчишечьи болтает ногами.

Неужели все это было в апреле прошлого года?

Когда мы достигли вершины, пошел снег. Мягкий и обильный, и скоро мы все стали похожи на снежных баб.

А внизу весело смеялись, стряхивая снег с пальто перед входом в маленькое кафе.

Неужели это было всего десять месяцев назад? Сейчас он лежит неподвижно, оцепенело.

Сейчас ему никто не нужен. Он скован сном.

Каждые два часа приходит сестра, чтобы перевернуть его, оправить простыни помассировать спину.

По-прежнему стою в затемненной комнате и вслушиваюсь в его равномерное дыхание. И мне жутко. Мне вдруг показалось, что его уже нет, хотя он еще дышит.

Нет, нет, я не поддамся этому чувству. Потому что он жив в своих письмах и записях.

1959:

Я проснулся в горах северной Греции, утопающих в солнечном свете! Леса в теплых осенних красках. Сверху — синее небо, на котором пасутся белые кудрявые овечки.

Поезд стремительно движется к Афинам.

В Афинах я искал Мака. И мне трудно сказать, нашел я его тогда или нет. Потому что настоящего Мака, того, с которым мы позна-

комились в Женеве и которого я полюбил, больше нет. Теперь это старик, выброшенный жизнью на свалку. Измученный, отупевший.

Я совсем забыла о Маке! Его история совершенно выветрилась у меня из памяти, а ведь когда Мака отстранили от работы во Всемирной Организации Здравоохранения, я была очень огорчена. Его съели сплетнями.

Они работали вместе, и Мак совсем не казался старше, хотя возраст у него был почтенный. Работа шла успешно, и в Маке организация очень нуждалась.

Интриги начались, когда назначили нового руководителя секции. Мака постепенно оттеснили на задний план, а потом и вовсе стали обходить его. И уже не нужны были его знания, его богатый опыт, его рекомендации, его острый ум. Он был обречен.

Во время прощального ужина в Женеве он сидел за столом на почетном месте, но глаза у него были печальные.

В его честь произносили тосты, говорили, как много он сделал для спасения человеческих жизней, желали ему дальнейшей успешной научной деятельности, хотя все знали что отныне он будет безвыездно жить в Афинах в скромной квартире, вдали от всего.

Поздно за полночь мы проводили его до гостиницы. Он шел тяжело опираясь на наши руки, и ему никак не удавалось попасть с нами в ногу.

Sic transit gloria...[1] усмехнулся он, прощаясь.

■ ■ ■

Весь этот длинный день Мак не выходит у меня из головы. Мак, для которого так много значила работа и так мало — личная жизнь. Мак, целиком посвятивший себя обществу и зависящий от него. Мак, которого опутали интригами и выставили. И он сдался.

Но ведь он — не Мак! И в Греции у него не будет времени думать об этом. Он должен проверить работу институтов и диспансеров...

1959:

Наш автобус взбирается на Парнас. Гора Аполлона, Диониса и муз.

Камни среди вереска. Самые разные оттенки лилового и серого.

Пастбища еще пустынны. Скот перегнали выше в горы. Повсюду стройные кипарисы. Как юные животные. Как дети. И все дышит близостью Средиземного моря.

Тысяча метров над уровнем моря.

Вылезаем из автобуса, полной грудью вдыхаем горный воздух.

Вот эту деревушку нужно сфотографировать, как она называется? Арах?.. Арах, паук, Арахна, ткачиха из Лидии, да? Та самая, что бросила вызов Афине Палладе. Та самая, что изобразила на полотне амурные приключения богов. Афина, конечно, разгневалась, уничтожила ткань, а самое ткачиху обратила в паука. Вот что случается

[1] Так проходит слава... *(лат.)*

с человеком, если он шутит с богами или прохаживается по их адресу!

Ты рассказываешь коллегам, что у нас в Македонии есть очень похожие деревушки. Только вместо колоколен в небо устремляется тонкий минарет.

На узких улочках Араха местные жители продают изделия ручной работы. Как у нас в Македонии, скажешь ты, точь-в-точь!

Целых два часа осматривали мы Дельфы. Даже на холм взобрались и отведали чистой студеной воды из священного Кастальского ключа.

А гостиница выстроена на самом краю пропасти представляешь? Внизу голубое море, над головой синее небо, а кругом острые скалы и высокие, тонкие сосны...

...и в горах выстрелы, чье эхо разносится в скалах, и звон колокола... ди-динь... ди-динь...

■ ■ ■

Разумеется, телефон. Должно быть, я задремала Ошибка.

В полусне у меня все перепуталось: его поездка по Греции и наше возвращение из Соединенных Штатов.

1946:

Старенький турецкий пароход везет нас из Нью-Йорка в Пирей.

Когда мы уезжали из Нью Йорка, началась забастовка моряков. Выбора у нас не было, и пришлось сесть на этот захудалый пароходишко.

И по сей день я ощущаю под ногами покачивающуюся палубу. Четырнадцать дней плаванья при безоблачном небе.

Уже спозаранку я нашла его на палубе Не поднимая глаз от пишушей машинки, он сунул мне несколько страничек отчета, почитай!

Отчет военной делегации Красного Креста Югославии Делегация из трех человек пересекла Соединенные Штаты Америки от Атлантического до Тихоокеанского побережья И Канаду от Ванкувера до Монреаля.

С раннего утра до поздней ночи переговоры выступления на митингах в различных обществах по радио. В среде которая ему чужда как никакая другая в мире Все вокруг озабочены только одним — добыванием выколачиванием денег. Денег, которые дают силу, власть и которые уродуют человека...

И вместе с тем удивительный народ Особенно старые переселенцы. Возможно, впервые в жизни испытывающие гордость за свою родину которую им пришлось покинуть Они волновались до слез, слушая нас. Они отдадут последний цент если потребуется! Они готовы помочь! Everything for the Old Country[1].

Нет, так мы не хотим! Не так «for the Old Country»! Мы намерены принести это в дар *своему* краю! Какому-нибудь острову в Далмации или Конавле, или какой-нибудь деревушке в Белой Крайне Только так.

[1] Все для старой родины *(англ.)*.

Каждая группа сама по себе, строго изолирована от остальных. И внутри этих групп тоже нет согласия. Отдельные деревья, леса нет.

Мы измучились. Убеждали, разъясняли. Предлагали свой план помощи родине. Детская больница в Словении будет предназначена для *всех* детей, в том числе и для тех, что родились в твоей деревне, в Белой Крайне, как ты этого не понимаешь?

Да нет, ты нас пойми! Мы всего лишь горстка людей! Годами копили деньги, чтобы помочь родному краю. Почему ты нам не даешь поликлиники?

Ух!

И жгучая тоска по родине. С каждым днем все более невыносимая. Испытываемая постоянно, хотя дел очень много. В особенности у руководителя делегации, который в ответе за все.

Его приглашают во многие места. Его называют Ambassador of good will [1]. Он успокаивает, убеждает. Занятый до предела, он всюду успевает, укрепляет организацию и не выпускает бразды правления. Чтобы сберечь время, ездит только по ночам. И хотя сильно похудел, по-прежнему остается решительным и бодрым.

Как ты все это выдерживаешь? — удивлялись мы с Гайо.

Он только весело улыбался.

Я понимаю, что именно вот такая, с широким размахом работа — та стихия, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Он убежден в правоте своего дела, и успехи не замедлят сказаться.

Отчет подробный и содержит все необходимые сведения. Даже в избытке! Это уже не отчет, а роман! Только кто его прочитает?

Пока ты!

Я не могу. Хватит с меня Америки, по горло сыта! Давай пройдемся лучше по палубе, насладимся утренней свежестью, ведь времени достаточно!

Более чем достаточно.

Пирей.

Первые шаги по земле Балкан. Теперь все будет в порядке. Мы почти дома!

Попытаемся пароходом?

Говорят югославских судов пока не ожидается.

Тогда поездом?

Поезда тоже не ходят!

И тут меня осенило — ведь у нас есть два джипа, приобретенных для нужд югославского Красного Креста.

Может, на автомобилях?

Это невозможно.

Поездки из Греции в Югославию запрещены На дорогах небезопасно. Особенно на горных перевалах. Разве вы не слыхали о партизанах Маркоса?

Но нам нужно домой!

Маленький смуглый лейтенантик с блестящими глазами продолжает горячо убеждать нас, что ехать на машине очень опасно.

Что же тогда делать?

---

[1] Посол доброй воли *(англ.)*.

Спросите в министерстве.

И вот мы бегаем из учреждения в учреждение. Одного чиновника нет, другой — на заседании, третий — болен, четвертый — только господь бог ведает где! И стереотипный ответ: приходите завтра!

Мы осматриваем памятники, купаемся в море и посиживаем в маленькой кофейне на углу, где варят настоящий сербский кофе — по-домашнему.

Пошли к Акрополю?

Но у Акрополя мы были уже много раз. И при свете луны и при свете солнца.

Что тебя туда тянет? Тебе так нравятся развалины?

Да. Я могу любоваться ими часами. Там я не чувствую, как убегает время.

А время между тем убегало, и нам тоже пришлось как следует побегать, чтобы выбраться из ловушки.

Он носился из канцелярии в канцелярию со своей толстой сумкой, набитой миллионами драхм, чтобы смягчить сердца чиновников, сидевших за решетчатыми оконцами. В конце концов ему удалось получить необходимое разрешение на выезд.

Склонившись над картой, мы намечали маршрут. Сперва в Ларису, затем Салоники и Белград.

Если мы будем ехать днем и ночью, рассуждала я, мы можем быть дома уже через... *Дома.* Вы представляете, что это значит? Я думаю о той минуте, когда мы окажемся на границе, и судорога сжимает мне горло. Придется сильно сдерживать себя, чтобы не упасть на землю и не поцеловать ее. И только потом, когда мы окажемся достаточно далеко, когда нас никто не увидит, мы поцелуем эту землю. Свою землю. А потом напьемся прозрачной воды из журчащего источника, поцелуем друг друга, украдкой смахнем слезы и отправимся дальше.

Мы в самом деле двигались днем и ночью по этим немыслимым дорогам. Иногда со скоростью улитки. Он ехал первым, таща за собой тяжелый прицеп, мы с Гайо следом.

У подножья Олимпа останавливаемся на ночлег. Серебристый лунный свет, погруженная в сон окрестность и вдруг — автоматные очереди, которые эхо разносит меж скал и сбрасывает в бездонные пропасти.

Тебе не страшно? — спрашиваю я.

Он с удивлением посмотрел на меня, наверное, ему тоже не по себе. Но это не мешает ему любоваться окружающей красотой.

Вот прими, он протянул мне таблетку, и поезжай за мной. А по дороге впитывай всю эту красоту. Да я и по глазам твоим вижу, что ты уже ничего не боишься.

Как легко он убеждает меня, что я лучше, чем есть на самом деле. И не только меня, любого. Всегда.

■ ■ ■

Он не должен нас покинуть. Я не могу это допустить. Завтра же поговорю с врачами. Они должны помочь. Слишком многие в нем нуждаются!

Например, маленькая Татьянца. У нее подозревают саркому плечевого сустава. Белые от ужаса лица матери и отца, судорога сжимает им горло, они едва могут говорить.

Ампутация руки?

Это невозможно!

Подожди, маленькая, вот дядя посмотрит, и все будет хорошо. Он посоветует, он все сделает, все.

И бабушка Татьянцы, которая уже седьмой год лежит неподвижно. Лицо у нее белое как бумага: она не сводит больших светлых глаз со входной двери.

Ох, хоть бы господин профессор пришел!

Придет, конечно придет. Он всегда приходит, и стоит ему взять ее за руку, как старой женщине становится легче.

Вы верите, что мне лучше?

Верит. Верит всей душой, всем сердцем, хотя знает, как у нее обстоят дела.

Скольким людям он помог, а ему никто не может. Как мне ему помочь? А вдруг мне не хватает веры? Может, в этом причина? Гоню от себя тяжкие, мрачные мысли и цепляюсь за тонкие нити надежды...

■ ■ ■

Тебе лучше? — Я буквально порхаю по комнате, так что его широко раскрытые глаза едва за мной поспевают.

Какая ты веселая!

Да. Врач говорит, что мы начнем с массажа ног, укрепим мышцы, что мы...

Врач говорит???

Сегодня ему лучше. Тело еще, правда, сводят судороги, и надо следить за руками, сжимающимися в кулаки, но он пытается разговаривать.

Ему в самом деле лучше? Ох, если б это было так! Почему мы не можем энергию одного человека передавать другому? Ведь это так просто Переливаем же мы воду из одного сосуда в другой Наклонилась бы я над ним и перелила в него свою волю, здоровье, силу — чтобы он поскорее встал на ноги и вышел на веранду.

Смотри, как хорошо! — сказал бы он. Взгляд его скользил бы по зеленым кустарникам, по кудрявым кронам деревьев, а потом унесся бы вдаль, к темным горам на горизонте. Как прекрасна наша страна, добавил бы он, вот только ноги окрепнут, и отправимся в горы!

Непременно отправимся, но сперва ему придется навестить больных, которые его ждут. Больных нельзя разочаровывать.

И еще нужно будет подготовиться к лекции, просмотреть номера «Туберкулеза», написать доклад для конференции, для конгресса... Какое счастье, что он рвется к работе, что люди ждут его, что он нужен обществу. Ничто не могло вывести его из равновесия. Взятые на себя в Женеве обязательства он выполнял с легкостью и радостью. Вопреки небольшим срокам, безжалостно преследующим его, вопреки утомительным поездкам...

В Греции, например, он посетил много районов, чтобы собрать как можно больше материала...

■ ■ ■

Вы понимаете, что я имею в виду? — спрашиваю я Брацо и Секу, которые вместе со мной ожидают, пока закончится осмотр.

Понимаете, что это для него значит? *После* долгого вынужденного перерыва снова приняться за настоящее дело!

Помните, еще в прошлом году... когда его наградили премией имени Кидрича?[1] Помните, как он вдруг стряхнул с себя оцепенение просто-напросто ожил?

У меня много тому доказательств... Например весной в санатории проходил международный семинар — впервые без него. Об этом семинаре я ему ничего не сказала чтобы не волновать А когда он уже заканчивался, мне позвонил доктор Мича и попросил разрешения для югославских участников навестить его. Только поздороваться, сказал он, если можно.

Сразу все впятером? — испугалась я, однако разрешила им прийти.

Поразительно, как на него подействовала эта встреча. Он сам вел беседу, и речь его была гладкой и свободной.

Уходя, они недоуменно посмотрели на меня. Прячешь ты его от нас, что ли?

Я просто счастлив, что он поправляется, сказал Мича. Разве я вам об этом не рассказывала? — спрашиваю я Брацо и Секу, которые продолжают молчать, а я все говорю и говорю. Брацо уставился в пол. Сека перебирает бумаги на письменном столе.

Здесь есть что-нибудь любопытное? — обращается она ко мне, пытаясь перевести разговор на другое.

Но я продолжаю развивать свою идею и принимаюсь рассказывать им о Маке, хотя его историю они хорошо знают.

Нельзя сравнивать, возражает Брацо. Его-то чтили всегда... Член комитета...

Разумеется, за границей его ценили, а дома не очень. И признание его трудов за рубежом не доставляло ему особенной радости...

Дома? Да ведь дома у нас все иначе мы друг другу мешаем!

Молодежь напирает это верно! И нужно освободить место молодому поколению. Оно не может ждать!

Но разве во время войны существовала проблема поколений? Разве молодые и старые не стояли тогда плечом к плечу во имя единой цели!

Это было тогда!

Это было тогда когда мы работали от зари до зари, и не оставалось времени думать о себе...

1946:

В Белграде много разрушенных домов Нужно было расчищать дворы, улицы.

Зачем ты-то пришел? — сердилась я на него. Оставь это нам, неужели у тебя нет другой работы?

[1] Борис Кидрич (1912—1953) — политический и общественный деятель Югославии. Премия имени Кидрича ежегодно присуждается в Словении за достижения в области науки и техники.

А он гордо шел рядом со мной в рабочей одежде, с лопатой на плече и весело посматривал на меня.

Почему ты не отвечаешь?

Назло тебе. Ведь эта работа — активный отдых. Жаль только, что не удается устраивать его почаще!

Я не бог весть как ловко управлялась с лопатой. Копала скорее символически. А взглянув украдкой в его сторону, поняла, что у него дело спорится. Точно он в жизни ничем иным не занимался!

Если человек хочет идти вперед, он должен уметь избавляться от хлама, смеялся он.

И на обратном пути пел вместе со всеми... Эх, партизаны... та-ра-ра-ра... та-ра-та-та...

А слов не знаешь?

Напиши мне, я забыл! Та-ра-та-та!

В столовой перед нами ставят тарелки с мучной похлебкой. От усталости ложка дрожит у меня в руке.

Ему хоть бы что. Ложкой он орудует так же ловко, как лопатой. И я восхищаюсь, глядя на его руки.

Отличная похлебка, а? Delicious! [1]

Delicious! Тем же тоном, каким хвалил отменнейшие блюда в нью-йоркском отеле.

Эта похлебка после хорошего трудового дня в бригаде стóит всех банкетов мира!

И тогда никто не интересовался твоим возрастом. Никто не смотрел косо, когда ты выкладывался на работе, отдавал все свои силы. Тогда каждому находили место. Ставили туда, где он был нужнее всего... А сегодня... если представляется случай, тут же избавляются от тебя.

Ты преувеличиваешь. Ведь и сегодня никто не вынуждает тебя уходить на пенсию.

Конечно. Все только добра желают. Видят, что ты устал, нуждаешься в отдыхе! Устал от суматохи. Реорганизация за реорганизацией, а возможностей работать все меньше и меньше. И вдруг ты чувствуешь, что ты в пустоте, работаешь вхолостую...

Не надо так громко!

Раньше, ты понимаешь, речь шла о том, чтобы давать, а сейчас только о том, чтобы брать, вот в чем дело. Но я опять раскричалась. Волнуюсь. Что он там делает, этот врач, почему его нет?

Наконец-то! Мне стало легче, когда врач вышел, и я накинулась на него с вопросами. Ну что? Когда мы начнем...

Посмотрим, понаблюдаем! Надо набраться терпения, успокаивает он меня.

Что еще сказать? Годы, болезнь. Прогрессирующий атеросклероз. Конечно, имеют место некоторые изменения. Колебания в ту и другую сторону. Чудес, однако, не бывает. Поживем — увидим. И знаете, как раз сейчас у меня несколько случаев еще более трагических, чем этот. Юная жизнь, например, которую съедает рак...

---

[1] Восхитительно! *(англ.)*

И вот уже странно изменившимся голосом доктор рассказывает нам о женщине, своей родственнице, которой осталось жить считанные дни. У нее муж и двое детей. Эх, да что говорить, он вдруг махнул рукой и встал.

Я не решаюсь больше расспрашивать его.

У двери он вдруг оглянулся на меня — если быть объективным, состояние его немного лучше— и ободряюще улыбнулся.

Если быть объективным, состояние его немного лучше!

Я уцепилась за эти слова и теперь полна новых надежд. Пусть во мне теплится хоть крохотный огонек надежды, пусть он тускло мерцает! Я защищу этот огонек руками. Прикрою от ветра, но кислород нужен огню — иначе он погаснет.

Нельзя позволить ему уйти, нам так много еще нужно сказать друг другу!

Тише!

Сека приложила палец к губам: зовет?

Ты меня звал? Ну вот видишь, дело идет на поправку!

Кто там с тобой?

А Брацо и Сека уже возле постели. И делают вид, будто не замечают, что у него остались одни глаза. Будто и не заметили, что он протянул им стиснутый кулак вместо раскрытой ладони.

Опять эти мячики ускакали? Где ж они? Ага, да вот они! Как это мы здорово придумали. Давайте и мы поиграем.

Сека зажгла лампочку в изголовье, мячик, летая, отбрасывает тени на потолок и стены.

■ ■ ■

Ура! — кинулась я к Дарье, которая вошла как раз в эту минуту.

Она всегда рядом, если нужна помощь. Она тоже врач. Друг-врач или врач-друг, как угодно. Но сейчас она — врач-пессимист...

А ты не обратила внимания, что я тебя встречаю возгласом «ура»? Победоносным «ура»? И не знаешь почему? Ну, потерпи немного, и тебе все станет ясно!

В чем дело?

Я жду сестру Шпелу. Вот и она! Теперь иди, сама увидишь!

Потому что он чувствует себя лучше. Доктор сказал, что объективно... ты понимаешь?

И пока мы помогаем ему встать с постели, я все говорю и говорю. Конечно, он еще не может идти один! Мы с сестрой руками передвигаем ему ноги. Для начала неплохо. А главное, лед тронулся, так или нет? Вижу, как Дарья посмеивается надо мной, а мне что, главное, он опять сидит в кресле.

Там кто-то пришел, слышишь? Дарья, посмотри, пожалуйста!

Это Владо! Как удачно!

Лицо Владо светится счастьем.

И он тоже сияет, хотя слегка и подшучивает над своей немощью. Дело идет на лад, только вот шагать еще сам не могу!

Подожди, ведь ты впервые встал сам. А потом сам увидишь. С каждым днем тебе будет лучше и лучше!

Надеюсь... А где тетя Мици?

Я не могу удержаться от смеха. Ведь это у него по ассоциации с креслом, подмигнула я Владо, ты помнишь, у тетки он всегда сидел в кресле и пил кофе!

И вот, точно по волшебству, секунду спустя в дверях появляется тетя.

Они обнялись.

Я тебя вызвал магической силой, смеется он. Я ведь говорил тебе, что все мои желания всегда сбываются! Сейчас мне очень захотелось увидеть тебя, угостить кофе.

Какая удивительная неделя! Лихорадочные усилия, и что ни день, новые надежды. Новые лекарства, ванны, массажи и после полудня прогулка к креслу.

Еще шаг вперед. Завтра выйдет на веранду. А может, попробовать сделать это сегодня?

Немного ветрено, ну да ничего! Вот так, в коляске, с одеялом на коленях и в берете, будет неплохо.

Тебе хорошо?

Очень. Голос его дрожит от волнения. Ведь он уже не надеялся выйти на свежий воздух.

И темнеющие на горизонте горы, очевидно, вызывают у него в памяти события давно минувших лет...

Когда мы были на Комне?

Давно уже... десять лет назад.

1959:

Мы поднимались не спеша, шаг за шагом.

Оба мальчика впереди. Я иду за Фране. Кажется мне в два раза легче взбираться, если я иду по его следам. Он точно подтягивает меня кверху. Фране идет большими шагами, не останавливаясь. По-альпинистски.

За нами Брина и он. Они все время разговаривают, то и дело останавливаются. И рассуждают, что это там виднеется далеко внизу в долине. Чей-то дом?

Уже поздно вечером добрались мы до горной хижины.

В сенях сняли обувь, надели туфли.

Как ты себя чувствуешь?

Великолепно! Я просто не верил, что смогу сюда добраться!..

■ ■ ■

Принеси мне, пожалуйста, темные очки, солнце слепит! Спасибо. Вот теперь прекрасно все вижу! Знаешь, а мне казалось, будто это пальмы на берегу!

Какие пальмы?

Цейлонские! Они часто ко мне возвращаются И еще я часто вспоминаю, как мы купались в океане. Ты помнишь те волны?

1955:

Разве их можно забыть? Казалось на берег ринулись морские чудовища. Они взлетали высоко, затем выгибались и с шумом бросались на берег. Я никак не могла войти в воду. Меня тут же выбрасывало обратно.

Нам пришлось вернуться в мотель. С его веранды мы потом часто глядели на рыбаков, которые вытаскивали сети и тут же на берегу их чинили, а в заливе, подобно усталым животным, отдыхали катамараны.

А помнишь каучуковые плантации вдоль дороги?

Мы тогда ехали и считали подвешенные к деревьям длинные металлические бидоны, в которые стекал сок. Вернулись домой поздно ночью.

Устал? — спросила я, потому что ты сразу же сел за письменный стол.

Конечно, устал, ответил ты, но что поделаешь? — и добавил: А ты даже не представляешь, сколь многого здесь не хватает! Диспансеров нет совсем, их нужно строить. Персонал надо или приглашать со стороны или готовить на месте. К тому же...

И тут мы попадаем в заколдованный круг. Потому что благодаря развитию флюорографии и хорошо поставленной диспансерной службе мы будем выявлять все большее количество больных и, следовательно, нам понадобится еще больше коек...

А лечение на дому?

Если мы не возьмемся за все сразу, мы будем напрасно тратить время. Хочешь, я покажу тебе план?

Значит, так: сперва выделяем тяжелобольных и изолируем их. Вопрос: куда и на какой срок? Затем надо обезопасить тех, кто пока не заразился. Значит, служба прививок. А это опять-таки требует специально обученного персонала, транспортных средств, контроля за работой и так далее, и так далее. Не забудь, что профилактика также требует многочисленного персонала; и вот уже встает вопрос подготовки кадров...

А выздоравливающие! Ведь для них понадобится специальный центр со своим персоналом и оборудованием. А когда больной поправится, мы обязаны подобрать для него работу. И в течение всего периода госпитализации заботиться о его семье.

Но, может быть, ты все-таки ляжешь? — предложила я.

■ ■ ■

Может быть, ты все-таки ляжешь? — и теперь спрашиваю я его, потому что он вдруг закрыл глаза. Наверно, опьянил свежий воздух. Пойдем в комнату?

О нет, нет, посидим еще немного. Так приятно пахнет... как на Цейлоне...

1955:

Цейлон. В воздухе носится аромат жасмина, перца, камфоры, каких-то диковинных лечебных трав.

И всюду люди в пестрых одеждах, обнаженные до пояса рикши, упряжки буйволов, босоногие велосипедисты, множество легковых автомобилей и грузовиков...

Когда мы покидали Цейлон, кое-что из задуманного тобой уже осуществилось. Стали строиться туберкулезные диспансеры, в маленьких провинциальных лечебницах открывались отделения для больных туберкулезом, и вновь подготовленный медицинский персонал делал прививки все в новых и новых районах.

С Цейлоном мы прощались в декабре, в пору самой невыносимой жары.

Вильсон громко смеялся, хотя было заметно, что он огорчен нашим отъездом.

Милый Вильсон, с которым тебе так хорошо работалось. Энергичный и добрый, прекрасный специалист и чуткий товарищ.

Больше всего меня радует, говорил он, что сестрам удалось пройти полный курс обучения. Эх, если бы Всемирная Организация Здравоохранения всегда посылала знающих специалистов, мы бы многого добились. А то сколько здесь перебывало случайных людей. Год поработают и рвутся домой, а дело ни с места. Ты первый, кто...

Не преувеличивай, друг! — ты потрепал его по плечу, и голос у тебя тоже дрогнул.

Сверху Вильсон показался крохотной точкой на площадке аэродрома.

■ ■ ■

Какая поразительная неделя! Сколько планов, радостного волнения. Чуть свет я звоню сестре Шпеле.

Что нового?

Приехать бы вам сейчас, смеется она в трубку, у нас отличное настроение!

Я бросаю все и спешу в больницу. Но приезжаю слишком поздно. Он уже задремал.

Ведь мы приняли ванну, утешает меня сестра. А утром он был в прекрасном настроении. И все съел, смотрите!

После обеда снова мчусь в больницу. Врачей обхожу стороной. Не хочу слышать ничего неприятного. Я сама знаю об их сомнениях, но именно теперь они меня меньше всего интересуют. Теперь я хочу подольше удержаться на самом гребне волны. На самом гребне как можно дольше.

А потом миновала эта поразительная неделя, и он погрузился в дремоту. Сама не знаю, когда он ускользнул от нас.

Вновь обращаюсь к его письмам. Хочу знать, когда же все это началось.

1959:

Вернувшись в конце года в Женеву, он сильно простудился. Пустяки писал он, обычный насморк. Но при этом чувствовал себя очень плохо. Так скверно себя чувствую, читала я, что пришлось лечь в постель Я был убежден, что больше уже не встану.

А на другой день картина прямо противоположная.

Настоящее чудо, писал он,— простуда исчезла за одну ночь! Я вновь в отличной форме, и это великолепно, потому что работы невпроворот.

Я получил два письма совершенно противоположных по содержанию. Помнишь, я тебе говорил, что решил узнать мнение некоторых своих коллег о прививках? Ну так вот! Сегодня пришли два ответа. Известный специалист в этой области доктор Аллин вообще не верит в прививки. Зато Миллер горячо их поддерживает. Прививки, пишет, лучшее средство из всех профилактических мер против туберкулеза — особенно в развивающихся странах!

И я этому чертовски рад, потому что и сам придерживаюсь такого же мнения.

«Луна-3»! Просто невероятно, как велики достижения человечества.

Поистине человек бессилен только перед смертью. Даже если в один прекрасный день нас сунут в холодильники и заморозят на несколько столетий, это не изменит суть дела! Рип Ван Винкль[1] всегда был для меня печальным образом!

Работа идет полным ходом. Надеюсь, что конечный результат не окажется слишком мизерным в сравнении с вложенным трудом. А Африку мне пришлось вычеркнуть из своих планов...

И поэтому прошу тебя расторгнуть договор, который со мной заключило издательство на книгу «На краю черного материка». Ведь я верил, что вернусь в Африку. А теперь вижу, что ничего не выйдет, и нет смысла писать об Африке на основе тех впечатлений шестилетней давности! Собственно говоря, это попросту невозможно. Ситуация там непрерывно меняется. И сегодня она, вероятно, совсем иная, чем была тогда...

Ну и что, думаю я, если сегодня она совсем иная, рассказал бы о том, что было тогда...

1953:

Дакар. В крупнейшей африканской больнице беседуем об африканцах.

Какие они? Можно ли с ними работать?

О нет, для работы они не слишком пригодны, заявляет французский врач и презрительно кривит губы. И опять начинает возиться с рентгеновским аппаратом, что-то там настраивает. Они, собственно, как малые дети, добавляет он, с техникой никогда не имели дела.

Клиника переполнена больными. С трудом пробираешься по лестнице и через длинные коридоры к ординаторской. И кого здесь только нет. Мусульмане в длинных одеждах и фесках. Мавры с косматыми, взлохмаченными бородами. Дети, притулившиеся на спинах матерей. Наголо остриженные женщины — только прядь волос оставлена на макушке. Они доверчиво смотрят на тебя большими ласковыми глазами. Приветливо улыбаются.

Они доверяют белой медицине, хотя, возможно, ищут помощи и у своих знахарей.

Мы забегаем в кофейню, надеясь выпить чего-нибудь прохладительного. Но это не так просто. Торговцы выстроились перед нами стеной.

На, бери! — повелительно произносит один из них, протягивая статуэтки из черного дерева. Всего тысяча пятьсот франков! Даром, говорю тебе, отдаю. Бери, пока не раздумал! Только потому и отдаю, что ни гроша в кармане, честное слово! Не хочешь? Ладно. Обещаешь никому не рассказывать... отдам за тысячу двести, идет? Что, не надо? Господи, да где у тебя глаза? Вы оба ничего в искусстве не понимаете! И за тысячу двести франков не возьмете? За тысячу? Восемьсот?

[1] Герой популярного рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга.

Семьсот? Шестьсот пятьдесят? Пятьсот? Четыреста? Окончательная цена триста. Только, смотрите, никому ни слова!

И чего только не предлагают! Золотые браслеты, сумочки из крокодиловой кожи, ожерелья и статуэтки из эбенового дерева.

Вот-вот упадет ночь. Здесь ночь падает в буквальном смысле слова, мгновенно превращая свет во тьму. Горизонт исчезает, и очертания предметов растворяются в темноте.

Фритаун у подножья горы Мэртон чем-то похож на Нови Сад на отрогах Фрушкагоры. Но Фритаун — колониальный городок, небогатый и неуютный.

Здесь мы впервые попробовали африканскую кухню. Какая-то жидкая кашица из маниока и палавы, остро заправленный гуляш из мяса и рыбы. Все приготовлено на пальмовом масле. Очень вкусно.

А на юге африканцы выглядят совсем иначе, чем на севере Разница, наверное, такая же, как между сицилийцами и шведами Но женщины и здесь высокие, статные, и походка у них такая же красивая.

Перед детской клиникой еще до начала рабочего дня собираются больные. И палаты набиты малышами, многие из них тяжело больны. Вот этот, например, шестилетний мальчуган — просто живой скелет, покрытый гноящимися язвами. Что с ним будет?

От одного лечебного учреждения к другому. Сплошные страдания, которые ты ничем не можешь облегчить. Нас все сильнее охватывает смятение и чувство бессилия.

Неужели придется исколесить всю Нигерию? Вдоль и поперек? Кажется, да, но это не сегодня. Сегодня мы идем на концерт в англиканскую церковь Пятая прелюдия Баха и Реквием Моцарта.

Черные лица, пестрая африканская одежда — и новехонький электроорган.

Несмотря на дьявольскую жару — непередаваемое наслаждение!

Энугу. Кано. Ибадан Лагос.

Мы мчимся со скоростью шестьдесят миль в час. Слишком быстро. Пожалуйста прошу я, помедленнее, хочется полюбоваться вечнозелеными лесами.

Смотри-ка, здесь тоже исследовательский институт.

Осматриваем большой хорошо оборудованный институт, где вырабатывают сыворотку против бешенства оспы и желтой лихорадки.

Медленно переходим из лаборатории в лабораторию Нам показывают овец, жертвы, принесенные на алтарь науки Животные смотрят на нас печальными круглыми глазами...

■ ■ ■

Стучат или мне показалось?
Вслушиваюсь — нет, тихо.
Снова стук и очень отчетливый.
Отложила бумаги и подошла к двери.
Ты спишь, Сореллина?
Дане!

Брат надувает щеки для поцелуя. Сперва левую — круглую, как мяч, затем правую.

Он очень плох? — спрашивает Дане серьезно. Можно его повидать? Его большие бархатные глаза светятся лаской.

На цыпочках подходим к дверям палаты. Замираем на мгновенье. Оба прислушиваемся. Потом осторожно, боясь малейшего скрипа, открываем дверь. Хотя я почти убеждена, что скрип уже никого не потревожит.

Чего ты вообще ожидаешь? Чуда? Человек — неисправимый оптимист. И остается им до конца дней своих. Малым ребенком, раскинув руки, он проковылял от одного конца стола до другого, где его поджидали мать или отец. Ведь кто-нибудь поджидал его непременно. Ребенок знал это. Но даже если бы у противоположного края стола никого не было, все равно он шагнул бы в пустоту.

Брат встал у изголовья и принялся просматривать историю болезни. Syndroma psychoorganicum. Arteriosclerosis cerebri. Aphasia. Анамнез... И так далее, и так далее...

Лекарства, препараты, процедуры. Диагностика и терапия.

Это все старое, говорю я, переворачивая странички, ты забыл разве, что он здесь уже был два года назад?

Брат отложил историю болезни и кивнул. Нет, он не забыл.

Он стоит, выпрямившись, у его постели. Руки глубоко засунул в карманы брюк. Должно быть, сжимает кулаки, не отводя взгляда от друга и, возможно, прощаясь с ним.

Ведь не так давно, растерянно бормочет Дане, он был у меня... Это было в прошлом году, да?

1968:

После обеда я проводила его на вокзал. До самого отправления поезда он убеждал меня ехать вместе с ним. Он, видимо, забыл, что у меня командировка в Белград — поэтому я и позвонила брату.

Ах да, вздохнул он, вчера ты договаривалась с Дане, теперь вспомнил! Очень меня радует эта поездка, чертовски хорошо, а ты ко мне не присоединишься?

Брат встретил его на станции. До самого дома они шли пешком. Уже тогда Дане заметил, что мысли у него прыгали и он с трудом находил нужные слова.

Ходишь ты здорово — сказал ему брат. Может, завтра махнем куда-нибудь?

Однако на другой день ему стало легче разговаривать, но труднее ходить. Они еле-еле добрались до Кальварии. Часто останавливались, и он все время искал взглядом скамейку, чтобы передохнуть.

Потом грелись на солнышке и толковали о школе, о студентах и лекциях. Брат никак не мог взять в толк, отчего он волнуется перед каждой лекцией.

Дане казалось, что волнение ему вообще неведомо!

Мне неведомо? — удивленно воскликнул он.

...вот он перед своими слушателями. Сердце стучит у него в вис-

ках, в кончиках пальцев. Он весь — большое, трепещущее сердце, выставленное напоказ всему свету...

Аудитория битком набита! Сколько глаз, устремленных на него. Вопрошающих. Любопытных. Требовательных. И даже скептических и недружелюбных. В эти глаза он особенно вглядывается.

В чем дело? — мысленно спрашивает он. Отчего недружелюбие?

Но постепенно взгляды молодых людей смягчаются, и он чувствует, как ослабевает напряжение, успокаивается сердце, он уже единое целое с ними. Они уже друзья, и он беседует с ними о вещах, одинаково интересных и ему и им.

■ ■ ■

Почему ты молчишь, говорю я, чтобы прервать недоброе молчание. Я все труднее переношу тишину, когда я не одна. Хотя прекрасно понимаю, что брату нечего сказать.

Поздним вечером сидим у нас дома. Разговариваем и время от времени косимся на его кресло. Теперь оно пустое.

Что ты делаешь после работы? — спрашивает брат. Вот сегодня, например, что ты делала?

Сегодня! Я попыталась вернуться назад в отлетевший солнечный день. В тот час, когда я спешила в больницу. Я бежала мимо швейцара вверх по ступенькам и все время упрямо надеялась, что, может быть, он меня ждет.

Сидит обложенный подушками и смотрит на дверь. Ведь бывало же так прежде!

Ты уже здесь! — скажет он. Я так давно тебя жду! Ты мне поможешь? Надо срочно отправить несколько писем. Всегда я отвечаю с опозданием. Сможешь? Да?

Конечно, с удовольствием.

Но у его изголовья я расстаюсь со светлыми мечтами. Я не была ему нужна. Нисколько.

И я опять погрузилась в воспоминания. Жалела, что он не взялся за книгу об Африке. Он тебе рассказывал о той поездке? Показать фотографии? Вот, гляди, это Дагомея, вот Абиджан — Берег Слоновой Кости, а это Либерия...

Сколько здесь интересного! Знаешь, он и сам жалел, что ничего не сделал. Из Женевы писал...

1959:

Мне самому жаль, но книгу об Африке я и не смог бы написать. Я уже отошел от всего этого. Мне не терпится закончить свою работу. И чем больше я углубляюсь в эти исследования, тем необъятнее представляется мне моя тема.

А сегодня день моего рождения, опять я постарел на год. Печально, но ничего не поделаешь. Однако я не чувствую себя старым, скорее просто пожилым.

Пригласил я, значит, этого пожилого господина в ресторан, и выпили мы с ним по бокалу «божоле». Спасибо за поздравления! Жду твоего звонка, ведь ты позвонишь, я не ошибаюсь?

Он не ошибался. Я целую вечность ждала вызова, а когда наконец меня соединили, мы оба вдруг словно онемели. Так были взволнованы. И долго молчали — каждый на своем конце провода. А потом все-таки условились, что Новый год будем встречать где-нибудь в наших горах.

Например, на Комне, идет?

Идет. Но еще обсудим!

Нет, нет, обещай!

Обещаю!

И вскоре пришла телеграмма: приезжаю тридцатого.

Телеграмму я показала сначала Брине, потом Фране и наконец обоим вместе.

Ура! Он приезжает! Он обещал поехать с нами на Комну! Здорово, правда?

Но Фране не выглядит очень уж обрадованным.

В чем дело?

Видишь ли, долгая, утомительная поездка, и в тот же день на Комну, он вообще-то бывал в горах?

Я пожала плечами.

Брина — оптимист. Великолепно, засмеялась она, у меня по крайней мере будет спутник, а то я всегда последняя!

Конечно, в тон ей откликнулась я, почему бы ему не подняться на вершину? Пойдем медленно, не торопясь, как-нибудь доберемся, чего ты боишься?

Он не привык много ходить, не сдавался Фране. Пройдет чуть-чуть и останавливается. То что-то рассказывает, то восхищается природой, в горы так не поднимаются.

А вы, хмурится Брина, упретесь лбом в гору и даже не замечаете, что растет у дороги. Все равно что на небоскреб лезете. Для вас нет никакой разницы!

Не будем спорить, вмешиваюсь я. Каждый пойдет так, как ему хочется. Главное — добраться до вершины и встретить Новый год в горах.

Ты знаешь, каким поездом он приезжает?

Конечно. Пойдете со мной встречать?

Разумеется.

Мы обо всем договорились, и мне остается только ждать.

И ожидая, я мысленно брожу по Женеве, там, где мы когда-то были вместе. Вместе или порознь, какая разница!..

Как, ты уже видела эти старинные резные двери? А когда ты там была? Нет, мы должны пойти туда вместе, непременно!

И вот я иду по Женеве. Стрелки часов приближаются к четверти.

Он скоро закончит работу. Секретарша ставит на полки толстые папки.

C'est tout, monsieur? [1]

Да, ключи, вспоминает он и снимает с кольца ключи от кабинета, письменного стола и шкафа.

Voilà, и вручает их ей, c'est tout [2].

Секретарше очень жаль, что она больше не будет с ним работать, впрочем, он ведь еще вернется, не так ли?

[1] Все, месье? *(франц.)*

[2] Вот... все *(франц.)*.

C'est possible[1], улыбается он и идет по длинному коридору от кабинета к кабинету.

Поразительно, как сближает людей работа! И как быстро человек ко всему привыкает, привязывается.

Hallo, you are leaving? What a shame![2]

До свиданья, счастливо!

Потом он спускается в кафетерий. Быстро съедает бутерброд и выпивает кофе.

Да, надо еще купить зимнюю одежду и снаряжение. Успею? Смотрит на часы. Времени хватит.

Он опоздал. Автобус только что ушел. Придется идти пешком.

Но вот он и добрался до магазина, который я ему указала.

Ты без всяких хлопот приобретешь там все, что нужно, писала я. Тебе и посоветуют!

Продавшица действительно выносит навстречу гору белых коробок, демонстрируя горнолыжные ботинки всевозможных фасонов.

Он в растерянности рассматривает эту обувь, не зная, какую ему выбрать, пускай она сама ему посоветует...

Конечно, monsieur, я бы порекомендовала вам эти... Они удобные, теплые и продаются по сниженной цене!

Хорошо, я возьму их.

Куртка с капюшоном. Очень удобная застежка, видите? Что еще?

Спортивные брюки и теплые носки. Еще что?

Сколько же ненужных вещей она ему навязала. Что поделаешь, торговля есть торговля.

С большим свертком прямо из магазина он спешит на вокзал. Там он оставляет сверток в камере хранения и возвращается в город проститься с друзьями.

Говорят, что время и расстояние разрушают дружбу. Это верно. Новая работа и новые заботы стирают старое и приносят новое. Письма становятся все более и более редкими и в конце концов перестают приходить. Это так.

Но бывают друзья, к которым это не относится. С ними можно увидеться спустя десятилетия и продолжить разговор, который пришлось в спешке прервать.

Такая дружба не имеет цены. Amici piu unici che rari[3], говорят итальянцы. Именно таковы были Давид и Элизабет, с которыми он в последний раз ужинал в Женеве. Они так увлеклись беседой, что совершенно забыли о поезде. Когда вспомнили о нем, было уже слишком поздно.

Вот это номер! — воскликнул Давид и поспешил в гараж, чтобы отвезти его на машине в Лозанну.

Шоссе из Женевы в Лозанну он знает наизусть. Сколько раз мы вместе ездили по нему и не переставали удивляться его однообразию.

---

[1] Возможно *(франц.)*

[2] Хэлло, вы уезжаете? Как не стыдно! *(англ.)*.

[3] Истинных друзей по пальцам можно перечесть *(итал.)*.

Сравнить, например, эти восемьдесят километров с шоссе Любляна — Сежана...

Сейчас, правда, ночь и за окном темень. Они все говорят и говорят, а Элизабет лихо ведет машину.

И вот Лозанна. Прощаемся?

Нет, нет, мы с тобой!

Не нужно, возвращайтесь, поздно уже!..

Они помогли ему внести багаж, устроили в купе.

Взволнованный, он стоял у окна и улыбался им...

Hallo, hallo, we'll be seeing you![1]

И он тоже кричал им что-то, по пояс высунувшись в окно.

На другой день мы встречали его.

С нетерпением расхаживали по перрону и все посматривали в ту сторону, откуда должен был появиться «скорый».

А когда мы уже почти забыли о поезде и стали толковать о лыжах и о трамплинах, когда наши мысли уже витали возле покрытого снегом Богатина, показался поезд.

Все ближе, все громче...

И не успели еще вагоны остановиться, как я его увидела. Со ступенек он спустился в полном альпинистском снаряжении.

Ура!!

■ ■ ■

А потом пришло лето с незабываемыми прогулками в горы. Комна была лишь началом! Мы поднимались на Воглу и на Орлову главу, по Усковнице до Планики, и если бы нам не помешали дожди, то, вероятно, забрались бы на самую вершину Триглава!

Открытие Тихой долины было, конечно, венцом всего, я согласна. Через Коньщицу к Драшским вершинам...

Ты думаешь, хватит сил?

Но почему же нет?

Вы обо мне говорите? — спросил он. По-прежнему гадаете, хватит ли у меня сил? А я вот назло вам пойду вперед и буду ждать вас на самой вершине!

И вот мы оказались в Тихой долине Которая вовсе не долина, а маленькая, окруженная горами поляна. Только вступишь на нее, и тебя вдруг охватывает густая, умиротворяющая тишина. Она словно подкралась на мягких лапах и теперь принимает тебя в свои крепкие объятия. Даже родничок, тихо журчащий под скалами, не нарушает ее.

Бездонное голубое небо лежит над горами, и на душе становится покойно и мирно.

Когда остальные догнали нас, волшебство рассеялось. Только тогда мы взглянули на окружающее трезвыми глазами и заметили тропинку, круто уходившую вверх к распятию.

Эта дорожка не особенно приятна?

Тебя опять беспокоит, хватит ли у меня сил? — усмехнулся он.

Нет, нет, ничуть! — улыбалась я, меня и в самом деле ничто не беспокоило.

[1] Мы еще увидимся с вами! *(англ.)*.

■ ■ ■

Как долго он уже дремлет?

У меня над головой Сашин голос. Невольно вздрагиваю. Даже не слышала, как она вошла.

О, я не знала, что ты здесь.

Все с большим трудом переношу я врачей. Их всезнающие, пронзительные взгляды, которыми они смотрят на него. Их застывшие улыбки, когда они слушают излагаемые мной теории о жизненной силе. Правда, теперь уже я говорю об этом редко.

Саша стоит у постели и слушает его пульс.

Конечно, она — исключение. Множество хороших и горьких воспоминаний сближает нас. Все последние десятилетия связаны с ней. Она была с нами в самые трудные, самые значительные минуты. И тогда, когда мы возвращались с Цейлона и сердце у нас готово было разорваться от любви к родной земле.

1955/56:

Мы подъезжали к Сежане, и нам было трудно справиться со своим волнением.

Он чувствовал, что подошел к новому рубежу своей жизни. Age limit [1]. Надо спешить, чтобы отдать людям богатства ума и сердца, накопленные за долгие годы жизни. Он еще понадобится людям. Он будет им нужен.

Конечно, согласилась я, и как хорошо, что мы дома. Вот они, смотри! Ты их видишь? Они нас встречают. Эй, эй, Са-а-аша, Дра-аго!

Они нас заметили, машут руками.

Тонкая, в перчатке, рука Саши мечется как птица. Как испуганная птица. И большая трудовая ладонь Драго описывает широкие круги. Словно притягивает к себе поезд. Все ближе и ближе.

А дома новый сюрприз.

Только я стала искать ключ, как дверь распахнулась и на пороге предстала кто? Шьора Ана, хранительница нашего очага.

Руки сложены над белым ослепительным передником, волосы гладко зачесаны и собраны на затылке в пучок. В глазах — сверкающие звезды.

Мы обнимаем ее и все вместе входим в комнату.

Неужели мы снова дома!

Все будет хорошо! — ободряю я его.

Вскоре он с головой ушел в работу. Его избрали деканом медицинского факультета, и, кроме того, он стал читать лекции по введению в медицину.

Не тяжело тебе будет?

Тяжело? — Он изумленно глядит на меня. Да разве может быть большее наслаждение, чем отдавать свои знания людям?

И тем не менее...

Да, да, конечно, чувство меры, умение соразмерять свои силы! Все это я от тебя уже слышал! Не беспокойся, я помню об этом!

---

[1] Возрастная граница *(англ.)*.

Он по-прежнему серьезно готовился к лекциям, засиживался далеко за полночь.

Сколько ты еще будешь работать? Почему ты не бережешь себя? — хотелось мне спросить, но я заранее знала ответ: молодежи — все наши знания!

Ты не знаешь сегодняшнюю молодежь! Последнее время я вхожу в аудиторию, как в храм; всякий раз, когда я вижу их глаза...

...критически на тебя смотрящие?

Да, критические, но разумные и честные... И представляешь, я теряюсь. Мне хотелось бы самому стать богаче, чтобы дать им еще больше.

Последнее время у нас все поглощены реформой университетского образования. Собственно говоря, ее проводят уже давно, но пока без успеха. Как заставить врача стать ученым-теоретиком, если уже завтра он должен выйти к больным и заняться практической медициной? Как все совместить?

А фельдшеры во время войны?

Во время войны — иное дело. Тогда у этих слабо подготовленных и наскоро обученных лекарей уже была кое-какая практика. И мы понемногу знакомили их с теорией. Сейчас же...

Не так уж это все нереально!

Это абсолютно нереально! Кому только в голову такое могло прийти, почему, перед тем как приступить к реформе, они не посоветовались со специалистами?

Но ведь...

Для чего тогда вообще существуют специалисты?

Ну, ну, не волнуйся, в конце концов все встанет на место!

Бог знает сколько различных комиссий занималось этими проблемами. Он тоже работал в одной из комиссий — с утра до вечера. Они всерьез отнеслись к своей задаче, старались совместить определенные рекомендации руководства с суждениями специалистов.

Сколько энергии было потрачено впустую! Сколько рабочих дней выброшено на ветер! Напряженнейшая работа, но практически ничего сделать не удалось.

Кому все это было нужно? И почему такая спешка? Так все не продумано, не подготовлено. Скольких людей это повергло в состояние отчаяния и бессилия. Разве мы все дураки? Беда в том, что когда речь заходит о серьезном деле, тебя не спрашивают! Просто-напросто ставят перед свершившимся фактом — и давай, жми! Осуществляй проект, который неосуществим!

Только мы пережили одну перестройку, как на́ тебе — новая реорганизация!

И тоже не последняя! Жизнь надо принимать такой, какая есть. Изменить ее ты не изменишь. Делай свое дело и не пускайся в рассуждения! Они только портят настроение и губят здоровье! Нынче не такое время. Нынче следует принимать все как есть. Ведь по этому поводу создали даже целую теорию! Нашел себе теплое местечко, ну и не высовывай нос на мороз! Береги себя и свое, свое, свое — об остальном забудь! Зажмурься, когда смотришь вперед! Да гляди под ноги, чтоб не споткнуться, а все прочее пусть летит ко всем чертям!..

Все эти проблемы теперь так далеко! Прежде всего далеко от него.

Саша по-прежнему не отходит от его изголовья. Вот ее гибкие пальцы скользят по его шее. Точно тонкие гусеницы. Аорта. Каротиды. А теперь она просматривает историю болезни. Как долго!

Сварить кофе?

Саша смотрит на часы. Вечно она спешит.

Ну только если быстро, мне надо торопиться!

Она всегда спешит! Сколько я ее помню. А как она всех подгоняла, когда строилось институтское здание! Институту она отдавала все свои силы, все свои помыслы, обучала кадры, выводила их на арену практической деятельности. Она считала, что нужно создавать новый тип научного учреждения, где бы наилучшим образом сочетались теория и практика, профилактика, диагностика, терапия заболевания. Она отстаивала свою концепцию, пропагандируя ее где только могла. У нее нашлось много сторонников за рубежом, ее концепция была признана Всемирной Организацией Здравоохранения. А дома к ней относились так, будто она проповедовала какую-то ересь. Она сражалась в одиночку, но не падала духом.

И до каких пор ты будешь биться?

Не знаю. Предел у людей разный.

Пока черпаешь силу в работе, происходит процесс постоянной регенерации, и усталость не ощущается. Но как только теряешь перспективу, неважно, по какой причине, как нарушается гармония! Вот тогда тебе конец. Тогда тебя начинают одолевать болезни, не важно какие, любые, к каким ты восприимчив!

И все равно надо сражаться!

Саша внимательно смотрит на меня. Она хочет, чтобы я ей открылась, хочет понять, действительно ли я верю в чудеса.

Ты не забыла, осторожно начала она, глядя на меня исподлобья, в тот день, когда к нему вернулось сознание, я была здесь?

Да, я помню!

Ведь он тогда нас вообще не узнал! Дочь он назвал сестрой... помнишь?

Да.

Мы вместе наблюдали как он просыпался. Удивленным взглядом он медленно обвел комнату. Словно возвратился после долгого отсутствия.

Мы молчали. Дали ему время как следует осмотреться. И тут пришла Неда.

Леночка! — воскликнул он обрадованно. Ханнерль, Ханнерль, погоди у меня чертенок! И даже пытался погрозить ей судорожно сведенным пальцем.

Из глаз Неды брызнули слезы. Она только что вернулась с похорон его сестры.

Я мысленно просила ее — держись!

А он повернул ко мне голову и улыбнулся — видишь, какая она? Стоит ей пальцем погрозить, и она уже в слезах... Я ведь шучу!

Не надо ее дразнить, перестань! — ласково попросила я.

Но все-таки он узнал свою дочь.

Разве? Я что-то не помню!

Это произошло позже, когда ты ушла. А ребята пришли. Они все трое стояли вон там. И вдруг...

Вдруг он умоляюще посмотрел на меня и протянул к ним обе руки. Он хотел что-то сказать, но не мог.

Я подошла и соединила их руки. Я понимала, чего он хочет.

Он поблагодарил меня взглядом и отчетливо произнес: всегда будьте вместе — вот так, и коснулся моей руки...

■ ■ ■

Он опять погрузился в сон, до меня доносится только его слабый крик.

Перехожу из одной комнаты в другую. Ведь совсем недавно мне казалось, будто кризис миновал. Когда это было — дней десять назад?

Стою у окна, гляжу в парк — и ничего не вижу. Неужели опять его состояние... нет, нет, мне невыносимо это слово — «ухудшилось». Оно всегда первым приходит в голову, хотя я его терпеть не могу.

Что-то нужно предпринять, что-то сделать. Нужно снова искать. Мы не должны подчиняться обстоятельствам.

Ох, чего только мы не перепробовали за все эти бесконечно долгие и так быстро пролетевшие последние годы! От обычных лекарств до психотерапии, наркотиков и гомеопатии. Ты лучше чувствуешь себя?

Как нельзя лучше, смеялся он. Ведь должно же помочь!

Сначала мне казалось, что его недуг скоро пройдет. Я каждый день возила его на работу в институт, и хотя он уже ничего не мог делать, сам факт, что он на своем рабочем месте, оказывал положительное воздействие. Само ощущение, что он кому-то нужен. Он разбирал бумаги, перекладывал их из папки в папку. Непослушными пальцами раскладывал марки по конвертам, чтобы отнести детям. И всегда радовался, когда к нему обрашались за помощью. Люди попрежнему охотно делились с ним своими большими и маленькими заботами. Приходили коллеги, друзья, больные. Приходили служащие.

Приехать за тобой после двух?

Нет, сегодня я посижу до вечера, я сам тебе позвоню.

Конечно, я знала, что долго он не просидит. И в самом деле, как только я переступала порог квартиры, раздавался телефонный звонок.

Я бы поехал домой, если ты не возражаешь, когда ты сможешь здесь быть?

Все чаще и чаще его охватывала гнетущая тоска. Он не мог примириться с бездельем. Его по-прежнему тянуло к людям, к своим сотрудникам. Но работать как прежде он был не в состоянии. И ничем не заполненное время всей своей тяжестью навалилось на него, и у него не хватало сил с ним справиться.

К Борису не поедем? На полчасика...

У Бориса, как водится, мы сидели дольше. Борис, Мета и Мик. Старые, добрые друзья. Они относились к нему просто и сердечно и

старались не замечать, как он изменился. И ему всегда было приятно у них бывать.

Тогда мне еще казалось, что все образуется.

Даже тогда, когда у него начались галлюцинации...

Однажды мы ужинали у Генри и Польди. Польди всегда поражала нас своим кулинарным искусством. Он сел за стол, протянул руку к салфетке, и вдруг рука его застыла в воздухе.

Эге, он обвел нас изумленным взглядом, видели?

Никто ничего не заметил.

Вы не видели маленькую букашку?.. Она только что сидела на моей салфетке, и вдруг — вжжж — взлетела.

Ничего не понимая, мы глядели на него.

Ты тоже не видел? — он повернулся к Генри. Крохотная букашка, похожая на крокодильчика, а? Она еще зажужжала, прежде чем улететь. Вот только что она была здесь!

Генри внимательно слушал его. Понимаешь, неуверенно начал он, мне думается, такие букашки-крокодильчики существуют, но...

Да, да, он замахал руками, она промелькнула как молния. Ты думаешь, у меня галлюцинации, но я прекрасно слышал. У самого уха моего пролетела. Ну ладно, спрошу у энтомолога.

Когда я привезла его в санаторий, стало еще хуже, а я не была к этому готова...

1968:

В ту субботу после обеда мы довольно долго гуляли. Трижды обошли парк, а потом направились вдоль берега реки. Я даже удивилась, как легко он идет.

Сегодня мне хорошо, сказал он, но все-таки хочется полежать.

Мы вернулись в комнату, и он вскоре задремал.

Не знаю, долго ли я читала, как вдруг раздался его ужасный крик.

Гляди, вот они!

Я бросилась к нему.

Приподнявшись на локте, он с ужасом смотрел в угол. И лицо его было багровым.

Что с тобой?

Тише, тише, они услышат, он приложил палец к губам.

В чем дело? — спрашивала я. Тебе что-нибудь привиделось?

Да нет, я их наяву видел! Два черных человека. Только что они стояли в дверях. Два человека в масках. А теперь там никого нет!

Запереть дверь? — спокойно спросила я, хотя знала, что она заперта.

Запри, запри, обрадовался он, голос у него дрожал.

Я подошла к двери, загремела ключом.

Иногда, знаешь, больные по ошибке заходят не в те палаты.

Ты так думаешь? — с тревогой спросил он.

Стараясь отвлечь его, я стала говорить о книге, которую только что читала.

А он вскоре снова уснул. Вот тогда мне стало страшно. Что с ним? Поговорить с врачами? Позвать Владо?

Ночью галлюцинации повторились.

Он вскочил, но увидев меня рядом в освещенной комнате, тут же успокоился.

Те же самые здесь были, твердил он, что и днем!

Он не захотел больше оставаться в санатории, и мы вернулись домой.

В тот же день я позвонила Владо. Мы решили, что нужно обратиться к психиатру.

На другое утро он проснулся в прекрасном настроении. В назначенный час появились Владо и врач-психиатр, и он им явно обрадовался.

А, гости, как приятно! А с вами, коллега, мы давно уже не виделись!

Да, растерянно ответил врач, в последний раз как будто в Белграде...

Да нет же, товарищ! Последний раз мы встречались на праздновании Прешерновой [1] годовщины, вы забыли? Вы рассказывали мне о своей заграничной поездке...

А ведь верно! Поразительно, как вы это помните!

Я даже помню, в каких городах вы были...

Психиатр внимательно слушал, изредка поглядывая то на меня, то на Владо. Он явно недоумевал — кто здесь больной?

Но тогда, хоть и происходили непонятные вещи, я верила, что он скоро поправится. А сейчас...

А сейчас я знаю, он скоро придет в себя. Но если он будет в возбужденном состоянии, то мне легче не станет. В такие минуты мне очень трудно за ним угнаться. Особенно, если он возвращается в прошлое, к тем временам, когда мы не были вместе. Я не сразу находила нужный тон, с трудом припоминала, как благоухали цветы, о которых он рассказывал, какими живописными были пейзажи, которых я не видела, мне не казались смешными их детские шалости...

Ты помнишь? — настойчиво спрашивал он, не сводя с меня глаз, неужто забыла? Ленка тогда была совсем маленькой! Маленькая, пухленькая и живая как угорь! Ты будешь сидеть на месте, егоза, а она — фрр! — и нет ее! Только звонкий смех доносится откуда-то из-за дома! Помнишь?

Я помнила.

Что же мне оставалось делать?

А потом, когда я вернулся с войны... с той, первой мировой, все не мог наглядеться на свою милую Леночку! Какой она стала взрослой, настоящая барышня!.. Ты опять шалишь? Ты что, забыла, что я твой старший брат и ты должна меня слушаться?

И он хмурился. Притворялся строгим, а в уголках губ таилась счастливая улыбка.

Ты поняла, Ленка? Слу-шаться! Ясно? Ох ты моя глупышка, громко смеялся он, да ведь я тебе ничего не сделаю! Ты только погляди на нее! Чуть что в слезы. Ну что ты? Милая, Недица моя, ведь я пошутил! Ну посмотри на меня, вот так... Ох, не могу сам повернуться... Ты не поможешь?

[1] Франце Прешерн (1800—1849) — великий словенский поэт.

Конечно, помогу.

Я поправляла постель, подкладывала подушки и не могла избавиться от ощущения страха, который усиливался от его болтовни. Он лихо проскакивал десятилетия, для него не существовало границы между минувшим и настоящим. Надо успокоиться, надо взять себя в руки! Я должна все испробовать, вдруг поможет. И в самом деле, ведь для мысли нет границ. Почему бы мне не последовать за ним? Почему не пренебречь всем этим — пространством, временем, людьми. Сейчас я сестра, потом дочь, мать, жена. Далекое прошлое, конец первой мировой войны и сегодняшний день — почему бы их не воспринимать как одно мгновенье. Почему?

Тебе лучше? Хочешь пить?

...Ты знаешь, я часто путаю Елену и Неду! Неда давно уже не приходила, она звонила тебе? Не больна ли? Беспокоюсь я за нее, здоровьем похвастаться она не может. Помню, вернулся я с войны, она была такая худенькая... Да это и понятно, мама мне потом рассказывала, что им пришлось пережить в годы войны... Но Лена скоро поправилась. И когда она приезжала ко мне в Вену, то выглядела уже совсем здоровой... Ты шторы не задернешь? Этот свет мне режет глаза. Вот теперь хорошо. Надо бы к окулисту сходить. Все время у меня перед глазами какие-то пятна, точки. Вон в том углу. Как будто muches volantes — летающие мушки... испанские? Вот видишь, а в Испании мы еще не были, а так хотелось. Но пока правит Франко, нам делать там нечего. Ты хочешь что-то сказать? Нет? Я слишком много говорю? Сегодня слова у меня сами собой слетают с губ. А мысли уносятся далеко-далеко. Я с трудом поспеваю за ними. Ты заметила? Я все время пытаюсь следовать за ними... Пытаюсь удерживать вожжи, ну-ну, вот так! Нет, лежать не очень удобно. Каждую пружинку спина чувствует. Ты не могла бы...

Но одного желания мало. Неподвижное тело обладает невероятной тяжестью. Одной мне не справиться.

Бегу за сестрой. Вместе мы переложили его, перестелили постель. Я не могу уже уследить за словами, которые у него налетают, наскакивают друг на друга, пока он погружается в бездну.

■ ■ ■

Первый миг пробуждения, когда человек с трудом вырывается из объятий Морфея и, лениво потягиваясь, высвобождается от паутины сновидений,— этот первый миг для меня по обыкновению самый радостный. Точно с новым днем заново начинается жизнь. Точно вовсе не было вчерашнего вечера, отравленного тоской и болью. Темная ночь, в которой ничего нельзя различить, вбирает в себя все ночные кошмары.

Сегодня утром я чувствую себя рожденной из морской пены. Разумеется, это только сначала. Позже... позже все вечерние беды вновь обрушиваются на меня. Чуть погодя выясняется, что и это утро — всего лишь продолжение вчерашнего дня, вчерашнего бытия, которое уже изначально движется к своему концу.

Ну? И каким же должен быть человек после такого пробуждения? Разумеется, бодрым.

Иногда мне даже выпадает счастье сохранить бодрость на весь день. Работа сама по себе уже источник бодрости. Она легко избавляет человека от многих неприятных мыслей. На работе некогда искать у себя пульс и отсчитывать его биение. Ты во власти тягот и бед других людей и забываешь о собственных.

Позже, когда кончается рабочий день, тяжелее.

По дороге в больницу, например, я уже напрягаю все силы, чтобы отогнать боль и заботы, одолевающие меня.

А у его изголовья силы совсем иссякают. Мне не на что опереться, чтобы сохранить бодрость. Она ускользает. И даже если мне удается ее удержать, он этого не замечает, мои усилия для него ровным счетом ничего не значат.

Он тихо хрипит. Нет, нет, еще нет!

Я опускаюсь рядом и начинаю равномерно поглаживать ему затылок. Легкий массаж — не могу больше видеть его угасшее лицо, его сжатые кулаки.

И вдруг я почувствовала на себе его взгляд. Широко раскрытые глаза устремлены прямо на меня.

Ты проснулся? — глупо спросила я, только для того, чтобы что-то сказать, и машинально принялась массировать ему руку.

Он пристально смотрит на меня. Тепло, ласково, умоляюще.

Как ты себя чувствуешь?

Только взглядом он попытался ответить.

Он никогда не жаловался. Даже глаза его. Они оставались ясными и необычайно добрыми.

Пусть свыкнется с обстановкой, сказала я себе. Я должна говорить, должна дать ему время высвободиться из тяжких оков.

Какие сегодня чудесные горы и как они сверкают под солнцем. Они совсем близко. Хочется протянуть руку и коснуться их. Отчетливо видна каждая впадина и темно-фиолетовые тени ущелий. Удивительно красиво! Как театральные кулисы в глубине сцены. Яркая, веселая декорация...

Он медленно приходил в себя.

Ты знаешь, с трудом произнес он, не хочу умирать, еще рано! Улыбка чуть оживила застывшие черты лица. Широко раскрытые глаза устремлены на меня и готовы меня поглотить.

Ну что ты, ведь я с тобой, поспешно возразила я. Ведь я здесь для того, чтобы ничего не случилось!

Столько дел, которые я начал... Их надо закончить...

Времени хватит, не беспокойся!

Не знаю, не знаю. У меня голова перестает работать. Веки его дрогнули. То говорят — давай вправо, потом — влево, то одно неверно, то другое... Понимаешь, как сложно! Теперь у меня в голове такая каша, что я не в силах больше управлять своим телом. Руки вот с трудом поднимаю, не слушаются больше, видишь?

А ты в самом деле хочешь их поднять? Ты пытался? — пошутила я. Сколько раз ты пытался?

Еще ни разу! — улыбнулся он. Я ведь знаю, что вышло бы, если б я всерьез попытался. А теперь нет времени, надо ехать, ты забыла? Ты знаешь, мне нужно в Джафну, он забеспокоился, ты разве не заправилась, как я тебя просил?

Ага, значит, мы опять на Цейлоне. Я смотрела, как дрожит его правая рука. Попыталась подложить подушку, но он сам нервно оттолкнул меня.

Ну, пожалуйста, идем, наконец, мы опоздаем! И надо к Вильсону заглянуть...

Но ведь Вильсона не будет дома, возразила я, пытаясь не оборвать эту тоненькую ниточку.

В самом деле! Тогда поищем его на обратном пути. Или поедем в Велисаро, он должен быть там. Диспансер давно обязаны были открыть, не понимаю, чего они тянут...

И опять мы ехали через джунгли, смотрели на огромных аллигаторов, которые блаженствовали в теплых лужах вдоль шоссе, любовались озорными обезьянами, перелетавшими с ветки на ветку.

Но так было раньше — не помню уж когда. Сейчас все иначе. Он по-прежнему не откликается, когда я массирую ему руку, бездумно, механически. Раз, другой, третий.

Его руки как будто ему уже не принадлежат. Они так крепко сжимаются в кулаки, что пальцы просто не могут разжаться.

А прежде... Как много он успевал сделать этими вот руками.

...я люблю выслушивать больного своим ухом, простукивать своими пальцами, чаще всего это оказывается самым надежным. Хороший, неторопливый разговор с больным и осмотр его говорят мне гораздо больше, чем все снимки и анализы.

А техника?

Техника тоже важна. Она помогает врачу, но заменить его не может. Пальцами я могу обнаружить малейшее поражение в легких. Разговаривая с больным, я узнаю еще больше. Но если бы у меня не было непосредственного контакта с больным, то одни вспомогательные средства мне помогли бы очень мало. Да, человеческая рука — превосходный инструмент.

Этими вот руками...

Этими вот руками он делал из бумаги невероятно маленькие кораблики.

Сделать еще меньше? — спрашивал он ребенка и ставил перед ним крохотную ладью.

Сделай, у того округлялись от изумления глаза, а ты сможешь?

Он смог.

И своими грубыми пальцами складывал совсем крохотный кораблик. Это будет самое маленькое суденышко в мире, оно уместится на ладошке, а другая ладошка позаботится, чтобы его не сдуло ветром.

Я перестала растирать ему руки. Скоро придет врач. Он расскажет о результатах последних анализов. Может быть, они уже совсем иные? Может быть, они лучше?

Машинально беру листок с письменного стола и начинаю складывать из него кораблик. Почему это я вдруг? Ведь у меня никогда не получалось так искусно, как у него. А если сейчас выйдет? Если б мне сейчас улыбнулось счастье... и я бы сложила крохотный бумажный кораблик... если бы... если...

Вот уже сколько времени я обманываю себя этими если. Если сегодня Шпела будет дежурить, то все будет хорошо! Если сегодня, когда я войду к нему, он не будет дремать... Если... если.

Однако бумага меня не слушается. А может, виноваты пальцы, искривленные ревматизмом.

Пробую еще раз. А врача все нет. Вдруг он вообще не придет! Ага, вот он, кораблик! Правда, очень нескладный! Борта неровные, а вот

здесь, слева, зияет дыра. Как глубокая рана. Сделать еще один? Кто там?

Голова сама поворачивается к двери.

Мы некстати? Ты кого-то ждешь?

Врача.

Дрея и Блаж смущенно улыбаются.

А к нему можно?

Конечно, если он не спит...

Первой вхожу к нему в комнату и сразу замечаю, что его глаза открыты.

Да ты вовсе не спишь, обрадовалась я.

Он молча кивнул. Перевел взгляд на гостей. Потом посмотрел на меня, дескать, кто эта пара?

Это Дрея, ты его не узнаешь?

Дрея? Ну как же, он улыбнулся. Я люблю этого парня!

Его рука чуть шевельнулась на одеяле.

И Блаж здесь, ты видишь?

Он медленно перевел взгляд с лица Дрея на Блажа. Пристально посмотрел, но не узнал.

Здравствуйте, произнес Блаж, как дела?

Ага! Теперь он узнал. Что-то промелькнуло в его взгляде.

Теперь ты знаешь, кто это, да?

Ну, как же! Я очень рад, что он пришел. Это прекрасный парень и ничуть не похож на своего отца, который... который...

...который был по существу «eine niedrige Kreatur» [1]...

Погоди, погоди... Ты что-то, наверное, перепутал? Дрея недоумевал.

Но глаза его уже закрыты, он в забытьи.

Блаж понимал и не обижался. Еще ребенком, в Бари, он явился свидетелем их ссоры, повинен в которой был его отец. Они схватились у всех на глазах. И хотя с тех пор прошла целая вечность, понимал, что обида осталась!

Однако меня это удивило. Он так редко отзывался о людях плохо! Обычно ко всем был настроен дружелюбно.

Э-э-эй! Э-э-эй!

Мы здесь, здесь! Я думала, ты уснул.

Он энергично покачал головой. Знаешь, начал он торопливо, и мы понимаем, что он говорит Блажу, хотя и не глядит на него. Знаешь, ты не обращай внимания на мои слова. Я ведь уже забыл о той истории! Так, с языка сорвалось, и я жалею об этом... Нельзя пачкать общий сосуд...

Сестра Шпела уже здесь. Она всегда появляется в нужный момент.

Мы повернемся? — весело спрашивает она. И он улыбается ей в ответ.

Ласковая сестра — подлинный дар господень! А здесь прекрасные сестры. Они только переступают порог, и в палате словно становится светлее. Я еще ни разу не видела их хмурыми или в дурном настроении. Поправляя ему постель, давая лекарства, они все время

[1] Низкая тварь *(нем.)*.

говорят что-то ласковое: вот, вечером мы искупаемся, а завтра будет прекрасная погода, и тогда посидим на веранде...

И пока мы перекладывали его на другой бок, он уснул.

В соседней комнате Шпела поставила кофе и настежь распахнула окно.

Что он имел в виду, когда говорил о сосуде? — спросил Дрея, устремив на меня свои большие задумчивые глаза.

Ах, это!

Мне бы не хотелось, чтоб они смеялись надо мной. Хотя я-то знаю, что́ он имел в виду. Много раз, уже будучи больным, он говорил, что мир напоминает ему некий огромный сосуд. Впервые я услышала об этом несколько недель назад.

Послушай, что я тебе скажу. Это очень важно. Ты должна понять, мир — это огромный сосуд, составленный из живых людей. Понимаешь?

Я кивнула.

Ну вот, следовательно, большой сосуд всех людей, сколько нас ни есть на белом свете! Ясно, что мы все обязаны заботиться о том, чтобы он оставался чистым, если мы хотим в нем жить. Ты понимаешь, должны. Ведь из нас, из людей, и сделан этот сосуд. Ты слушаешь?

Я пересела поближе и втиснула в его кулак детский резиновый мячик. Пусть думает, будто я в самом деле его слушаю.

Внимательно слушаю, продолжай!

А если мы сливаем в него грязь... Ты знаешь, что я имею в виду, да? То вся эта пакость неизбежно обрушится на нас же, коль скоро мы сами часть этого сосуда... Вот почему этические нормы всех древних религий совпадают... Не желай дома ближнего твоего... и так далее. Сосуд составлен из живых людей, к которым всяческая нечисть пристает очень быстро! И мы не должны его пачкать дурными помыслами, словами, деяниями... Ты понимаешь? Согласна? Я сам понял это уже поздно, хотя подсознательно всю жизнь старался не испачкать этот сосуд.

Я невольно улыбнулась.

Даже и сейчас при воспоминании об этом разговоре я снова улыбаюсь. Нет смысла разъяснять им все это, лучше в другой раз! Ну, как вы его нашли?

Вполне в норме, ведь он нас быстро узнал!

Притворяются. Выдумывают или в самом деле не видят в нем перемены. А мне кажется, он очень плох. И просыпается все реже и реже. Тяжелый дурманящий сон изо дня в день... Ох, я уже сама не знаю, чего требую от людей. Когда друзья обеспокоены, мне не по себе... Ведь я точно знаю, ему сейчас не так худо! И пока в человеке тлеет искра жизни... Если же я вижу, как вот сейчас, что друзья удовлетворены его состоянием... я опять недовольна. Они лгут, думаю я. Явно лгут. Чего я, в конце концов, хочу? Я должна взять себя в руки. Я слишком ослабила узду, в этом все дело.

Целую ночь мне снится этот сосуд, на который я теперь гляжу с большой высоты, и он кажется мне радужным, удивительно краси-

вым. Надо разглядеть его вблизи, говорю я себе, делаю глубокий вдох и стремительно взлетаю еще выше. Парю. Лечу. Потом спускаюсь. Все ниже и ниже. Замираю в воздухе над этим прекрасным сосудом. Смотрите! Подо мною кишат люди различных рас, различного пола и возраста. Сосуда больше нет. Там, внизу лишь бесформенный муравейник — черным-черно от людей, мешающих жить друг другу. Они ходят по ногам, по рукам, по головам, плюют друг другу в лицо, стреляют.

Меня охватывает ужас. Что вы творите? Не нужно, умоляю я, не нужно! Кричу во весь голос, хотя знаю, что никто не слышит меня, перестаньте! Что вы творите? Неужели вам непонятно, что так нельзя жить? Успокойтесь, договоритесь между собой, ведь вы люди! Ведь достаточно места для всех, почему вы кидаетесь друг на друга, вы в своем уме? Где удивительная гармония сосуда? Ее больше нет, теперь это ад! Что вы творите, аааа? Безууумцы, безууумцы, безуумцы!..

■ ■ ■

Оптимизм убывает с каждым днем.

Даже по утрам мир уже не кажется мне гармоничным и цельным. Проснувшись, я с трудом открываю глаза, солнце меня раздражает, и во всем теле свинцовая тяжесть. Я не могу понять, откуда это тягостное ощущение, почему я чувствую себя точно рыба, выброшенная на берег?

И потом вдруг вспоминаю: в его состоянии уже давно нет перемен. Вот и слабеют мои силы. Больной лишает меня их, и я уже не знаю, где их черпать. Он невольно втягивает меня в свой призрачный мир, в мир своих видений вне времени и пространства.

Смогу ли я следовать за ним? — спрашиваю я себя. Ведь это единственная помощь, которую я в силах ему оказать. Последняя.

Нет. Не хочу думать о том, что будет, если... Я должна находиться в самом центре восьмерки, там, где соприкасаются составляющие ее окружности.

Левый круг. Круг повседневных обязанностей, в нем я вращаюсь машинально. Потому что даже когда все рушится, жизнь идет вперед. И хорошо, что это так.

Беседуешь с посетителями, отвечаешь на истерические телефонные звонки, занимаешься повседневными неотложными делами. Не проходит и часа, как текучка будней подхватывает тебя и ты ни о чем другом и не думаешь, кроме своей работы.

Но где-то рядом другой круг, громоздкий, мрачный, непроницаемый. Вздохнешь только, вспомнив о нем.

Правый круг его. Его мир, который сильно изменился, уменьшился за последнее время, утратил связь с реальностью и в который он невольно вовлекает и меня. Когда я возвращаюсь по вечерам домой, все мои мысли там, в его мире.

В конце концов, не все ли равно, что подлинно реально и что всего лишь порождение больной фантазии? Ведь реальность так или иначе сохраняется, только сперва ее было больше, вымысла меньше, а теперь, наверное, наоборот.

Когда, собственно говоря, человек умирает? Разве то, что ему сегодня осталось, еще жизнь?

Да. Это тоже жизнь. Иная, правда, но его. Жизнь, которую он по-

стигает неким глубинным подсознанием, о котором мы мало что знаем. Все реже и реже показывается он на поверхности, и все реже и реже удается ему ухватиться за ту нить, которая нас связывает.

Я по-прежнему надеюсь. Да. Я цепляюсь за соломинку надежды и качаюсь вместе с ней вверх и вниз. Up and down.

Нелегко. Особенно по вечерам — дома. Квартира живет и дышит. Отзывается его голосом, его шагами по паркету, его тихим стуком в дверь моей комнаты... Выпьешь кофе?

С удовольствием!

Я продолжаю работать, вполслуха прислушиваясь к тому, что делается на кухне. Щелк — зажглась конфорка на плите. Тишина. Наверно, что-то ищет. Вот потекла вода. И опять все стихло. Потом неверные шаги мимо моей двери.

Пора, говорю я себе. Встаю и тихонько отправляюсь на кухню. Мне надо убедиться, что все в порядке. И конечно, в порядке не все. Он насыпал кофе в зернах. Осторожно все исправляю, я не хочу, чтобы он застал меня на месте преступления и понял, что кое-что ему уже не под силу.

Ау! — окликаю его чуть погодя и трижды стучу в тонкую стенку, разделяющую наши комнаты, ау, у тебя кофе выкипит!

Он быстро входит ко мне.

Ты звала? — удивленно спрашивает он. Ты стучала?

Конечно, смеюсь я, у тебя ведь кофе выкипит!

Ой, в самом деле, совсем забыл!

Чашечку он держит обеими руками. Не доверяет он им больше.

Такие видения буквально одолевают меня. Стоит мне заняться приготовлением кофе, и я вновь слышу его неуверенные шаги, его голос... а может, я сама уже понемногу схожу с ума?

Вот кресло. Оно пустое, и оно тоже — ожидание. Завтра суббота, говорит оно, завтра ты свободна и можно куда-нибудь пойти. Что ты сказала?

Я ничего не сказала. Только вздохнула.

И окно зовет меня к себе. Подойди посмотри, как он гуляет по двору.

Подойди, ты увидишь, как я твердо ступаю. Кажется, я стал лучше ходить! — весело говорит он. Сама увидишь. Ты останешься у окна?

Я остаюсь. В самом деле, он хорошо идет! Большими шагами, спина прямая. Старается. Знает, что я за ним наблюдаю. Помахивает тростью, постукивает ею.

Далеко ушел, до самой школы. И вдруг исчез! Не видно его больше.

Я по-прежнему стою у окна. На Граде видны маленькие фигурки гуляющих. Во дворе играют дети. Мальчишки катаются на велосипедах. Девочки всякий раз взвизгивают, когда они проносятся мимо.

Он идет. Возвращается обратно. Наверное, уже забыл, что я торчу у окна. Теперь он идет медленно и мелкими шагами. Сутулый, утомленный. И сердце у меня сжимается в ледяной комок.

Я высовываюсь по пояс в окно. Машу ему. Знаю, это придаст ему сил. Увидел меня, выпрямился, шаг стал шире. И опять машет палкой. Игра для обоих. Передо мной и перед собой разыгрывает здорового.

Ну хватит, говорю я себе, на сегодня хватит. Иди домой, машу я ему, возвращайся!

И спешу по ступенькам вниз, чтобы помочь ему, если понадобится.

Пока не нужно. Моральной поддержки пока вполне хватает.

Медленно подходит к своей комнате. Ты устал? Хочешь прилечь?

Да, я не прочь вздремнуть. А потом зайдем к Татьянце, к Борису, может быть к Брацо заглянем или к Шонцовым... Хорошо?

Да, конечно. Только ты отдохни немного. Накрыть тебя?

Он послушно лег и почти сразу же заснул. И спал очень долго, так долго, что уже было поздно идти в гости. Но кое-куда мы еще успеем...

Непременно нужно к больным, которые его ждут. И прежде всего к бабушке Татьянцы, которая уже седьмой год прикована к постели, для нее он — последняя надежда.

Как хорошо, что вы пришли, господин профессор, стоит только вас увидеть, сразу легче становится!

Оба весело смеются, довольные друг другом.

Мы до сих пор не сказали старой женщине что ее доктор сам лежит в больнице, и лежит уже долгие месяцы. Мы сказали ей, что он уехал. Кто знает, как она приняла бы правду.

Если профессор скоро не вернется, шепнула она мне в прошлый раз, я умру!

Разве можно так, матушка, возразила ей я, а что он скажет, не найдя вас здесь? Дождитесь его, потерпите!

Да ведь я жду, покорно отвечала она, ведь я терплю!

■ ■ ■

Опустевшее кресло все чаще подает голос. Философствует, пускается в рассуждения, как совсем недавно и он сам.

Он считает, что врач не должен говорить больному всей правды. Не должен говорить, что болезнь неизлечима.

А в Америке, замечает Брацо, даже от раковых больных ничего не скрывают!

Я знаю. Однако я убежден, что всю ответственность должен брать на себя врач. Человеку противопоказана мысль о смерти, хотя никто из нас не бессмертен. Каждый надеется победить болезнь и избежать страданий.

А нынешняя молодежь?

Молодежь вообще не думает о смерти Она озабочена настоящим и считает, что ей жить вечно! Поэтому она так активна, восторженна и беззаботна. С возрастом, конечно, лет в запасе становится меньше... Но я-то не совершал таких ошибок. Я до конца продолжал надеяться вместе со своими больными.

Ты в самом деле надеялся или делал вид ради них?

В самом деле... А что умеет нынешняя медицина? Слишком мало, чтобы избавить людей от страха смерти. Врачи могут только помочь — доброе слово тоже оказывает целебное действие.

Я помню тот разговор. Он сидел вон там в кресле, а мы втроем — вокруг стола. Двое Шонцовых и я.

Но ведь бывают обстоятельства, когда больному нужно сказать всю правду?

Какие же?

Ну вот, если бы я одна кормила семью, неуверенно начала Сека, то хотела бы знать. как долго мне еще остается жить. Ведь многое пришлось бы подготовить, сделать для своих детей. В этом случае...

Нет, ты не права. В наше время человек часто умирает скоропостижно. Сколько жизней уносят одни только автомобильные катастрофы... По нынешним временам каждый должен принимать это в расчет, даже если он не болен.

Или вот такой случай. У меня был хороший приятель, который, рассуждая примерно так, как ты, захотел узнать всю правду о своем положении. Ему сказали, но, умирая, он пожалел, что знал все. Не уступайте никому, сказал он мне, и молчите!

Мы долго тогда беседовали, а он задремал. Я увела его в спальню, и кресло осталось пустым. Как сейчас. Только, пока он был дома, оно молчало. А теперь подает голос. Оно не вступает в разговор, лишь размышляет вслух.

Пустое кресло удивляется, например, почему я поздно возвращаюсь со службы домой.

Где это она так долго задерживается, отчего ее нет? — говорит оно, катясь по коридору к входной двери. Останавливается перед нею и ждет. Через некоторое время ему начинает казаться, будто снизу доносятся шаги... Ну вот, пришла, радуется оно, вернулась!

Ух, наконец-то дома! — встречает меня оно.

Разумеется, звука моих туфель на каучуковой подошве оно слышать не могло. Какое-то иное чувство подсказывает ему, когда я возвращаюсь. Всякий раз приходя с работы, я знаю, что оно ожидает меня у самой двери.

И в комнате много предметов, которые разом подают голос.

Книжный шкаф. До самого последнего дня он не расставался с книгами...

А вот письменный стол. Заваленный бумагами. Последнее время он уже не читал их, только перекладывал.

Вот его марки. Он осторожно отделял их от конвертов и бережно укладывал в коробочки. По странам. И отдельно — изображения птиц и цветов с Цейлона, из Африки, отовсюду.

Ты на эту взгляни, настоящее чудо! Кажется, Тото недавно говорил. будто он собирает марки?

Конечно!

Может, после обеда пойдем к нему, обрадуем, а?

А можно его к нам позвать, если хочешь!

До самого вечера они с Тото разбирали марки, сортировали их пинцетом и в конце концов уселись за шахматы.

Не могу избавиться от воспоминаний. Они лишают меня силы, которой у меня так мало. И это кресло, что таращит свои пустые глаза, выводит меня из равновесия. Хотя это вовсе не настоящее кресло, а обычный раздвижной стул с двумя подушками. Но мы называли его креслом. Он любил его, ему было в нем удобно. Устроившись в нем, он мог смотреть телевизор, да и входная дверь была видна. Как только раздавался звонок в дверь, он тут же поворачивал голову и всегда радовался, когда приходили гости.

Ты смотри-ка, кто пришел! Вот те на, кого мы видим!

И комната уже выглядела иначе. Она излучала счастье и радость, которыми светился он. Он искал меня глазами и озабоченно спрашивал, найдется ли у нас что-нибудь перекусить, сможем ли мы хорошо принять наших гостей, и извинялся, что сам уже не в состоянии обо всем позаботиться.

Я кидалась на кухню, рылась в холодильнике и на полках... да ведь и магазин за углом! На лету подхватывала большую сумку и вот уже мчалась по ступенькам.

Эге-ге!

Следом за мной спешил Давид. Куда ты, давай мы с Ники сбегаем, или с Ниной, или с Ричи...

Как я могла забыть, что у меня куча помощников, внуков!

Давид резал хлеб толстенными ломтями, Ники накрывала на стол, Нина делала бутерброды. Я за всем наблюдала и прислушивалась к беседе.

Владо рассказывал о каком-то сложном заболевании. Правда, интересно, спрашивал он отца.

Вот и напиши мне статью для «Туберкулеза»!

Но ведь в «Туберкулезе» только научные статьи?

Нет, у нас публикуются и врачи-практики. В свое время мы так решили: сорок — пятьдесят процентов журнальной площади — оригинальным научным работам, десять — двадцать — материалам по организации здравоохранения и эпидемиологии, а двадцать пять — тридцать — сообщениям. Ты обязательно напиши.

А какой у вас тираж?

Две тысячи экземпляров. Но дотацию не получаем, живем только подпиской, скромно, конечно, но дело все же идет. Главный редактор ничего не получает, это почетная должность. Статьи, разумеется, оплачиваем. Ну, а остальное...

Меня всегда поражало, как живо он откликался на все, что касалось его специальности. Но стоило нам перейти на другие темы, увлечься обсуждением экономических или политических проблем, как он умолкал. Он словно оберегал себя от тех забот, с которыми уже не мог справиться. Его отяжелевшие веки сами собою опускались.

Ты устал? Хочешь прилечь?

Да, я бы, пожалуй, прилег, если вы ничего не имеете против, улыбается он, но я вернусь, вы не расходитесь!

Все это было и остается в этой квартире, где я уже не нахожу себе места. Ожившее прошлое окружает меня. Оно выглядит иным, чем на самом деле, свободное от всего дурного, если оно и было.

Бланка сидит неподвижно. Она пришла узнать, как дела, и замерла, подавленная моим настроением.

Извини, я смущенно закуриваю, мне необходимо избавиться от воспоминаний, иначе они задушат! Ну, вот уже лучше!

Господи, вдруг осеняет меня, как я могла забыть! Ведь совсем недавно Бланка пережила то же самое. Она тоже непрестанно натыкалась на мертвые предметы, которые вдруг ожили и заговорили. Этого нельзя избежать. Прости, Бланка!

Только когда я переменила жилье, мне постепенно полегчало, говорит она, с трудом выдавливая из себя слова.

Позднее слова, мимоходом брошенные Бланкой, превращаются в довольно конкретный план, и вот с ее помощью — такое под силу, пожалуй, только Бланке! — я переехала на другую квартиру.

И в самом деле словно ожила. Словно натянула новую шкуру, которая нигде больше не терла и не давила. И благодаря которой я опять обрела силы.

Новое жилье было тихим, и если хотело поведать мне о чем-то, то говорило о светлых минутах. Если случится чудо, которое все еще возможно, сказала я себе, он получит свою комнату. Комнату с балконом и видом на самые прекрасные горы в мире! Ему здесь будет даже лучше, чем в старой квартире. Хотя, если уж говорить откровенно, вид и из окон прежней квартиры был отличный...

Ты погляди, как красиво! — нередко повторял он, когда вся комната пылала в лучах заходящего солнца.

Или когда на Граде устраивали фейерверк.

Мы гасили в комнатах свет, поудобнее располагались на диване и смотрели на яркую россыпь огней, которые взлетали у нас перед глазами.

Там было хорошо. А здесь, убеждаю я себя, еще лучше. Во-первых, квартира очень светлая и не связана с воспоминаниями. И, пожалуй, самое главное — она молчит. В ней, следовательно, живут только бодрые, светлые мысли, только надежды. Я вновь готова к отдаче.

Отдача. Единственная подлинная радость в жизни. Хотя... всякое деяние связано с получением. А мой приемник уже сильно ослаблен.

■ ■ ■

К нему все реже возвращается сознание, и я все глубже погружаюсь в далекое прошлое. В то время, в котором я с трудом ориентируюсь, которое я познаю лишь из его дневников и писем.

Вчера, например, он спросил меня, помню ли я, как отец приехал к нему в Стражище. На итальянском фронте, возле Сочи...

■ ■ ■

Он по-прежнему спит. На этот раз особенно крепко и долго.

Последнее время я не закрываю дверь в его комнату. Не хочу упустить момента, когда он проснется, то и дело подхожу к двери и заглядываю.

И вот сейчас взгляд его устремлен в потолок. Когда он проснулся? О чем думает, если вообще думает?

Тихо подхожу к постели. Он меня не заметил. По-прежнему смотрит вверх. Отрешенно и сосредоточенно.

Я присела на краешек кровати, чтобы получше видеть его лицо, чтобы по глазам, которые то вдруг вспыхивают, то вновь угасают, угадать, о чем он думает.

Он зашевелился. Наверное, почувствовал, что я здесь. Взгляд его медленно скользит вниз, опускается и, наконец, упирается прямо в меня. Ничего не выражающий взгляд.

Я жду.

Тебе помочь? Скажи, чего ты хочешь?

И только сейчас, после глубокого вдоха, глаза его начинают оживать. И лицо постепенно смягчается. Словно оттаивает под робким весенним солнцем стылая земля.

Чуть заметно дрогнула правая рука на одеяле. Я беру ее в свои ладони и начинаю слегка массировать. Не сводя глаз с его лица. И вижу, что он хотел бы что-то сказать мне. Он чуть шевельнул головой и прикрыл глаза.

Хорошо... Мне кажется, я поняла его.

Ты не напрягайся, отдыхай. А я буду говорить за двоих.

В прошлом году в канун Нового года я вот так же думала и рассуждала за двоих. Раньше нам не всегда удавалось вместе встречать Новый год. Далеко не всегда! Но если мы не могли быть вместе, то обязательно около полуночи звонили друг другу.

Алло! Алло! — кричали мы в трубку. Слышимость часто была плохая, и обрывки фраз летали между нами, как целлулоидные мячики. Что делаешь? Компания хорошая? Как настроение? Ты меня слышишь? И разговор еще продолжался, хотя связь уже была прервана.

Было ведь так или нет?! Ну вот видишь. Значит, в прошлом году, когда такой тяжелый год близился к концу... что? как? ты не помнишь? Ты раньше заболел? Возможно, ты и не помнишь, но эти воспоминания не горькие, они приятные. В последнее время, когда ты так часто уходишь от меня, я уже свыклась с этой новой, двойной ролью. Всякий раз, ожидая твоего ответа, я вслушиваюсь в себя и угадываю, как бы ты ответил, что посоветовал бы, если... И большей частью, мне кажется, я угадываю верно.

Ну так вот, на рубеже старого и нового года мы вот так же разговаривали. О чем? Да обо всем. И о череде многих лет, ушедших в прошлое. Как мы разговаривали? Да очень просто. Так же, как сейчас. И желали друг другу здоровья и успехов во всем.

А потом?

Потом меня позвал к себе твой письменный стол. Он словно изнывал от нетерпения. Даже скрипел, требовал, чтобы я подвела в дневнике итоги минувшего года.

Да, надо бы, согласилась я, перелистывая дневник. Только я не знаю, как надо подводить итоги. Как далеко вернуться назад? Нырнуть в шестидесятый год? В тот период, когда на горизонте уже стали собираться тучи: Age limit во Всемирной Организации Здравоохранения и новые волнения в связи с работой на родине?

1960:

Мы проводили друзей, с которыми ужинали. А потом ты вдруг исчез у себя в комнате и больше не показывался.

Что ты делаешь? — крикнула я.

Подвожу итоги, ответил ты, сейчас приду!

Заглянув через плечо, я увидела только что сделанную тобой запись под датой — 31 декабря. Итоги минувшего года удовлетворительны, хотя возраст дает о себе знать и все говорит о том, что окружающие также замечают во мне перемены. Да и молодые, сорокалетние, поджимают со всех сторон.

Но работы было более чем достаточно. Даже для человека помоложе! И успехами, несмотря на кое-какие незавершенные дела и неисполненные обещания, можно в целом быть довольным.

Я много ездил. Дважды побывал в Далмации, несколько раз в Париже, в Англии и в Шотландии. Познакомился с известными специалистами, и все шло гладко — кроме некоторых досадных мелочей в Сежане.

В новый год вступаю в отличном настроении, хотя чувствую, что дальнейший путь будет более крутым. Только бы рядом со мной был добрый товарищ, мой неиссякаемый источник силы.

Покажи мне, что за листок ты приклеил в дневник. Это стихи?

Каждый старик по-своему король Лир,
труд и борьба
давно отошли;
страданье и страсти
утихли и скрылись.
Юность живет для себя и собою;
кто настолько безумен, чтоб ей приказать:
вместе со мною иди!

Конечно, ехидно заметила я, стихи безусловно прекрасные, но ведь это чистой воды капитуляция! Начинается новый год, а ты штык в землю!

Его громкий смех заставил меня умолкнуть. Я ушла к себе и разыскала томик Гёте. На другой день я ему прочитала: Das Unmögliche behandeln, als wenn es möglich wäre![1]

Я долго думала об этих строках. Я хотела понять их. Подсознательно, спустя много времени, я искала подтверждения своим раздумьям в каждой книге, попадавшей мне в руки. И не находила. Мне пришлось признать, что твой страх перед пенсией был более основателен, чем мой оптимизм.

Хемингуэй, например, считал, что худший вид смерти — это отлучение от работы, которая сформировала человека. Почему мы не смогли поговорить об этом всерьез, пока не стало слишком поздно?

То, что в свое время я безуспешно искала, я вдруг нашла в «La vieillesse» [2] Симоны де Бовуар.

Пенсия, писала она, самое отвратительное слово. Когда мы уходим на покой и выпадаем из той сферы деятельности, в результате которой мы стали тем, что мы есть,— мы словно бы заживо ложимся в могилу. Человек не может быть на пенсии и жить.

■ ■ ■

Сейчас, когда я еду домой, на душе у меня спокойно.

Гляди, говорю, дождь!

Я по-прежнему веду себя так, будто он рядом.

Вместе наблюдаем мы за отражением фонарей на мокром асфальте и за красными змейками автомобилей далеко впереди.

В центре города светло. Как в любой другой, большой или маленькой, западной столице. Разницы никакой.

Старая часть города выглядит более интимной, в ней гораздо приятнее.

---

[1] К невозможному так относиться, как если б оно было возможно *(нем.)*.

[2] «Старость» *(франц.)*.

Если бы он в самом деле был сейчас рядом, то мы, вероятно, поднялись бы к Граду. Вышли бы из машины и прошлись мимо стен.

По дороге домой мы почти наверняка встретили бы Польди и Генри. И обрадовались бы друг другу. Ведь Польди и Генри из той породы революционеров, которая не разменяла своих душевных богатств на мелочные интересы...

Я в одиночестве поднимаюсь по лестнице, медленно отпираю дверь, вхожу в переднюю и машинально останавливаюсь возле книжного шкафа.

Что я собиралась посмотреть? Ах да, Гёте.

Взгляд сам собой останавливается на небольшом желтом томике, который я, бог весть почему, уже давно не брала в руки. Раньше... раньше он всегда был рядом. Простенькое издание, в котором столько мудрости и красоты.

Вот она, фраза, когда-то служившая нам девизом: Wie es auch sei, das Leben, es ist gut! [1]

Перечитываю, перелистываю книгу, ищу слова, которые помогут мне сейчас и будут помогать позднее, до самого конца.

И нахожу их: Willst du mich nicht glücklich lassen, Sorge, nun so mach mich klug! [2]

Март-апрель

■ ■ ■

Неустойчивая погода, мелкий бодрящий дождик. La pioggerellina di marzo che piechia argentina[3], как писал Анджело Сильвио Новаро. Мы учили эти стихи в школе и запомнили на всю жизнь, и мой брат Дане знал этот текст наизусть.

Неустойчивая, значит, погода и мелкий бодрящий дождик. Та самая pioggerellina argentina. И вместе с тем гяжкая пелена уныния. Подавленное настроение, которому пронзительный телефонный звонок мало соответствует. Скорее, скорее! — подгоняет он. Голос Мариан отвечает моему настроению. Как у него дела?

Откуда ты говоришь? Где ты? В Риме? На конференции? Обратно поедешь через Любляну? Чудесно! Что, что? Самолетом? Поездом?

Как у него дела?

Я бормочу что-то невразумительное. Когда ты завтра приедешь? Я хочу знать.

Около часу дня.

Значит, a demain[4].

Мариан в Риме... Instituto Forlanini, Riunione Internazionale per la lotta alla t.b.c.[5].

Последний раз мы были с ним там шесть лет назад...

---

[1] Что б ни было, жизнь все же хороша! *(нем.) (Перев. М. Лозинского.)*
[2] Если ты не желаешь меня осчастливить, Забота, тогда вразуми меня! *(нем.)*
[3] Секущий серебряный мартовский дождичек *(итал.)*.
[4] До завтра *(франц.)*.
[5] Институт Форланини, Всемирный союз по борьбе с туберкулезом *(итал.)*.

1963:

В аэропорту Фьюмичино нас встречала Пэм Стоуби, старая знакомая и близкий друг его еще по женевским временам...

...которая лихо вела свой старый «форд» в стремительном потоке машин. Она обгоняла другие автомобили справа и слева, а когда казалось, что мы в этой ревущей реке сели на мель, бампером подталкивала впереди стоящие машины — тук, тук, su su via[1] и добивалась успеха.

Эй, Пэм, what are you up to? Что ты делаешь?

Driving like *un vero romano*![2]

И громко смеялась.

В Риме, объясняла она, иначе нельзя. Джунгли!

И прибавляла газ. Мы выписывали вензеля по аллеям, бульварам и улицам, мчались мимо знаменитых римских памятников и остановились лишь где-то за городом.

В семействе Стоуби нам всегда было хорошо, но сейчас Джима не было дома — он работал в одной из международных организаций, ребята просиживали штаны в лондонских школах.

Пэм со смехом читала нам письмо от Марка, который одновременно и огорчался оттого, что его нет в Риме, когда приехали гости, и радовался, что кому-то из нас достанется его комната.

Мы распаковывали чемоданы, выкладывали вещи и переговаривались через распахнутые двери.

Ты знаешь, Адам еще и спортсмен?

Так ведь он уже в прошлом году играл в шахматы?

Иди-ка сюда, посмотри.

Да, в самом деле. В комнате Адама висят настоящие боксерские перчатки. А рядом с ними лежит шахматная доска. И сколько книг! Я подошла к полке. Книги по экономике, математике, физике... Да, видно, Адам пошел по стопам отца.

Потом мы вдвоем осматриваем комнату Марка, которую предоставили мне.

В углу — электрогитара, на книжных полках — сборники стихов и книги по искусству. Есть кое-что по футурологии и кибернетике. На стене висит куртка дзюдоиста.

Мы переглянувшись рассмеялись.

What's the matter?[3] — раздался позади голос Пэм.

Видишь, как напористо утверждает Марк свою личность? Он ничуть не изменился, такой же, как был!

Ох, Марк!

Пьем освежающие напитки, курим, беседуем. Вспоминаем о совместной поездке по далматинскому побережью.

Сколько лет прошло с тех пор? В пятьдесят седьмом, кажется, это было?

Тогда мальчики были совсем юными и напоминали двух петушков. И все время спорили между собой. По обыкновению, первым начинал Марк.

Чего ты все задираешься? — сердился выведенный из терпения Адам, за что ты меня ударил?

---

[1] Эй, эй, дорогу! *(итал.)*

[2] Езжу как настоящая римлянка *(англ., итал.)*.

[3] В чем дело? *(англ.)*

I got to fight you[1], наскакивал Марк, чтобы добиться места под солнцем. Ты отбрасываешь на меня слишком длинную тень!

Ах, Марк!

Have another drink?[2] Показать вам диафильмы той поездки?

Я не возражаю — из вежливости. На самом деле мне этот просмотр совсем не по душе. Но Пэм уже все приготовила.

Вот мы. Адам, Марк и Борут в воде. Между ними огромные пенистые водовороты. Широко раскрытые, смеющиеся рты.

Да, припомнила я, мы тогда взяли с собой внука Борута. А где это было?

Где-то между Брелой и Макарской, ты забыла? Мы укрылись от жары в этом прохладном сосновом лесочке. Ребята еще никак не хотели из воды вылезать... Вот тогда я их и снимала.

На другой день Пэм первым делом повезла нас в институт Форланини.

Il professore, c'e?

Нет. Профессор Эльторе на лекции. Вас ожидает доктор Д'Агостино из статистического отдела. Прошу вас.

Нам демонстрируют массу интересных материалов. На стене отдела висит даже географическая карта, показывающая области распространения туберкулеза. На первый взгляд дело поставлено серьезно, но, как потом признался сам доктор, многие сведения случайны и вряд ли могут быть использованы без дополнительной проверки.

И когда мы уже прощались, в комнату вошла Мариан.

■ ■ ■

Скоро она опять будет здесь. Профессор Мариан из Парижа, кавалер ордена Почетного легиона и так далее и так далее. Моя верная сотрудница — так он обычно представлял ее другим.

Да, Мариан. Одна из тех редких женщин, которые с самого детства боролись за женское равноправие.

Она была младшей в семье. Ее брат, следуя заветам отца, служил в армии, вышел в отставку в чине полковника и теперь преподавал гимнастику в каком-то детском санатории; сестра Сесиль, став магистром, приняла на себя руководство аптекой, Мариан уже в юности отличалась пытливостью, свойственной настоящим ученым. Рене приходилось прятать от нее свои механические игрушки, так как она часто пускала в ход отвертку, чтобы посмотреть, что там внутри. Маленькая и хрупкая, она предпочитала гонять по окрестностям вместе с мальчишками чем играть в куклы или помогать матери.

Почему ты все время с мальчишками? — упрекала ее мать, посмотри, как помогает мне Сесиль!

В конце концов все смирились. Ни куклы, ни плита, ни наряды не привлекали Мариан. Больше всего ей нравилось ломать новые игрушки. Или гоняться за бабочками и искать птичьи гнезда. А потом она начала читать сверх меры. Она отдавала предпочтенье путешествиям и биографиям великих людей. Ее жизненным идеалом стала мадам Кюри.

---

[1] Я должен драться с тобой *(англ.)*.

[2] Хотите еще что-нибудь выпить? *(англ.)*

Мариан. Трудолюбивая как муравей, настойчивая, аккуратная и при всей своей врожденной вежливости резкая и неуступчивая. Руководитель исследовательского института при министерстве здравоохранения, секретарь Союза по борьбе с туберкулезом, почетный член... хватит, хватит! Поезд вот-вот подойдет!

Я стою на перроне и упрекаю себя за то, что все время с тех пор, как она уехала... а прошло уже девять, нет, десять месяцев... Так вот, с тех пор, как она уехала, я скрывала от нее истинное положение вещей. Она не знала правды. И вот она приезжает!

Подошел поезд!

Толпа бросается к выходу, который поглощает людей, словно адское жерло.

Как бы не пропустить Мариан.

Вот она! В своей серой пелерине похожа на летучую мышь. Маленькая, изящная, настоящая парижанка!

Град вопросов обрушивается на меня. Я пытаюсь уклониться от ответов. Скоро сама увидишь. Сама оценишь, потерпи! Ну, а как в Риме? Эльторе там по-прежнему? Д'Агостино?

Конечно. Но ты не можешь себе представить, как нам его не хватает! Мы по-иному подходили к работе, когда ею руководил он. Всюду сказывается его отсутствие. И в Союзе по борьбе с туберкулезом, и в Париже, везде. Но коллега Кэррол из Копенгагена вообще не знал, что он болен. А как он? Плохо? Почему ты мне не писала? Плохо?

Pas bien du tout — хорошего мало.

Вот так, без обиняков.

Ты удивлена? Но ведь ты никогда не верила, что ему удастся выкарабкаться. Ведь если судить по твоим предсказаниям, отпущенный ему срок давно истек.

Пожалуйста, прошу тебя!

Прости!

Мариан сжимает мою руку. Молча. Тепло и дружески.

Мы не домой?

Нет. Тебя я отвезу в больницу, а мне нужно еще на работу. Я потом за тобой заеду. Хорошо? Чемодан можно оставить в машине!

А ты со мной не пойдешь?

Я попозже, до свидания!

Но мысленно я все время там, в больнице. Я стою рядом с Мариан и всем сердцем чувствую ее печаль и тревогу. Она пока не поняла, что означают мои слова «pas bien du tout — хорошего мало»!

Но очень скоро сама увидит. Если б к нему хоть вернулось сознание, если б он мог хотя бы ее узнать.

Надежды, надежды.

Я сижу за своим рабочим столом и думаю о вещах, не имеющих никакого отношения к юриспруденции. Я должна взять себя в руки, или мне нужно бросить работу. Иначе нельзя.

Всю дорогу к больнице пытаюсь угадать, каким она его увидела. Будет ли она стоять у его изголовья, подавленная его видом? Или станет расспрашивать дежурного врача? А может быть, просто сядет в соседней комнате и уставится в пустоту? Кто знает!

Мне представляются возможными все эти варианты. Тем сильнее мое изумление, когда я застаю их за беседой. Правда, сам он не говорит, но с интересом слушает, как Мариан рассказывает о римской конференции.

Наклонившись к нему, она говорит медленно, отчетливо произнося каждое слово, следя за тем, чтобы не слишком его утомлять.

Заметив меня, он радостно улыбнулся. Слушай, mais c'est excellent, excellent! [1] Теперь мы опять примемся за дело. Скажи ей, переведи, что сегодня у меня французский не очень идет. Да и страшновато перед лекцией, придется стиснуть зубы, да? Он смотрит на меня со странной улыбкой.

Придется, соглашаюсь я и перевожу Мариан его слова. Mais, non, возражает она, pourquoi? [2] Тебе кажется! Riunione, произносит он и снова пытается восстановить оборванную нить. Eltore, n'est-ce pas? Sans moi cette fois! [3]

И мгновенно покидает нас. Даже не закончив фразы, точно провалился в пустоту. Только постанывает, и я понимаю, что ему неудобно лежать.

Спустя полчаса мы с Мариан сидим в ресторане. Я не спрашиваю ее, каким она нашла его. Я читаю ответ в ее взгляде.

C'est étrange, как странно — повторяет она то и дело, но ведь он так ловко держал тарелку, словно...

...воскрес из мертвых? Чтобы поздороваться с тобой? Это ты имеешь в виду? Он не спал, когда ты вошла?

Не сказала бы. Дремал...

Она долго стояла у постели, потрясенная переменой в его облике. Потом он вдруг открыл глаза и словно вернулся в действительность из беспредельной дали. Мариан считала, что он узнал ее по голосу. Mon dieu, mon dieu! [4] Она не может прийти в себя от изумления. И ты сама тоже очень изменилась.

Мариан во второй раз просматривает историю болезни и проверяет лекарства, которые ему прописаны. Oui, c'est ça [5], бормочет себе под нос. О болезни мы не говорим. Нам уже нечего о ней сказать. Да и сама Мариан изменилась. Выглядит иначе. Ее больше не назовешь летучей мышью. Теперь она больше похожа на статую. Статую, выражающую изумление.

Это ошеломило меня, призналась она, громко втягивая носом воздух. Я могла предположить, но твои письма...

Я молчу. А что мне ей было писать? И зачем?

Ну, а теперь?

Я пожимаю плечами. Не знаю. Сама видишь, как обстоит дело. Главное, он не мучается. Я каждый день до вечера сижу здесь и осматриваю комнату, как если бы впервые ее увидела. Он принимает свои лекарства, и я ухожу. Ночи у меня по обыкновению спокойные. И днем тоже он большей частью дремлет. Недавно... Я ведь тебе писала, мы вывозили его на веранду! Конечно, писала! Даже много раз! И по телефону мы говорили об этом, верно ведь? Даже слишком много, думаю я про себя. Сверх всякой меры раздула я это событие.

[1] Но ведь это блестяще, блестяще *(франц.)*.
[2] Но почему? *(франц.)*
[3] Союз... не правда ли? Эльторе? На этот раз без меня *(итал., франц.)*.
[4] Господи, господи! *(франц.)*.
[5] Да, верно *(франц.)*.

А потом, когда он уже не вставал, я убедила себя, что все дело в перемене погоды... Пошли?

Мариан понравилось мое новое жилье. Но она не могла понять, зачем я это сделала.

Ведь со старой квартирой связано столько воспоминаний.

Именно они камнем лежали у меня на душе! Ведь я жила надеждами. Я накапливала силы на двоих. Это счастье, что я могла переменить квартиру! В старой квартире, где все тянуло в прошлое, я бы давно уже сдалась! А тогда это еще не казалось неизбежным, ты понимаешь? Впрочем, я и сейчас не совсем потеряла надежду!

Мариан меня не понимала. Она нашла бы утешение в воспоминаниях.

Я не хочу утешений. Утешений для себя одной.

И вот мы уже обмениваемся желчными репликами. Я убеждаю Мариан, что речь идет не обо мне, а о нем. Ему нужна помощь. Ради него я должна остаться сильной. А как мне найти силы, если в прежней квартире меня преследовали воспоминания? Зачем мне, в конце концов, жалеть самое себя?

А что дальше?

Я смотрю на Мариан, она с трудом сдерживает себя. Она не станет больше со мной спорить.

Ты по-прежнему просматриваешь его старые бумаги?

Теперь даже чаще!

Зачем?

Последнее время он все больше уходит в далекое прошлое. Я должна вооружиться фактами, если хочу его поддержать.

Помнишь, как в Риме я подвела его к рассказу о фронте на Соче?

Нет, когда это было?

Когда Пэм Стоуби пригласила нас на ужин...

1963:

Услышав звонок в дверь, я откладываю книгу и иду открывать.

Вот и мы! Пэм опережает меня, здоровается с Мариан, о которой много слышала, но с которой до сих пор не была знакома.

Я перехватываю взгляд, который Пэм бросает на Мариан. Пэм, правда, моложе, но Мариан привлекательна, как истая парижанка.

За ужином Пэм, видимо, решила нас подразнить. Ухаживает только за ним, угощает, кокетничает.

Ах так, думаю я и перехожу в атаку. Что за дискриминация! — вслух произношу я. Ладно, пусть ты пренебрегаешь мною, quantité négligeable n'est pas? [1], но как быть с Мариан? Professeur Marianne porteur de la Légion d'Honneur etcetera, etcetera...[2] женщина, председательствовавшая на последней международной конференции... Или все это не так и я что-то путаю? — обращаюсь я к Мариан через стол.

Мариан вспыхнула. Ей это идет.

И вот мы уже встаем с бокалами в руках. Он говорит о поразительном успехе Мариан на конференции, мы чокаемся и смеемся над смущением Мариан.

Пэм не сдается.

Как ты могла выбрать мужчину, который нравится стольким

[1] Это можно оставить без внимания, не так ли? *(франц.)*

[2] Профессор Мариан, кавалер ордена Почетного легиона и так далее и так далее *(франц.)*.

женщинам! — Подмигнув мне, она с притворной строгостью смотрит на него.

Да, это правда, всему миру я нравлюсь! — смеется он...

Мы с Мариан засиделись глубоко за полночь. Вновь обращаемся к тем далеким событиям и картинам, которые проступают сквозь тонкую паутину его рассказов...

На другой день мы осматриваем туберкулезные поликлиники. Мариан нужны данные для работы по эпидемиологии, которую они еще вместе начинали.

Как тебя на все хватает! — удивляюсь я, не тяжело тебе?

Да, не очень легко, признается она. Иногда хочется бросить все и сбежать куда-нибудь!.. Когда он сам всем руководил, нам было раза в три легче! — вздыхает она.

■ ■ ■

Мариан уезжает. Ей непременно нужно в Загреб, а потом самолетом обратно в Париж. Ее ждет работа. Жаль, но ничего не поделаешь.

Не надо меня провожать, просит она, ты ему нужна, оставайся с ним. Я поеду на автобусе.

Я провожу тебя.

Не буду ей ничего объяснять, все равно не поймет. Я-то знаю, что он сам попросил бы меня проводить ее, проводить до аэродрома.

Знаешь, сказал бы он, мне будет спокойнее, если ты проводишь ее, хорошо?

И знал бы, что я ему не откажу. Ведь мы всегда вместе встречали и провожали Мариан. И непременно останавливались по пути в Отočаще. Здесь часто фотографировались. Совсем недавно я рассматривала эти карточки...

Раннее утро, на шоссе почти нет машин. Молча вслушиваемся в шумы пробуждающегося дня, опутанного паутиной сна, пронизанного голосами птиц.

А осенью ты приедешь?

Мой вопрос вдруг перебросил нас в будущее. В то время, когда его, наверное, уже не станет.

Ты приедешь? — настаиваю я и смотрю на нее.

Мариан глубоко вздохнула. Не знаю. Времени мало, а работу обязательно нужно закончить... Если удастся вырваться...

Последняя осень в Бледе была незабываемой, добавила она задумчиво.

Я помню. Твоя комната была рядом с нашей. Обе с видом на остров. И уже с раннего утра в ней стучала твоя машинка — тук-тук-тук-тук.

Ну, значит, до осени.

Ты мне напишешь. Позвонишь.

Шоссе становится более оживленным. Теперь, обгоняя грузовик и цистерну, я на миг умолкаю. Вообще же тараторю — без перерыва. Рассказываю ей о детях, внуках, которые уже стали совсем

взрослыми. Старший внук Борут влюблен в медицину, как и отец. Думаю, что он скоро защитится.

Всю долгую дорогу до аэродрома я болтаю, а Мариан молча слушает. И, наверное, вспоминает, как уезжала из Любляны прежде. На аэродроме нас по обыкновению поджидал Драго. Улыбающийся, веселый, сыпал шутками до самого отлета.

С Драго всегда было приятно, да?

Конечно. А почему ты сейчас вспомнила о нем?

Не знаю. Мысли у меня скачут. Я уже к этому привыкла, и мне это не мешает. А тебе трудно уследить за мной?

Зачем я все это говорю? — спохватываюсь я. Чего я жду? Чего я хочу? Удержать последнее мгновение расставания? Продлить его сверх всякой меры и в конце концов все-таки дождаться, что здесь, на аэродроме, может, у этого одетого решеткой оконца, где все время толпится народ, вдруг появится он и с радостной улыбкой направится к нам?

Где ты был так долго? — спросила бы я его, и мне сразу стало бы легче, ведь мы снова вместе.

Еще есть время, не надо спешить!

Разумеется, говорит Мариан и обнимает меня, погружая в летучее облако французских духов, которое много дней будет преследовать меня, куда бы я ни пошла.

Прощай, Мариан, счастливо! Ты приедешь на похороны?..

Мариан смешалась с толпой пассажиров. Ее серую пелерину ветер раздувал, будто флаг.

В одной руке она несла сумку, другой высоко подняла белый платок. И лицо ее, когда она смотрела назад, было бледным...

Конец

Конец, который неизбежен и который мы тем не менее воспринимаем как участь, могущую коснуться только других. Не нас и не наших близких. Пока нет. Еще не сегодня.

Это, разумеется, относится к нам, кому он так дорог. К нам, всем. Ко мне, для которой самое сознание того, что он дышит, важно. Хотя с каждым днем мне все труднее выносить его неподвижность.

Неужели никак нельзя помочь? Неужели больше нет таких лекарств, уколов, препаратов, сама не знаю чего? Что-то нужно дать ему, оживить его мышцы, вырвать из оцепенения.

Доктор Боян молчит. Смотрит в окно, одну за другой курит сигареты.

А совсем недавно, вспоминаю я, доктор был такой разговорчивый, все шутил, и хорошее настроение передавалось даже ему. И он

каждый день с нетерпением ждал Бояна, словно веря, что этот доктор сумеет его спасти.

Боян понимал, что его присутствие важнее любых лекарств, расставленных на ночном столике. И очень часто навещал нас. И каждый раз творил чудо воскрешения.

Доктор Боян опускался на стул, и у больного исчезала вялость, черты лица оживали, и он казался вполне здоровым человеком. Иногда он не мог произнести слово, другое, но ведь он был так взволнован, а может быть, сказывалось действие лекарства. Некоторые лекарства вызывают у него аллергию, он мне сам говорил.

А беседы с коллегой словно вливали в него силы.

■ ■ ■

Когда же наступил конец?

Он подкрадывался медленно, незаметно, день за днем. Все то время, пока я пыталась сохранить последние искорки сознания. Когда я бережно прикрывала чуть тлевший огонек, который освещал минувшее, куда мне столько раз удавалось проникнуть. Я пыталась удержать тонкие нити, ведущие в наше, в его минувшее, но они ускользали, обрывались. Я пыталась беречь то малое, что еще связывало нас, перерыла груду бумаг, чтобы быть с ним до конца. И часто мне это удавалось. Вот совсем недавно он увидел меня в образе матери.

Я быстро подошла к его изголовью, но он меня не замечал. Господи, бормотал он, как они обходятся без меня, я так долго болею! Потом повернул ко мне голову и пристально на меня посмотрел.

О, сказал он со слезами на глазах, мамочка моя!

И вот я уже принимаю облик той женщины, чья фотография в кожаной рамке всегда стояла у него на письменном столе. Я почти физически ощущаю, как изменяются черты моего лица.

Как приходилось выкручиваться, чтобы большая семья могла прожить от начала одного месяца до начала другого? Счастье еще, что у меня такой взрослый сын, на которого я могу положиться.

Я тебе буду помогать, не волнуйся! — убеждал он меня, пытаясь поймать мои руки.

Конечно, сынок, конечно, ты мне будешь помогать, ведь ты скоро выздоровеешь.

Выздоровею, вернусь домой и останусь с тобой. Буду приглядывать за ребятишками, колоть дрова — все буду делать. Ох, нет, ничего не выйдет, ничего!

Почему не выйдет? — пытаюсь я угадать.

Ты забыла, что Хеда тяжело больна? Дорога такая дальняя, ты не можешь к ней ехать одна...

1918:

Мы едем по Галиции, дремлющей под ласковым солнцем. Точно нет и в помине инфлюэнцы.

Страх сопровождает нас всю дорогу. Что с Хедой? Жива ли она?..

■ ■ ■

А если это произойдет уже завтра? Пять минут опоздания, и ты меня уже никогда не узнаешь и ни с кем не перепутаешь! В твоем взгляде будет только изумление, откуда взялась эта боль, и мольба об избавлении.

А если я приду к тебе в тот самый миг, когда ты будешь громко стонать от невыносимых мук? Жизнь — это напряжение и расслабление, череда вдохов и выдохов, а ты будешь лежать оцепенело, скрюченный жестокой судорогой. И будешь стонать.

Сестра-а-а, сестра-а-а, позовите врача, пожалуйста, найдите его! Сделайте укол, вы видите...

Впрочем, кто знает, что обрушится на меня завтра. И завтра ли прервутся твои путешествия в прошлое, когда я пойму, что тебе очень плохо. И у меня будет только одно желание — чтобы ты не мучился. Ибо нет ничего страшнее, чем быть свидетелем чужих страданий, когда уже ничем не можешь помочь.

Держа в руках оборванные нити, я обращусь в слух. В комнате воцарится могильная тишина. И станет слышно, как уходит жизнь.

Мои желанья будут все скромнее и все эгоистичнее.

Только бы ты дышал, говорю я себе, только бы не так сильно мучился. Только б тебе не становилось хуже... Хуже? И вдруг молнией сверкнула мысль. А разве может быть хуже того, что есть? Ведь мы уже дошли до крайней точки, и любое движение от нее может быть только в сторону улучшения.

Разум мой отказывается служить. Я не в состоянии больше об этом думать. И кроме того, праздник у порога.

Дни Первомая, город опустел...

Вряд ли даже сестру дозовусь! И врача со шприцем долго придется ждать.

Я буду массировать тебе затылок, как столько раз делала прежде, долгими, равномерными движениями. И хотя ты уже ушел, откликнешься в последний раз. Ты перестанешь стонать и утихнешь.

Он уже утих! — скажу я врачу, который прибежит со своим шприцем. Ему ничего больше не нужно, может быть, понадобится позже. Я позову вас!

Сделайте ему укол, буду умолять я врача. Может быть, ему все-таки станет легче...

И вскоре я превращусь в одно сплошное ожидание...

И в конце концов я узнаю, что состояние его *уже* изменилось.

Ухудшилось?..

Улучшилось?..

■

Литературное наследие

ЭМИЛИ ДИКИНСОН

Перевод с английского и вступление
ВЕРЫ МАРКОВОЙ

«Я улыбаюсь,— писала Эмили Дикинсон,— когда вы советуете мне повременить с публикацией,— эта мысль так мне чужда — как небосвод Плавнику рыбы —

Если слава — мое достояние, я не смогу избежать ее — если же нет, самый долгий день обгонит меня — пока я буду ее преследовать — и моя Собака откажет мне в своем доверии — вот почему — мой Босоногий Ранг лучше —»

В 1862 году Томас Уэнтворт Хиггинсон, известный в Новой Англии писатель и публицист, обратился к молодым американцам с призывом смелей присылать свои рукописи в редакции журналов. Быть может, где-то в глуши таятся еще не известные миру таланты? Надо найти их, воодушевить и с должным напутствием открыть им дорогу в печать. Хиггинсон готов был взять на себя роль благожелательного ментора.

Из маленького провинциального городка Амхерста пришло письмо, датированное 15 апреля. С него началась знаменитая в истории американской литературы переписка. К письму были приложены четыре стихотворения. Все они признаны теперь шедеврами американской лирики. Подписи не было, но на небольшой карточке карандашом, не очень ясно, словно с какой-то нерешительностью, написано имя: Эмили Дикинсон.

Почерк странный, похож на следы птичьих лапок на снегу. Вместо общепринятых знаков препинания — тире, обилие заглавных букв, как в старинной английской поэзии. Автор спрашивал только, живые ли его стихи, дышат ли? «Мой Разум слишком близок к самому себе — он не может видеть отчетливо — и мне некого спросить —»

Удивительное письмо, но еще удивительнее стихи — смелые, полные свежести и силы, это Хиггинсон понял сразу. Весь мир словно увиден и прочтен заново. Но — и здесь Хиггинсон столкнулся с загадкой, которую так и не смог разрешить во всю свою жизнь,— как применить к этой необычной поэзии ходовую шкалу оценок?

Каноны стихосложения, полученные американской поэзией в наследство от английской, крепко усвоенные и уже окостеневшие, даже школьные нормы грамматики и орфографии в стихах Эмили Дикинсон опрокидываются, отбрасываются в сторону в поисках новой выразительности. Неточная рифма тяготеет к диссонансу, но богатство внутренних перекличек-ассоциаций напоминает Шекспира. Это любимый автор Дикинсон. В одном из своих позднейших писем она сказала: «...тот свершил свое Будущее, кто нашел Шекспира».

Плавный ход классических размеров перебит синкопами, ритмический рисунок вычерчен свободно и прихотливо. Тире, как стоп-сигнал, не позволяет глазам легко скользить по строке, и паузы эти размечены почти как в нотописи.

Рамки поэтического словаря раздвинуты. Эмили Дикинсон любила соединять «трудные» латинские и греческие слова с англосаксонскими. Недаром она иногда называла английский язык «саксонским», восходя к его глубоким источникам. Язык идей соединен и сшиблен со словами из повседневного обихода, с напряженным языком чувств. И не только сочетание слов необычно. Само слово зачастую берется в непривычном значении. Возникают слова-символы. К такому слову, как к центру, стягивается все стихотворение.

Андре Моруа писал в своем литературном портрете «Эмили Дикинсон — поэтесса и затворница» [1] о таких сложных ассоциациях: «Они отпугивают ленивые умы, но зато возбуждают другие и помогают им открыть в пейзажах души прекрасные эффекты светотени».

В одном из стихотворений («Нас пленяет Стеклярус»), присланных Хиггинсону в первом письме, была строфа:

Наши новые руки
Отработали каждый прием
Ювелирной тактики
В детских играх с Песком.

Хиггинсу первому предстояло решить, применила ли Эмили Дикинсон в своей поэзии «ювелирную тактику», или ее новшества — погрешности неопытного автора? В своих ответных письмах он попытался навести порядок в ее поэтическом хозяйстве и заодно узнать, кто она.

Эмили Дикинсон ответила:

«Вы спрашиваете — кто мои друзья — Холмы — сэр — и Солнечный закат — и мой пес — с меня ростом — которого мой отец купил мне — Они лучше — чем Существа человеческие — потому что знают — но не говорят — а плеск Озера в Полдень прекрасней звуков моего фортепиано. У меня Брат и Сестра — наша Мать равнодушна к Мысли — Отец слишком погружен в судебные отчеты — чтобы замечать — чем мы живем — Он покупает мне много книг — но просит не читать их — побаивается — что они смутят мой Разум. Все в моей семье религиозны — кроме меня — и каждое утро молятся Затмению — именуя его своим «Отцом». Но боюсь, вам наскучит моя повесть — я хотела бы учиться — Можете ли вы сказать мне — как растут в вышину — или это нечто не передаваемое словами — как Мелодия или Волшебство?»

Обмен письмами продолжался. Эмили Дикинсон просила советов — и не принимала их, кроме одного: не печатать своих стихов. Она обрекала себя на безвестность, понимая, что творчество ее не будет принято без жестокого хирургического вмешательства. Те немногие стихотворения Дикинсон, которые были опубликованы против ее желания, «исправлены» редакторами. Она словно отступила в тень и продолжала отступать все дальше и дальше. Постепенно рвались нити общения с людьми. В своем родном городе Эмили Дикинсон, молчаливая тень в белом, превратилась в легенду.

Реконструкция ее жизни как будто очень проста и в то же время изобилует парадоксальными загадками.

Эмили Дикинсон родилась в 1830 году в городе Амхерсте штата Массачусетс. Город был основан пуританами, бежавшими из Англии от религиозных гонений в самом начале XVII века. Пуританизм для поколения Эмили Дикинсон уже не был той великой правдой, защищая которую люди шли на смерть, он стал респектабельной нормой поведения, и даже эти житейские нормы в середине XIX века быстро размывались. Время патриархального уклада прошло, наступала эра промышленного капитализма. Однако в Амхерсте кальвинизм рухнул позже, чем в Бостоне — культурном центре Новой Англии.

В тридцатых годах Р. У. Эмерсон, поэт и философ, стал «властителем дум» молодого поколения. Его публичные выступления, книги и эссе привлекли к нему многочисленных почитателей и последователей. Так создался известный в истории американской литературы кружок трансценденталистов. Романтическая философия, получившая заимствованное у Канта название трансцендентализма, представляла собой эклектическую смесь буддизма и идей Шеллинга и других немецких философов-идеалистов. В своей этической части эта философия была направлена против «американского образа жизни»: американцы, писал Эмерсон, «верят лишь в силу доллара, они глухи к чувству» [2]. Эмерсон говорил, что человек мог сам, доверившись собственной интуиции, без помощи церковных догм, почувствовать в себе высшее начало, «Сверхдушу». Для этого нужны покой и уединение, хотя бы в четырех стенах своего дома, а лучше всего на лоне прекрасной, дикой природы. Люди должны отринуть ложные ценности и вновь обрести способность видеть красоту мира. Мрачному и суровому кальвинизму был нанесен сильный удар.

Дикинсон восприняла многие из идей Эмерсона — они носились в воздухе, но пошла гораздо дальше. Ее анализ человеческой души, расколотой трещинами в глубоко драматический момент истории, когда рушились вековые устои, стремился дойти

---

[1] André Maurois. Robert et Elisabeth Browning. Portraits suivis de quelques autres. Paris, Bernard Grasset, 1955, p. 45—64.

[2] Emerson R. W. The Basic Writings of America's Sage. N. Y., 1947, p. 160.

до конца, ничего не принимая на веру, не довольствуясь полуправдой. Для такого анализа нужен большой душевный опыт. И снова загадка для биографов: где нашла его девушка, почти не покидавшая родного дома, избравшая долю затворницы? В поэзии Дикинсон живет ирония гейневской силы, насмешливый скепсис и чисто американский трезвый юмор.

Если для Шекспира весь мир — театр, то для Дикинсон театр — это душа человека, где при пустом партере разыгрываются шекспировские трагедии. Огромные темы раскрываются в борьбе противоречий: смерть и бессмертие, красота природы и невозможность с ней слиться, поэт, творящий для людей, и общество филистеров; стремление к богу и возмущение миропорядком; потребность верить и мучительные сомнения. В поэзии Дикинсон чувства приобретают огромный накал, отсюда образы катастрофы, грозы, смерча; радость жизни до того сильна, что нет сил ее вынести; любовь в полную мощь испепеляет. Поэзия — удар молнии.

Для Эмили Дикинсон каждый восход, каждый закат — неповторимое событие, она и сама работает «по методу Солнц», избегая клише и шаблонов. В своих ранних стихах Дикинсон порой нагнетает неожиданные, причудливые образы, жонглирует ими, наслаждаясь игрой фантазии, богатством красок.

В 1860 году она пережила какое-то душевное потрясение, возможно, любовь к человеку, для нее недоступному, который и не знал о ее чувстве. Происходит творческий взрыв. В последующие шесть лет она создает около тысячи стихотворений. Не следует забывать, что как раз в те годы шла война между Северными и Южными штатами. Тихий Амхерст лежал как будто в стороне от событий, но и в нем оплакивали погибших сыновей.

Примерно с 1862 года Дикинсон начинает избегать общества. Даже близкие друзья слышат только ее голос, доносящийся из соседней комнаты. Но недаром она сказала про свою поэзию: «Это Письмо мое Миру». Дикинсон пишет множество писем, часто прилагая к ним стихи. Письма ее — проза поэта, которая все время стремится войти в кристаллическую решетку стиха. Эмили Дикинсон в высокой степени была присуща способность «мыслить стихом». Рождение мысли и рождение стиха для нее единый творческий акт.

В строгом уединении она продолжала работать.

С годами поэзия Дикинсон становится все более сжатой и афористичной, мысль обретает новые глубины. Стихотворения появляются редко, «праздник не каждого дня».

В мае 1886 года она слабеющей рукой написала последнюю записку: «Маленькие кузины. Отозвана назад. Эмили».

После смерти Эмили Дикинсон ее сестра нашла в ящике бюро множество маленьких тетрадочек и ворох листков бумаги со стихами. Такое поэтическое богатство явилось полной неожиданностью даже для ближайших родственников поэтессы. До нашего времени дошло около двух тысяч стихотворений.

В 1890 году появился первый небольшой сборник стихов Эмили Дикинсон. Осторожный и благоразумный Хиггинсон — главный редактор сборника и автор предисловия к нему — опубликовал перед его выходом статью. Он старался привлечь внимание читателей к поэзии, богатой счастливыми находками, но несколько необычной, и в то же время извинялся за ее несовершенство. Сборник имел успех, вслед за ним в 90-х годах появились два других сборника стихов и писем, а затем публикации вдруг прекратились — и надолго, до конца 20-х годов. Возник скандальный процесс о литературном наследстве.

Лишь в 1955 году Гарвардский университет выпустил в свет полное собрание стихотворений Эмили Дикинсон, а в 1958 году — собрание сохранившихся писем. Выполнил эту труднейшую текстологическую работу Томас Х. Джонсон, освободив творения Дикинсон от неумелой редакторской правки, искажений и ошибок.

Ныне Эмили Дикинсон — общепризнанный классик американской литературы. Выросла целая «дикинсониана», посвященная ее жизни и творчеству. Как атрибут посмертной славы появилась почтовая марка с ее портретом. Стихи ее переведены на ряд европейских языков. Когда-то Дикинсон написала в одном незавершенном стихотворении:

Презренье к ней - вот Славы
Продажная цена.
Отринешь Славу - за Тобой
Погонится она.

■ ■ ■

Такой — крошечный — крошечный — Челнок
В тихой заводи семенил.
Такой — вкрадчивый — вкрадчивый — Океан
Посулом его заманил.

Такой — жадный — жадный — Бурун
Сглотнул его целиком —
И не заметил царственный флот —
Челнок мой на дне морском.

▪ ▪ ▪

Есть что-то в долгом Летнем дне —
В ленивом факельном огне —
Торжественный настрой.

И что-то в летний полдень вдруг —
Отзвук — аромат — Лазурь —
Глубинней — чем восторг.

А летней ночью — меж тенет —
Мерцая что-то проблеснет —
Махну рукой в ответ —

Вуаль спускаю убоясь —
А вдруг от слишком жадных глаз
Все убежит — но нет —

Волшебных пальцев не уймешь —
И в тесных ребрах невтерпеж
Пурпурному ручью.

Янтарный флаг восточных стран —
Багряных красок Караван —
Утеса на краю.

Спеши же — Утро — и опять
Мир в чудеса одень —
Иду встречать я — сквозь росу —
Новый Летний день!

▪ ▪ ▪

Отличие Отчаянья
От Страха — как разлом —
За миг до катастрофы —
И через миг — потом.

Не колыхнется Разум —
Спокоен будто Глаз
Гипсового слепка —
Он знает — что незряч.

▪ ▪ ▪

Два Заката
Послала я —
День меня перегнать не смог —
Я второй завершила — и россыпь Звезд —
Он едва лишь первый разжег.

И пусть — как заметила я друзьям —
Обширней его Закат —
Но мой не в пример удобней —
Легко унести в руках.

■ ■ ■

Ура! Отгремела буря —
Трое — достигли земли —
Тридцать — сглотнул кипящий Прибой —
Скалы подстерегли.

Салют — Скупому Спасенью —
Гуди — погребальный звон!
Соседей — друзей — братьев
Кружит воронка волн.

Хорошо вспоминать — как спасся —
Когда вихрь ломится в дверь —
Дети спросят —
«А эти тридцать —
Тоже дома теперь?»

Тут в глаза — прольется молчанье —
И в повесть мягкий свет —
Дети — не спросят больше —
Лишь Море — даст ответ.

■ ■ ■

Вот способ мой читать Письмо —
Запру сначала Дверь —
Пальцем подтолкну — потом —
Велю верней стеречь —

Подальше в угол отойду —
Чтоб не встревожил стук —
Письмо я выну не спеша —
Сургуч сломлю невдруг —

На стену — на пол брошу взгляд —
Где жмется темнота —
Быть может — там укрылась Мышь —
Еще не заклята —

Вздохну — как бесконечна я —
Для всех знакомых — небыль —
Как Неба мне недостает —
Не ангельского Неба.

■ ■ ■

Прославлен в собственных глазах —
Вот прочный пьедестал.
На что теперь — оваций гул —
Фимиам похвал?

Бесславен в собственных глазах —
Но Кумир сердец —
Вот почесть не по чести
Призрачный Венец.

▪ ▪ ▪

Моя душа — осудила меня — я содрогнулась.
Адамантовыми языками поругана —
Все меня осудили — я улыбнулась —
Моя Душа — в то Утро — была мне другом.

Дружба ее закалит Презрение
К подвохам людей — козням времени —
Презренье ее! Лучше сжег бы меня
Палец эмалевого огня.

▪ ▪ ▪

Из Тупика — в Тупик —
Потеряна Нить —
Тащу Механические ноги —
Стоять — упасть — дальше брести —
Не все ли равно?

Достигнута цель —
И сразу же вдаль
Уходит неясным концом —
Я закрыла глаза — и ощупью шла —
Куда светлей — быть Слепцом.

▪ ▪ ▪

Поэт лишь Лампу зажжет —
Он сам — погаснет —
Но если огонь фитиля
Шлет Жизненный Свет

Трудясь по методу Солнц —
То Линза времен
Рассеет Пространство его
На весь небосклон.

▪ ▪ ▪

Когда вижу — как Солнце встает
Над грядой потрясенных вершин —
Ставит День у каждых дверей —
В каждом месте Деянье свершит —

Без аккомпанемента похвал —
Без шумихи на каждом шагу —
Мне кажется — Земля — Барабан —
За которым мальчишки бегут.

День с маху бросила навзничь —
Примяла ранняя Ночь —
В глубокий Вечер он уронил
Лоскут — окрашенный в Желчь —
Ветер воинским маршем пошел —
Листья сбежали в обоз —
Гранитную шляпу Ноябрь
Повесил на плюшевый гвоздь.

■ ■ ■

Волшебство — это Геометрия —
Так думает Чародей —
Но его простейший чертеж —
Чудо в глазах людей.

■ ■ ■

Нарастать до отказа как Гром
И по-царски рухнуть с высот —
Чтоб дрожала Земная тварь —
Вот Поэзия в полную мощь
И Любовь —
С обеими накоротке —
Ни одну не знаем в лицо.
Испытай любую — сгоришь!
Узревший Бога — умрет.

■ ■ ■

Молчание — вот что страшно!
Есть Выкуп в Голосах —
Но Молчанье — сама Бесконечность.
Нет у него Лица.

■ ■ ■

Да разве Небо — это Врач?
Твердят — что исцелит —
Но снадобье посмертное —
Сомнительный рецепт.
Да разве Небо — Казначей
Твердят — что мы в долгу —
Но быть партнером в сделке —
Простите — не могу.

■ ■ ■

Пусть лето скроется поздней —
Чем родился Сверчок —
Но тихие звенят Часы —
«Минул летний срок».

Пусть раньше — чем придет Зима —
Сверчок уходит в темень —
Но мерит грустный Маятник
Таинственное Время.

■ ■ ■

Годы в разлуке — провал — но
Секунда его зачеркнет —
Исчезновенье колдуньи
Не снимет действия чар.

Если Пепел тысячи лет
Разворошит Рука —
Что некогда пестовала Пламя —
Вспыхнет глаз Уголька.

■ ■ ■

Славу долго никто не удержит —
Владелец ее умрет —
Или — выше любой оценки —
Стремит непрерывный взлет —
Или он — неоплатный должник —
Электрический Эмбрион —
Молния в зародыше —
Но нам подавай огонь!

■ ■ ■

Как много гибнет стратагем
В один вечерний час —
И не заметишь — не поймешь —
Что́ мимо пронеслось.

На шаг — на ширину ножа
С обычного пути
Сошел —
И не был человек
Ограблен и убит.

Любовь решиться не смогла —
Лошадь невзначай
Глядела у входных дверей
На ее отчаянье.

■ ■ ■

Колдовство вешали в старину —
Но история — вместе со мной —
Вдосталь находит Колдовства
Каждый день — у себя под рукой.

■ ■ ■

Мир — обнищенный их отъездом —
Ищет ветошь по сходной цене —
Но прокормит его лишь собственный дух —
Боги — опивки на дне.

■ ■ ■

Приметив Пробку — Пьяница
Уж предался мечте.
Шатаясь я иду домой —
Муха в Зимний день
Разбередила в памяти
Тропические сны.
Тот — кто по каплям пьет Восторг —
Не заслужил Весны.
Щедрей нектара усладит
Радости струя —
Вы — знатоки тончайших вин —
Спросите-ка Шмеля!

■ ■ ■

Если б жизни скупая длина
Могла подчеркнуть свою сладость —
Люди вседневных забот
Были б радостью оглушены.

Она бы сломала зубцы —
На которых вращается разум —
Эзотерический пояс —
Что нас от безумья хранит.

■ ■ ■

Любовь на свете может все —
Лишь мертвых не вернуть —
Вернула б силою своей —
Да подводит плоть.

Усталая — спала Любовь —
Голодная — паслась —
Добычу лучезарный флот
Унес — и скрылся с глаз.

■ ■ ■

То — что Любовь — это все —
Вот все — что мы знаем о ней —
И довольно!
Должен быть груз
Приноровлен к силе тяжей.

■

ГРАСИЛИАНО РАМОС

Сан-Бернардо

РОМАН

Перевод с португальского ИННЫ ЧЕЖЕГОВОЙ

19

Я понял, что Мадалена слишком добра, но понял это не сразу. Она мало помалу открылась мне, но не до конца. Виноват был я но еще больше виновата была жизнь, тяжелая и грубая сделавшая грубой мою душу.

Но раз так то выходит я попусту трачу время В самом деле если я не в силах обрисовать характер моей жены то к чему эта писанина? Ни к чему, и все же что-то понуждает меня писать.

Под стрекот цикад я сажусь за стол здесь в столовой, пью кофе раскуриваю трубку Бывает что в голову ничего не приходит бывает, от мыслей отбоя нет, а лист бумаги так и остается наполовину исписанным как был накануне. Перечитываю строчки, которые мне не нравятся Не стоит труда их переделывать. Откладываю лист в сторону.

Чувства, мне самому непонятные, тревожат меня — какое то ужасное нетерпение, бешеное желание вернуть все назад и снова разговаривать с Мадаленой как мы говорили с ней каждый день в эти часы. Тоска? Нет, нет, не тоска! Это — отчаяние, ярость, невыносимый груз на сердце.

Все силюсь вспомнить, о чем мы говорили. И не могу. То что говорил я были слова и только — ими я, как умел, обозначал какие то вещи и ссбытия А в словах Мадалены всегда было что то мне недоступное, чего я и сейчас не в силах выразить. А тогда стараясь лучше понять ее слова, я гасил свет, и тьма обволакивала нас, и наши фигуры становились неразличимы в темноте.

За окном переругивались жабы, выл ветер, чернели сплошной массой фруктовые деревья.

— Казимиро!

Казимиро Лопес караулит в саду, сидя под окном на корточках.

— Казимиро!

Казимиро Лопес появляется в окне Жабы бурчат, ветер сотрясает еле видимые во мраке деревья Входит Мария дас Дорес и хочет включить свет Я удерживаю ее — свет не нужен.

Окончание. Начало см в № 11.

Тиканье часов заглушается стрекотом цикад. И Мадалена возникает у края стола. Я шепчу:

— Мадалена!

Ее голос достигает моих ушей. Нет, нет, не ушей. Так же как нельзя сказать, что я ее вижу глазами.

Я сижу опершись на стол. Вещи тают в темноте, я уже не различаю даже белую скатерть.

— Мадалена!

Но голос Мадалены продолжает убаюкивать меня. Что она говорит? Конечно, она просит послать немного денег тому, Каэтано. Вот это меня бесит, но бесит как-то иначе — застарелая ярость, и по виду я спокоен. Похоже на помешательство: как может человек в одно и то же время злиться и оставаться спокойным? Но со мной именно так. Я злюсь только на него. На Каэтано. Его счастье, что он уже помер, а то я все равно заставил бы его работать. Лодырь несчастный!

Скатерть выплывает из темноты, но я уже не понимаю, та ли это скатерть, в которую уперлись мои локти, или та, что была здесь на столе пять лет тому назад.

Вой ветра, бурчанье жаб, стрекот цикад. Дверь конторы осторожно открывается, и я слышу, как, удаляясь, звучат шаги сеу Рибейро. Сова ухает на башне часовни Она ухает на самом деле или мне чудится? Может, та же сова, что была здесь два года назад? Тогда тоже ухала сова.

Теперь я слышу, как сеу Рибейро разговаривает с доной Глорией в гостиной. Значит, напрасно я думаю, что их здесь нет и дом почти опустел.

— Казимиро!

Вроде бы я позвал Казимиро Лопеса. Его голова в кожаной шляпчонке, какую носят жители сертана, время от времени показывается в окне, но я не знаю, вижу ли я его взаправду, или он является мне из прошлого.

Несовместимые чувства борются во мне: гнев и нежность. Я что есть силы ударяю кулаком по столу и еле удерживаюсь от слез.

Это внутри. Снаружи я по прежнему спокоен — руки на скатерти и пальцы застыли как каменные. А между тем я грожу Мадалене кулаком. Невероятно.

В привычных шумах фазенды вдруг возникают новые звуки. Мария дас Дорес на кухне чему-то обучает попугая. Тубаран рычит в глубине сада. В хлеву ревет скот.

Гостиная в другом конце дома, чтобы попасть в нее, нужно пройти длинный коридор. И все же я отчетливо слышу разговор сеу Рибейро с доной Глорией. Но я не мог бы описать этот разговор. Потому что они разговаривают без слов.

Падилья свистит под навесом. Где-то он сейчас?

Если бы я тогда убедил Мадалену, что она не права... Если бы смог внушить ей, что нам нужно жить с ней в мире... Не понимала она меня. Не понимали мы друг друга. Все всегда случается не так, как мы ожидаем. Нелепость.

Мертвая тишина. Сейчас июль. Северо-восточный ветер больше не дует, и жабы спят. Сову Марсиано пришиб палкой, поднявшись на часовню. И дыры, куда прятались цикады, заделаны.

Но все это продолжает меня терзать.

Чего я не слышу, так это тиканья часов. Который час? В таких потемках разве разглядишь, что там на циферблате. Когда я раньше сидел так, стук маятника был слышен, очень отчетливо был слышен. Надо бы подтянуть у часов гирю, да нет сил сдвинуться с места.

20

Как я уже сказал, у Мадалены было слишком доброе сердце. Ее доброта и нежность даже меня заставляли расчувствоваться. А я, как известно, не из чувствительных. Правда, последние два года я как-то сам себя не узнаю. Но это пройдет.

Доброта Мадалены поражала меня. Как она была добра! Потом я понял, что ее доброта ко мне — лишь остатки той доброты, которую она распространяла на всех. Все равно. Мне не должны были перепадать даже эти остатки — не стоил я такой роскоши. Какое-то время мы жили очень дружно.

Возвратимся к тому, что я выскочил из-за стола, взбешенный доной Глорией Не прошло и несколько минут, как Мадалена принесла мне чашку дымящегося кофе,— вид жены говорил о том, что она раскаивается.

— Зачем болтать попусту?

— Да-да, ты прав,— пробормотала Мадалена, заливаясь краской,— это было необдуманно.

— Надо думать, прежде чем открывать рот.

— Да-да, я совсем забыла, что здесь служащие, не следовало при них говорить такие вещи. Ах, как нехорошо вышло!

Смягчившись, я принялся за кофе.

— Ну ничего, ничего. Я погорячился. Просто нам трудно понять друг друга. Дай-ка мне сахару. Трудно понять — вот и все. Я попробую объяснить. Здесь не так, как там в городе. Кино, кафе, гости, лотерея, бильярд и всякая чертовщина—у нас этого ничего нет, и потому порой приходит в голову: а на что тратить деньги? Так вот, хочешь я тебе скажу? Когда я начал все это, у меня была сотня мильрейсов, да и та чужая. Всего сотня мильрейсов, так-то, милая сеньора. Но она растянулась будто резиновая. Все, что у нас есть, пошло с той сотни мильрейсов, которую мне одолжил мошенник Перейра. Да еще заломил с меня как самый подлый ростовщик — пять процентов в месяц.

Мадалена слушала меня внимательно, согласно кивая, как примерная девочка.

— Я понимаю, понимаю. Все дело в том, что я еще не привыкла к здешним порядкам. Мне надо освоиться.

Я кликнул Казимиро Лопеса, велел ему унести чашку и поднос. Потом закурил трубку.

— Очень сожалею...

Я поднялся.

— Не надо ни о чем жалеть. Что было то прошло. А надутая физиономия никого не украшает. Я накричал на дону Глорию...

— Бедняжка! Она ведь не очень вникает в суть разговора. Просто говорит чтобы поговорить.

— На черта такие разговоры. Все же втолкуй ей что, мол, я никак не хотел ее обидеть. Старая, почтенная женщина... Мол, никак не хотел. Я вел себя как болван.

Как видите мы оба размягчились, словно переспелые бананы. И целый месяц жили душа в душу. По ее просьбе я подыскал ей занятие.

— Займись деловой перепиской. Хочешь, будешь получать жалованье. Ну, хорошо, потом мы это уладим. Сеу Рибейро откроет тебе счет.

Но после, хоть мы и очень старались и не жалели цемента, чтобы заливать им всякого рода трещины, между нами все равно возникла размолвка, а потом это случалось все чаще и чаще.

Утром Мадалена работала в конторе, а по вечерам вместо прогулки обходила хижины батраков. Толстогубые, покрытые струпьями детишки цеплялись за ее юбку. Она побывала в школе, нашла, что Падилья — никуда не годный учитель, и долго надоедала мне просьбами купить глобус, карты и тому подобную дребедень, которую я здесь не перечисляю, потому как для этого пришлось бы ворошить школьный архив. Наконец, толком не посмотрев, я подмахнул заказ. Когда я получил счет, меня прямо затрясло. Вот это да: шесть тысяч эскудо! Шесть тысяч за тетрадки, учебники и грифельные доски для батрацких детей! Вы только посчитайте. Этакие деньжищи угрохать — и кто платит? Тот, кто сам грамоте выучился в тюрьме, читая по складам листки с куплетами, дешевые книжонки и Библию в черном переплете. Но все же я тогда сдержался. Сдержался, потому что не хотел ссориться с женой и надеялся поразить этими расходами губернатора, когда он снова навестит мою фазенду. Но все равно: так сорить моими деньгами!

Я подписал счет, надел шляпу и вышел. Проходя мимо хлева, я увидел, что скоту не задано корма.

— Вот еще новости!

Окликнул работника. Никто не отозвался. Взбешенный, я спустился по откосу вниз. Там у дверей школы я нашел Марсиано, который, оседлав табурет, болтал с Падильей.

— Так-то ты надрываешься на работе, бесстыжие твои глаза!

— Да я уже всю работу сделал, сеу Пауло,— мямлил Марсиано, отворачиваясь.

— Что, что ты сделал?

— Сделал, сеньор, все сделал. Провалиться мне на этом месте, если не сделал.

— Совсем заврался. Скотина с голоду подыхает, некормленая.

Тут Марсиано вдруг прямо заорал на меня:

— Да ведь только что кормушки были полнехоньки! Где видано, чтоб скотина столько жрала? У кого хочешь терпенье лопнет. То и дело подкладываешь, подкладываешь, ни днем ни ночью покоя нет.

Оно так и было, но ни разу еще ни один батрак не осмеливался говорить со мной подобным образом.

— Ты, я вижу, сам отменная скотина, так я тебя научу, как надо отвечать хозяину!

И я сбил его с ног хорошей затрещиной.

Оглушенный, он стал подниматься, но получил очередную затрещину и еще те, оставшиеся, что ему причитались. И он снова растянулся в пыли. Наконец Марсиано встал и побрел, опустив голову, спотыкаясь и вытирая рукавом текущую из носу кровь. Я перевел дух и посмотрел на Падилью.

— А виноваты во всем вы.

— Я?

— Да-да, вы, ведь это вы вашими бредовыми листками забиваете голову этому лодырю.

Падилья побледнел и стал оправдываться:

— Да нет, ничем я ему не забивал голову, сеу Пауло. Напрасно вы так говорите. Он сам навязался, поверьте. Я его не звал, напротив, уговаривал его: «Марсиано, надо тебе пойти задать корма скоту». Но он меня не послушался, вот и получил. Ей-богу, он мне самому надоел до смерти, и никогда я его не жаловал, этого парня.

Я хотел было прервать этот поток вранья подходящим ругательством, но тут увидел Мадалену, которая, стоя у плотины, наблюдала за ковылявшим Марсиано. Я двинулся ей навстречу, ворча:

— Каков наглец! Дай ему палец, он всю руку откусит!

Но ярость моя уже утихла. Теперь меня заботили ящики со школьными пособиями: кому нужна такая роскошь в нашем захолустье? Губернатор будет рад, если из нашей школы выйдут хоть несколько человек способных пройти избирательный ценз.

— Вышла погулять? — обратился я к Мадалене, не отрывавшей взгляда от темной крыши хлева.

Она мне не ответила. Я обвел взглядом место водопоя, безводное русло реки за водостоком и дальше, на склоне горы, каменоломню — отсюда она белела едва различимым пятном. Заросли уже одевались вечерней тенью. Подул холодный ветер. Хлопкоочистительную машину загрузили последними тюками хлопка. Раздался долгожданный свисток, и рабочий день кончился. Я взглянул на часы: ровно шесть.

— Это ужасно! — вдруг закричала Мадалена.

— Что?

— Ужасно! — повторила она.

— Что ужасно-то?

— То, что ты сделал. Какое варварство!

Ну, еще не легче.

— Этому нет названия!

Э, она бредит, что ли? Да нет, лицо серьезное, губы сжаты, брови нахмурены.

— Не понимаю. Объясни, о чем ты?

Она возмущенная, прерывающимся голосом:

— Как можно так безжалостно обходиться с людьми!

— Ах вот оно что Ты про Марсиано. А я думал, и вправду что случилось. Даже испугался.

Тогда у меня и в мыслях не было, что из-за такого незначительного происшествия у разумных людей может выйти раздор.

— Так избить человека! Какой ужас!

Я все не верил что она может так негодовать из-за такой малости.

— Да брось ты! Не делай из мухи слона. Этот народ выполняет все, что ему прикажут, но только из-под палки. И к тому же — ну какой Марсиано человек?

— Почему же он не человек?

— А я знаю? Видно, так господь распорядился Он просто тряпка

— Ах, вот как! А ты, конечно, предназначен богом повелевать такими как Марсиано?

— Да дело не во мне! — закричал я, начиная злиться.— Когда я его в первый раз увидел, он уже был такой.

— Немудрено Если с ним всю жизнь так обращались.

— А, как с ним ни обращайся все едино раз он родился тряпкой так ею и останется.

Мадалена замолчала, стала подыматься по склону. Я, тоже молча, направился следом за ней Вдруг она обернулась — голубые лаза ее сверкали и сделались почти черными, голос от волнения звуча' хрипло:

— Но ведь это жестоко. Зачем ты так поступил?

Тут уж мое терпение лопнуло.

— Я так поступил, потому что должен был так поступить. И у меня нет привычки обсуждать с кем бы то ни было свои поступки, понятно? Раз я так поступил, значит, так надо было. Подумаешь, ка

кое событие: метису отвесил пару затрещин! И какого черта ты так печешься об этом Марсиано, что, у тебя с ним шашни, что ли?

22

Дона Глория обожала беседовать с сеу Рибейро. Беседы их продолжались бесконечно и велись в двух тонах: он говорил громко и смотрел прямо перед собой, а она в ответ что-то шептала и все время оглядывалась по сторонам. Завидев меня, дона Глория тут же замолкала.

Мне было нетрудно разгадать все эти ужимки доны Глории. Я был батраком и помню, как часто мы, подневольный люд, в недолгие часы отдыха перемывали косточки своим хозяевам. А у доны Глории теперь вся ее жизнь была сплошным отдыхом.

Она спала, завтракала, обедала, ужинала, читала романы в тени апельсиновых деревьев и изводила Марию дас Дорес, которая, как ни старалась, не могла ей угодить. Доне Глории беспрестанно что-нибудь мешало: то ей мешали крысы, то жабы, то змеи, то темнота. При мне она напускала на себя вид жертвы. Она не уставала нахваливать городскую жизнь, к месту и не к месту. Большую часть дня она просиживала в конторе.

Сеу Рибейро именовал ее «превосходнейшая» (Мадалена была у него «распрекраснейшая»). Кое-какие слова доны Глории, ее жесты и красноречивость ее молчания навели меня на мысль, что в контору дона Глория ходит оплакивать судьбу своей племянницы. Там она садилась у письменного стола, за которым работали Мадалена и сеу Рибейро, и заводила с ними нескончаемые разговоры.

Мадалена стучала на машинке. Сеу Рибейро дрожащей рукой выводил свои записи в книгах, то и дело отвлекаясь в поисках то линейки, то резинки, то пузырька с клеем, и не мог их отыскать, потому что дона Глория имела привычку все переставлять с места на место. Меня все это злило чертовски, но я старался ничего не замечать, быстро и сухо отдавал распоряжения и спешил покинуть контору, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разразиться бранью. Но однажды я взорвался. Четвертого числа все еще не был подведен баланс за предыдущий месяц.

— Что вы так задержались, сеу Рибейро? Вы нездоровы?

Старик, огорченный, поскреб свои бакенбарды.

— Нет, сеньор. Почему-то у меня баланс никак не сходится. Со вчерашнего дня сверяю, никак не могу обнаружить ошибку.

— Что же вам мешает?

Он молчал.

— Я прошу вас, сеу Рибейро, повесить на дверь конторы объявление о том, что посторонним вход в контору воспрещается. Здесь люди работают. Напишите объявление большими буквами. Всем посторонним, понятно? Без исключения.

— И мне тоже? — проговорила дона Глория возмущенно.

— Повесьте объявление, сеу Рибейро.

— Мне тоже нельзя сюда входить? — повторила дона Глория более просительным тоном.

— И вам, уважаемая сеньора, как и всем остальным. Если я говорю — без исключения, значит, без исключения.

— Но я прихожу поговорить с моей племянницей,— пробормотала дона Глория, съеживаясь под моим строгим взглядом.

— Ваша племянница не может принимать гостей в конторе, здесь она такая же служащая, как и все другие.

— Я не знала. Я не думала, что могу помешать.

— И напрасно не думали. Никто не в состоянии писать, считать и разговаривать в одно и то же время.

Дона Глория направилась к выходу через всю комнату; обогнув письменный стол, она прошла вдоль стены и, дойдя до дверей, открыла их и неслышно закрыла за собой. Я сел за стол и принялся сверять счета с записями в бухгалтерской книге. Сеу Рибейро предложил помочь мне.

— Благодарю.

Сеу Рибейро вооружился перочинным ножом, линейкой и листом бумаги. Мадалена встала из-за машинки, закрыла ее, отдала мне перепечатанные письма — подождала, пока я их прочел, и удалилась. Я подписал письма и вложил их в конверты.

— Ну, сеу Рибейро, о чем здесь сплетничала дона Глория?

— Зачем так говорить,— возразил бухгалтер,— у доны Глории золотое сердце, и от нее можно услышать много полезного, но я, по чести говоря, слушаю ее не слишком внимательно.

Мне стало неловко выспрашивать у этого серьезного человека о всяких россказнях доны Глории.

— Превосходнейшая сеньора,— настаивал сеу Рибейро, разлиновывая карандашом лист бумаги.

— Отчасти.

Я поднялся.

— Не допускайте вторжений.

— Слушаюсь,— ответил сеу Рибейро.

В гостиной я наткнулся на Мадалену, которая плакала, лежа на софе. При виде меня она быстро вытерла слезы.

— Зачем так грубо оскорблять людей?

Мадалена ждала ребенка, и я смотрел на нее как на хрупкий сосуд. Теперь она часто обрушивалась на меня с разными попреками, но я делал вид, что все это пустяки. Ее беременность была уже здорово заметна. И это было главное. Я присел возле нее и заговорил как можно мягче:

— Да, на самом деле вышло грубо. Но по необходимости. Приходится быть грубым.

— Кто ж это тебя заставляет? — усмехнулась Мадалена.

— Ну, вот ты уже начинаешь язвить. Будь добра, без этих штучек. Ненавижу всякие подкусыванья. Со мной надо попросту: так, мол, и так — и все тут. А разные там намеки — ни к чему.

— О каких намеках речь? Я сразу сказала, что ты был груб.

— По необходимости.

— Не было никакой необходимости. Просто ты не любишь тетю.

— Я? При чем тут люблю или не люблю? Я надеялся, что она найдет себе здесь какое-нибудь дело. Да, кстати тебе надо бросить печатать на машинке. В твоем положении это вредно. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Все равно, за несколько месяцев до родов и несколько месяцев после ты не должна работать.

— Благодарю.

— Так вот, как я тебе уже сказал, я надеялся, что твоя тетя захочет хоть чем-то заняться. Я даже раз ей это посоветовал, но она изволила обидеться. Живет бездельницей, читает всякий вздор. И черт с ней. Не это меня выводит из себя, а то, что она мешает работать другим.

— Послушай, Пауло,— сквозь слезы проговорила Мадалена.— Ты заблуждаешься! Ты не прав, уверяю, ты не прав. Тетя — человек редких достоинств.

— Конечно, у нее есть свои достоинства. Но что проку-то в ее достоинствах?

Мадалена прервала меня:

— Я не знаю никого, кто был бы занят больше, чем дона Глория.

— Вот те раз! — я даже вскочил от возмущения.

— Ты уходишь?

По правде говоря, вскочил я вовсе не от возмущения. Скорее потому, что по утрам у меня был обычай обходить свои угодья. В ту минуту думал я, конечно, совсем о другом, но дона Глория и Мадалена уже задержали меня на целый час, и я вскочил, повинуясь своей каждодневной привычке,— впрочем, я понял это, только когда вскочил.

— Пойдем вместе?

Мадалена пошла со мной и по дороге заговорила снова:

— Ты мне рассказывал, что детство твое прошло в бедности.

— Еще в какой! Первое, что про себя помню, как был поводырем у слепого. Потом продавал сласти — их делала старая Маргарида. Да я тебе уже рассказывал.

— Да, тебе много пришлось бороться. Но поверь, дона Глория в своей жизни потрудилась не меньше твоего.

— Интересно. Что же это она такое сделала?

— Она вырастила меня, заботилась обо мне, дала мне образование.

— И все?

— А ты находишь, что этого мало? Значит, ты просто не понимаешь, какой это труд. Потруднее, чем приобрести «Сан-Бернардо». И дона Глория никогда бы не променяла меня на «Сан-Бернардо».

Да и нелегко было бы променять: школьных учительниц пруд пруди, а такое имение, как «Сан-Бернардо», надо еще поискать.

— Зачем все эти сравнения?

— Мы снимали жилье у фехтовальщика. У нас было всего два стула. Если кто-нибудь приходил, дона Глория садилась на бачок для керосина. В крошечной столовой, за столом, придвинутым к стене — у него одна ножка была сломана, я занималась. Много лет. По ночам я, насколько можно было, привертывала в лампе свет, чтобы уходило меньше керосину. Доня Глория сидела в кухне, там она плакала и расточала неведомо кому свои упреки и жалобы. Привычка говорить шепотом и ходить на цыпочках у нее с той поры. Спали мы на одной узкой кровати. Если я заболевала, дона Глория всю ночь просиживала на стуле, а когда сон одолевал ее, она засыпала прямо на полу.

Мадалена замолчала. Взволнованный, я воскликнул:

— Черт побери! Ты тоже, я смотрю, хватила лиха!

— Болеть она себе не позволяла,— продолжала Мадалена.— Я уходила в школу, а дона Глория, накинув шаль, шла добывать нам на жизнь. Она бралась за любую работу. Она была знакома со всеми священниками в округе и делала для церкви цветы, приводила в порядок церковные бумаги, украшала алтари. Ее звали и судейские чиновники — для них дона Глория копировала судебные постановления. По вечерам она продавала билеты в кино. А соседу-булочнику, не знавшему грамоты, вела счета. Работать ей приходилось много, но все по мелочам, и платили ей гроши.

— Да, это все надо понять,— пробормотал я рассеянно, следя за стадом молодняка на пастбище.

Мадалена прервала меня:

— А когда наступали экзамены, дона Глория, бывало, всех экзаменаторов обойдет. И бога и людей умилостивит: лишь бы я на экзаменах не провалилась. Дона Глория неутомимая труженица. Но она не любит заниматься все время одним и тем же: по ее характеру, пусть будет работы по горло, да только разной. Потому-то она здесь и не находит себе места. Здесь ведь нельзя продавать билеты в кино, переписывать судебные постановления, подбирать по порядку свидетельства о крещении или вести счета булочника. Здесь дона Глория видит одни машины и людей, которые работают как машины. Все же она и тут старается быть полезной: в здешней часовне она тоже украшает алтарь цветами и наводит чистоту в ризнице, даже стряпать пробовала, да не поладила с Марией дас Дорес. И сеу Рибейро она предлагала свою помощь, а я учила ее печатать на машинке.

Мимо нас в сторону лесопилки проехал грузовик, из рощи доносились гулкие удары топора, запряженные волами возы скрипели по дороге в «Бон-Сусесо».

— Вот и ни к чему так разбрасываться и попусту тратить силы. Человек должен уметь делать что-то одно.

— Но разве дона Глория могла преуспеть в любом из своих занятий — хоть в продаже билетов, хоть в подборке свидетельств о крещении, даже если бы она и достигла в этом совершенства? Ведь все равно она получала бы гроши.

— Чего ж она не искала работы повыгоднее?

— Где ее найдешь! Кроме того, кто-то должен продавать билеты в кино и переписывать судебные постановления.

Я замолчал — но отнюдь не проникся симпатией к бедной доне Глории. Про себя я по-прежнему считал ее старой сплетницей и бездельницей: что из того, что она работала, если так ничего и не заработала толком. И все эти ее никчемные занятия меня только раздражали. Но чтобы не огорчать Мадалену, я, пожав плечами ответил:

— Ну что ж, может, ты и права. Мне это непонятно, но в конце концов каждый давит блох по-своему.

23

Было воскресенье, к вечеру. Я возвращался с лесопилки, поругавшись с механиком. У хлопкоочистительной машины отказал маховик, а на лесопилке заоарахлило динамо Механик поклялся все наладить в два дня Вот незадача. На лесопилке полно леса, и все склады забиты неочищенным хлопком.

— Ах недотепы!

На берегу речки я увидел старую Маргариду. Сидя на камне, она мыла ноги, тонкие, словно палочки.

— Добрый вечер, мама Маргарида.

— Добрый вечер, хвала господу,— отвечала негритянка, стараясь узнать по голосу, кто с ней заговорил.

Наконец узнала, обрадовалась.

— Как ты живешь, мама Маргарида? Здоровье как?

— Да вот видишь живу, сын мой. Лучше, чем должна бы по грехам своим,— говорила старуха, вытирая палочки-ноги полосатой юбкой.

— В чем-нибудь нуждаешься?

— Все у меня есть, сеньора мне чего только не прислала! И к чему мне столько добра — и простыни, и туфли, и платьев целую кучу! Зачем? Туфель я вовсе не ношу, одеялом не покрываюсь. Была бы циновка да чтоб огонь горел пожарче, больше ничего мне не нужно.

— Ну, я рад, мама Маргарида Будь здорова.

Я простился с Маргаридой, но то, что я услышал, рассердило меня: Мадалена и здесь распорядилась по своему. На другом берегу речки Марсиано гнал стадо.

— Эй! Подожди!

Перейдя мостик, я подошел к стаду: мне хотелось взглянуть на бычка ценной лиможской породы.

— Почему такой тощий?

Бычок не был тощим, но мне нужно было на ком-то отыграться

— Заткнись, не смей мне возражать.

А виновата была Мадалена — я вспомнил, что ей вздумалось подарить Розе шелковое платье. Платье, правда, не новое, даже с дыркой Но все равно — Розе дарить его незачем.

— Ты могла его выбросить.— сказал я Мадалене.— Если платье испорчено, выброси его. Но ни к чему приучать бедняков рядиться в шелка.

Мадалена надерзила мне, и мы целую неделю не разговаривали На сей раз я разозлился не на шутку.

Черепичная крыша лесопилки выделялась красным пятном среди чернеющих там и сям хижин. На противоположном берегу то показывалась, то скрывалась за прибрежной травой склоненная голова Маргариды По тропе поднимался со стадом Марсиано.

— Дура! — вырвалось у меня в ярости.

Я вспомнил про платье подаренное Розе, про туфли и простыни, посланные старой Маргариде.

— Ишь богачка!

Все во мне кипело — чертов маховик, чертово динамо!

— Дура!

Хоть я и понимал, что Мадалена никак не виновата в поломке машин, но в ту минуту все у меня в голове перемешалось и ярость моя росла неудержимо. Бессмысленная, тупая. Я забыл как сам несколько лет назад тратился на подарки для Розы (пудру и бусы) и что Маргарида мне тоже немало стоила, да еще автомобиль и газета Гондина Но мне казалось, Мадалена бросает деньги на ветер.

— На ветер, мои деньги...

Я повторил, чтобы убедить самого себя:

— На ветер. Ишь богачка!

За густой травой уже не видна была седая голова Маргариды. Исчез и Марсиано за поворотом дороги. В лучах заходящего солнца еще ярче краснела крыша лесопилки.

Механика выгоню: что за народ пошел!

С динамо мои мысли опять вернулись к подаренным Мадаленой туфлям и простыням к злополучному шелковому платью Но мало-помалу ярость моя утихла Выгоню механика — это будет лучше всего.

Я остановился, наблюдая за парой фазанов, на моих глазах бесстыдно занимавшихся любовью. Через несколько дней они покинут друг друга и разойдутся в разные стороны, не утруждая себя объяснениями. Все проще простого!

Я направился к дому. Под навесом Мадалена, Падилья, дона Глория, сеу Рибейро оживленно беседовали При моем появлении все замолчали. Я взял стул и сел от них подальше. Говорилось, верно, о какой-нибудь чепухе, но меня все грызли подозрения что это милое общество перемывает мне косточки. Очень может быть Дона Глория со своими вечными секретиками на ушко сеу Рибейро. И Мадалена, слушающая Падилью. Падилью, которого она сама же называла мелкой душонкой. А, к дьяволу! Все они хороши Болтают забавляются. Все тайны. Может, конечно, все это ерунда. Но когда вокруг

шепчутся, я не могу отделаться от мысли, что шепчутся обо мне. Ненавижу я их шушуканья.

Мое присутствие их стесняло, они вроде догадывались, о чем я думаю. Этот тип Падилья щерил свои гнилые зубы в подобострастной улыбке.

Я встал, отошел к балюстраде и, повернувшись к ним спиной, стал набивать трубку. Все в моем доме мне было противно.

По двору прошел мальчишка с рогаткой. В будни он должен был помогать в школе, а в воскресенье нет чтобы самому учиться грамоте, слоняется с рогаткой, подстреливает птиц.

Шесть тысяч эскудо за грифельные доски, карты, таблицы и прочие настенные украшения. Шесть тысяч!

Я бросил хмурый взгляд на Мадалену, но она продолжала сидеть как ни в чем не бывало, словно это не ее рук дело.

Раскурив трубку, я смотрел вдаль, пытаясь хоть чем-то отвлечься. Домик старой Маргариды прятался в банановых листьях. Марсиано вышел со скотного двора, и я видел, как он бредет сгорбившись, словно в воду опущенный; проходя мимо дома, он сдернул шляпчонку и спрятал сигарету. Каменоломня, там, наверху, с тех пор как к ней перекрыли дорогу, почти заросла травой.

Городское управление больше не покупало у меня камень, строительство на фазенде закончилось. А мастер Каэтано, валяясь на койке и охая, каждую неделю получал от Мадалены денежки, да еще какие. Да-да, получал, не ударяя палец о палец. И навещали его, и лекарства всякие приносили, и куриный бульон.

Еще бы, ведь он прикован к постели!

Конечно, он нуждался в помощи, но если содержать всех больных и немощных, так и сам по миру пойдешь...

А тут еще — Розе шелковое платье, Маргариде — туфли и простыни. И все это, не спросясь меня. Видали вы подобное нахальство? Проматывают мои денежки, попросту обкрадывают меня да и только.

Я снова сел. Мадалена разговаривала с Падильей, но о чем, я не мог разобрать. Их замешательство прошло. Падилья старался не смотреть в мою сторону.

И почему я не выставил из дома Падилью, этого бездельника, которому ежемесячно отваливал сто пятьдесят мильрейсов, а он, вместо того чтобы заниматься школой, настраивал тут, да, я отлично видел, настраивал всех против меня.

Я отвернулся и оглядывал двор, залитый солнцем, посыпанный песком и гравием. По двору разгуливали голуби; то взлетали невысоко, то прохаживались, задирая нос, то клевали что-то. Их было с полсотни. Сбившись со счета, я начал считать снова, но опять сбился. Вроде бы даже не меньше двух сотен.

Мне вспомнилось время, когда здесь не было ничего, кроме грязи и сорняков. Обмелевшая речка, узкая, извилистая, несла мутную воду через луг, едва смачивая землю. И торчала изгородь, окружавшая владения Мендонсы.

Как все переменилось! Мне хотелось встать и крикнуть:

— Вы только посмотрите! Посмотрите вокруг! Все эти постройки и часовня, и дорога и плотина и луга — всего этого не было. А теперь одна хлопковая плантация протянулась на целых пять километров при ширине в два с половиной! А лес — какое богатство! Какие сосны, какие кедры! А взгляните на хлопкоочистительную машину, на лесопилку. Вы что думаете, это все само собой появилось?

Падилья продолжал болтать с Мадаленой. Я пожал плечами:

— К чертям, ко всем чертям!

Сеу Рибейро с серьезным видом слушал вздор, который ему нашептывала дона Глория.

Казимиро Лопес присел на обочине дороги. Кроша острием ножа табак и свертывая самокрутку, он окидывал взглядом, зорким, как у сторожевого пса, луг, плотину, часовню, плантации. Бедный Казимиро! Как это я про него забыл? Молчаливый, преданный, готовый на все, он единственный понимал меня. Казимиро улыбнулся мне невеселой улыбкой. Я прошептал:

— Все плохо, Казимиро.

Казимиро Лопес понимающе скривил физиономию.

Под навесом продолжали жужжать. Черт побери, ну точно мухи. И какой прок в этой пустопорожней трескотне? Болваны.

Я поднялся зевая. Что я чувствовал, так это усталость. Целый день в поле — за всем пригляди, все растолкуй. Ноги не держат. Устал.

Темнело. В доме тоже темно. Я вспомнил, что динамо еще не починено. Вот еще напасть. Я вошел в дом и крикнул:

— Мария дас Дорес, зажги свечи!

Малыш ревел, словно некормленый теленок. Тут уж я не выдержал, вернулся и заорал на Мадалену и дону Глорию:

— Да подойдите же к бедняге! Хоть кто-нибудь! Болтают, болтают, и пусть хоть все в тартарары провалится! Ребенок прямо весь зашелся от крика!

У нас с Мадаленой тогда уже был сын.

24

В тот день исполнилось два года, как я женился, и к обеду были приглашены Жоан Ногейра, падре Силвестре и Азеведо Гондин.

Утром меня разозлил Падилья. Когда я налетел на него, он промямлил что-то в свое оправдание, и тогда я не придал значения его словам, но спустя несколько часов припомнил их.

— Падилья, я ведь вас не держу,— начал я, застав его в саду срезающим цветы.— Вы здесь не под арестом. Если вам работа не нравится, скатертью дорога.

— Почему, сеу Пауло? — воскликнул Падилья в изумлении.

— Да потому. Что это вы занялись цветочками? Разве вас не ждут в школе?

— Но дона Мадалена велела мне срезать розы...

— А вы что, садовник? Дона Мадалена здесь не распоряжается. Хватит того, что вы заставляете ее тратить время на пустую болтовню!

— Но я тут ни при чем,— оправдывался Падилья.— Спросите у доны Мадалены. Она просила срезать несколько роз, чтобы украсить стол к вечеру. Что я должен был делать? Отказать ей? А что до наших разговоров, вы поймите, сеу Пауло. Образованная женщина в такой дыре! Нужно же ей хоть с кем-то отвести душу в интересной и умной беседе.

Я про себя посмеялся — ну и нахал! — и оставил его в покое. Падилья, обдираясь о колючки, опустошил розовый куст и поспешно исчез. Умные беседы!

Но позднее, в конторе, какая-то неясная мысль запала мне в голову, повертелась в ней, заронив тревогу, и выскочила. Я попытался было ухватить ее, но она испарилась. Все же, оторвавшись от письма, которое я держал перед глазами, я, сам не зная почему, подозрительно покосился на Мадалену. Она стояла, прислонившись к столу, рас-

сеянно перебирала листки с рационом для скота, устремив взгляд в окно на растущие вдалеке деревья.

Машинально я подписал протянутую мне бумагу. Также машинально Мадалена положила передо мной другую. В эту минуту неясная мысль вернулась, мелькнула и снова исчезла, так проворно, что мне опять не удалось ее поймать. Но что-то во мне содрогнулось, и, взглянув на Мадалену, я заметил, что она вроде бы переменилась в лице. Потом ее лицо приняло свое обычное выражение.

За работой я как-то забылся и вечером, когда автомобиль доставил гостей к обеду, совсем успокоился.

— Рад вас видеть.

И поскольку мы обходились без церемоний, я повел друзей в дом и поспешил угостить жаждущего Гондина: появляясь в «Сан-Бернардо», он немедленно требовал коньяку.

За обедом все весело болтали. И даже я, не вникая в суть беседы, оказался в нее втянутым.

Азеведо Гондин — у него от коньяка всегда развязывался язык — начал восхвалять прелести деревенской жизни:

— Только здесь и жизнь! Разве в каком-нибудь городском дворе среди мусорных куч можно откормить такого вот роскошного индюка? Как упитан, упитан-то как, господи!

Дона Глория презрительно фыркнула и отвела взгляд от стола, в центре которого на большом блюде возлежал индюк, вызвавший столь неумеренные восторги. Падре Силвестре последовал ее примеру и тоже воззрился на садовые клумбы и аллеи.

— Истинное наслаждение жить в таком раю! Какая красота!

— Ну, в гостях все красиво,— прервал я Гондина.— А мы здесь привыкли, не замечаем. Да и не для красоты я это все здесь развел. А на продажу.

— Что, и цветы тоже?

— Все. И цветы, и овощи, и фрукты.

— Вот-вот! — воскликнул падре Силвестре, кивая седоватой головой и морща узкий лоб.— Вот это мудро! Если бы все бразильцы были так же разумны, мы не прозябали бы в такой нищете.

— Ну, это уже политика, падре Силвестре,— протянул Жоан Ногейра улыбаясь.

Тусклый взгляд падре Силвестре загорелся.

— Почему бы нет? Вы ведь не станете отрицать, что мы на краю пропасти.

У падре Силвестре в голове сущая каша. В своем приходе он трудится на совесть но в политике ни черта не смыслит, повторяет всякую либеральную чепуху.

Падилья тоже не утерпел, всунулся в разговор:

— Совершенно верно.

— На краю пропасти,— повторил падре Силвестре.

— О какой пропасти речь? — полюбопытствовал Азеведо Гондин.

Священник, помедлив, упрямо ответил:

— О той, что перед нами Страна погибает. Кругом бесчестность, везде одни мошенники.

— О ком вы говорите? Где мошенники? — приступил к нему с вопросами Жоан Ногейра.

Падре Силвестре выпятил нижнюю губу и умолк. Все его суждения были почерпнуты из газет. Но поскольку взгляды печати все время менялись, падре Силвестре, не будучи в силах разобраться во всех противоречиях, сохранял верность органам оппозиции, которые неизменно ругали правительство. Оппозиционным газетам он доверял, хотя временами то, что в них писалось, порождало в нем сомнения. На

пример, все правительственные чиновники именовались в них не иначе как мошенниками, а падре Силвестре лично знал некоторых — и они были вполне порядочные люди. Это несколько подрывало его веру в газетные истины. Все же он старался совместить свои наблюдения с тем о чем читал в газетах и склонялся к тому, что конечно, по отдельности все эти чиновники может быть, такие же люди, как и все прочие но все вместе они — шайка мошенников.

— Что значит где? Я не собираюсь никого разоблачать. Но факты упрямая вещь. С ними не поспоришь.

— Но лучше указать точно,— настаивал Жоан Ногейра.

— Зачем? В правящих кругах царит разложение. Страна идет ко дну. Я повторяю: страна идет ко дну.

Я подлил ему вина и спросил:

— Что такое с вами стряслось, что вас вдруг обуяли такие мысли Что за беды на вас обрушились? Ведь подобные ре и как я понимаю ведут те, у кого ничего не клеится. Но у вас-то все обстоит как нельзя лучше?

— Да я же не о себе болею. Финансовое положение в стране ужасно. Да и не только финансовое. Но все это кончится революцией попомните мои слова.

— Только этого нам еще не хватает.

— Тогда все полетит к чертям!

— Почему? — раздался голос Мадалены.

— А, еще одна революционерка! — воскликнул я раздраженно.

— Я просто спросила: почему?

— Почему? Да потому, что тогда лишимся всех кредитов и торговля с заграницей пойдет прахом. Уж не говоря о том, что начнется политическая неразбериха.

— И прекрасно,— прервала меня Мадалена.— А после все образуется.

— Конечно,— поддержал ее Луис Падилья.

— Да вы понимаете, о чем вы говорите?

— Удивительно, что вы, падре Силвестре, так ратуете за революцию,— продолжал Ногейра.— Вам-то какая от нее выгода?

— Никакой,— возразил священник,— я не о своей выгоде пекусь. Но общество выиграет несомненно.

— Ох, не торопитесь,— предостерег Азеведо Гондин.— Запалите костер да сами в нем и сгорите.

— Красивая фраза! — пробормотал Падилья.

— Совсем не фраза! — завопил Азеведо Гондин.— Если все лопнет, то, как вы думаете, чем кончится эта заваруха?

— Фашизмом.

— Это вам так хочется. А ведь кончится все коммунизмом.

Дона Глория в страхе перекрестилась, а сеу Рибейро прошептал:

— Боже упаси.

— Вам страшно, сеу Рибейро? — обратилась к нему Мадалена с улыбкой.

— Ах, распрекраснейшая, я столько видел на своем веку переворотов, и все они плохо кончались.

— Такого у нас не будет,— уверял падре Силвестре.— Все эти экзотические доктрины у нас не привьются. Всем известно, что коммунизм несет разруху, нищету и голод.

Сеу Рибейро провел ладонью по блестевшей лысине:

— Во времена дона Педро [1] денег в обращении было мало и кто владел тысячью эскудо, считался богачом. Но всего было вдоволь, и

[1] Имеется в виду период, когда императором Бразилии был Педро II, свергнутый в 1889 году. В этом году Бразилия была провозглашена республикой.

порой даже часть урожая оставляли на полях. Касторовое масло и хлопок продавали задаром. Не успели провозгласить республику, как все стало втридорога. Вот я и говорю, что все эти перевороты ни к чему хорошему не приводят. А железная дорога...

— Нация безбожников! — кричал падре Силвестре доне Глории.— Они перестреляли всех священников, ни один не спасся. А пьяные солдаты сбивали статуи святых и плясали в алтарях.

Дона Глория стенала, приложив руки к груди:

— Какой ужас! Возможно ли! В алтарях!

— Ничего этого не было! — вмешался Падилья.— Это все выдумки!

— И вы, падре Силвестре, вы ратуете за революцию! — воскликнул Гондин.

Викарий оправдывался:

— Я не ратую. Я сижу тихо в своем углу. Сегодня все бранят правительство, и я тоже его браню. Мы нуждаемся в реформах, да, нуждаемся. Что до коммунизма — так это вздор, к нам не пристанет. Успокойтесь, к нам это не пристанет. У нашего народа есть вера, мы — добрые католики.

Жоан Ногейра не соглашался с ним:

— Не заблуждайтесь. Ни в ком нет истинной веры. Одни распевают протестантские гимны и проповедуют евангелие, другие увлекаются спиритизмом, а чернь поклоняется колдунам и священным деревьям. И католическая церковь для многих тот же ресторан: они выбирают блюдо и садятся за стол, но без аппетита. У самых ревностных всегда расстроен желудок. Не заблуждайтесь, падре Силвестре, мы ходим к мессе, но мы вовсе не такие уж добрые католики — наш народ можно повести в любую сторону.

Падре Силвестре, окончательно сбитый с толку, попробовал что-то возразить ему:

— В таком случае...

Но Жоан Ногейра уже потерял интерес к доводам падре Силвестре и вполголоса заговорил со мной, торопясь передать мне какие-то сплетни о докторе Магальяэнсе.

Мадалена обратилась к сеу Рибейро:

— Вы, видно, тоже боитесь всяких перемен?

— Не знаю, распрекраснейшая, должно быть, боюсь. Беды меня не обходят. Здесь у меня хоть есть кусок хлеба. А случись что, так и этого не будет.

Мадалена в чем-то убеждала его, но похоже было, что старик не понимает, что она ему говорит. А во мне снова проснулось недоверие к ней. Нехорошее, злобное чувство. Я уже его когда-то испытывал. Когда?

Жоан Ногейра разделывал доктора Магальяэнса. Дона Глория, убаюканная обильной пищей и жарой, дремала, невзирая на гибель, которую ей предрекали. Сеу Рибейро упрямо не желал никаких перемен. А Азеведо Гондин раскрасневшись, убеждал падре Силвестре:

— Да-да, Ногейра прав. Мне известны люди, которые на страницах газет кричат о своих религиозных убеждениях, а сами ни разу в жизни не раскрыли Библию.

Когда? И вдруг я вспомнил. Это же чувство я испытал сегодня утром, в конторе, когда Мадалена давала мне на подпись бумаги.

Я понял, она в тайном сговоре с Палильей, и они сбивают моих работников с истинного пути. Она коммунистка, вот она кто! Я создаю, а она разрушает.

Все поднялись из-за стола и перешли в гостиную. Там подали кофе.

Коммунистка!

— Коммунисты не признают семью,— настаивал падре Силвестре. Никто ему не ответил.

Мне надоело слушать их болтовню, но я ждал, что скажет Мадалена.

Викарий продолжал поносить всех и вся.

А что думает Мадалена?

— Падре Силвестре прав,— поддакивал Гондин.— Религия все-таки помогает держать народ в узде.

— Ерунда! — не соглашался Ногейра.— Разве народ — лошадь, чтобы держать его в узде?

А Мадалена? Религиозна ли она? Верит ли она и во что? Она никогда ни о чем таком со мной не говорила. Чудовищно.

Моя жена — безбожница, материалистка. Я припомнил, что Коста Брито говорил про какой-то исторический материализм. Что это такое — исторический материализм?

Чего греха таить, я и сам не больно много думаю о царстве божием. Бог для меня — это тот, кто должен вознаградить на том свете моих работников, которым на земле платят не слишком щедро. А дьявол — тот, кто поджарит вора, укравшего у меня породистую корову. Как видите, я все же не безбожник, хоть порой и полагаю, что мужчине быть верующим ни к чему. Но неверующая женщина — это страшно.

Коммунистка, материалистка. Моя жена. Шушукается с Падильей, этим кретином. «Интересные и умные беседы». А о чем говорят-то? Верно, все про социальные реформы или еще про что похуже. Поди знай! Женщина без веры способна на что угодно.

— Конечно,— поддакнул я в ответ на какую-то длинную и нудную историю, которую рассказывал падре Силвестре.

Сеу Рибейро и Азеведо Гондин лениво препирались. Дона Глория клевала носом. Падилья курил в углу.

— Очень может быть.

Видно, я отозвался невпопад, потому что на физиономии падре Силвестре выразилось недоумение.

Я поискал глазами Мадалену и нашел ее рядом с Ногейрой. Стоя с ним у окна, она что-то говорила ему и улыбалась.

Я знаю себе цену. И все же я невольно отметил, что у Ногейры красивые глаза, вкрадчивый голос и костюм сшит у хорошего портного. Вспомнил о своих восьмидесяти девяти килограммах, красном, обветренном лице, кустистых бровях. Недовольно оглядел свои огромные ручищи волосатые, огрубевшие от многолетней работы. Все это как-то смешалось у меня в голове с материализмом и коммунизмом Мадалены — и я почувствовал приступ ревности.

25

Я почувствовал приступ ревности. Первым моим побуждением было взять Падилью за шиворот и вытолкать его из дома. Но потом я оставил его, решив отомстить. Я запретил ему появляться в доме, верней сказать, запретил ему покидать стены школы. Там он теперь жил, спал, туда ему приносили на подносе еду.

Четыре месяца я не платил ему жалованья. Когда он попадался мне на глаза, растерянный, тощий, в грязном воротничке, с отросшими волосами, я говорил ему с насмешкой:

— Наберитесь терпения. Потом вы отыграетесь. Вы же у нас апостол. Давайте сочиняйте дальше свои небылицы об угнетенных пролетариях.

Он униженно оправдывался. Покорно проглатывал мои обидные шутки. А однажды зарыдал и, рыдая, умолял меня пристроить его на службу в налоговое управление.

— Это не для вас, Падилья. Вы уж подождите, пока у нас будут советы. Тогда вы сразу станете командиром красной гвардии. И уж не забудьте тогда обо мне, Падилья, будьте другом.

В нашем доме, охраняемом Тубараном и Казимиром Лопесом, жизнь была сплошной тоской и унынием. Дона Глория все вечера проводила под апельсиновыми деревьями, погруженная в газетные романы с продолжением. Мадалена вышивала, и лицо ее словно заволакивали тучи.

Временами тучи редели. После трудового дня всем хотелось перебросится несколькими словами, подремать, посидеть в ленивом оцепенении.

Налетал свежий ветер. Во мне росло какое-то возбуждение, желание распрямиться, встряхнуться. Я устремлял взгляд на гору, опоясанную красной лентой дороги, на лес, на хлопковую плантацию, на плотину, перегородившую речку.

Мадалéна откладывала вышивание и тоже всматривалась в знакомую картину. Глаза ее были широко раскрыты. Красивые глаза.

Каждый из нас ощущал наше тайное соприкосновение, но старался не выдать себя, боясь задеть друг друга неловким словом. Вымученные улыбки, принужденные жесты.

Я принимался рассказывать про сертан. Мадалена — про свое педагогическое училище. И тут идиллия нарушалась. Непреложно. Педагогическое училище! По мнению Силвейры, в этих училищах все сплошь безбожницы, а уж Силвейра-то все премудрости общественного обучения знает как свои пять пальцев он даже сам составлял программы для министерства. Подумаешь, образование!

Не люблю я ученых женщин. Эти так называемые интеллигентки меня приводят в ужас. Видел я таких, они читают со сцены стихи, выступают с докладами и управляют своими мужьями или теми, кто их заменяет. На подмостках они заливаются соловьем, а поди окажись с ними наедине, за опущенным занавесом, так первым делом услышишь: «Ах, я так нуждаюсь в вашей помощи, мой друг...»

Мне они так не говорили, никогда Но мне рассказывал Ногейра. Воображаю. Они появляются в провинциальных городишках, навязывают, улыбаясь всякие брошюрки и докладики. Это все столичная зараза. Бесстыжие.

Мадалена, конечно, не интеллигентка. Но она — безбожница и лезет в политику.

От этих мыслей я весь точно съежился и был сам не свой.

Я видел, как она стоя у окна, любезничала с Ногейрой и улыбалась! Улыбалась совсем как эти, со стихами и брошюрами Мне стало не по себе. Что может остановить Жоана Ногейру? Он хороший адвокат, толково ведет дела на него можно положиться, у него «да» так «да», а «нет» так «нет». Но по части женщин он — ходок, ни одной не пропустит И, может, они уж не первый раз так любезничают? Ведь до моей женитьбы на Мадалене они были в дружбе... Может, они давным-давно влюблены друг в друга? Когда я встретил Мадалену у доктора Магальяэнса, Жоан Ногейра там уже вертелся. Ох этот доктор Магальяэнс, такого дурака поискать. Как начнет нудить, словно пилой по дереву. «Вы понимаете, я судья. Судья. Я просыпаюсь утром...» И Ногейра не моргнув глазом все это выслушивает. И делает вид, что ему очень интересно. А когда он сам заводит разговор о политике, Мадалена вскидывает голову и не пропускает ни словечка. Два года замужем и, пожалуйста, стоит с ним у окна и любезничает напропалую.

Я готов крикнуть ей:

— Шлюха!

Даже с Падильей! Какого черта она рвется вместе с ним отстаивать права угнетенных? Классовая борьба!

Она здесь ведет классовую борьбу! Совсем совесть потеряла.

А потом эти статейки в газету Гондина. Она не бросила их писать. Нечасто пишет, но пишет. И с Гондином их водой не разольешь. Я вспомнил, как все меня тогда поздравляли. Но как-то не от души. А еще раньше Гондин и Падилья восхищались, какие у нее красивые ноги и грудь.

А я-то размяк и доверился ей. Интеллигентке.

Верно, лицо у меня сделалось ужасное, потому что Мадалена побледнела и с трудом удерживала дрожь.

Если бы я знал... Что знал? Есть ли мужья, которые что-нибудь знают?

Верно, все кабокло в округе потешаются надо мной. И даже Марсиано с Розой судачат по ночам, в постели, о моем позоре.

Известно ли Марсиано обо мне и о Розе? Не знаю. Я всегда старался услать его в город, за покупками. Может, он и сам не хотел ничего знать. Мне же, конечно, легче было думать, что он не отличается догадливостью.

И все же, наверное, никто никогда не знает всей правды.

О чем разглагольствует сеу Рибейро? И дона Глория?

Я не торопясь вышел посмотреть малыша, который ползал на четвереньках по комнатам, падал и плакал. Я приласкал его. Худенький он был. Белокурые волосы, как у матери. Зеленые кошачьи глаза. А у меня глаза темные. Курносый нос. У всех детей обычно курносые носы.

Оглядев его, я не рассеял своих сомнений: на меня ребенок не был похож, но он не был похож и ни на кого другого.

Малыш снова принялся ползать, падать и орать — жалкий, уродливый, как смертный грех. Ножки и ручки у него были как спички, прямо жалость брала. Ревел он день и ночь, орал словно проклятый, и нянька ополоумела с ним от бессонницы. Орал до того, что делался весь красный, и однажды я думал, что он задохнется от крика, но падре Силвестре окунул его головой в воду, и он замолчал. Когда у него пошли зубы, он весь покрылся нарывами и, обклеенный с ног до головы пластырем, был ни дать ни взять освежеванная туша.

Никто им не занимался. Дона Глория читала. Мадалена слонялась из угла в угол с покрасневшими веками и вздыхала. Я говорил себе: «Не слишком она любит нашего сына!»

А мальчишка все ревел, не умолкая ни на миг. Только Казимиро Лопес был с ним ласков. Он выносил его под навес и там с ним забавлялся, рассказывал ему сказки про ягуара и убаюкивал его песнями, которые поют в сертане. Малыш залезал к нему на колени, дергал его за бороду, а Казимиро Лопес пел ему:

Семимесячным родился,
не кормила мать меня.
Семь коров меня кормили,
а не то бы помер я.

Добрая душа, этот Казимиро Лопес. Я не видел никого, кто был бы так незлобив. Ручаюсь, что он даже не понимал, что причиняет кому-то зло. А все его называли зверем. Неправда. Зверь в нем просыпался редко. Он просто был свирепый и доверчивый, как дикарь.

26

Мне становилось все хуже и хуже. Я чувствовал себя так, будто был болен, тяжко болен. Тоска, постоянная смута на душе и ярость. Мадалена, Падилья, дона Глория — я не мог больше выносить этот треугольник! Я еле сдерживался, чтобы не ударить Мадалену, ударить по лицу! И дону Глорию тоже, ведь это она, всю свою жизнь работая как лошадь, вырастила такое сокровище!

В любой мелочи мне мерещилось черт знает что, любой жест, случайное слово наводили на подозрение.

Девица из педагогического училища! Силвейра когда-то давал мне понять обиняками, что меня ждет. Теперь я должен сносить все это, и поделом — не будь болваном.

Сносить! Да, да — сносить! И я должен сносить такой позор? Я был уверен в нем, мне недоставало только явного доказательства: войти в ее комнату и застать ее в постели с другим.

Я мучился желанием застать ее врасплох. Однажды я ворвался к ней и стал рыться в ее чемоданах, книгах, письмах. Мадалена рыдала, кричала, у нее начался нервный припадок. Потом были еще припадки, крики и брань, и наша жизнь превратилась в ад.

Как-то раз на фазенду заехал по пути доктор Магальяэнс, и я пригласил его позавтракать. Во время завтрака я заметил, что он как-то особенно любезен с Мадаленой. Не то чтобы мне почудилось нечто подозрительное в их разговоре, но мне не по вкусу было, как они держатся друг с другом, как улыбаются, как смотрят. Мне померещились какие-то знаки и сказанные шепотом слова.

Ночью я не мог спать. Мадалена спала, свернувшись клубочком на краю постели, а я сидел и задыхался от ненависти к ней.

И с доктором Магальяэнсом, со стариком! Впрочем, сказал я себе, уныло ощупывая свой заросший подбородок, я ведь тоже старик. Отчасти я сам виноват: никогда за собой не слежу. Вечно эта чертова работа — по три, по четыре дня не бреешься. И всегда я возвращаюсь по уши в грязи, свинья свиньей. И сколько ни поливаешь себя горячей водой, разве всю грязь с себя смоешь!

И мои огромные ручищи! Огромные, потрескавшиеся, мозолистые ладони, затвердевшие, будто лошадиные копыта. И пальцы тоже огромные, короткие и толстые, как обрубки. Такими руками ласкать женщину!

А у доктора Магальяэнса, этой бумажной души, руки мягкие словно замша и ногти тщательно ухоженные — такими не оцарапаешь. Еще бы, он только и знает копаться в документах!

Мадалена спала. Хрупкая, нежная! В последнее время она сильно похудела.

Я встал с постели и подошел к окну. Да, руки у меня и впрямь не руки, а ручищи. Взглянул на себя в зеркало. Он не блещет красотой, доктор Магальяэнс, но я от своей чертовой жизни, когда целыми днями лаешься с кабокло, на самом пекле, я просто страшен. Черный от солнца. А бровищи-то! Волосы еще только начали седеть, а отросшая борода вся белая. Столько дней не бриться! Так себя запустить!

Назавтра я застал Мадалену за писанием какого-то письма. Я подошел к ней сзади на цыпочках и прочитал на конверте адрес Азеведо Гондина.

— Может, ты мне дашь прочитать?

Мадалена закрыла рукой еще несложенный листок.

— Зачем тебе? Это касается только меня.

— Чудесно. И все же я хочу посмотреть.

— Но я ведь тебе сказала, что это касается только меня. Какая гадость!

— Дай мне письмо! — потребовал я, тряся ее за плечи.

Мадалена старалась вырваться, держа письмо в поднятой руке; потом, перехватив его другой рукой, она спрятала письмо за спину:

— Не трогай меня! Занимайся своими делами!

Ее упорство взбесило меня.

— Дай мне письмо, шлюха!

Мадалена вырвалась и металась по комнате с криком:

— Негодяй!

Дона Глория, перепуганная, показалась в дверях.

— Ради бога! Зачем, чтобы все слышали?

Но я уже не помнил себя.

— Идите объясняйтесь с этой сучьей дочерью! Вы что, оглохли? Хватит корчить из себя святую добродетель! Да, да, она сучья дочь — вот кто! Если вам мои слова поперек горла — можете убираться вон! Вы, конечно, стоите горой за свою племянницу? Обе вы — сучьи дочери!

Дона Глория исчезла, прижимая платок к глазам.

— Негодяй! — кричала Мадалена.

Я как заведенный повторял:

— Покажи письмо, шлюха!

Мадалена разорвала письмо на мелкие клочки и кинула в окно.

— Негодяй!

Словно вихрь, выбежала она из комнаты. Из коридора донесся ее крик:

— Убийца!

Ошеломленный, я пробормотал:

— Сука!

И застыл, глядя на клочки бумаги: ветер разносил их по саду, и они цеплялись за розовые кусты. В гостиной или в кухне все еще слышался крик Мадалены:

— Убийца!

Все ее прежние оскорбительные слова были просто оскорблениями, но, бросая мне последнее слово, она что-то имела в виду. И это мучило меня. Женщины, с их сантиментами, не должны вмешиваться в мужские дела.

До нее только один человек осмелился открыто назвать меня убийцей — Коста Брито из газеты «О жорнал». Справедливости ради нужно сказать, что то, как я отбрил его тогда, и помогло мне завоевать Мадалену. Злосчастная победа! Не лучше ли было бы для меня сохранить дружбу Косты Брито? Добрая дружба стоит дороже многих женитьб.

Убийца! Почему у нее вырвалось именно это слово? Случайно? Или она что-нибудь вычитала в «О жорнал»? Скорей всего, это Падилья постарался пересказать ей всякие ходившие про меня сплетни. Да, так Падилья мало-помалу превращался в злодея. Какая честь для него! Падилья — злодей! В моей памяти всплыла история с Жакейрой и снова улетучилась, в моих ушах раздавался голос Мадалены, и я сам мысленно стал повторять про себя: «Убийца! Убийца!»

Вместе с тем во мне клокотало глухое раздражение: сколько времени потрачено на весь этот вздор!

Мадалена, дона Глория, Падилья — все они сучьи дети. Я тут схожу с ума, а на плантации черт знает что творится.

Я потянулся. Всю ночь не сомкнуть глаз! Снова посмотрел на свои руки, и внутри у меня что-то задрожало. И в самом деле, какие огромные ручищи!

Жакейра... Ах да, несколько лет тому назад...

Вдруг я вспомнил, что Мадалена всегда относилась неприязненно к бедному Казимиро Лопесу. В конце концов...

Убийца! Что она знала о моей жизни? Я никогда с ней не пускался в откровенности. У всякого есть свои тайны. А мы могли бы порассказать друг другу много любопытного. У каждого наберется достаточно грехов. У Мадалены, питомицы педагогического училища, их, верно, наберется немало. О ее прошлом я ничего не знаю. Знаю только, что в настоящем она — дурная женщина, ясно, что дурная.

Сверх всего еще и неблагодарная. Казимиро Лопес выносит мальчишку под навес и нянчится с ним, убаюкивает его песнями. Господи, как все запуталось. Казимиро Лопеса она не называет убийцей, нет, она меня так называет. Впрочем, в тот момент я не посчитал это странным. И меня не ужаснуло бы, если бы вдруг оказалось, что я и Казимиро Лопес — один человек.

Чертов Падилья!

Кто бы мог подумать, что Жакейра...

Опять Жакейра. Вот, в двух словах, история Жакейры. Жакейра — хиляк, ничтожество, вечно все его колотили — и наши парни, и все, кому он попадался под руку. Жакейра в ответ на колотушки только бормотал:

— Когда-нибудь я прикончу одного из этих мерзавцев.

С его женой спали все кому не лень. Двери тут же открывались, только постучи. А если жена медлила, Жакейра сам шел отворять, зевая и бормоча свою угрозу:

— Когда-нибудь я прикончу одного из этих мерзавцев.

И прикончил. Притаился за деревом и разрядил ружье прямо в сердце одному типу. Только шестеро присяжных проголосовали за смертную казнь (пример попустительства). Когда он вышел из тюрьмы и вернулся сюда, здесь все прониклись к нему уважением — и больше никто не посмел пальцем дотронуться до Жакейры.

27

Когда я успокоился, мне стало казаться, что весь этот шум был поднят не из-за чего. Доктор Магальяэнс по природе таков, что не может не рассыпаться перед женщиной в любезностях,— зачем его подозревать? А письмо, адресованное Гонлину, всего-навсего какая-нибудь очередная статейка. Ничего другого не могло быть. Подумать только, из-за таких пустяков и черт знает какая перепалка: как только друг друга не поносили, и все это слышала Мария дас Дорес, и сеу Рибейро тоже слышал. Черт меня подери!

Мадалена — честная женщина, неужели не ясно? И письмо она не хотела мне дать из гордости, не хотела уступить, это же яснее ясного. Идиотская ревность!

Да она скромнее любой монашки! Серьезная, бескорыстная. Добра до крайности — лесную зверюшку и ту без помощи не оставит. Что у нее в мыслях, конечно, разгадать трудно — разве в чужие мысли проникнешь, но к словам ее и поступкам не прилепишься. Она могла бы наговорить мне еще и не такого. Могла бы обозвать похуже чем убийцей. Похуже. И на нее я не был в обиде. Против кого я кипел, так это против наглеца Падильи.

Утренний приступ ярости сменился благодушием. Вся еще не выдохшаяся во мне злоба обернулась теперь против учителишки.

Бесстыжая рожа! Выгоню его без промедления! И вечером я пошел сообщить ему об этом.

Падилья предложил мне стул, сам сел на табурет и ждал, поникший, словно дохлая курица.

— К вашим услугам, сеу Пауло Онорио.

— Я должен сообщить вам неприятную новость. Вы мне больше не нужны.

— Но почему? — проговорил Падилья, потрясенный.— Чем я вам не угодил?

— Вот те раз! Вы меня еще спрашиваете? Вы сами должны знать, чем не угодили.

— Но я ничего не сделал. Да и что бы я мог сделать, сидя здесь взаперти? Моя жизнь хуже чем у арестанта. Никуда не выхожу. Если и пройдусь шагов двадцать, так Казимиро Лопес идет за мной по пятам. В чем же я виноват? Скажите, в чем?

— Я не собираюсь ничего вам объяснять.

Падилья опустил голову.

— Ну да, конечно. Год начинается, проходит, дурак работник, живя в конуре, надрывается изо всех сил, стараясь угодить хозяину, но вместо прибавки жалованья получает под зад коленом.

Он встал.

— Дайте мне, по крайней мере, хоть несколько дней, чтоб все здесь закончить и подыскать другую работу. Не могу же я пойти отсюда куда глаза глядят.

Я тоже поднялся.

— Даю вам месяц сроку.

— Очень благодарен,— пробормотал Падилья.— Вот так: мы же должны еще и благодарить. Ловко обставлено. А ведь не будь я на посылках у вашей супруги, ничего бы этого не случилось.

Он возмутился:

— Да, да, на посылках! «Найдите мне эту книгу, сеу Падилья». И я иду за книгой. «Принесите бумагу, сеу Падилья». Я приношу. «Перепишите эту страницу, сеу Падилья». Я переписываю. «Нарвите апельсинов, сеу Падилья». Даже рвать апельсины! На посылках! Эта женщина — причина моего несчастья.

— Придержите язык,— прервал я его.

— А что я такого сказал? Что я был у нее на посылках? Был. За это вы меня и выгоняете.

— Ничего подобного! Выгоняю за то, что вы здесь разводили сплетни, строили козни, занимались всякими происками, вот за что.

Падилья сначала онемел. Потом выпалил одним духом:

— Какие такие сплетни, козни происки? Что вы имеете в виду? Разве моя вина, что ваша супруга увлекается передовыми идеями? Если дело в этом...

— Не в этом, нет.

— Ну, тогда я не знаю.

— Послушайте, Падилья. Я прожил уже почти полвека и людей повидал немало. Вы мне зубы не заговаривайте. Я на многое закрывал глаза. Но если я говорю вам, что вы тут строили козни, значит, так оно и есть.

Падилья не мог успокоиться.

— А вы докажите. У меня совесть чиста. Почему вы не говорите прямо? Раз вы знаете, так скажите.

— Ну что ж, не будем играть в прятки,— отозвался я, не скрывая насмешки.— Разве вы не распускали всяких небылиц о Мадалене? И обо мне? Распускали? Или нет?

— Я ничего не говорил, сеу Пауло. О чем я мог говорить, ведь я ничего не знаю.

— Зачем же опять врать? Я сам слышал.

Падилья смутился.

— Ладно. Если вы, сеньор, сами слыхали, что ж мне спорить. Но только вы слышали то, чего я не говорил.

— Нет, я слышал, как именно вы говорили. Зачем упорствовать? Слух у меня отменный.

— Если вы что и могли слышать,— сдался Падилья,— так только как я рассказывал доне Мадалене о смерти Мендонсы. Но дона Мадалена уже до меня знала эту историю...

— Что она знала?

— Ну, людям ведь рот не заткнешь. Чего только не наговорят. А я, напротив, хотел ей все объяснить и вас защищал: «Дона Мадалена, это все дела давно минувших дней, чего их ворошить, все равно уж никого не воскресить. Старый Мендонса сам был хорошая болячка, у всех соседей награбил земли. А всяким слухам не верьте, все это враки. У сеу Пауло доброе сердце, он и цыпленка убить не способен».

Мне вспомнилась утренняя ссора. Точно, как я и думал: все козни этого мерзавца.

— Почему, Падилья, вы сказали мне, что Мадалена — причина вашего несчастья?

— А вы считаете нет? Не будь ее, я не потерял бы место. Все из-за нее. И к тому же не по душе мне это было. Сколько раз я ей честно и откровенно говорил: «Дона Мадалена, сеу Пауло питает отвращение к социализму. И лучше сеньоре не увлекаться этими новомодными идеями. Все эти разговоры ни к чему не приведут». Вот так. Большой попугай кукурузу склевал, а маленькому все перья выщипали. Маленький попугай — это я.

Я не мог устоять:

— О чем же вы с ней беседовали?

Моя ревность вышла наружу. Падилья, не скрывая улыбки, ответил со значением:

— О литературе, политике, искусстве, религии... Очень интеллигентная сеньора дона Мадалена. И образованная, и начитанная. Но я напрасно отнимаю у вас время. Вы, сеньор, лучше меня знаете женщину, которая вам принадлежит.

28

«Вы, сеньор, лучше меня знаете женщину, которая вам принадлежит». Как сказано!

Падилья что-то знает. Знает? Или берет меня на пушку?

Все это догадки. А я хотел только одного: знать наверняка и покончить со всем этим. Так или иначе.

«Вы, сеньор, лучше меня знаете женщину, которая вам принадлежит». Ни черта я не знаю! Вот что меня лишало сна и покоя. Жить с женщиной в одном доме, есть за одним столом, спать на одной постели и обнаружить через несколько лет, что она тебе совсем чужая! Боже мой! Но ведь я и самого себя не знаю: я столько раз делал не то, что нужно, и даже не знаю до сих пор, что же такое творилось со мной все эти полные мучений месяцы!

Сколько времени тратят люди на бессмысленные страдания! Не лучше ли было бы нам родиться волами? Но волами, у которых есть разум. Глупей всего то, что без мучений нам жизнь не в жизнь. Виновна? Невиновна? Для чего все это? Мы сами ищем себе мучений. Виновна? Невиновна?

Если бы я уверился, что Мадалена невиновна, я бы устроил ей такую жизнь, какой она себе и представить не могла. Накупил бы ей

столько платьев, что ей век не сносить, и дорогих шляпок, и дюжины шелковых чулок. Я стал бы к ней внимателен, очень внимателен и пригласил бы лучших столичных врачей, чтобы вылечить ее от бледности и худобы. И пусть бы она раздавала свои платья женам моих батраков.

А если бы я узнал, что она мне изменяет? О! Если бы я узнал, что она мне изменяет, я бы убил ее, и не сразу, а так, чтобы она еще помучилась перед смертью.

Передо мной возникали картины ее зверского убийства, но вскоре моя жестокость сменялась отвращением к самому себе. Что это даст? Убийство бессмысленно. Лучше выгнать ее, пусть помытарится. Пусть поваляется на больничных койках, помыкается без пристанища, а, встретив ее на улице — голодную, оборванную, изможденную, изголоданную болезнями, я подам ей милостыню.

Виновна? Невиновна?

Разве это важно? Среди трудов и забот нас настигает смерть, дьявол уносит наши души, друзья провожают нас в последний путь со скорбными рожами и тут же забывают, что мы когда-то жили на этом свете.

И что мне до того, о чем думают Падилья, сеу Рибейро, дона Глория, Марсиано? Вот Казимиро Лопес, тот ни о чем не думает. Если бы я мог быть таким, как Казимиро Лопес!

«Плохо дело, Казимиро»,— прочел он в моих глазах.

И, пожав плечами, Казимиро Лопес подтвердил, что с этим он согласен.

29

Когда мои подозрения становились невыносимы, я всюду искал каких-либо подтверждений. У Мадалены есть какая-то тайна, несомненно.

— Несомненно, несомненно, понимаете? Несомненно.

Эти бессчетные повторения словно укрепляли мою уверенность.

Я потирал руки. Несомненно. Это лучше, чем шарахаться от одного к другому.

Видно по всему, что дона Глория — обыкновенная сводня. Семенящая походка, опущенные глаза, тихий голос — именно такими и бывают сводни. В молодости за ней, видно, водились грешки. Она, сводня, и сбила племянницу с пути. Две суки всегда будут заодно.

Да, Падилья открыл мне глаза...

В ярости я повторил про себя: «Благодарю, Падилья».

Да, теперь я все понял. В «Сан-Бернардо» не нашлось бы кошки или собаки, которая не знала бы, чем занимается моя жена.

«Эта женщина — причина моего несчастья» Ни капли уважения! Кто осмелился бы бросить в лицо мужу подобную ересь о его жене? А? Кто? Ясней не скажешь.

Падре Силвестре проездом навестил «Сан-Бернардо» — я и его заподозрил, и держал с ним ухо востро. Господи, прости, и его я заподозрил. Стреноженному коню тоже есть надо.

Мое несчастье тащило меня ко дну — я заподозрил, что Мадалена путается с батраками-кабокло. С кабокло, да...

Иногда рассудок пытался меня удержать: «Поостынь, болван. Все это сплошная бессмыслица».

И в самом деле, зачем белой женщине, чисто вымытой, хорошо одетой, наглаженной, образованной, спать с этими черными, грязными скотами, воняющими потом. Мне мерещится. Мерещится? Но я сам видел, как один из батраков подал ей знак...

Сделав над собой усилие, я чем-то занялся и постарался успокоиться. Убедил себя, что знак был подан совсем не ей. Не мог он быть ей подан.

Выходит, не мог?

Ну конечно, не пойдет же она с первым попавшимся, не разобравшись, чего он стоит.

Однажды вечером старая Маргарида, опираясь на палку, поднялась навестить нас, и я весь вечер не спускал с нее глаз, заподозрив, что несчастная старуха принесла какое-то послание Мадалене.

Думаю, что я тогда просто рехнулся.

30

Ночью мне почудились в саду чьи-то шаги. Почему этот чертов Тубаран не лает? Подлая псина, видать, совсем нюх потеряла. Я вскочил, схватил ружье, погасил свет и распахнул окно.

— Эй, кто там?

Может, это охотятся за мной? Люди Гамы, Перейры, Фиделиса? Навряд ли Угрозы давно прекратились: мы с Казимиро Лопесом нагнали-таки на них страху. Все же из осторожности я прижался к стене. В темноте вроде что-то промелькнуло.

— Кто там? Зверь, что ли, какой залез? Непохоже...

Мой выстрел, переполошив обитателей фазенды, заставил Мадалену с криком соскочить с постели.

Я прикрыл окно и зажег лампу.

— Кто там был? — простонала перепуганная Мадалена.

— Кому ж бродить по ночам вокруг дома, как не твоим ухажерам. Уложу я кого-нибудь из этих сучьих детей прямо под окнами.

Мадалена рыдала, зарывшись в подушки.

За окном — свист, протяжный Условный знак.

— Свистит, слышишь? Или нет? Свиданье у вас, что, здесь в спальне назначено, в нашей постели? Видать, до этого уже дошло? Может, мне уйти? Ты скажи: если хочешь, чтоб я ушел, я уйду. Не стесняйся.

Мадалена захлебывалась от рыданий.

Мне стало совестно. Зачем я так жесток с ней? Чудовищно жесток.

А если и шаги и свист вовсе никак с ней не связаны? Тогда, значит, я клюнул на пустышку и веду себя как последний идиот? Вдруг и шаги и свист просто мне померещились? Я помнил, как в те времена, когда за мной и впрямь охотились, я хватался за нож, заслышав мышиную возню. Каждый может обмануться. Мне захотелось поправить положение:

— Ну, хватит проливать слезы Из-за того, что кто-то бродит по саду и свистит, ни к чему разводить такую сырость. Лучше покончить со всем этим притворством.

Мадалена продолжала рыдать, и рыдания ее не умолкали, пока она измучившись не забылась во сне. Стараясь не притрагиваться к ней, я притулился на краю постели. Уже почти заснувшего, меня вдруг разбудил скрежет ключа в двери и одновременно какой-то шум на крыше — будто кто-то выламывал черепицу. Меня как подкинуло: сев на постели, я затаил дыхание. Кто-то пытается проникнуть в дом с помощью ключа или разобрав крышу.

Я тихо заглянул в лицо Мадалене. Слышит ли она? Спит или только делает вид, что спит?

Встав с постели, я сел в кресло. Мадалена спала.

Конечно, больше никакого скрежета и шума не повторилось. Все это ночные кошмары. И шаги в саду тоже, верно, мне почудились. Кошмар. Вот именно. Кошмар. И может, никто и не свистел, а просто крикнула сова.

Часы в столовой пробили один раз. Который час теперь? Половина первого? Час ночи? Половина второго? Или половина какого-нибудь другого часа?

Сон никак меня не брал. Я считал до ста, загибал мизинец, считал до двухсот, загибал безымянный палец, и так далее, пока не досчитал до тысячи и не загнул все десять пальцев. Потом принялся снова считать до ста и, сосчитав, разогнул большой палец. Сосчитал до двухсот и разогнул соседний — ковыряльщика. И когда я дошел до двух тысяч, все пальцы на руках оказались разогнутыми. Я повторил всю эту чушь, представив себе, что каждый палец равен тысяче эскудо чистой прибыли. У меня быстро составилось такое неслыханное богатство, что, раздосадованный, я бросил это занятие.

Часы снова пробили один раз. Час? Половина второго? Надо посмотреть. Я встал и, тяжело ступая, направился в столовую. Мадалена продолжала спать.

Не выходя из спальни, я открыл, потом закрыл двери в коридор. Не спуская глаз с лица Мадалены, открыл их снова и снова закрыл. Вот это сон! И она отдыхает во сне, а я тут все потроха себе изгрыз. Спит, как будто все идет как надо. Мне хотелось разбудить ее и снова начать ту бесконечную распрю, которая давно стала нашей жизнью. Спать, когда я места себе не нахожу, когда я весь извелся, как может она спать? Но что меня изводит? И куда это я направляюсь сейчас, ночью, с ключом в руке и с вытаращенными в сторону Мадалены глазами?

Ах да, я же хотел посмотреть на часы. Толкнув дверь, я вышел в коридор. Узнать который час, все же хоть какое-то дело.

Я сел на свое место за столом. Когда ссоры еще только начали входить у нас в привычку, я всегда сидел здесь по вечерам, споря с Мадаленой. Чего только мы тут не наговорили друг другу!

Для чего нужно вечно спорить, вечно что-то выяснять? Для чего?

В самом деле, для чего? Все, что я говорил, было просто и понятно, но я напрасно ждал от своей жены такой же простоты и ясности. А я, я не умел разглагольствовать, как она, то и дело вставляя всякие мудреные и хитрые словечки. Даже когда она пыталась подражать моей незатейливой деревенской речи, то в ее устах мои самые безобидные и ясные слова уподоблялись змеям: они изворачивались, жалили и были полны яда.

31

Однажды вечером я поднялся на часовню и застал там Марсиано: он охотился на сов, которые гнездились под крышей и каждую ночь будили всех вокруг. Мне пришло в голову остаться и посмотреть, как он станет вылавливать этих проклятых птиц.

Сверху я слышал, как возится под крышей невидимый Марсиано. И в каждое из четырех оконцев, смотрящих в четыре разные стороны, я мог видеть расстилавшуюся внизу картину. Из одного окошка была видна часть конторы и письменный стол, за которым сидела моя жена и что-то писала. Отведя взгляд чуть в сторону и оторвавшись от этой привычной картины, я различил крыло дома, двери, окна, кровать в комнате доны Глории и угол столовой. Поднял голову, и горизонт заполнился черепичными крышами, оштукатуренными стенами, резными карнизами. Еще дальше — поля, горы, тучи.

Сочные луга лежали зеленым ковром, и пасшиеся на них быки и коровы были похожи на целлулоидные игрушки. Хлопок взбирался по склонам холмов, спускался с них и снова появлялся, едва видимый в такой дали. На прогалине среди темных, почти черных зарослей терялись в тени фигуры лесорубов.

Раздался крик совы. И Марсиано, весь в паутине, вылез из мрачного совиного убежища.

— Еще одна. Чумовые эти совы, сеу Пауло.

Я ворчал про себя: «О чем она думает, ослица? Пишет все. Какой-нибудь вздор».

Но тут я увидел, как Роза, жена Марсиано, переходит вброд речку. Юбки задрала аж до пояса. Пройдя самую глубину, опустила пониже. Вышла на берег, постояла немного, давая ногам обсохнуть, и двинулась дальше, изгибаясь и раскачивая бедрами,— чистый соблазн!

Расстояние округляло, а солнце золотило вершины гор. Они сияли, словно головы святых.

— Если бы у этой притворщицы не были мозги набекрень, могла бы тоже сюда ходить любоваться: где еще такую красотищу увидишь!

Когда начало смеркаться, я спустился по винтовой лестнице. На душе у меня полегчало. Хоть по натуре я не слишком впечатлителен, но все же увиденное мною убедило меня, что мир не так уж плох. На пятнадцатиметровой высоте вам кажется, что вы как будто сами выросли на пятнадцать метров. И когда с высоты вашего гигантского роста вы видите у ваших ног бесчисленные стада, плантации, которым нет конца и края,— и все это ваше... Когда вы различаете дымок над крышами принадлежащих вам домов, где живут люди, питающие к вам страх, уважение и даже, может быть, любовь — ведь они все зависят от вас,— в эти благословенные минуты вы испытываете великое успокоение.

Вы чувствуете себя добрым, вы чувствуете себя сильным. А если где-то поблизости томятся ваши недруги, то пусть даже они вовсе неопасны и любой мальчишка, вооружившись палкой, справился бы с ними,— ваше представление о собственной силе возрастает и крепнет еще больше. И на фоне всего этого кукла, царапающая строчки, отсюда не видные, на бумаге, которую все-таки можно разглядеть, не должна была меня заботить. Я спустился по винтовой лестнице в согласии с богом и людьми и с надеждой, что все эти подозрительные свистки не будут меня больше тревожить.

Размышляя таким образом, я направился в сад; нужно было взглянуть, хорошо ли подстрижены фруктовые деревья. Проходя мимо конторских окон, я увидел на земле исписанный листок, не иначе как унесенный со стола ветром. Подняв его, я без особого интереса пробежал глазами строчки, выведенные аккуратным круглым почерком Мадалены. И, честно признаюсь, ничего не понял. Куча каких-то незнакомых мне слов, другие вроде бы по виду и знакомые, но поставлены без всякой связи, так что все равно непонятно. Может, конечно, все это было написано прекрасно, потому что жена моя грамматику знала до самого донышка и не боялась вычеркивать и вписывать, если ей что-нибудь не нравилось, но здесь уж было начиркано столько, что разобраться в исправлениях мне оказалось не по силам.

— Экие премудрости! Чего бы не написать просто и ясно?

Бродя среди апельсиновых деревьев, я совсем забыл, зачем я сюда пришел. Снова и снова перечитывая листок, я все же проник в смысл нескольких фраз, сбивчивых и запутанных, и они заставили меня задрожать. Дьявол! Это была часть письма... письма к мужчине! Не хватало имени адресата и начала письма, но оно было адресовано мужчине, в этом я не сомневался.

Ошеломленный, я еще раз перечитал письмо, задерживаясь на выражениях, которые были мне понятны, и пытаясь угадать смысл мне незнакомых слов.

— Вот и доказательство,— бормотал я, потрясенный.— Кому же эта шлюха пишет?

Мои догадки метались от Жоана Ногейры к доктору Магальяэнсу и от Азеведо Гондина к Силвейре из педагогического училища. Я снова и снова вгрызался в листок бумаги, и, пока читал, сыпал проклятьями, словно каторжник, и в висках у меня стучало.

Совсем стемнело, и я уже не мог различать буквы.

Да, сеньор, письмо было к мужчине!

Я все ходил и ходил под фруктовыми деревьями.

— Разве я какой-нибудь Марсиано из этой сучьей банды?

В ярости я повернул к дому. Мной владело только одно желание: покончить с этой бедой, покончить немедля.

Я шел как слепой и вдруг нос к носу столкнулся с Мадаленой, выходившей из часовни.

— Иди за мной,— закричал я, хватая ее за руку.— Есть дело.

— Что еще? — спросила Мадалена, когда я втаскивал ее в темноту ризницы.

Я зажег свечу и прислонился к алтарю.

— Что ты здесь делала? Молилась? Конечно, ты скажешь, что молилась?

— Что еще? — повторила Мадалена.

Я ждал, что в ответ она станет осыпать меня оскорблениями, но ошибся: Мадалена молча уставилась на меня такими широко открытыми глазами, словно проглотить меня хотела. А во мне все кипело. Руки мои тряслись и тянулись к Мадалене. Я что есть силы сжал их, чтобы унять дрожь, и с искаженным лицом бросил ей:

— Тобой написано письмо!

Ледяной ветер с гор, ворвавшись в окошко, обдавал меня холодом, но я горел как в огне. Дверь скрипела, время от времени скрип сменялся неистовым хлопаньем, после чего дверь снова принималась скрипеть. Меня это бесило, но я даже не подумал о том, что ее можно закрыть. Мадалена словно ничего не слыхала. Я смотрел на нее и на висевшую на стене картину.

— Думаешь, я это так оставлю?

В часовню на цыпочках вошел старший сын Марсиано. Не обернувшись в его сторону, я проревел:

— Вон отсюда!

Мальчишка направился к окну.

— Вон отсюда! — снова заорал я.

Мой вид, верно, привел его в удивление. Он пробормотал:

— Время закрывать часовню, сеу Пауло.

Я понял, что веду себя с ним глупо, и сказал притворно ласково:

— Хорошо. Но сейчас еще рано, придешь попозже.

Часы в ризнице показывали девять.

Снова подул северный ветер, и дверь стала хлопать еще неистовей. Я обхватил руками голову.

— Ну, что тебе еще здесь надо, чертенок?

Пострел выскочил вон.

Не знаю, сколько я так простоял. Ярость моя уступила место тоске, тоска — усталости.

— Кому же ты писала?

Я смотрел попеременно то на Мадалену, то на статуи святых. Святые ничего не знали, Мадалена не желала отвечать.

Что меня ужасало, так это невозмутимость, которая была написана на ее лице. Я втащил ее сюда, задыхаясь от бешенства, и был готов убить на месте. Разве я мог жить с ней, подлой обманщицей?

Но по мере того как проходил час за часом, растерянность и трусливая нерешительность все больше овладевали мной.

Гипсовым статуям не было дела до моей беды. И Мадалена стояла такая же безучастная, как они. Почему она такая?

Я убедил себя, что убить ее было бы справедливо. Разве можно оставить ее в живых, лживую и распутную? А мертвой простятся все ее вины.

Руки мои, все еще сжимаясь, тянулись к ней, но как-то неуверенно, без прежней ярости.

— Говори! — закричал я, не узнавая своего голоса.

— Зачем?

— Но ведь письмо... Мне нужно, чтобы ты сказала...

Я сунул руку в карман и, вытащив измятый и грязный листок, подал ей. Мадалена разложила его на алтаре, прочитала и отодвинула в сторону.

— Ну?

— Это я писала.

Свеча догорела. Я зажег другую и, забывшись, продолжал держать спичку, пока она не обожгла мне пальцы.

— Скажи что-нибудь.

Мне все казалось, что здесь какая-то ошибка и что, если бы Мадалена захотела, она могла бы сразу успокоить меня. Сердце билось неровными толчками: словно обезумев, я жаждал от нее доказательств невиновности.

— Зачем? — прошептала Мадалена.— Вот уже три года мы живем ужасной жизнью. А когда мы пытаемся объясниться, я каждый раз боюсь, что дело окончится дракой.

— А письмо?

Мадалена взяла листок, сложила его вдвое и протянула мне:

— Остальное ты найдешь на моем столе, в конторе. Этот листок, наверное, унесло в сад ветром, когда я писала.

— Кому это письмо?

— Ты сам увидишь. Оно лежит сверху на столе. Напрасно ты так волнуешься. Ты сам увидишь.

— Ладно.

Я перевел дух. Господи, как я устал.

— И прости меня за все огорчения, которые я тебе доставила, Пауло.

— Боюсь, что у меня были основания...

— Не надо больше об этом, Пауло.

Я пробормотал что-то невнятное.

— Неужели тебе непонятно, что все разрушила твоя ревность?

Слова раскаяния уже вертелись у меня на языке Но я проглотил их, понуждаемый своей нелепой гордыней. Правду говорят: гордость — дьяволу потеха.

— Не обижай тетю, Пауло Когда кончится вся эта мука, ты сам убедишься, что она — превосходная женщина.

А я всегда был так груб с несчастной старухой!

— Ну не скажи. Она тоже во многом виновата. И любит во все вмешиваться.

— А сеу Рибейро работящий и порядочный человек, не правда ли?

— Правда. Когда-то он сам сдавал карты и ходил с козырей. А теперь нашел здесь пристанище. Не повезло ему, бедняге, но он достоин уважения.

— И Падилья...

— Ну, нет! Падилья — кляузник и подстрекатель. И зря ты за него заступаешься. Подлейший тип.

— Ты слишком нетерпим. Марсиано... С Марсиано ты тоже чересчур жесток, Пауло.

— Черт побери! — воскликнул я раздраженно.— Прямо целый синодик!

— Не сердись,— проговорила Мадалена, не повышая голоса.

— Я хотел бы...

Я присел на скамью.

Хотел я только одного: чтобы она освободила меня от моих подозрений.

— Что бы ты хотел? — повторила Мадалена и тоже села.

— Если бы я знал!

Я сидел сгорбившись, уронив тяжелые руки на колени. Мадалена полусерьезно, полушутя проронила:

— Если я вдруг умру...

— Это что еще за разговор? Вдруг ни с того ни с сего...

— Почему ни с того ни с сего? Разве кто-нибудь знает, когда мне умереть? Если я вдруг умру...

— Перестань. Зачем об этом говорить?

— Ты тогда раздай мои платья семье мастера Каэтано и Розе. А книги — сеу Рибейро, Падилье и Гондину.

В нетерпении я вскочил с места.

— Перестань, что ты заладила одно и то же!

И поспешил заговорить о другом, надеясь обрадовать Мадалену и прогнать ее мрачные мысли:

— Я хотел бы поехать куда-нибудь.

Сказав это, я и сам оживился и, усевшись снова, зажег сигарету.

— Сразу после уборки. Оставлю вместо себя сеу Рибейро, пусть за всем здесь присматривает. А мы поедем в Баию. Или в Рио. В Рио даже лучше. Отдохнем несколько месяцев. Ты полечишь свой желудок, поправишься и развлечешься. И мне не мешает проветриться. Всю жизнь в этой дыре и работаешь как негр. И в Сан-Пауло еще завернем. Ну как, согласна?

Мадалена не отрывала взгляда от пламени свечи. Оно дрожало, и наши тени плясали на стене. Вдруг я услышал:

— Сегодня утром в лесу я видела цветущие ипэ — целых четыре дерева с цветами. Теперь неделю будут цвести. Жаль, что так мало.

— Жаль, конечно,— пробормотал я, не в силах увязать Рио и Сан-Пауло с цветущими ипэ.— Так как, поедем? Ты хочешь?

Глаза Мадалены по-прежнему не отрывались от свечи.

— Да, я молилась. Молилась, нет, даже не молилась — на молитвы не было времени...

Господи! Что творилось в этой бедной голове! Я вдруг получил ответ на свой первый вопрос.

— Мне так много приходилось писать, что у меня даже пальцы немели. Мелким-мелким почерком, чтобы сэкономить бумагу. Перед экзаменами я спала по два-три часа. Ведь я не могла рассчитывать на чью-нибудь помощь, понимаешь? В доме, где мы жили, было сыро и холодно. Зимой я перетаскивала все свои книги на кухню и там занималась. Когда мне было ходить в церковь? Я все училась, училась, училась и вечно тряслась от страха, что провалюсь на экзаменах...

Она очень волновалась, было видно, что она очень волнуется. Вдруг ни с того ни с сего она заговорила совсем о другом:

— Там, внизу, в домах у батраков, тоже сыро и холодно. Это нехорошо. Я молилась за них. За всех вас. Молилась... Все говорила сама с собой...

Часы в ризнице пробили полночь.

— Боже мой! Как уже поздно-то! Заболтались мы тут...

Мадалена встала и положила мне руку на плечо:

— Прощай, Пауло. Я пойду лягу.

У дверей она обернулась.

— Не злись на меня, Пауло.

Почему я не бросился следом за моей бедной женой? Не знаю. Потому что все боялся поступиться своей глупой гордостью? Потому что она меня не позвала? Потому что сидел, придавленный усталостью?

Сидел, пережевывая бессвязные слова Мадалены, чудное ее поведение. Потом вспомнил о письме, оставленном ею в конторе.

Кому оно написано? Ревность вернулась снова. О, я знал, что она принесет беду, и беду непоправимую...

Мало-помалу я погрузился в тяжелое, прерывистое забытье. Мне чудились какие-то огромные, непроходимые болота.

Когда я очнулся, свеча уже догорела и погасла и рассвет, наступивший незаметно для меня, пробивался в окно часовни. Дверь все скрипела, в ризнице было полно сухих листьев, наметенных ветром, и они шуршали, перекатываясь по черно-белому кирпичному полу. Часы остановились, но было похоже, что я проспал долго. Пропели петухи, луна зашла, ветер устал выть без передышки, и утренние лучи заиграли на образах часовни.

Я встал. Спина у меня задеревенела от неловкого сидения. Потянулся. Все тело болело, как после тяжких побоев.

Выйдя из часовни, я заглянул на скотный двор, выпил стакан молока. Перемолвился с Марсиано насчет его охоты на сов. Потом пошел пройтись в ожидании, пока совсем рассветет.

В лесу я увидел цветущие ипэ — и вправду, очень красиво они цвели.

Всего три года, как я женился. И вот уже год меня терзает эта дьявольская ревность.

На лесопилке прогудел гудок; в окне дома показались бакенбарды сеу Рибейро; Мария дас Дорес распахнула двери; Казимиро Лопес понес на кухню целую охапку всякой зелени.

Я спустился по склону. Еле-еле ковылял: в крестце отдавало. Ничего себе ночку я провел! Дойдя до банановой рощи, я разделся и бросился в речку — понырял и поплавал.

Когда я подходил к дому, солнце уже стояло высоко. Спину все еще ломило. Ну и ночка!

Я уже поднимался по ступенькам, когда услышал в глубине дома душераздирающие крики.

Черт подери, что это еще за вопли?

Я поспешил в дом прошел по коридору прямо в спальню: крики неслись оттуда. У постели толпились домочадцы. Растолкав их, я остолбенел: Мадалена лежала, распростертая на постели, белая, с остекленевшими глазами и пеной в углах губ.

Я бросился к ней, схватил ее руки, уже негнущиеся, окоченевшие стал слушать сердце, оно не билось. Не билось.

На полу виднелись пятна от пролитой жидкости и осколки стекла.

Дону Глорию на ковре трепала истерика. Всхлипывала нянька с ребенком на руках. Заливалась слезами Мария дас Дорес.

Я продолжал растирать руки Мадалены, будто надеялся оживить ее. И бормотал:

— Господи, ты все можешь, господи!

Когда-то я услышал эту фразу от кого-то из батраков, и теперь она всплыла в моей памяти нелепой надеждой.

Я приложил зеркальце к губам Мадалены, приподнимал ей веки и повторял, как заведенный:

— Господи, ты все можешь, господи!

— Какое несчастье, сеньор Пауло, какое неслыханное несчастье! — шептал стоящий рядом со мной сеу Рибейро.

Из-за его спины раздался робкий голос Падильи:

— В столь тяжкую минуту я счел своим долгом...

— Спасибо, большое спасибо.

И, повинуясь ежедневной привычке, я направился в контору, продолжая бормотать:

— Господи, ты все можешь, господи!

В конторе, на столе Мадалены лежал конверт, о котором она мне говорила. Я вскрыл его. Это было длинное письмо, в нем Мадалена прощалась со мной. Я читал, пропуская куски и понимая все лишь наполовину, потому что в каждой строчке наталкивался на слова, по моему невежеству мне непонятные. Одной страницы не хватало: именно той самой, что лежала у меня в бумажнике вместе с накладными на цемент и заговорными молитвами против лихорадки: эти молитвы когда-то навязала мне Роза.

32

Ее похоронили под мозаичными плитами в часовне. Я оделся в черное, заказал памятник. Доктор Магальяэнс, падре Силвестре, Жоан Ногейра, Азеведо Гондин, соседи — все пришли выразить мне соболезнования. Я не мог оставаться в супружеской спальне и перебрался в комнату наверху. Там, в углу под потолком, свили себе гнездо завирушки. По утрам они жалобно кричали. У моего изголовья, на тумбочке, грудой лежали телеграммы и конверты в траурной рамке.

Мне необходимо было чем-то себя отвлечь, и я лихорадочно занялся выборочной рубкой леса. Потом распорядился начать ремонт плотины: она давно в нем нуждалась.

Но горячность, с которой я хватался за разные работы, быстро остыла. Я жил и что-то делал, но это была полужизнь-полусмерть.

Я все время думал о Мадалене. По правде говоря, я не мог забыть ее ни на минуту. В сумятице первых дней эти мысли порой тонули где-то в глубине, но едва осела тягостная суета, они всплыли на поверхность, и больше мне не удавалось ни прогнать их, ни даже отвлечься хоть на мгновенье. Они сразу же возвращались снова. И я погружался в свои воспоминания, а самые неотложные и прежде целиком поглощавшие меня дела казались мне докучными и бессмысленными.

Теперь я проводил время, шагая взад-вперед по гостиной, руки в карманах, во рту — погасшая трубка. Заходил в контору, с отвращением глядел на конторские книги, выходил, бродил по коридорам, по комнатам, потом снова принимался мерить шагами гостиную.

Однажды в саду я засмотрелся на муравьев, без устали бегающих туда-сюда неизвестно для чего. Но это мне было неизвестно — для чего, а они-то знали. Неприятный голос доны Глории прервал мои наблюдения:

— Я пришла проститься. Я ухожу.

Я поднял голову и увидел ее перед собой — суровую, одетую в черное, плохо сшитое платье, которое она обычно натягивала, когда хотела принарядиться.

— Куда?

Дона Глория тоцим пальцем описала что-то вроде полукруга:

— Ухожу отсюда.

— Но вам некуда идти.

И я снова склонился над муравьиной кучей: муравьи, однако, уже исчезли.

— Я ухожу,— непреклонно повторила дона Глория.

Я попробовал было отговорить ее:

— Но вас же никто отсюда не гонит. На что вы будете жить? Подумайте хорошенько.

Дона Глория прервала меня, несгибаемая, словно палка от метлы:

— Я не прошу у вас советов. Я пришла проститься, чтобы не уподобляться беглому негру... Поставить вас в известность...

Вышагивая перед ней взад-вперед — у меня это уже вошло в привычку,— я ответил:

— Ну что ж. Каждый волен собой распоряжаться. Когда же вы вернетесь?

— Никогда.

— Так...

Я зашагал быстрее.

— С кем же вы отправляетесь?

— С богом.

— Хорошо. Автомобиль заправлен. Вас отвезут.

— Благодарю, я пойду пешком.

Тут уж я разозлился не на шутку:

— Скатертью дорога!

И продолжал, еле сдерживаясь:

— Побредете, значит, куда глаза глядят, жалуясь всем в округе, что я выгнал вас из дому, лишил куска хлеба, выбросил вас на улицу разутую, раздетую?

Дона Глория, задыхаясь от обиды, отрезала:

— А вы что, прикажете меня арестовать? Я никого не убила, ничего не украла, никого не оклеветала... Я ухожу.

Я в ответ:

— О чем вы говорите? Что за выдумки? Вы хотите уйти? Прекрасно, я вас за ноги не держу. Хотите остаться, оставайтесь, вам здесь никто никакого зла не сделает. Не хотите, воля ваша. Но зачем же такая спешка, словно за вами гонятся? Так не годится. Раз-два и отправились... Соберитесь, уложите вещи...

— У меня все готово.

— Но вы должны уехать как положено. Нужно, чтобы у вас было где жить и на что жить.

— Я ни в чем не нуждаюсь. Я не знаю, где я буду жить. Знаю только, что я покину этот дом сегодня же.

— Не ребячьтесь,— уговаривал я ее, подбирая подходящие слова.— Вспомните о вашей прошлой жизни. У вас нет ни образования, ни ремесла. Что вы станете делать? Читать романы? Приводить в порядок церковные бумаги? На это не проживешь.

Мало-помалу дона Глория поддалась на мои уговоры. Потому ли, что по характеру своему была отходчива, или потому, что сочла мои доводы разумными, не знаю.

— Подумайте только,— продолжал я,— каких денег стоит в городе жилье... А лекарства? Заболеть, дона Глория, легко, а вот чтоб вылечиться, надо еще как потрудиться. Подумайте о ценах на рынке, за свет и воду тоже нужно платить. Нынче жизнь везде нелегка, дона Глория, но уж в городе жизнь — сущее разорение.

Дона Глория согласилась со мной, что жизнь в городе — сущее разорение. Уступая мне, она, однако, по-прежнему держалась гордо и независимо — вроде бы милость мне оказывала.

Тут я объявил ей, что задолжал Мадалене зарплату за три года. Дона Глория поверила или притворилась, что верит.

— Будет справедливо, если вы получите эти деньги.

Дона Глория не возражала.

Я снабдил ее деньгами на дорогу, сказал, что она будет получать ежемесячно двести мильрейсов, и препоручил ее Жоану Ногейре: в его доме дона Глория переночевала, а утром отправилась дальше.

Через несколько дней сеу Рибейро вдруг заявил, что он просит расчет.

— Вы это всерьез, сеу Рибейро?

— В этом доме меня одолевают тяжкие воспоминания.

— Меня тоже. Что поделаешь! Но вам уходить отсюда нелепо, сеу Рибейро.

— Вы правы, сеньор Пауло, вы правы.

— Вам предлагают какое-нибудь место?

— Никакого.

— Вот как! Тем более глупо, что вы хотите уйти. И рекомендовать вас я никому не могу. В вашем возрасте вас все равно никто не возьмет. По счастью, вы здесь проработали несколько лет и кое-что скопили. На скромное житье вам хватит.

— С тяжелым сердцем я ухожу, сеньор Пауло,— простонал сеу Рибейро, вытирая глаза.— Тоска меня гнетет. Душа разрывается на части.

— Так оставайтесь. Тут вас все любят. Оставайтесь.

— Нет, это невозможно, совершенно невозможно. Мое решение непоколебимо.

— Ну, как хотите.

Я с печалью оглядел контору, теперь более просторную после того, как стол Мадалены отставили в угол.

И вот превосходнейший сеу Рибейро, который, как я надеялся, будет когда-нибудь покоиться здесь, в «Сан-Бернардо», больше не сидит с нами за кофе или на скамейке в саду и не развлекает нас своими стариковскими рассказами.

33

Падилья стал захаживать на фазенду и кружил возле дома; сталкиваясь со мной, он каждый раз рассыпался в неумеренных похвалах моему хозяйству. Однажды он появился под навесом и вертелся там, явно чего-то выжидая. Я притворился, что не замечаю его маневров.

— Входите, Падилья.

Месяц прошел с того дня, как я отказал ему от места. Падилья вошел и... остался. Я пригласил его. Все-таки живой человек.

Пока я, мрачный и весь какой-то расслабленный, оглядывал окрестности «Бон-Сусесо» и размышлял о семействе Мендонсы, прозябающем в нищете, Падилья говорил. Он говорил без устали, не умолкая, захлебываясь словами. Я не слышал того, что он там говорит. Ничего не слышал. Но все-таки человеческий голос.

Потом он ушел.

В один из дней Азеведо Гондин принес вести о революции: восстанием охвачены и юг, и центр, и северо-восток.

— Это конец света.

Падилья потер руки:

— Наконец-то этот нарыв прорвался!

К вечеру начальник полиции прислал ко мне нарочного с просьбой помочь оружием и людьми. Утром я отправил в город грузовик с вооруженным отрядом.

Вести о революции все множились, мы узнали, что в правительственных войсках полное разложение: батальоны и полки примыкают к восставшим, спешно формируются новые, но тут же разваливаются, повсюду развеваются красные знамена, а в Рио арестованы члены правительства.

— Нашествие варваров! — кричал Азеведо Гондин.— Мы погибли!

Падилья, донельзя возбужденный, глотал манифест за манифестом и в нетерпении кусал ногти. Когда же красная волна докатилась и до нашего штата, он внезапно исчез. Жоан Ногейра просветил нас на этот счет:

— Падилья и падре Силвестре вступили в революционные войска и уже заслужили галуны.

34

В городе шла ожесточенная политическая грызня. Мне всегда были не по душе подлые дрязги маленького городка, и я счел за лучшее укрыться у себя в фазенде.

Досадно, конечно, что моя партия рассеялась как дым. Но что поделаешь! Теперь остается сидеть в дерьме и помалкивать.

Взяв верх, все эти гамы, перейры, фиделисы, конечно, станут делать мне разные мелкие пакости. С души меня от них воротило. Но всерьез они мне не вредят. Попортят проволочную ограду или у какого-нибудь моего батрака отберут на ярмарке нож, чтоб засадить его в тюрьму... Не без того.

Хуже, что Падилья увел с собой десяток или дюжину батраков, они тоже примкнули к восставшим. Небось вернутся.

А зачем? Пусть бы и оставались с такими, как они, бродягами и делали бы свою революцию дальше.

Зевота меня одолевала. Зевал так, что чуть челюсть себе не своpачивал. Постылая жизнь! Вы скажете, что ведь у меня был сын. Не любил я его. Такой слабенький, бледненький...

Ежели немного окрепнет, поручу ему лесопилку. А уж если все такой же будет хлюпик, отдам учиться на доктора.

Так вроде я начинал строить какие-то планы.

А, к черту все это!

Мир, который меня окружал, словно застыл в каком-то сонном одурении. А тот, другой, большой мир рисовался мне хаосом, скопищем демонов, и был он таким же тупым и беспросветным.

Друзья и газеты не говорили ни о чем другом, кроме как о революции.

— Проклятая чума! — вопил Азаведо Гондин.— Всех запугали до смерти. Угрожают по телеграфу, по радио, листовки бросают с аэропланов — все трясутся от страха. Такого подлого народа еще свет божий не видывал.

— Ну, это уж чересчур,— возразил ему адвокат.— Есть и смелые люди.

— Какое там смелые,— снова завопил Гондин.— Все, кто должен был взяться за оружие, они-то все как раз и попрятались!

— Потому что их время уже прошло. А революционеры — напротив: у них есть идеалы и мужество. Я не стану кричать об этом на всех перекрестках, но что есть, то есть.

— К черту весь их идеализм! А что касается мужества...

— Все же надо судить по справедливости, Гондин,— прервал я его вяло и примирительно.— У народа это в крови. И нечего тут спорить.

— Нечего! Нет, есть чего! Вот вы все так рассуждаете, а они знай себе наступают и наступают! А все от страха всякую совесть потеряли! Государственные мужи и те уже появляются в красных шейных платках!

— Ну, это только в Алагоасе,— прервал его Жоан Ногейра.

— Повсюду. А если кто и не примыкает к ним, так лишь потому, что не заслужил их доверия.

— Что касается меня,— разглагольствовал Ногейра,— то мне все едино: быть внизу или наверху, так что я никогда не искал выгоды в политике. Я нахожусь внизу и не стремлюсь наверх. Демократию я всегда считал бессмыслицей и много раз говорил об этом. Хотя, черт меня побери, я тоже голосовал за наше бывшее правительство. Но диктатура у нас не пройдет: попробуйте-ка отнять землю у наших фазендейро.

Гондин разразился протестующими воплями: его возмущало, что Ногейра вроде бы оправдывает революцию. А я сказал только:

— Хотел бы я посмотреть на падре Силвестре в форме лейтенанта...

— Что ему вдруг вздумалось разыгрывать из себя патриота? — добавил Ногейра.

— Скотина! — пробурчал Азеведо Гондин.

Журнал «О крузейро» перестал получать денежную субсидию.

Вся эта болтовня об одном и том же все-таки развлекала меня. Раз в неделю я приглашал их пообедать со мной. В городе разные крикуны начали поговаривать, что «Сан-Бернардо» — гнездо реакционеров.

— Ну, как дела?

— Плохо.

До меня доходили слухи о бессмысленных расправах, актах мести, всяких следственных комиссиях, перемывающих грязное белье.

Ногейра, сторонник умеренности, жаждал согласия между победителями и побежденными.

Гондин же, напротив, питал отвращение ко всякого рода перемирию. Он требовал зуб за зуб — понимаете? Он без конца выдумывал разные суровые меры и готов был обсуждать их с кем угодно: со мной, с Ногейрой, с деревьями в саду; он призывал нас устроить заговор против революции (и чем скорее, тем лучше), чтобы смести весь этот наглый сброд. Он мечтал о сильной власти, о правительстве крутом, но справедливом, о правительстве деятельном, которое восстановило бы в стране порядок, финансовую дисциплину и ежемесячную субсидию в сто пятьдесят мильрейсов для «О крузейро». То, что творится в стране теперь, не может так дальше продолжаться.

Он обстреливал нас громкими словами, которыми привык орудовать в своей газете. В Сан-Пауло все должны, как один, бесстрашно подняться на борьбу; в Сан-Пауло продолжает пылать священный огонь; в Сан-Пауло, на земле бандейрантов [1], взовьются новые знамена во славу попранной свободы.

— Вы говорите как по писаному, Гондин,— пробормотал я, ошеломленный.— И далеко пошли бы, если бы мы все не полетели вверх тормашками.

---

[1] Бандейрант — завоеватель внутренних районов Бразилии в конце XVI—начале XVII в.

Жоан Ногейра с головой ушел в подготовку выборов и вдалбливал всем, как нужно все это хитро обставить. Гондин тоже любил обсасывать разные детали выборной процедуры.

Казимиро Лопес издали прислушивался к этим непонятным для него словопрениям.

Я смотрел на часовню. И мысленно шел туда: поворачивал за угол, спускался по ступенькам, минуя сад, огород, входил в здание.

В это время Жоан Ногейра осуждал революционную литературу за ее выспренний патриотизм.

Часовня, алтарь, статуи святых; литографии на стенах, двери хлопают на ветру; погасла свеча, и я зажег другую, а горящую спичку все держал в руке, пока она не обожгла мне пальцы. В домах у батраков сыро и холодно. Семья мастера Каэтано живет в крайней нужде. И несчастный Марсиано, избитый, униженный!

Азеведо Гондин теперь вопил, проповедуя свободу. Он удовольствуется нищенской субсидией своей газете. Пусть он будет по уши в долгах. Он готов примириться с этим. Единственное его желание, чтобы у газеты были развязаны руки и она могла бы каждой своей строчкой чехвостить этих никчемных политиканов.

Свеча погасла. Было поздно. Скрипела дверь. Луна светила в окошко. Северо-восточный ветер гнал по полу сухие листья. И я уже не слышал, о чем там вопит Гондин.

35

В новый год я вступил, как говорится, с левой ноги. Многие мои постоянные и надежные клиенты внезапно разорились. Другие бежали или покончили с собой, и «Официальный бюллетень» был заполнен сообщениями о банкротствах и отсроченных платежах. Мне пришлось резко сократить производство.

Я перестал разводить птицу; огороды и плодовый сад тоже были запущены. Созревшие апельсины гнили на деревьях. Лучше пусть гниют, чем собирать, сортировать, упаковывать, отправлять, и все это задаром.

Беда никогда не приходит одна. Прядильные фабрики, которые раньше плати́ли за хлопок авансом, теперь отказались от этого похвального обычая и даже норовили покупать хлопок в кредит. А когда я поневоле продал в кредит часть урожая, так меня же нагрели на сортности.

Необходимы были новые машины для хлопкоочистительной фабрики и для лесопилки, но, произведя расчеты, я убедился, что на это понадобится целое состояние: доллар подскочил до небес.

— Ни о каких новшествах не может быть и речи. Вкладывать последние деньги, а потом отдавать товар чуть не даром этим мошенникам!

В довершение сего банки отказали мне в кредитах. Не знаю почему, но отказали. Отказали, хотя я ни разу не запаздывал с платежами. Только этого мне еще не хватало. Я набросился на управляющего:

— Если вы не хотите иметь со мной дело, воля ваша. Либо векселя надежны, либо нет. Если надежны, почему вы мне отказываете? Ах, у банка свои затруднения! Но не я же выдумал эту революцию?

Через полгода я разорился вконец и вынужден был продать задешево свой автомобиль, чтобы не опротестовали случайно не оплаченный мною вексель на шесть тысяч эскудо.

Попали в отлив. Теперь в выигрыше лодыри. Кто бы сейчас жил припеваючи, так это старик Мендонса, у которого фазенда всегда бы-

ла в сплошных зарослях, а сахарный заводишко давно зачах. Работать? На кой черт! Лучше уж сидеть сложа руки.

И я сложил руки.

Однажды, когда я вот так, со сложенными руками, глядел издали на свою фабрику и лесопилку, Жоан Ногейра прибыл ко мне с новостью, что Фиделис и Гама возбуждают дело о пересмотре границ между нашими владениями. А доктор Магальяэнс как назло уехал в это время в другой штат.

— Вот вам прелести революции,— возмущался Ногейра.— Какой-то новоиспеченный чиновник! И с ним должен мериться силами такой судья, как доктор Магальяэнс! Судья с незапятнанной репутацией!

Я только пожал плечами: как-то совсем пал духом. Жоан Ногейра тоже приуныл. Ничего не попишешь.

И снова раздавались мои мерные шаги по всему дому. Иногда я толкал дверь в контору, чтобы отдать распоряжение сеу Рибейро. Мне чудилось, что я вижу дону Глорию, грезящую над романом в саду.

И мои ноги несли меня по всему дому, словно мне нужно было отыскать там кого-то.

36

Прошло два года со дня смерти Мадалены. Два тяжких года. А когда друзья перестали навещать меня, чтобы поговорить о политике, стало и вовсе невыносимо.

Тогда-то и пришло мне в голову написать историю моей жизни с помощью моих более образованных приятелей. Но, как вам уже известно, идея эта лопнула. Однако месяца четыре тому назад, когда я писал деловое письмо в штат Минас с отказом от покупки свиней и зебу, что мне было теперь не по карману, я вдруг услыхал крик совы и вздрогнул.

Нужно завтра же послать Марсиано, чтобы он ее поймал.

Но в эту минуту я снова вспомнил о том, что хочу написать книгу. Я закончил письмо и, помедлив немного,— я ведь понятия не имел, как начинают писать книгу,— взял и написал сразу целую главу.

С этого времени, сидя в столовой с трубкой и чашкой кофе, я старательно припоминал все происшедшее под стрекот цикад, глядя на чернеющие за окном апельсиновые деревья.

Порой я так просиживал далеко за полночь, без конца перебирая свои воспоминания. Новое мое занятие давалось мне с трудом, и часто я готов был все бросить.

Позавчера и вчера, к примеру, из писания моего ничего не вышло: зря только потерял два дня. Напрасно я пытался ввести в какое-то разумное русло всю эту писанину, которая извергалась словно ливень, и все, что появлялось из-под моего пера, казалось мне нелепым бредом. Все мне не нравилось, и я сам не понимал, что со мной творится, и не знал, как это описать.

Я чувствовал себя раздавленным. Может, я болен? Нет. Здоровье у меня отменное. Когда Коста Брито из-за двухсот мильрейсов, которые он хотел с меня содрать, изрыгнул свои статейки, он в них обозвал меня больным, намекая, что, мол, это и толкает меня на разные темные дела. Но Коста Брито — известная скотина. А на самом деле до сего дня, благодаря богу, ни один врач не переступил порога моего дома. Сроду никогда ничем не был болен.

Просто я постарел. Скоро стукнет пятьдесят. Пятьдесят пропавших лет, потраченных неизвестно на что, не принесших радости ни мне, ни другим. Только я стал такой, как я есть: грубый, ожесточив-

шийся, весь словно покрытый твердой скорлупой, и никто и ничто не может проникнуть сквозь нее и ранить мою душу.

Пятьдесят лет! Сколько напрасно прожитых часов! Потрачена целая жизнь, а на что? На то, чтобы жрать и дрыхнуть, как свинья! Как свинья! Каждое утро подыматься ни свет ни заря и весь день носиться до упаду ради того, чтобы добыть себе пропитание! А потом работать на то, чтобы было что́ есть детям, и внукам, и всем тем, кто будет жить после них! Экая бессмыслица! Чистое свинство! К дьяволу такую жизнь!

Зной, ливни, бессонные ночи, подсчеты, сделки, насилие и риск — и в итоге я даже не могу себя обманывать, что создал что-то полезное, нужное кому-то. Сад и огород одичали, пекинские утки погибли, хлопок и клещевина высохли на корню. А изгороди соседей, моих смертельных недругов, наступают на мои земли.

Конечно, если со всем этим хаосом покончить, фазенду можно было бы возродить снова, и она стала бы такой, как раньше. И снова батраки работали бы от зари до зари, получая свою похлебку из маниоки и тресковых плавников; и грузовики сновали бы взад-вперед, перевозя продукцию на железную дорогу; и фазенда снова наполнилась бы движением и шумом.

Но для чего? Вы не можете мне сказать?

В этом движении и шуме было бы много слез и много проклятий. Младенцы в сырых и холодных лачугах снова станут пухнуть от голода. И не будет Мадалены, чтобы послать им лекарства и молоко. А мужчины и женщины снова будут двигаться как понурые животные.

Животные. Все эти люди, которые много лет мне служили, были животные. Среди них были домашние животные, как, например, Падилья, были дикие звери — например, Казимиро Лопес, и был рабочий скот для работы в поле — покорные волы. И жили они в таких же загонах, разве что в строениях, прилежащих к усадьбе, имелось электричество. А самые резвые из их телят учились грамоте по букварю и затверживали наизусть заповеди закона божьего.

Животные. Некоторые из них меняли свою породу: становились солдатами, поворачивались направо, поворачивались налево, стояли в карауле. Другие рыскали повсюду в поисках подножного корма.

Если бы я смог снова заполнить ими загоны, у меня снова были бы высокие урожаи, банки открыли бы мне кредиты, я купил бы еще земли и настроил бы новые загоны. Для чего? Все это не принесло бы мне радости.

Смею думать, что я достаточно возвысился над той средой, из которой вышел. Как я уже говорил, мне пришлось быть поводырем у слепца, торговать сластями и наниматься батраком. Вряд ли любое из этих занятий могло способствовать моему умственному развитию, да еще настолько, насколько это нужно для сочинения книжек. Моя книга — не бог весть что, я согласен, но иногда мне кажется, что самые удачные куски из написанного мной все же стоят большего, чем сочинения Гондина. Смею полагать, что и я сам стою большего, чем мастер Каэтано и ему подобные. Однако, понимая, что все мое образование сводится к лоскутьям знаний, подобранным без разбору и плохо сшитым, должен сказать откровенно: мое превосходство, хоть я им и горжусь, убого и ничтожно.

Уверен также, что товарная бухгалтерия, книги по земледелию и животноводству, составившие основу моего образования, отнюдь не сделали меня лучше, чем я был в те времена, когда валил деревья. По крайней мере, тогда я и в мыслях не имел, что стану таким жестоким со своими собственными батраками.

Что же до остальных приобретений — домов, земель, всего движимого и всех тех, что двигались сами, а также моего участия в политике и так далее, следует признаться: все это шло уже как-то помимо меня.

Я словно сбился с дороги.

Если бы я продолжал чистить песком медную кастрюлю старой Маргариды, мы с ней оба и поныне вели бы тихую, размеренную жизнь. Говорили бы мало, задумывались бы еще меньше и по вечерам, выпив кофе с тростниковым сахаром, засыпали бы на циновке.

Если бы я не ранил Жоана Фагундеса, я женился бы на Жермане, приобрел бы с полдюжины лошадей, небольшое пастбище, мулов, стал бы лучшим погонщиком в округе. В городских лавках покупал бы в кредит на сто мильрейсов разных тканей, и на всех праздниках моя жена и ребятишки красовались бы в новой одежде. И мои желания не выходили бы из привычного круга, перестали бы мучить меня своей чрезмерностью и не вынуждали бы меня никого обижать и преследовать. И тогда зимними утрами, вместе с другими погонщиками, я ехал бы, щелкая кнутом: на ногах — альпаргаты, на голове — соломенная шляпа, в сумке бренчит мелочь, я пропускал бы глоток кашасы, чтоб согреться, и распевал бы всю дорогу, веселый, как все бедняки.

А я давно уже не пою и не смеюсь. В зеркале мое лицо ужасает меня: рот и глаза полны жестокости.

Я думаю о городке, где жил полвека назад сеу Рибейро. Сеу Рибейро тоже копил, но копил не для себя. У него тоже был большой дом — полная чаша. Но там везде было всего довольно, и никто в тех краях не голодал. Я представляю себе, как бы я жил в то время, когда страной управлял император, в этом городке под мудрым покровительством сеу Рибейро. Не умел бы читать, не имел бы и понятия об электричестве и телефоне. В разговорах обходился бы немногими словами, бурно жестикулируя. Как и во всех домах, у меня висела бы масляная лампа, но и она была бы ни к чему, потому как с наступлением темноты все ложились бы спать. Могла бы разразиться не одна сотня революций. Но я ничего бы о них не слыхал. Очень может быть, что я был бы счастлив.

И мне больно расставаться с этим счастьем, которое не принадлежало мне и открылось мне здесь, в «Сан-Бернардо», случайно, когда я начал писать.

Окна затворены. Полночь. В опустевшем доме ни звука.

Я встаю, чтобы зажечь свечу: света опять нет. Мне не спится. Лечь и до рассвета вертеться на постели — мученье. Лучше сидеть вот так за писанием и попытаться закончить эту штуку. Хотя тогда завтра мне нечем будет себя занять.

Я вставляю свечу в подсвечник, чиркаю спичкой, зажигаю свечу. Меня колотит озноб. Мысли о Мадалене не дают мне покоя. Не могу снова сесть за стол и начинаю ходить вокруг него словно заведенный. Сжимаю кулаки с такой силой, что ногти впиваются в ладони, и, когда прихожу в себя, обнаруживаю, что губа у меня закушена до крови.

Устав бегать вокруг стола, я время от времени присаживаюсь к нему и записываю одну-две строки. И шепчу сам себе:

— Я растратил свою жизнь, я прожил ее впустую.

И уже равнодушнее:

— Я растратил свою жизнь впустую.

Думаю о Мадалене неотступно. Если бы мы могли начать все сначала... Но к чему мне себя обманывать? Если бы мы начали все сначала, произошло бы все то же самое, что произошло. Я не могу измениться, и это удручает меня сильнее всего.

Дети мастера Каэтано по-прежнему болеют и голодают в своей лачуге. Роза, с отвисшим от бесчисленных родов животом, трудится в доме, трудится в поле, трудится в постели. Муж ее с каждым днем все больше превращается в никчемного лодыря. И все остальные обитатели фазенды такие же лодыри.

Если говорить начистоту, эти горемыки не вызывают у меня ни малейшей симпатии. Я понимаю, что жизнь их тяжела, и даже признаю, что во многом сам в этом повинен, но и только. Мы так далеки друг от друга! Когда-то мы жили одной жизнью, но наши пути давно разошлись.

Мадалена появилась здесь, полная добрых чувств и благих намерений. Но ее чувства и намерения натолкнулись на мою грубость и себялюбие.

Думаю, что не всегда я был грубым и себялюбивым. Сделала меня таким борьба, которую я вел всю жизнь.

А моя ужасная недоверчивость, повсюду подозревавшая врагов! И она тоже — следствие этой борьбы.

Жизнь, моя собственная жизнь искалечила меня. Превратила меня в урода. Сердце мое должно было обрасти шерстью, мозги отупеть, чувства очерстветь. И потому у меня огромный нос, огромный рот, огромные руки.

И Мадалена видела меня таким? Должно быть, я казался ей ужасающе безобразным.

Я зажмурился и даже помотал головой, чтобы отогнать свой собственный страшный образ.

Свеча догорает.

Меня снова охватывает какой-то сонный бред: непроходимые болота чудятся мне и где-то вдали тень оборотня.

За окном дьявольская темень и зловещая тишина. Но вот лунный свет проникает в окно, и свирепый ветер гонит по земле сухие листья.

Что это? Кто там бродит? Нет, все давно спят.

Хоть бы малыш заревел, что ли... Даже сына я не люблю. Я — нищий.

Спит Казимиро Лопес. Спит Марсиано. Подлые души!

А я вот так и буду сидеть здесь один, в потемках, долго-долго, пока усталость не сморит меня и я, уронив голову на стол, не забудусь на несколько минут.

■

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Портрет художника в юности

РОМАН

Перевод с английского М. БОГОСЛОВСКОЙ-БОБРОВОЙ

Глава V

Он допил третью чашку жидкого чая и, глядя в темную гущу на дне, стал грызть разбросанные по столу корки поджаренного хлеба. Ямка в желтоватых чашках была как размыв в трясине, а жидкость под ними напоминала ему темную торфяного цвета воду в ванне Клонгоуса. Из только что перерытой коробки с закладными, стоявшей у самого его локтя, он рассеянно, одну за другой вынимал засаленными пальцами то синие, то белые, пожелтевшие и смятые, бумажки со штампом ссудной кассы Дейли или Макивой.

1. Пара сапог.
2. Пальто.
3. Разные мелочи и белье.
4. Мужские брюки.

Затем он отложил их в сторону и, задумчиво уставившись на крышку коробки, всю в пятнах от раздавленных вшей, рассеянно спросил мать:

— На сколько наши часы теперь вперед?

Мать приподняла лежавший на боку посреди каминной полки старый будильник и снова положила его на бок. Циферблат показывал без четверти двенадцать.

— На час двадцать пять минут,— сказала она.— На самом деле сейчас двадцать минут одиннадцатого... Уж мог бы ты постараться вовремя уходить на лекции.

— Приготовьте мне место для мытья,— сказал Стивен.

— Кенти, приготовь Стивену место для мытья.

— Буди, приготовь Стивену место для мытья.

Я не могу, я занята. Мэгги, приготовь ты.

Когда эмалированный таз пристроили в раковину и повесили на край старую рукавичку, Стивен позволил матери потереть ему шею, промыть уши и ноздри.

— Плохо,— сказала она,— когда студент университета такой грязнуля, что матери приходится его мыть!

— Но ведь тебе это доставляет удовольствие,— спокойно сказал Стивен.

---

[1] Окончание. Начало см. в № 10, 11. Статью Д. Урнова о романе см. в этом номере.

Сверху раздался пронзительный свист, и мать, бросив ему на руки волглую блузу, сказала:

— Вытирайся и, ради всего святого, скорей уходи.

После второго продолжительного и сердитого свистка одна из девочек подошла к лестнице:

— Да, папа?

— Эта ленивая сука, твой братец, убрался он или нет?

— Да, папа.

— Не врешь?

— Нет, папа...

Сестра вернулась назад, делая Стивену знаки, чтобы он поскорей удирал через черный ход. Стивен засмеялся и сказал:

— Странное у него представление о грамматике, если он думает, что сука мужского рода.

— Как тебе не стыдно, Стивен,— сказала мать,— настанет день, когда ты еще пожалеешь, что поступил в это заведение. Тебя точно подменили.

— До свидания,— сказал Стивен, улыбаясь и целуя на прощанье кончики своих пальцев.

Проулок раскис от дождя, и, когда он медленно пробирался по нему, стараясь ступать между кучами сырого мусора, из монастырской больницы по ту сторону стены до него донеслись вопли умалишенной монахини:

— Иисусе! О, Иисусе! Иисусе!

Он отогнал от себя этот крик, досадливо тряхнул головой и заторопился, спотыкаясь о вонючие отбросы, а сердце заныло от горечи и отвращения. Свист отца, причитания матери, вопли сумасшедшей за стеной слились в оскорбительный хор, грозивший унизить его юношеское самолюбие. Он с ненавистью изгнал даже их отзвук из своего сердца; но когда он шел по улице и почувствовал, как серый утренний свет падает на него сквозь ветки политых дождем деревьев, когда вдохнул терпкий, острый запах мокрых листьев и коры, горечь покинула его душу.

Отягощенные дождем деревья, как всегда, вызвали воспоминания о девушках и женщинах из пьес Герхарда Гауптмана, и воспоминания об их туманных горестях, и аромат, льющийся с влажных веток, слились в одно ощущение тихой радости. Утренняя прогулка через весь город началась, и он заранее знал, что, шагая по илистой грязи квартала Фэрвью, он будет думать о суровой сребротканой прозе Ньюмена, а на Стрэнд-роуд, рассеянно поглядывая в окна съестных лавок, припомнит мрачный юмор Гвидо Кавальканти[1] и улыбнется; что у каменотесной мастерской Бэрда на Толбот-плейс его пронзит, как свежий ветер, дух Ибсена — дух своенравной юношеской красоты; а поравнявшись с грязной портовой лавкой по ту сторону Лиффи, он повторит про себя песню Бена Джонсона, начинающуюся словами:

«Я отдохнуть прилег, хотя и не устал...»[2]

Часто, устав от поисков сути прекрасного в неясных речениях Аристотеля и Фомы Аквинского, он отдыхал, вспоминая изящные песни елизаветинцев. Ум его, словно сомневающийся монах, часто укрывался в тени под окнами этого давно минувшего века, внимая грустной и насмешливой музыке лютен и задорному смеху уличных девок, пока слишком грубый хохот, а то и какая-нибудь непристойная или напыщенная фраза, хотя и потускневшая от времени, не возмущали его монашескую гордость и не заставляли покинуть это убежище.

Ученые труды, над которыми, как полагали, он просиживал целыми днями, лишая себя общества сверстников, были всего лишь набором тонких изречений из поэтики и психологии[3] Аристотеля, из «Synopsis Philosophiae Scholasticae ad mentem divi Thomae»[4]. Мысль его, сотканная из сомнений и недоверия к самому себе, иногда вдруг озарялась вспышками интуиции, вспышками такими яркими, что в эти мгновенья окружающий мир исчезал, как бы испепеленный пламенем, а его язык делался неповоротливым,

[1] Гвидо Кавальканти (1259—1300) — итальянский поэт-лирик, один из наиболее образованных людей своего времени, друг Данте.

[2] Строчка из пьесы Бена Джонсона (1572—1638) «Видения восторга» (1617).

[3] Очевидно, имеются в виду сочинения Аристотеля «Поэтика» и «О душе».

[4] «Свод схоластической философии по учению святого Фомы» (Фомы Аквинского).

и он невидящими глазами встречал чужие взгляды, чувствуя, как дух прекрасного подобно мантии окутывает его и он, хотя бы в мечтах, приобщается к возвышенному. Однако краткий миг гордой немоты проходил, и он снова с радостью окунался в суету обыденной жизни и без страха, с легким сердцем шел своей дорогой среди нищеты, шума и праздности большого города.

На канале у стенда для афиш он увидел чахоточного с кукольным лицом, в шляпе с оторванными полями, который спускался ему навстречу с моста мелкими шажками в наглухо застегнутом пальто выставив сложенный зонт наподобие жезла. Должно быть, уже одиннадцать, подумал Стивен и заглянул в молочную узнать время. Часы там показывали без пяти пять, но, отходя от молочной, он услышал, как поблизости какие-то часы быстро и отчетливо пробили одиннадцать. Он рассмеялся: бой часов напомнил ему Маккэнна, он даже представил себе его светлую козлиную бородку и всю его коренастую фигуру, когда тот стоит на ветру в охотничьей куртке и бриджах на Хопкинс-стрит и изрекает:

— Вы, Дедалус, существо антисоциальное и заняты только собой. А я нет. Я демократ и буду работать и бороться за социальную свободу и равенство классов и полов в будущих Соединенных Штатах Европы.

Одиннадцать! Значит, и на эту лекцию он опоздал. Какой сегодня день? Он остановился у киоска, чтобы прочесть газетный заголовок. Четверг. С 10 до 11 — английский; с 11 до 12 — французский; с 12 до часа — физика. Он представил себе лекцию по английскому языку и даже на расстоянии почувствовал растерянность и беспомощность. Он видел покорно склоненные головы однокурсников записывающих в тетради то, что требовалось заучить: определения по имени и определения по существу[1], различные примеры, даты рождения и смерти или основные произведения и рядом положительные и отрицательные оценки критики. Его голова не склоняется над тетрадью, мысли блуждают далеко; но смотрит ли он на маленькую кучку студентов вокруг себя или в окно на заросшие аллеи парка, его неотступно преследует запах унылой подвальной сырости и разложения. Еще одна голова, не нагнувшаяся к столу, возвышалась прямо перед ним в первых рядах, словно голова священника, без смирения молящегося о милости к бедным прихожанам перед чашей со святыми дарами. Почему, думая о Крэнли, он никогда не может вызвать в своем воображении всю его фигуру, а только голову и лицо? Вот и теперь, на фоне серого утра, он видел перед собой — словно призрак во сне — отсеченную голову, маску мертвеца с прямыми жесткими черными волосами, торчащими надо лбом, как железный венец, лицо священника, аскетически-бледное, с широкими крыльями носа, с темной тенью под глазами и у рта, лицо священника с тонкими, бескровными, чуть усмехающимися губами,— и вспомнил, как день за днем, ночь за ночью он рассказывал Крэнли о всех своих душевных невзгодах, метаниях и стремлениях, а ответом друга было только настороженное молчание. Стивен уже было решил, что лицо это — лицо чувствующего свою вину священника, который выслушивает исповеди тех, кому он не властен отпускать грехи, и вдруг словно почувствовал на себе взгляд темных женственных глаз.

Это видение как бы приоткрыло вход в странный и темный лабиринт мыслей, но Стивен тотчас же отогнал его, чувствуя, что еще не настал час вступить туда. Равнодушие друга, как ночной мрак разлизало в воздухе неуловимые смертоносные испарения, и он поймал себя на том, что, глядя по сторонам, на ходу выхватывает то одно, то другое случайное слово и вяло удивляется, как беззвучно и мгновенно они теряют смысл; а вот уже и убогие вывески лавок, словно заклинания, завладели им, душа съежилась, вздыхая по-стариковски, а он все шагал по проулку среди этих мертвых слов. Его собственное ощущение языка уплывало из сознания, каплями вливаясь в слова, которые начинали сплетаться и расплетаться в сбивчивом ритме:

Плющ плющится по стене,
Плещет, пляшет по стене.
Желтый жмется плющ к стене,
Плющ желтеет на стене.

Что за чепуха? Боже мой, что это за плющ, который плющится по стене? Желтый плющ — это еще куда ни шло, желтая слоновая кость тоже. Ну, а сплющенная слоновая кость?

[1] Термины из «Второй аналитики» Аристотеля.

Слово теперь засверкало в его мозгу светлее и ярче, чем слоновая кость, выпиленная из крапчатых слоновых бивней. Ivory, ivoire, avorio, ebur [1]. Одним из первых предложений, которые он учил в школе на латинском языке, была фраза: «India mitit ebur» [2], и ему припомнилось суровое северное лицо ректора, учившего его излагать «Метаморфозы» Овидия изысканным английским языком, который звучал довольно странно, когда речь шла о свиньях, черепках и свином сале. То немногое, что было ему известно о законах латинского стиха, он узнал из затрепанной книжки, написанной португальским священником:

«Contrahit orator, variant in carmine vates» [3].

Кризисы, победы и смута в римской истории преподносились ему в избитых словах in tanto discrimine [4]. Он пытался проникнуть в общественную жизнь города городов [5] сквозь призму слов implere ollam denariorum, которые ректор сочно переводил: «наполнить сосуд динариями». Страницы истрепанного Горация никогда не казались холодными на ощупь, даже если его пальцы стыли от холода; это были живые страницы, и пятьдесят лет тому назад их перелистывали живые пальцы Джона Дункана Инверэрити и его брата Уильяма Малькольма Инверэрити [6]. Да, их благородные имена сохранились на выцветшем заглавном листе, и даже для такого скромного латиниста, как он, выцветшие стихи были благоуханными, точно все эти годы они пролежали в мирте, лаванде и вербене. И все же ему было горько сознавать, что он навсегда останется только робким гостем на празднике мировой культуры и что монашеская ученость, языком которой он пытался выразить некую эстетическую философию, расценивалась его веком не выше, чем мудреная и забавная тарабарщина геральдики и соколиной охоты.

Серая громада колледжа святой Троицы [7] с левой стороны, тяжело вдвинутая в невежественный город, словно тусклый камень — в тесную оправу, начала давить на его сознание. И всячески стараясь стряхнуть с себя путы протестантского мировоззрения, он вышел к нелепому памятнику национальному поэту Ирландии [8].

Он взглянул на него без гнева, потому что, хотя неряшливость тела и духа, точно невидимые вши, ползла по памятнику вверх по полусогнутым ногам, по складкам одежды и вокруг его холопской головы, памятник, казалось, смиренно сознавал собственное ничтожество. Это был фирболг [9], укравший тогу милезийца [10]; и он вспомнил своего приятеля Дейвина, студента из крестьян. Фирболг было его шутливое прозвище, но молодой крестьянин мирился с ним:

— Ну что ж, Стиви, раз ты сам говоришь, что у меня тупая голова, зови меня как хочешь.

Уменьшительная форма его имени тронула Стивена, когда он услышал его в первый раз: как правило, он не допускал фамильярности с другими студентами так же, как и они с ним. Часто, сидя у Дейвина на Грантем-стрит и не без удивления поглядывая на выстроенные парами у стены отличные сапоги своего приятеля, он читал чужие стихи и строфы, за которыми скрывались его собственные томление и горечь. Грубоватый, как фирболг, приятель то привлекал, то отталкивал его — привлекал врожденной спокойно-учтивой внимательностью, причудливым оборотом старинной английской речи, восхищением перед грубой физической силой — Дейвин был ярым поклонником гэлла Майкла Кьюзака [11]; то вдруг отталкивал неповоротливостью ума, примитивностью

---

[1] Слоновая кость *(англ., франц. итал., лат.)*.
[2] Индия поставляет слоновую кость *(лат.)*.
[3] Оратор краток, певец в стихах многообразен *(лат.)*. Из книги Мануэла Алвариша (1526—1583), автора латинской грамматики, включавшей также правила латинского стихосложения.
[4] В таком бедствии *(лат.)*.
[5] Имеется в виду Рим.
[6] Комментаторам не удалось установить личность этих персонажей.
[7] Протестантский университет в Дублине.
[8] Томасу Муру (1779 - 1852). Ирония Джойса вызвана, очевидно, крайне сдержанным отношением поэта к стремлению Ирландии утвердить свою национальную независимость.
[9] Фирболги, согласно легенде,— племя грубых и жестоких карликов, населявших Ирландию в IV в. до н. э.
[10] Милезийцы — потомки мифического короля Испании Милезия и его сыновей, завоевавших Ирландию в I в. до н. э., по преданию прародители ирландцев. В отличие от фирболгов — меценаты, почитатели прекрасного. Скульптор изобразил Т. Мура в классической милезийской тоге.
[11] Майкл Кьюзак (1847—?) — основатель Гэльской спортивной ассоциации (1884), ставившей своей целью возрождение национальных ирландских видов спорта.

чувств или тупым выражением ужаса, внезапно появлявшимся в глазах, ужаса глухой и нищей ирландской деревни, где ежевечерний комендантский час[1] наводил на всех страх.

Заодно с доблестными подвигами своего дяди, атлета Мэта Дейвина, юный крестьянин чтил скорбные предания Ирландии. Толкуя о нем, товарищи Дейвина, старавшиеся во что бы то ни стало внести какую-то значительность в пудную жизнь колледжа, склонны были изображать его молодым фением. Нянька Дейвина научила его в детстве ирландскому языку и осветила примитивное воображение мальчика зыбким светом ирландской мифологии. Дейвин относился к этой мифологии, из которой еще никто не извлек ни единой крупицы красоты, и к ее неуклюжим, бесформенным преданиям, обожествленным временем, так же, как к католической религии,— с тупой верностью раба. Любую мысль или чувство, если они приходили из Англии или оказывались достоянием английской культуры, он, словно повинуясь какому-то приказу, встречал в штыки. А о мире, лежащем за пределами Англии, знал только то, что во Франции существует Иностранный легион, в который он, по его словам, собирался вступить.

Сопоставляя эти помыслы и характер Дейвина, Стивен часто называл его ручным гуськом[2], вкладывая в прозвище предельное возмущение вялостью слов и поступков друга, которые часто становились преградой между пытливым умом Стивена и сокровенными тайнами ирландской жизни.

Как-то вечером этот молодой крестьянин, подзадоренный бурным и высокопарным красноречием, которым Стивен разряжал холодное молчание своего бунтующего разума, рассказал ему странную историю. Они шли не спеша к дому Дейвина по темным узким улочкам убогого еврейского квартала.

— Прошлой осенью, Стиви,— уже зима была на пороге — со мной приключилась странная история. Я пока ни одной живой душе не обмолвился об этом. Тебе первому. Уж не помню, в октябре это случилось или в ноябре, вроде как в октябре, потому что это было перед тем, как я приехал сюда поступать в университет.

Стивен, улыбаясь, посмотрел на друга, польщенный таким доверием и вновь покоренный его простодушным тоном.

Я провел тогда весь день в Баттевенте[3], не знаю, представляешь ли ты, где это находится? Там был хоккейный матч между «Ребятами Кроука» и «Бесстрашными терльсцами»[4]. Вот это был матч так матч, Стиви! У моего двоюродного брата Фонзи Дейвина всю одежду в клочья изорвали. Он стоял вратарем в команде Лимерика, но половину игры носился с нападающими и орал как сумасшедший. Вот уж не забуду этого дня! Один из Кроуков так долбанул его клюшкой,— ей-богу, Стиви! — чуть не попал ему в висок. Правда, Стиви! Придись этот удар чуточку повыше, тут бы ему и конец.

— Приятно слышать, что он уцелел,— сказал Стивен смеясь.— Но это, надеюсь, не та необыкновенная история, которая приключилась с тобой?

— Ну, конечно, тебе неинтересно. Так вот, после этого матча было столько разговоров да шуму, что я опоздал на поезд, и даже ни одной телеги по дороге не попалось, потому как в Каслтаунроше было церковное собрание и все крестьяне уехали туда. Ничего не поишешь! Надо было или оставаться на ночь, или идти пешком. Я и решил пойти. Уже под вечер подошел к Бэллихаурским холмам, а оттуда до Килмэлока еще миль десять, если не больше, дорога длинная, глухая. На всем пути не встретишь ни одного жилья человеческого, ни звука не услышишь. Уж совсем темно стало. Раза два я останавливался в кустах, чтобы зажечь трубку, и, кабы не сильная роса, то, пожалуй, растянулся бы и заснул. Наконец, за одним из поворотов дороги, гляжу — маленький домик и свет в окне. Я подошел и постучался. Чей-то голос спросил, кто там, и я ответил, что возвращаюсь домой после матча в Баттевенте, и попросил напиться. Через несколько секунд мне открыла дверь молодая женщина и вынесла большую

---

[1] Комендантский час был введен в сельских районах Ирландии в качестве репрессивной меры во время народного восстания 1798 г. и в период голода 1845—1848 гг.

[2] В противоположность «диким гусям» (кличка ирландцев, которые предпочитали покинуть Ирландию, но не жить в порабощенной англичанами стране).

[3] Небольшой городок в 137 милях от Дублина.

[4] Ирландские команды. Архиепископ Уильям Кроук был страстным сторонником развития спорта в Ирландии, в частности, херлинга — ирландского хоккея на траве. В Терльсе основана Гэльская спортивная ассоциация.

кружку молока. Она была полураздета, похоже, когда я постучал, собиралась лечь спать; волосы у нее были распущены, и мне показалось по ее фигуре и по выражению глаз, что она беременна. Мы долго разговаривали и все в дверях, и я даже подумал: вот странно, ведь грудь и плечи у нее были голые. Она спросила меня, не устал ли я и не хочу ли переночевать здесь; а потом сказала, что совсем одна в доме, что муж ее уехал утром в Куинстаун проводить сестру. И все время, пока мы разговаривали, Стиви, она не сводила с меня глаз и стояла так близко ко мне, что я чувствовал ее дыхание. Когда я отдал ей кружку, она взяла меня за руку, потянула через порог и сказала: «Войди, останься здесь на ночь. Тебе нечего бояться. Здесь никого нет, кроме нас». Я не вошел, Стиви, я поблагодарил ее и пошел дальше своей дорогой. Меня всего трясло как в лихорадке На повороте я обернулся, гляжу, она так и стоит в дверях.

Последние слова рассказа Дейвина звенели в памяти Стивена, и облик женщины, о которой тот рассказывал, вставал перед ним, сливаясь с обликом других крестьянских женщин, вот так же стоявших в дверях, когда экипажи колледжа проезжали по Клейну [1]: живой образ ее и его народа, душа, которая, подобно летучей мыши, пробуждалась к сознанию в темноте, тайне и одиночестве; глаза, голос и движения простодушной женщины, предлагающей незнакомцу разделить с нею ложе.

Чья-то рука легла ему на плечо, и молодой голос крикнул:

— Возьмите у меня, сэр. Купите для почина! Вот хорошенький букетик. Возьмите, сэр!

Голубые цветы, которые она протягивала, и ее голубые глаза показались ему в эту минуту олицетворением самого чистейшего простодушия; он подождал, пока это впечатление рассеется и останется только ее оборванное платье, влажные жесткие волосы и вызывающее лицо.

— Купите, сэр! Пожалейте бедную девушку!

— У меня нет денег,— сказал Стивен.

— Возьмите, сэр, вот хорошенький букетик! Всего только пенни!

— Вы слышали, что я сказал? — спросил Стивен, наклоняясь к ней.— Я сказал: у меня нет денег. Повторяю это еще раз.

— Ну что ж, бог даст, когда-нибудь они у вас будут,— секунду помолчав, ответила девушка.

— Возможно,— сказал Стивен.— но мне это кажется маловероятным.

Он быстро отошел от девушки, боясь, что ее фамильярность обратится в насмешку, и стремясь скрыться из виду, прежде чем она предложит свой товар какому-нибудь туристу из Англии или студенту из колледжа святой Троицы. Грэфтон-стрит [2], по которой он шел, только усилила ощущение безотрадной нищеты. В самом начале улицы, посреди дороги, была установлена плита в память Уолфа Тона, и он вспомнил, как присутствовал с отцом при ее открытии. С горечью вспомнил он эту шутовскую церемонию. Там было четыре французских делегата, даже не покинувших экипажа, и один из них, пухлый улыбающийся молодой человек, держал насаженный на палку плакат с напечатанными буквами: «Vive l'Irlande!» [3].

Деревья в Стивенс-Грин [4] благоухали после дождя, а от насыщенной влагой земли исходил запах тления — словно чуть слышный аромат ладана, поднимающийся из множества сердец, сквозь гниющую листву. Душа легкомысленного, развращенного города, о котором ему рассказывали старшие обратилась со временем в этот легкий тленный запах, поднимающийся от земли, и он знал, что через минуту, вступив в темный колледж, он ощутит иное тление, непохожее на растленность Повесы Ивана и Поджигателя Церквей Уейли [5].

Было уже слишком поздно идти на лекцию по французскому языку. Он миновал холл и повернул коридором налево в физическую аудиторию Коридор был темный и тихий, но тишина его как-то настораживала. Откуда у него это ощущение насторо-

---

[1] Деревушка вблизи Дублина.
[2] Одна из центральных улиц в Дублине.
[3] «Да здравствует Ирландия!» (*франц.*)
[4] Парк в центре Дублина.
[5] Дублинцы антикатолики конца XVIII века. Джон Иган (1750–1810) – политический деятель, весьма горячего темперамента. Томас Уейли (1766–1800) – кутила и эксцентрик, заслужил прозвище Поджигателя Церквей за разрушение католических часовен. В особняке, когда-то ему принадлежавшем, позднее разместился католический университет, в котором учится Стивен.

женности, отчего? Оттого ли, что он слышал, будто здесь во времена Уейли была потайная лестница? Или, может быть, этот дом иезуитов экстерриториален и он здесь среди чужеземцев? Ирландия Тона и Парнелла как будто куда-то отступила.

Он открыл дверь аудитории и остановился в унылом, сером свете, пробивавшемся сквозь пыльные окна. Присевшая на корточки фигура возилась у широкой каминной решетки, разжигая огонь, и по худобе и седине он узнал декана. Стивен тихо закрыл дверь и подошел к камину.

— Доброе утро, сэр! Могу я чем-нибудь помочь вам?

Священник вскинул глаза.

— Минутку, мистер Дедалус,— сказал он.— Вот вы сейчас увидите. Разжигать камин — целая наука. Есть науки гуманитарные, а есть науки полезные. Так вот это одна из полезных наук.

— Я постараюсь ей научиться,— сказал Стивен.

— Секрет в том, чтобы не класть слишком много угля,— продолжал декан, проворно действуя руками.

Он вытащил из боковых карманов сутаны четыре свечных огарка и аккуратно рассовал их среди угля и бумаги. Стивен молча наблюдал за ним. Стоя коленопреклоненный на каменной плите перед камином и поправляя жгуты бумаги и огарки, прежде чем зажечь огонь, он больше чем когда-либо напоминал левита [1], смиренного служителя господня, приготовляющего жертвенный огонь в пустом храме. Подобно грубой одежде левита, выцветшая, изношенная сутана окутывала коленопреклоненную фигуру, которой было бы тягостно и неудобно в пышном священническом облачении или в обшитом бубенцами ефоде [2]. Сама плоть его истерлась и состарилась в скромном служении господу: он поддерживал огонь в алтаре, передавал секретные сведения, опекал мирян, сурово карал по приказанию свыше. И все же плоть его не просияла благодатью, на ней не было ни следа красоты, присущей святости или высокому духовному сану. Нет, сама душа его истерлась и состарилась в этом служении, так и не приблизившись к свету и красоте, и обрела не благоухание святости, а лишь умерщвленную волю, столь же нечувствительную к радости такого служения, сколь было глухо его сухое, жилистое старческое тело, покрытое серым пухом седеющих волос, к радостям любви или битвы.

Сидя на корточках, декан следил, как загораются щепки. Чтобы как-то нарушить молчание, Стивен сказал:

— Я, наверно, не сумел бы растопить камин.

— Вы художник, не правда ли, мистер Дедалус? — сказал декан, подняв вверх свои помаргивающие тусклые глаза.— Назначение художника — творить прекрасное. А что такое прекрасное — это уже другой вопрос.

Он медленно потер сухие руки, размышляя над сложностью вопроса.

— А вы можете разрешить его? — спросил он.

— Фома Аквинский — ответил Стивен,— говорит: «Pulcra sunt quae visa placent» [3].

— Вот этот огонь приятен для глаз,— сказал декан.— Можно ли, исходя из этого, назвать его прекрасным?

— Он постигается зрением, что в данном случае будет восприятием эстетическим, и следовательно, он прекрасен. Но Фома Аквинский также говорит: «Bonum est in quod tendit appetitus» [4]. Поскольку огонь удовлетворяет животную потребность в тепле, он — благо. В аду, однако, он — зло.

— Совершенно верно,— сказал декан.— Вы абсолютно правы.

Он быстро встал, подошел к двери, приоткрыл ее и сказал:

— Говорят, тяга весьма полезна в этом деле.

Когда декан вернулся к камину, слегка прихрамывая, но быстрым шагом, из его тусклых, бесчувственных глаз на Стивена глянула немая душа иезуита. Подобно Игна-

---

[1] Левиты — наследственная каста еврейских церковнослужителей, в обязанность которой входил уход за храмом.

[2] Ефод — облачение священнослужителя, подол которого обшит золотыми бубенцами.

[3] Прекрасно то, что приятно для зрения (*лат.*).

[4] Благо то, к чему устремляется желание (*лат.*).

тию [1], он был хромой, но в его глазах не горело пламя энтузиазма. Даже легендарное коварство ордена, коварство более непостижимое и тонкое, чем их пресловутые книги о тонкой, непостижимой мудрости, не воспламеняло его душу апостольским рвением. Казалось, он пользовался хитростью, изворотливостью только для вящей славы божией, без радости и без ненависти, не думая о том, что в них дурного, но твердым жестом повиновения направляя их против них же самих, и, несмотря на все это безгласное послушание, казалось, он даже и не любит учителя и мало или даже совсем не любит целей, которым служит. «Similiter atque senis baculus» [2], он был тем, чем был задуман основателем ордена,— посохом, на который можно опереться в темноте или в непогоду, положить его на садовую скамейку рядом с букетом, оставленным там какой-нибудь леди, а когда и грозно замахнуться им.

Поглаживая подбородок, декан стоял у камина.

— Когда же мы услышим от вас что-нибудь по вопросам эстетики? — спросил он.

— От меня?! — в изумлении сказал Стивен.— Хорошо, если мне раз в две недели случается натолкнуться на какую-то мысль.

— Да. Это очень глубокие вопросы, мистер Дедалус,— сказал декан.— Вглядываться в них — все равно что смотреть в бездну морскую с Мохеровских скал. В нее ныряют и не возвращаются. Только опытный водолаз может спуститься в эти глубины, исследовать их и выплыть на поверхность.

— Если вы имеете в виду спекулятивное суждение, сэр,— сказал Стивен,— то мне представляется, что никакой свободной мысли не существует, поскольку всякое мышление должно быть подчинено собственным законам и ограничено ими.

— Хм!..

— Размышляя, я сейчас беру за основу некоторые положения Аристотеля и Фомы Аквинского.

— Понимаю, вполне понимаю вас.

— Я буду руководствоваться их мыслями, пока не создам что-то свое. Если лампа начнет коптить и чадить, я постараюсь почистить ее. Если же она не будет давать достаточно света, я продам ее и куплю другую.

— У Эпиктета [3],— сказал декан,— тоже была лампа, проданная после его смерти за баснословную цену. Это была лампа, при свете которой он писал свои философские труды. Вы читали Эпиктета?

— Старец, который говорил, что душа подобна сосуду с водой,— резко сказал Стивен.

— Он со свойственной ему простотой рассказывает нам,— продолжал декан,— что поставил железную лампу перед статуей одного из богов, а вор украл эту лампу. Что же сделал философ? Он рассудил, что красть — в природе вора, и на другой день купил глиняную лампу взамен железной.

Запах растопленного сала поднялся от огарков и смешался в сознании Стивена со звяканьем слов: сосуд, лампа, лампа, сосуд. Голос священника тоже звякал. Мысль Стивена инстинктивно остановилась, задержанная этими странными звуками, образами и лицом священника, которое казалось похожим на незажженную лампу или отражатель, повешенный под неправильным углом. Что скрывалось за ним или в нем? Угрюмая оцепенелость души, заряженной способностью к мышлению, которая похожа на угрюмость грозовой тучи, заряженной гневом божьим.

— Я имел в виду несколько иную лампу, сэр,— сказал Стивен.

— Безусловно,— сказал декан.

— Одна из трудностей эстетического обсуждения,— продолжал Стивен,— заключается в том, чтобы понять, в каком смысле употребляются слова — в литературном или в бытовом. Я вспоминаю одну фразу у Ньюмена, где говорится о том, что святая дева укоренилась в прославленном народе [4]. В обиходном языке этому слову придается совсем другой смысл. *Надеюсь, я не укоренюсь в своем невежестве?*

— Конечно, нет,— любезно сказал декан.

---

[1] Игнатию Лойоле, который был в юности ранен в обе ноги, после чего посвятил себя служению церкви.

[2] Подобно посоху старца (*лат.*).

[3] Эпиктет — греческий философ-стоик конца I и начала II века нашей эры.

[4] Дж. Ньюмен. «Славословия Марии-богоматери». У Дж. Ньюмена — цитата из Библии.

— Да нет же,— улыбаясь сказал Стивен,— я имел в виду...

— Да, да, понимаю,— живо подхватил декан,— вы имели в виду разные оттенки смысла глагола «укорениться».

Он выдвинул вперед нижнюю челюсть и коротко, сухо кашлянул.

— Ну, хорошо, вернемся к лампе,— сказал он.— Заправлять ее тоже дело довольно трудное. Нужно, чтобы масло было чистое, а когда наливаешь его, надо следить за тем, чтобы не пролить, не налить больше, чем может вместить воронка.

— Какая воронка? — спросил Стивен.

— Воронка, через которую наливают масло в лампу.

— А...— сказал Стивен.— Разве это называется воронкой? По-моему, это цедилка.

— А что такое «цедилка»?

— Ну, это... воронка.

— Разве она называется цедилкой у ирландцев? — спросил декан.— Первый раз в жизни слышу такое слово.

— Ее называют цедилкой в Нижней Драмкондре [1],— смеясь сказал Стивен,— где говорят на чистейшем английском языке.

— Цедилка,— повторил задумчиво декан,— занятное слово. Надо посмотреть его в словаре. Обязательно посмотрю.

Учтивость декана казалась несколько натянутой, и Стивен взглянул на этого английского прозелита такими же глазами, какими старший брат в притче мог бы взглянуть на блудного. Смиренный последователь когда-то нашумевших обращений [2], бедный англичанин в Ирландии, поздний пришелец, запоздалый дух, он, казалось, взошел на сцену истории иезуитов, когда эта странная комедия интриг, страданий, зависти, борьбы и бесчестья уже близилась к концу. Что же толкнуло его? Может быть, он родился и вырос среди убежденных сектантов, чаявших спасения только в Иисусе и презиравших суетную пышность официальной церкви? Не почувствовал ли он потребность в слепой вере среди суеты сектантства и разноязычия неуемных еретиков, всех последователей шести принципов, людей особого склада, баптистов семени и баптистов змеи, супралапсарианских догматиков? [3] Обрел ли он истинную церковь внезапно, словно размотав с катушки какую-то тонко сплетенную нить рассуждений о смысле дуновения при рукоположении или сошествии святого духа? [4] Или же Христос коснулся его и повелел следовать за собою, когда он сидел у дверей какой-нибудь крытой жестяной кровлей часовенки, зевая и подсчитывая церковные гроши, как в свое время господь призвал ученика, сидевшего за сбором пошлин? [5]

Декан снова произнес:

— Цедилка! Нет, в самом деле это очень интересно!

— Вопрос, который вы задали мне раньше, по-моему, более интересен. Что такое красота, которую художник пытается создать из глины? — холодно заметил Стивен.

Казалось, это словечко обратило язвительное острие его настороженности против учтивого, бдительного врага. Со жгучей болью унижения он почувствовал, что человек, с которым он беседует, соотечественник Бена Джонсона. Он подумал:

«Язык, на котором мы сейчас говорим,— прежде всего его язык, а потом уже мой. Как различны слова — *семья, Христос, пиво, учитель* — в его и в моих устах. Я не могу спокойно произнести или написать эти слова. Его язык — такой близкий и такой чужой — всегда останется для меня лишь благоприобретенным. Я не создавал и не принимал его слов. Мой голос не подпускает их. Моя душа неистовствует во мраке его языка».

— И каково различие между прекрасным и возвышенным,— добавил декан,— а также между духовной и материальной красотой? Какого рода красота свойственна каждому виду искусства? Вот интересные вопросы, которыми следовало бы заняться.

---

[1] Бедный район Дублина, жители которого говорят на гораздо более богатом и красочном языке, нежели лондонцы. Стивен намекает, что ирландцы прекрасно знают чужой язык, тогда как позабыли свой.

[2] В 1845 г. Дж. Ньюмен перешел в католичество, за ним последовало много англичан.

[3] Виды баптистских сект. Супралапсарианство — учение об абсолютности предопределения.

[4] Имеются в виду различные религиозные церемонии.

[5] Согласно Библии, евангелист Матфей, до того как стал учеником Иисуса, был мытарем.

Обескураженный сухим, твердым тоном декана, Стивен молчал; и в наступившей тишине с лестницы донесся шум голосов и топот сапог.

— Но предавшись такого рода спекуляциям,— заключил декан,— рискуешь умереть с голоду. Прежде всего вы должны получить диплом. Поставьте это себе первой целью. Затем мало-помалу вы выйдете на свою дорогу. Я говорю в широком смысле — дорогу в жизни и в способе мышления. Возможно, на первых порах она окажется крутой. Вот, скажем, мистер Мунен — ему потребовалось немало времени, прежде чем он достиг вершины. Но тем не менее он ее достиг.

— Возможно, я не обладаю его талантами,— спокойно возразил Стивен.

— Как знать? — живо отозвался декан.— Мы никогда не знаем, что в нас есть. Я бы, во всяком случае, не падал духом. Per aspera ad astra [1].

Он быстро отошел от очага и направился на площадку встречать студентов первого курса.

Прислонившись к камину, Стивен слышал, как он одинаково бодро и одинаково безразлично здоровался с каждым в отдельности, и почти видел откровенные усмешки бесцеремонных студентов. Острая жалость, как роса, начала оседать на его легко уязвимое сердце, жалость к этому верному служителю рыцарственного Лойолы, к этому сводному брату священнослужителей, более уступчивому, чем они, в выражении своих мыслей, более твердому духом; жалость к священнику, которого он никогда не назовет своим духовным отцом; и он подумал, что этот человек и его собратья заслужили славу пекущихся о мирском не только среди тех, кто забыл о суете мира, но и среди самих мирян, за то, что они на протяжении всей своей истории ратовали перед судом божьего правосудия за слабые, ленивые, расчетливые души.

О приходе преподавателя возвестил грохот тяжелых сапог, поднявшийся среди студентов, сидевших в верхнем ряду аудитории под серыми, заросшими паутиной окнами. Началась перекличка, и ответы звучали на все лады, пока не вызвали Питера Берна.

— Здесь!

Гулкий глубокий бас прозвучал из верхнего ряда, и тотчас же с других скамей послышались протестующие покашливания.

Преподаватель немножко выждал и назвал следующего по списку:

— Крэнли!

Ответа не было.

— Мистер Крэнли!

Улыбка пробежала по лицу Стивена, когда он представил себе занятия друга.

— Поищите его в Лепердстауне [2],— раздался голос со скамейки позади.

Стивен быстро обернулся. Но рылообразная физиономия Мойнихена была невозмутима в тусклом, сером свете. Преподаватель продиктовал формулу. Кругом зашелестели тетради. Стивен снова обернулся и сказал:

— Дайте мне, ради бога, бумаги.

— Тебе что, приспичило? — с широкой улыбкой спросил Мойнихен.

Он вырвал страницу из своего черновика и, протягивая ее, шепнул:

— По нужде любой мирянин, любая женщина имеют право на это.

Формула, которую Стивен послушно записал на клочке бумаги, сворачивающиеся и разворачивающиеся столбцы вычислений преподавателя, призрачные символы силы и скорости завораживали и утомляли его сознание. Он слышал от кого-то, что старик — атеист и масон. О серый, унылый день! Как будто сознание безболезненно и терпеливо погружается в лимб [3], где в дымчатых сумерках бродят души математиков, перемещая длинные, стройные построения из одной плоскости в другую и вызывая быстрые вихревые токи, несущиеся к крайним пределам вселенной, огромной, необъятной, недоступной.

---

[1] Через тернии к звездам *(лат.)*.

[2] Дублинский ипподром.

[3] Лимб — для католиков промежуточная область между чистилищем и адом, куда попадают после смерти души ветхозаветных праведников и некрещеных детей.

— Итак, мы должны отличать эллипс от эллипсоида. Наверное, кое-кто из вас, джентльмены, знаком с сочинениями мистера У. Ш. Гильберта[1]. В одной из своих песен он говорит о биллиардном шулере, который осужден играть

На столе кривом
Выгнутым кием
Вытянутым шаром.

Он имеет в виду шар в форме эллипсоида, о главных осях которого я сейчас говорил.

Мойнихен нагнулся к уху Стивена и прошептал:

— Почем теперь эллипсоидальные шарики?! За мной, дамочки, я кавалерист!

Грубый юмор товарища вихрем пронесся по монастырю сознания Стивена, весело встряхнул висевшие на стенах понурые сутаны, заставил их заплясать и заметаться в разгульном шабаше. Братья общины выплывали из раздутых вихрем облачений: декан, цветущий дородный эконом в шапке седых волос; ректор; маленький с гладкими волосами священник, который писал благочестивые стихи; приземистый мужиковатый преподаватель экономики; длинный молодой преподаватель логики, обсуждающий на площадке со своим курсом проблему совести, словно жираф, который ощипывает листву высокого дерева над стадом антилоп; важный и грустный префект братства; пухлый круглоголовый преподаватель итальянского языка с плутоватыми глазками. Все мчались, спотыкались, кувыркались и прыгали, задирая свои сутаны в лихой чехарде; обнявшись, тряслись в натужном хохоте, шлепали друг друга по заду, потешались своим озорством, фамильярничали и вдруг с видом оскорбленного достоинства, возмущенные каким-нибудь грубым выпадом, украдкой перешептывались, прикрывая рот ладонью.

Преподаватель подошел к стеклянному шкафу у стены, достал с полки комплект катушек, сдул с них пыль, бережно положил на стол и, придерживая одним пальцем, продолжал лекцию. Он объяснил, что проволока на современных катушках делается из сплава, называемого платиноидом, изобретенного недавно Ф. У. Мартино[2].

Он внятно произнес инициалы и фамилию изобретателя. Мойнихен шепнул сзади:

— Молодец, старик. Фу, Мартино! Мартын скачет, Мартын пляшет...

— Спроси его,— шепнул Стивен с невеселой усмешкой,— не нужен ли ему подопытный субъект для опытов на электрическом стуле? Он может располагать мною.

Увидев, что преподаватель нагнулся над катушками, Мойнихен привстал со своей скамейки и, беззвучно пощелкивая пальцами правой руки, захныкал голосом озорного мальчишки:

— Сэр, этот мальчик говорит гадкие слова, сэр!

— Платиноид,— внушительно продолжал преподаватель,— предпочитают нейзильберу, потому что у него меньший коэффициент сопротивления при изменении температуры. Для изоляции платиноидной проволоки служит шелк, который наматывается на эбонитовую катушку вот здесь, где находится мой палец. Если бы наматывался голый провод, в катушке индуцировался бы экстраток. Катушку пропитывают горячим парафином.

С нижней скамейки впереди Стивена резкий голос с ольстерским акцентом спросил:

— Разве нас будут экзаменовать по прикла́дным наукам?

Преподаватель начал жонглировать понятиями: чистая наука — прикладная наука. Толстый студент в золотых очках посмотрел несколько удивленно на задавшего вопрос. Мойнихен сзади шепнул своим обычным голосом:

— Вот черт, этот Макалистер умеет урвать свой фунт мяса[3].

Стивен холодно взглянул вниз на продолговатый череп с космами цвета пакли. Голос, акцент, характер задавшего вопрос раздражали его, он дал волю своему раз-

[1] Уильям Ш. Гильберт (1838—1911) — английский драматург, либреттист, юморист, вместе с композитором Салливаном создал большой репертуар оперетт. Цитируемые ниже строчки — из комической оперы «Микадо» (1885).

[2] Ф. У. Мартино (1863—?) — американский химик.

[3] Скрытая цитата из «Венецианского купца» В. Шекспира.

дражению и с сознательным недоброжелательством подумал, что отец этого студента поступил бы разумнее, если бы отправил своего сына учиться в Белфаст[1] и тем самым сэкономил бы на проезде.

Продолговатый череп не обернулся навстречу мысленно пущенной в него стреле Стивена, и она не долетела до цели, а вернулась в свою тетиву, потому что перед ним вдруг мелькнуло бескровное лицо студента.

«Эта мысль не моя,— быстро пронеслось в уме Стивена.— Ее мне внушил фигляр-ирландец на скамейке позади меня. Терпение. Можешь ли ты с уверенностью сказать, кто торговал душой твоего народа и предал его избранников: тот, кто вопрошал, или тот, кто потом издевался? Терпение. Вспомни Эпиктета. Наверное, это в характере Макалистера: задать такой вопрос в такой момент и сделать неправильное ударение — «прикла́дным»?»

Монотонный голос преподавателя продолжал медленно гудеть вокруг катушек, о которых он рассказывал, удваивая, утраивая, учетверяя свою сноворную энергию, между тем как катушки умножали свои омы сопротивления.

Голос Мойнихена позади откликнулся на отдаленный звонок:

— Закрываем лавочку, джентльмены!

В холле было тесно и шумно. На столе около двери стояли два портрета в рамках, и между ними лежал длинный лист бумаги с неровными столбцами подписей. Маккэнн проворно сновал среди студентов, болтая без умолку, возражая отказывающимся, и одного за другим подводил к столу. В глубине холла стоял декан, он разговаривал с молодым преподавателем, важно поглаживая подбородок, и кивал головой.

Стивен, притиснутый толпой к двери, остановился в нерешительности. Из-под широких опущенных полей мягкой шляпы темные глаза Крэнли наблюдали за ним.

— Ты подписал? — спросил Стивен.

Крэнли поджал свои тонкие губы, подумал секунду и ответил:

— Ego habeo[2].

— А что это?

— Quod?[3]

— А что это?

Крэнли повернул бледное лицо к Стивену и сказал кротко и грустно:

— Per pax universalis[4].

Стивен показал пальцем на фотографию царя[5] и сказал:

— У него лицо пьяного Христа.

Раздражение и ярость, звучавшие в его голосе, заставили Крэнли оторваться от спокойного созерцания стен холла.

— Ты чем-то недоволен?

— Нет,— ответил Стивен.

— В плохом настроении?

— Нет.

— Credo ut vos sanguinarius mendax estis,— сказал Крэнли,— quia facies vostra monstrat ut vos in damno malo humore estis[6].

Мойнихен, пробираясь к столу, шепнул Стивену на ухо:

— Маккэнн при полном параде. Остается добавить последнюю каплю, и готово. Новенький, с иголочки мир. Никаких горячительных и право голоса сукам[7].

Стивен усмехнулся доверительному тону сообщения и, когда Мойнихен отошел, снова повернул голову и встретил взгляд Крэнли.

---

[1] Королевский колледж в Белфасте был известен своими проанглийскими настроениями.

[2] Подписал (*лат.*).

[3] Что? (*лат.*).

[4] За всеобщий мир (*лат.*).

[5] Фотография Николая II, обратившегося в 1898 г. с циркулярной нотой об установлении «вечного мира».

[6] Думаю, что вы отъявленный лжец: по вашему лицу видно, что вы в чертовски отвратительном настроении (*лат.*).

[7] Имеются в виду проводившиеся в то время реформы: сухой закон и предоставление избирательного права женщинам.

— Может быть, ты объяснишь,— спросил он,— почему он так охотно изливает свою душу мне на ухо? Ну, объясни.

Мрачная складка появилась на лбу Крэнли. Он посмотрел на стол, над которым нагнулся Мойнихен, чтобы подписаться, и сурово отрезал:

— Подлипала.

— Quis est in malo humore,— сказал Стивен,— ego aut vos? [1]

Крэнли не ответил на подтрунивание. Он мрачно обдумывал, что бы еще добавить, и повторил с той же категоричностью:

— Самый что ни на есть гнусный подлипала!

Это было его обычной эпитафией, когда он ставил крест на похороненной дружбе, и Стивен подумал, не произнесется ли она когда-нибудь в память и ему, и таким же тоном. Тяжелая, неуклюжая фраза медленно оседала, исчезая из его слуха, проваливаясь, точно камень в трясину. Стивен следил, как она оседает, так же, как когда-то оседали другие, и чувствовал ее тяжесть на сердце. Крэнли, в отличие от Дейвина, не прибегал в разговоре ни к редкостным староанглийским оборотам елизаветинского времени, ни к забавно переиначенным на английский манер ирландским выражениям. Его протяжный говор был эхом дублинских набережных, перекликающимся с мрачной, запустелой гаванью, его выразительность — эхом церковного красноречия Дублина, звучащим с амвона в Уиклоу [2].

Угрюмая складка исчезла со лба Крэнли, когда он увидел Маккэнна, быстро приближающегося к ним с другого конца холла.

— Вот и вы! — сказал Маккэнн весело.

— Вот и я,— сказал Стивен.

— Как всегда, с опозданием! Не могли бы вы совмещать ваши успехи с некоторой долей уважения к точности?

— Этот вопрос не стоит в повестке дня,— сказал Стивен.— Переходите к делу.

Его улыбающиеся глаза были устремлены на плитку молочного шоколада в серебряной обертке, высовывающуюся из верхнего кармана куртки пропагандиста. Вокруг них собрался небольшой кружок слушателей, жаждущих присутствовать при состязании умов. Худощавый студент с оливковой кожей и гладкими черными волосами, просунув между ними голову, переводил взгляд с одного на другого, словно стараясь открытым влажным ртом поймать на лету каждое слово. Крэнли вытащил из кармана маленький серый мячик и, вертя в руках, начал пристально осматривать его со всех сторон.

— К делу! — сказал Маккэнн.— Хм!

Он громко хохотнул, улыбнулся во весь рот и дважды дернул себя за соломенного цвета бородку, свисавшую с его квадратного подбородка.

— А дело-то в том, чтобы подписать декларацию.

— Вы мне заплатите, если я подпишу? — спросил Стивен.

— Я думал, вы идеалист,— сказал Маккэнн.

Студент, похожий на цыгана, обернулся и, поглядывая на окружающих, сказал невнятным блеющим голосом:

— Странный подход, черт возьми! По-моему, это корыстный подход.

Его голос заглох в тишине. Никто не обратил внимания на слова этого студента. Он повернул свое оливковое лошадиное лицо к Стивену, словно предлагая ему ответить.

Маккэнн весьма бойко начал распространяться о царском рескрипте, о Стеде [3], о всеобщем разоружении, об арбитраже в случае международных конфликтов, о знамениях времени, о новом гуманизме, о новой этике, которая возложит на общество долг обеспечить с наименьшей затратой наибольшее счастье наибольшему количеству людей.

Студент, похожий на цыгана, заключил эту речь возгласом:

— Трижды ура — за всемирное братство!

---

[1] Кто в плохом настроении — я или вы? *(лат.)*

[2] Небольшой город в Ирландии, откуда родом Крэнли.

[3] Уильям Томас Стед (1849—1912) — английский журналист и политический деятель, в 90-х годах был приверженцем мира, одним из инициаторов создания Соединенных Штатов Европы.

— Валяй, валяй, Темпл,— сказал стоявший рядом дюжий румяный студент.— Я тебе потом пинту поставлю.

— Я за всемирное братство! — кричал Темпл, поглядывая по сторонам темными продолговатыми глазами.— А Маркс — это все чепуха.

Крэнли крепко схватил его за руку, чтобы он придержал язык, и с вымученной улыбкой повторил несколько раз:

— Полегче, полегче, полегче!

Темпл, стараясь высвободить руку, кричал с пеной у рта:

— Социализм был основан ирландцем [1], и первым человеком в Европе, проповедовавшим свободу мысли, был Коллинз [2]. Двести лет тому назад этот мидлессекский философ разоблачил духовенство. Ура Джону Энтони Коллинзу!

Тонкий голос из дальнего ряда ответил:

— Гип-гип ура!

Мойнихен прошептал Стивену на ухо:

— А как насчет бедной сестренки Джона Энтони:

Лотти Коллинз без штанишек,
Одолжите ей свои?

Стивен рассмеялся, и польщенный Мойнихен зашептал снова:

— На Джоне Энтони Коллинзе, сколько ни поставь, всегда заработаешь пять шиллингов.

— Жду вашего ответа,— коротко сказал Маккэнн.

— Меня этот вопрос нисколько не интересует,— устало сказал Стивен.— Вам ведь это хорошо известно. Чего ради вы затеяли спор?

— Прекрасно,— сказал Маккэнн, чмокнув губами.— Так, значит, вы реакционер?

— Вы думаете, на меня может произвести впечатление ваше размахивание деревянной шпагой? — спросил Стивен.

— Метафоры! — резко сказал Маккэнн.— Давайте ближе к делу.

Стивен вспыхнул и отвернулся. Но Маккэнн не унимался.

— Посредственные поэты, надо полагать, ставят себя выше столь пустяковых вопросов, как вопрос всеобщего мира,— продолжал он вызывающим тоном.

Крэнли поднял голову и, держа свой мяч, словно миротворящую жертву, между обоими студентами, сказал:

— Pax super totum sanguinarium globum [3].

Отстранив стоявших рядом, Стивен сердито дернул плечом в сторону портрета царя и сказал:

— Держитесь за вашу икону. Если уж вам так нужен Иисус, пусть это будет Иисус узаконенный.

— Вот это, черт возьми, здорово сказано,— заговорил цыганистый студент, оглядываясь по сторонам.— Отлично сказано. Мне очень нравится ваше высказывание.

Он проглотил слюну, словно глотая фразу, и, схватившись за козырек своей кепки, обратился к Стивену:

— Простите, сэр, а что именно вы хотели этим сказать?

Чувствуя, что его толкают стоящие рядом студенты, он обернулся и продолжал:

— Мне интересно узнать, что он хотел выразить этими словами.

Потом снова повернулся к Стивену и проговорил шепотом:

— Вы верите в Иисуса? Я верю в человека. Я, конечно, не знаю, верите ли вы в человека. Я восхищаюсь вами, сэр. Я восхищаюсь разумом человека, независимого от всех религий. Скажите, вы так и мыслите о разуме Иисуса?

— Валяй, валяй, Темпл! — сказал дюжий румяный студент, который всегда по нескольку раз повторял одно и то же.— Пинта за мной.

— Он думает, что я болван,— пояснил Темпл Стивену,— потому что я верю в силу разума.

---

[1] Преувеличение и упрощение фактов. Имеется в виду Джеймс О'Брайен (1803—1864) — ирландский адвокат и реформатор, участник чартистского движения. Боролся за идеалы социализма.

[2] Джон Энтони Коллинз (1676—1729) — английский философ, последователь Локка, деист, проповедник свободомыслия.

[3] Мир во всем кровожадном мире (*лат.*).

Крэнли взял под руки Стивена и его поклонника и сказал:

— Nos ad manum ballum jocabimus [1].

Выходя из зала, Стивен взглянул на покрасневшее топорное лицо Маккэнна.

— Моя подпись не имеет значения,— сказал он вежливо.— Вы вправе идти своей дорогой, но и мне предоставьте идти моей.

— Дедалус,— сказал Маккэнн прерывающимся голосом.— Мне кажется, вы неплохой человек, но вам не хватает альтруизма и чувства личной ответственности.

Чей-то голос сказал:

— Интеллектуальным вывертам не место в этом движении.

Стивен узнал резкий голос Макалистера, но не обернулся в его сторону. Крэнли с торжественным видом проталкивался сквозь толпу студентов, держа под руки Стивена и Темпла, подобно шествующему в алтарь священнослужителю, сопровождаемому младшими чинами.

Темпл, живо наклонившись к Стивену, сказал:

— Вы слышали, что сказал Макалистер? Этот малый завидует вам. Вы заметили? Держу пари, что Крэнли этого не заметил, а я, черт возьми, сразу заметил.

Проходя через холл, они увидели, как декан пытался отделаться от студента, завязавшего с ним разговор. Он стоял у лестницы, уже занеся ногу на нижнюю ступеньку, подобрав с женской заботливостью свою поношенную сутану, и, кивая то и дело, повторял:

— Вне всякого сомнения, мистер Хэккет! Да, да, вне всякого сомнения.

Посреди холла префект братства внушительно, тихим недовольным голосом беседовал с каким-то студентом. Разговаривая, он слегка морщил свой веснушчатый лоб и в паузах между фразами покусывал тонкий костяной карандаш.

— Я надеюсь, что первокурсники все пойдут. За второй курс можно ручаться. За третий тоже. А что касается новичков, не знаю.

В дверях Темпл опять наклонился к Стивену и торопливо зашептал:

— Вы знаете, что он женат? Он уже был женат, прежде чем перешел в католичество. У него где-то жена и дети. Вот, черт возьми, странная история. А?

Его шепот перешел в хитрое кудахтающее хихикание. Как только они очутились за дверью, Крэнли грубо схватил его за шиворот и начал трясти, приговаривая:

— Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин! На смертном одре готов поклясться, что во всем сволочном мире, понимаешь, в целом мире, нет другой такой паршивой обезьяны, как ты!

Изворачиваясь, Темпл продолжал хитренько, самодовольно хихикать, а Крэнли тупо твердил при каждом встряхивании:

— Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин!..

Они прошли запущенным садом; на одной из дорожек увидели ректора, который, закутавшись в тяжелый широкий плащ, шел им навстречу, читая молитвы. В конце дорожки, прежде чем повернуть, он остановился и поднял глаза. Студенты поклонились ему, Темпл, как и прежде, притронувшись к козырьку кепки. Пошли дальше молча Когда они подходили к площадке, Стивен услышал глухие удары игроков, влажные шлепки мячей и голос Дейвина, что-то возбужденно вскрикивающего при каждом ударе.

Все трое остановились у ящика, на котором сидел Дейвин, наблюдавший за игрой. Через несколько секунд Темпл бочком подошел к Стивену и сказал:

— Прости, я хотел спросить тебя, как ты считаешь, Жан-Жак Руссо был искренний человек?

Стивен невольно расхохотался. Крэнли схватил валявшуюся в траве у него под ногами сломанную бочарную доску, быстро обернулся и грозно сказал:

— Темпл, клянусь богом, если ты произнесешь еще хоть одно слово, я тебя тут же прикончу super spottum [2].

— Вероятно,— сказал Стивен.— Он, как и ты, был эмоциональный человек.

— А, ну его ко всем чертям! — отрезал Крэнли.— Что с таким разговаривать. Все равно что с вонючим ночным горшком! Катись, Темпл. Катись отсюда! Катись к черту!

---

[1] Давайте сыграем в мяч *(лат.)*.
[2] На месте *(школьная латынь)*.

— Плевать я на тебя хотел, Крэнли,— ответил Темпл, шарахаясь в сторону от поднятой доски и указывая на Стивена.— Вот единственный человек в этом заведении, у которого индивидуальный образ мыслей.

— Заведение! Индивидуальный! — воскликнул Крэнли.— Пошел ты отсюда, черт тебя побери. Вот безнадежный идиот!

— Я эмоциональный человек,— сказал Темпл.— Это очень верно сказано. И я горжусь тем, что живу во власти эмоции.

Он отошел бочком, зашагал по площадке, лукаво посмеиваясь. Крэнли смотрел ему вслед пустым, застывшим взглядом.

— Вы только посмотрите на него,— сказал он.— Видели вы когда-нибудь подобного мерзавца?

Фраза его была встречена странным хохотом студента в низко надвинутой на глаза кепке, который стоял, прислонясь к стене. Смех был писклявый и исходил из такого огромного тела, что казалось, это повизгивает слон. Все тело студента ходило ходуном, от удовольствия он потирал руки в паху.

— Линч проснулся,— сказал Крэнли.

В ответ на это Линч выпрямился и выпятил грудь.

— Линч выпячивает грудь в знак критического отношения к жизни,— сказал Стивен.

Линч звучно хлопнул себя по груди и сказал:

— У кого есть возражения против моей фигуры?

Крэнли поймал его на слове, и они начали бороться. Когда лица у них покраснели от напряжения, они разошлись, тяжело дыша. Стивен наклонился к Дейвину, который, увлеченно следя за игрой, не обращал внимания на разговоры вокруг.

— А как мой ручной гусек? — спросил Стивен.— Тоже подписал?

Дейвин кивнул и сказал:

— А ты, Стиви?

Стивен отрицательно покачал головой.

— Ужасный ты человек, Стиви,— сказал Дейвин, вынимая трубку изо рта,— всегда один.

— Теперь, когда ты подписал петицию о всеобщем мире,— сказал Стивен,— я думаю, ты сожжешь ту маленькую тетрадочку, которую я у тебя видел.

И так как Дейвин промолчал, Стивен начал цитировать:

— Фианна [1], шагом марш! Фианна, правое плечо вперед! Фианна, отдать честь, по номерам рассчитайсь, раз, два!

— Это другое дело,— сказал Дейвин.— Прежде всего я ирландский националист. А вот ты от всего в стороне. Ты, Стиви, уродился зубоскалом.

— Когда вы поднимете очередное восстание, вооружась клюшками,— сказал Стивен,— и вам понадобится осведомитель, скажи мне и я подыщу тебе парочку у нас в колледже.

— Никак я тебя не пойму,— сказал Дейвин.— То ты поносишь английскую литературу, то ирландских осведомителей. И имя у тебя какое-то такое... и все эти твои рассуждения. Да ирландец ты или нет?

— Пойдем со мной в архив, я тебе покажу родословную моей семьи,— сказал Стивен.

— Тогда будь с нами,— сказал Дейвин.— Почему ты не изучаешь ирландский язык? Почему ты вышел из лиги [2] после первого занятия?

— Одна причина тебе известна,— ответил Стивен.

Дейвин покачал головой и засмеялся.

— Да ну, брось,— сказал он.— Это из-за той молодой девицы и отца Морена? Да ведь ты все это выдумал, Стиви. Они просто разговаривали и смеялись.

Стивен помолчал и дружески положил руку Дейвину на плечо.

— Помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились,— сказал он,— когда мы встретились в первый раз и ты спросил меня, где занимаются первокурсники, и еще

---

[1] «Фианна!» — боевой клич фениев. Джойс намекает на симпатии Дейвина к фениям.

[2] Имеется в виду Гэльская лига.

сделал ударение на первом слоге? Помнишь? Ты тогда всех иезуитов без разбору называл «отцами». Иногда я спрашиваю себя: «Такой же ли он бесхитростный, как его язык?»

— Я простой человек,— сказал Дейвин.— Ты знаешь это. Когда ты мне в тот вечер на Харкорт-стрит рассказал о своей жизни, честное слово, Стиви, я потом есть не мог. Я прямо заболел. И заснуть никак не мог в ту ночь. Зачем ты мне рассказывал это?

— Вот спасибо,— сказал Стивен.— Ты намекаешь, что я чудовище.

— Нет,— сказал Дейвин.— Но не надо было это рассказывать.

Сохраняя внешнее дружелюбие, Стивен начал медленно вскипать.

— Этот народ, эта страна и эта жизнь породили меня,— сказал он.— Такой я есть, и таким я буду.

— Попробуй примкнуть к нам,— повторил Дейвин.— В душе ты ирландец, но тебя одолевает гордыня.

— Мои предки отреклись от своего языка и приняли другой,— сказал Стивен.— Они позволили кучке чужеземцев поработить себя. Что же, прикажешь мне собственной жизнью и самим собой расплачиваться за их долги? Ради чего?

— Ради нашей свободы,— сказал Дейвин.

— Со времен Тона до времени Парнелла,— сказал Стивен,— не было ни одного честного, искреннего человека, отдавшего вам свою жизнь, молодость и любовь, которого вы бы не предали, не бросили в час нужды, не облили помоями, которому вы бы не изменили. И ты предлагаешь мне быть с вами! Да будьте вы прокляты!

— Они погибли за свои идеалы, Стиви,— сказал Дейвин.— Но придет и наш день, поверь мне.

Поглощенный своими мыслями, Стивен помолчал минуту.

— Душа рождается,— начал он задумчиво,— именно в те минуты, о которых я тебе говорил. Это медленное и темное рождение, более таинственное, чем рождение тела. Когда же душа человека рождается в этой стране, на нее набрасывают сети, чтобы не дать ей взлететь. Ты говоришь мне о национальности, религии, языке. Я постараюсь избежать этих сетей.

Дейвин выбил пепел из своей трубки.

— Слишком заумно для меня, Стиви,— сказал он.— Но родина прежде всего. Ирландия прежде всего, Стиви. Поэтом или мистиком ты можешь быть потом.

— Знаешь, что такое Ирландия? — спросил Стивен с холодной яростью.— Ирландия — это старая свинья, пожирающая свой помет.

Дейвин поднялся с ящика и, грустно покачивая головой, направился к играющим. Но через какую-нибудь минуту грусть его прошла, и он уже горячо спорил с Крэнли и с двумя игроками, только что кончившими партию. Они сговорились на партию вчетвером, но Крэнли настаивал, чтобы играли его мячом. Он ударил им два-три раза о землю, а потом ловко и сильно запустил его в дальний конец площадки, крикнув при этом:

— Душу твою...!

Стивен стоял рядом с Линчем, пока счет не начал расти. Тогда он потянул Линча за рукав, увлекая его за собой. Линч подчинился ему и сказал, поддразнивая:

— Изыдем, как выражается Крэнли.

Стивен улыбнулся этой шпильке.

Они вернулись садом и прошли через холл, где дряхлый, трясущийся швейцар прикалывал какое-то объявление на доску. У лестницы оба остановились, и Стивен, вынув пачку сигарет из кармана, предложил своему спутнику закурить.

— Я знаю, ты без гроша,— сказал он.

— Ах ты нахал мерзопакостный! — ответил Линч.

Это вторичное доказательство речевого богатства Линча снова вызвало улыбку у Стивена.

— Счастливый день для европейской культуры,— сказал он,— когда слово «мерзопакостный» стало твоим любимым ругательством.

Они закурили и пошли направо. Помолчав, Стивен сказал:

— Аристотель не дает определения сострадания и страха. Я даю. Я считаю...

Линч остановился и бесцеремонно прервал его:

— Хватит! Не желаю слушать! Тошнит. Вчера вечером мы с Хореном и Гоггинсом мерзопакостно напились.

Стивен продолжал:

— Сострадание — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и соединяет нас с терпящими бедствие. Страх — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и заставляет нас искать их тайную причину.

— Повтори,— сказал Линч.

Стивен медленно повторил определения.

— На днях в Лондоне,— продолжал он,— молодая девушка села в кеб. Она ехала встречать мать, с которой не виделась много лет. На углу какой-то улицы оглобля повозки разбивает в мелкие осколки окно кеба, длинный, как игла, осколок разбитого стекла пронзает сердце девушки. Она тут же умирает. Репортер называет это трагической смертью. Это неверно. Это не соответствует моим определениям сострадания и страха.

Чувство трагического, по сути дела,— это лицо, обращенное в обе стороны, к страху и к состраданию, каждая из которых — его фаза. Ты заметил, я употребил слово *останавливает*. Тем самым я подчеркиваю, что трагическая эмоция статична. Вернее, драматическая эмоция. Чувства, возбуждаемые неподлинным искусством, кинетичны: это влечение и отвращение. Влечение побуждает нас приблизиться, овладеть. Отвращение побуждает покинуть, отвергнуть. Искусства, вызывающие эти чувства,— порнография и дидактика — неподлинные искусства. Таким образом, эстетическое чувство статично. Мысль останавливается и парит над влечением и отвращением.

— Ты говоришь, что искусство не должно возбуждать влечения,— сказал Линч.— Помню, я однажды тебе рассказывал, что в музее написал карандашом свое имя на заднице Венеры. Разве это не влечение?

— Я имею в виду нормальные натуры,— сказал Стивен.— Ты еще рассказывал мне, как ел коровий навоз в своей распрекрасной кармелитской[1] школе.

Линч снова заржал и потер в паху руку об руку, не вынимая их из карманов.

— Да, было такое дело! — воскликнул он.

Стивен повернулся к своему спутнику и секунду смотрел ему прямо в глаза. Линч перестал смеяться и униженно встретил этот взгляд. Длинная, узкая, сплюснутая голова под кепкой с длинным козырьком напоминала какое-то пресмыкающееся. Да и глаза тусклым блеском и неподвижностью взгляда тоже напоминали змеиные. Но в эту минуту в их униженном, настороженном взоре светилась одна человеческая точка — окно съежившейся души, несчастной, измученной и ожесточенной.

— Что до этого,— как бы между прочим, вежливо заметил Стивен,— все мы животные. И я тоже.

— Да́, и ты,— сказал Линч.

— Но мы сейчас пребываем в мире духовного,— продолжал Стивен.— Влечение и отвращение, вызываемые неподлинными эстетическими средствами, нельзя назвать эстетическими чувствами не только потому, что они кинетичны по своей природе, но и потому, что они сводятся всего-навсего к физическому ощущению. Наша плоть сжимается, когда ее что-то страшит, и отвечает, когда ее что-то влечет непроизвольной реакцией нервной системы. Наши веки закрываются сами, прежде чем мы сознаем, что мошка вот-вот попадет в глаз.

— Не всегда,— иронически заметил Линч.

— Таким образом,— продолжал Стивен,— твоя плоть ответила на импульс, которым для тебя оказалась обнаженная статуя, но это, повторяю, непроизвольная реакция нервной системы. Красота, выраженная художником, не может возбудить в нас кинетической эмоции или ощущения, которое можно было бы назвать чисто физическим. Она возбуждает или должна возбуждать, порождает или должна порождать эстетический стасис — идеальное сострадание или идеальный страх,— стасис, который возникает, длится и, наконец, разрешается в том, что я называю ритмом красоты.

— А это еще что такое? — спросил Линч.

---

[1] Кармелиты — католический орден.

— Ритм,— сказал Стивен,— это первое формальное эстетическое соотношение частей друг с другом в любом эстетическом целом, или отношение эстетического целого к его части или частям, или любой части эстетического целого ко всему целому.

— Если это ритм,— сказал Линч,— тогда изволь пояснить, что ты называешь красотой. И не забывай, пожалуйста, что хоть мне когда-то и случалось есть навозные лепешки, все же я преклоняюсь только перед красотой.

Точно приветствуя кого-то, Стивен приподнял кепку. Потом, чуть-чуть покраснев, взял Линча за рукав его твидовой куртки.

— Мы правы,— сказал он,— а другие ошибаются. Говорить об этих вещах, стараться постичь их природу и, постигнув ее, пытаться медленно, смиренно и упорно выразить, создать из грубой земли или из того, что она дает: из ощущений звука, формы или цвета, этих тюремных врат нашей души,— образ красоты, которую мы постигли,— вот что такое искусство.

Они приблизились к мосту над каналом и, свернув с дороги, пошли под деревьями. Грязно-серый свет, отражающийся в стоячей воде, и запах мокрых веток над их головами — все, казалось, восставало против образа мыслей Стивена.

— Но ты не ответил на мой вопрос,— сказал Линч,— что такое искусство? Что такое выраженная им красота?

— Это было первым определением, которое я тебе дал, несчастное, тупоголовое животное,— сказал Стивен,— когда я только пытался продумать данный вопрос для себя. Помнишь тот вечер? Крэнли еще разозлился и начал рассказывать об уиклоуских окороках.

— Помню,— сказал Линч.— Помню, как он рассказывал об этих проклятых жирных свиньях.

— Искусство,— сказал Стивен,— это способность человека к рациональному или чувственному восприятию предмета с эстетической целью. О свиньях помнишь, а про это забыл. Безнадежная вы пара — ты и Крэнли.

Глядя в серое суровое небо, Линч скорчил гримасу и сказал:

— Если я обречен слушать твою эстетическую философию, дай мне, по крайней мере, еще сигарету. Меня это совсем не интересует. Даже женщины меня не интересуют. Ну вас к черту! Пошли вы все! Мне нужна работа на пятьсот фунтов в год. Но ты ведь мне такой не достанешь.

Стивен протянул ему пачку сигарет. Линч взял последнюю оставшуюся там сигарету и сказал:

— Продолжай.

— Фома Аквинский утверждает,— сказал Стивен,— что прекрасно то, восприятие чего нам приятно.

Линч кивнул.

— Помню,— сказал он.— Pulcra sunt quae visa placent.

— Он употребляет слово visa,— продолжал Стивен,— подразумевая под ним всякое эстетическое восприятие: зрение, слух или какие-либо другие виды восприятия. Это слово, как бы оно ни было неопределенно, все же достаточно ясно, чтобы исключить понятия хорошего или дурного, которые вызывают в нас влечение и отвращение. Безусловно, это слово подразумевает стасис, а не кинесис. А что такое истина? Она тоже вызывает стасис сознания. Ты бы не написал карандашом свое имя на гипотенузе прямоугольного треугольника.

— Нет,— сказал Линч,— мне подавай гипотенузу Венеры.

— Итак, следовательно, истина статична. Кажется, Платон говорит, что прекрасное — сияние истины. Не думаю, что это имеет какой-нибудь иной смысл, кроме того, что истина и прекрасное тождественны. Истина познается разумом, приведенным в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере умопостигаемого; прекрасное воспринимается воображением, приведенным в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере чувственно постигаемого. Первый шаг на пути к истине — постичь пределы и возможности разума, понять самый акт познания. Вся философская система Аристотеля опирается на его сочинение о психологии, которое в свою очередь опирается на его утверждение, что один и тот же атрибут не может одновременно и в одной и той же связи принадлежать и не принадлежать одному и тому же субъекту. Первый

шаг на пути к красоте — постичь пределы и возможности воображения, понять самый акт эстетического восприятия. Ясно?

— Но что же такое красота? — нетерпеливо спросил Линч.— Дай какое-нибудь другое определение. То, на что приятно смотреть? Неужели это все, на что способен ты со своим Фомой Аквинским?

— Возьмем женщину,— сказал Стивен.

— Возьмем,— с жаром подхватил Линч.

— Греки, турки, китайцы, копты, готтентоты — у каждого свой идеал женской красоты,— сказал Стивен.— Это похоже на лабиринт, из которого нельзя выбраться. Однако я вижу из него два выхода. Первая гипотеза: всякое физическое качество женщины, вызывающее восхищение мужчины, находится в прямой связи с ее многообразными функциями продолжения рода. Возможно, это так. Жизнь гораздо скучнее, чем ты ее себе представляешь, Линч. Но мне этот выход не нравится. Он ведет скорее к евгенике[1], чем к эстетике. Он ведет тебя прямо из лабиринта в новенькую, безвкусно выкрашенную аудиторию, где Маккэнн, держа одну руку на «Происхождении видов», а другую на Новом Завете, объясняет тебе, что ты любуешься пышными бедрами Венеры, так как знаешь, что она принесет тебе здоровое потомство, любуешься ее пышными грудями, так как знаешь, что она будет давать хорошее молоко твоим и своим детям.

— Архи-вонюче-мерзопакостный враль этот Маккэнн! — убежденно сказал Линч.

— Остается другой выход,— смеясь сказал Стивен.

— А именно? — спросил Линч.

— Еще одна гипотеза...— начал Стивен.

Длинная подвода, груженная железным ломом, выехала из-за угла больницы сэра Патрика Дана[2], заглушив конец фразы Стивена гулким грохотом дребезжащего, громыхающего металла. Линч заткнул уши и чертыхался до тех пор, пока подвода не проехала. Потом резко повернул назад. Стивен тоже повернулся и, выждав несколько секунд, пока раздражение его спутника не улеглось, продолжал:

— Эта гипотеза предлагает обратное. Хотя один и тот же объект кажется прекрасным далеко не всем, однако всякий любующийся прекрасным объектом находит в нем известное благоприятное соотношение, соответствующее тем или иным стадиям эстетического восприятия. Это соотношение чувственно постигаемого, видимое тебе в одной форме, а мне в другой, является, таким образом, необходимым качеством прекрасного. Теперь мы можем снова обратиться к нашему старому другу Фоме и выжать из него еще на полпенни мудрости.

Линч расхохотался.

— Забавно,— сказал он,— что ты его поминаешь на каждом шагу, точно какой-нибудь веселый пузатый монах. Ты это серьезно?

— Макалистер,— ответил Стивен,— назвал бы мою эстетическую теорию прикладным Фомой Аквинским. В том, что в философии касается эстетики, я безоговорочно следую за Аквинским. Но, когда мы подойдем к феномену художественного замысла, к тому, как он вынашивается и воплощается, мне потребуется новая терминология и новый личный опыт.

— Конечно,— сказал Линч,— ведь Аквинский, несмотря на весь свой ум, в сущности, только благодушный пузатый монах. Но о новом личном опыте и о новой терминологии ты расскажешь мне как-нибудь в другой раз. Кончай-ка поскорей первую часть.

— Кто знает,— сказал Стивен улыбаясь,— возможно, Аквинский понял бы меня лучше, чем ты. Он был поэт. Это он сочинил гимн, который поют в страстной четверг. Гимн начинается словами: Pange, lingua, gloriosi[3], и недаром его считают лучшим из

---

[1] Евгеника — дисциплина, рассматривающая пути улучшения наследственности человека.

[2] Патрик Дан (1642—1713) — известный ирландский врач и политический деятель.

[3] Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium...— Славь, мой язык, тайну преславного тела... (*лат.*).

славословий. Это сложный, приносящий глубокое утешение гимн. Я люблю его. Но все же никакой гимн не может сравниться со скорбным, величественным песнопением крестного хода Vexilla Regis Венанция Фортуната[1].

Линч запел тихо и торжественно глубоким, низким басом:

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine
Dicendo nationibus
Regnavit a ligno Deus[2].

— Здорово, — с восторгом заключил он.— Вот это музыка!

Они свернули на Нижнюю Маунт-стрит. И едва прошли несколько шагов от угла, как с ними поздоровался толстый молодой человек в шелковом кашне.

— Слышали о результатах экзаменов? — спросил он.— Гриффин провалился, Хэлпин и О'Флинн выдержали по отделению гражданского ведомства. Мунен по индийскому ведомству прошел пятым. О'Шоннесси — четырнадцатым. Ирландцы, работающие у Кларка[3], устроили им пирушку, и все ели кэрри[4].

Его блеклое, отекшее лицо выражало добродушное злорадство, и по мере того как он выкладывал новости, маленькие заплывшие жиром глазки как будто совсем исчезали, а тонкий свистящий голос становился еле слышен.

В ответ на вопрос Стивена глаза и голос снова вынырнули из своих тайников.

— Да, Маккалли и я,— сказал он.— Маккалли выбрал теоретическую математику, а я — естественную историю. Там двадцать предметов в программе. Еще я выбрал ботанику. Вы ведь знаете — я теперь член полевого клуба.

Он величественно отступил на шаг, положил пухлую в шерстяной перчатке руку на грудь, откуда тотчас же вырвался сдавленный свистящий смех.

— В следующий раз, когда поедешь на поле, привези нам репы и лука,— мрачно сказал Стивен, — мы приготовим тушеное мясо.

Толстый студент снисходительно засмеялся и сказал:

— У нас очень почтенная публика в полевом клубе. Прошлую субботу мы, всемером, ездили в Гленмалюр[5].

— С женщинами, Доновен? — спросил Линч.

Доновен опять положил руку на грудь и сказал:

— Наша цель — приобретать знания.

И тут же быстро добавил:

— Я слышал, ты пишешь доклад по эстетике?

Стивен ответил неопределенно-отрицательным жестом.

— Гёте и Лессинг много писали на эту тему,— сказал Доновен.— Классическая школа и романтическая школа и все прочее. Меня очень заинтересовал «Лаокоон». Конечно, это идеалистично, чисто по-немецки и слишком уж глубоко...

Никто ему не ответил. Доновен вежливо простился с ними.

— Ну, я удаляюсь,— сказал он мягко и благодушно.— У меня сильное подозрение, почти граничащее с уверенностью, что сестрица готовит сегодня блинчики к семейному обеду Доновенов.

— До свидания, — сказал Стивен ему вдогонку,— не забудь про репу и лук.

Глядя ему вслед, Линч медленно, презрительно скривил губы, и лицо его стало похоже на дьявольскую маску.

---

[1] Vexilla Regis prodeunt — Се грядут царские хоругви *(лат.)*. Венанций Фортунат (530—603) — поэт раннего средневековья, под конец жизни — епископ в Пуатье.

[2] Исполнились Давидовы пророчества,
В правдивых песнопениях
Языком возвещавшие народам:
Бог с древа правит нами *(лат.)*.

[3] Том Кларк (?—1916) — владелец табачного магазина в Дублине, где нелегально продавалось оружие фениям. Принял участие в Пасхальном восстании 1916 г. Расстрелян вместе с другими повстанцами.

[4] Кэрри — национальное индийское кушанье. Джойс иронизирует над ирландскими националистами, которые, вопреки своей программе панирландизма, стремились получить работу в Англии или ее колониях и, даже развлекаясь, ели не ирландское национальное блюдо, но иностранное.

[5] Гленмалюр — парк в южной части Дублина.

— Подумать только, что это мерзопакостное, блинчикоядное дерьмо может хорошо устроиться,— наконец сказал он,— а я должен курить грошовые сигареты.

Они повернули к Меррион-сквер и некоторое время шли молча.

— Чтобы закончить то, что я говорил о красоте,— продолжал Стивен,— скажу, что наиболее благоприятные соотношения чувственно постигаемого должны, таким образом, соответствовать необходимым фазам художественного восприятия. Найди их, и ты найдешь свойства абсолютной красоты. Фома Аквинский говорит: «Ad pulcritudinem tria requiruntur integritas, consonantia, claritas». Я перевожу это так: «Три условия требуются для красоты: целостность, гармония, сияние». Соответствует ли это фазам восприятия? Тебе понятно?

— Конечно,— сказал Линч.— Если ты думаешь, что у меня мозги из дерьма, поди догони Доновена, попроси его тебя послушать.

Стивен показал на корзинку, которую разносчик из мясной лавки, перевернув ее вверх дном, надел на голову.

— Посмотри на эту корзинку,— сказал он.

— Ну, вижу,— ответил Линч.

— Для того чтобы увидеть эту корзинку,— сказал Стивен,— твое сознание прежде всего отделяет ее от остальной видимой вселенной, которая не есть корзина. Первая фаза восприятия — это линия, ограничивающая воспринимаемый объект. Эстетический образ дается нам в пространстве или во времени. То, что воспринимается слухом, дается во времени, то, что воспринимается зрением,— в пространстве. Но — временной или пространственный — эстетический образ прежде всего воспринимается отчетливо как самоограниченный и самодовлеющий на необъятном фоне пространства или времени, которые не суть он. Ты воспринимаешь его как единую вещь. Видишь как одно целое. Воспринимаешь его как *целостность*. Это и есть integritas.

— В самое яблочко,— смеясь сказал Линч.— Валяй дальше.

— Затем,— продолжал Стивен,— ты переходишь от одной точки к другой, следуя за очертаниями формы, и постигаешь предмет в равновесии частей, заключенных внутри его пределов. Ты чувствуешь ритм его строения. Другими словами, за синтезом непосредственного восприятия следует анализ постижения. Почувствовав вначале, что это нечто *целостное*, ты чувствуешь теперь, что это *нечто*. Ты воспринимаешь его как согласованное единство, сложное, делимое, отделяемое, состоящее из частей, как результат этих частей, их сумму, как нечто гармоничное. Это будет consonantia.

— В самое яблочко,— смеясь сказал Линч.— Объясни мне теперь про claritas, и за мной сигара.

— Значение этого слова не совсем ясно,— сказал Стивен.— Фома Аквинский употребляет термин, который мне кажется неточным. Долгое время он сбивал меня с толку. По его определению получалось, что он говорит об идеализме и символизме и что высшее свойство красоты — свет, исходящий из какого-то иного мира, в то время как реальность — всего лишь его тень, материя — всего лишь его символ. Я думал, что он разумеет под словом claritas художественное раскрытие и воплощение божественного замысла во всем, что claritas — это сила обобщения, придающая эстетическому образу всеобщее значение и заставляющая его сиять изнутри вовне. Но все это литературщина. Теперь я понимаю это так: сначала ты воспринял корзинку как нечто целостное, а затем, рассмотрев ее с точки зрения формы, познал как нечто — только таков допустимый с логической и эстетической точки зрения синтез. Ты видишь, что перед тобой именно *этот предмет*, а *не какой-то другой*. Сияние, о котором говорит Аквинский, в схоластике — quidditas — *самость* вещи. Это высшее качество ощущается художником, когда впервые в его воображении зарождается эстетический образ. Шелли прекрасно сравнивал его с тлеющим углем: это миг, когда высшее качество красоты, светлое сияние эстетического образа, отчетливо познается сознанием, остановленным его целостностью и очарованным его гармонией; это сияющий немой стасис эстетического наслаждения, духовный момент, очень похожий на сердечное состояние, для которого итальянский физиолог Луиджи Гальвани[1] нашел выражение не менее прекрасное, чем Шелли,— завороженность сердца.

---

[1] Луиджи Гальвани (1737—1798) — один из основателей учения об электричестве.

Стивен умолк, и, хотя его спутник ничего не говорил, он чувствовал, что его слова как бы создали вокруг них тишину завороженной мысли.

— То, что я сказал,— продолжал он,— относится к красоте в более широком смысле этого слова, в том смысле, которым оно обладает в литературной традиции. В обиходе это понятие имеет другое значение. Когда мы говорим о красоте во втором значении этого слова, наше суждение прежде всего определяется самим искусством и видом искусства. Образ, само собой разумеется, связывает сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если не забывать об этом, то неизбежно придешь к выводу, что искусство делится на три последовательно восходящих рода: лирику, где художник создает образ в непосредственном отношении к самому себе; эпос, где образ дается в опосредствованном отношении к себе или другим; и драму, где образ дается в непосредственном отношении к другим.

— Ты мне это объяснял несколько дней тому назад,— сказал Линч,— и у нас еще разгорелся спор.

— У меня дома есть тетрадка,— сказал Стивен,— в которой записаны вопросы позабавнее тех, что ты предлагал мне тогда. Размышляя над ними, я додумался до эстетической теории, которую сейчас стараюсь тебе изложить. Вот какие вопросы я придумал. *Трагичен или комичен изящно сделанный стул?* Можно ли сказать: *портрет Моны Лизы красив только потому, что мне приятно на него смотреть? Лиричен, эпичен или драматичен бюст Филипа Крэмптона*[1]*? Если нет, то почему?*

— А правда, почему? — смеясь сказал Линч.

— *Если человек, в ярости ударяя топором по бревну, вырубит изображение коровы,*— продолжал Стивен,— *будет ли это изображение произведением искусства? Если нет, то почему?*

— Вот здорово,— сказал Линч, снова засмеявшись.— Истинно схоластическое зловоние.

— Лессингу,— сказал Стивен,— не следовало писать о скульптурной группе. Это менее высокое искусство, и потому оно недостаточно четко представляет те роды, о которых я говорил. Даже в литературе, в этом высшем и наиболее духовном искусстве, роды искусств часто бывают смешаны. Лирический род — это, в сущности, простейшее словесное облачение момента эмоции, ритмический возглас вроде того, которым тысячи лет тому назад человек подбадривал себя, когда греб веслом или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого, как переживающего эмоцию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, когда художник углубленно сосредоточивается на себе самом как на центре эпического события, и эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равно удаленным от самого художника и от других. Тогда повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живоносное море. Именно такое развитие мы наблюдаем в старинной английской балладе «Терпин-герой»; повествование в ней в начале ведется от первого лица, а в конце — от третьего. Драматическая форма возникает тогда, когда это живоносное море разливается и кружит вокруг каждого действующего лица и наполняет их всех такой жизненной силой, что они приобретают свое собственное нетленное эстетическое бытие. Личность художника — сначала вскрик, ритмический возглас или тональность, затем текучее, мерцающее повествование; в конце концов художник утончает себя до небытия, иначе говоря, обезличивает себя. Эстетический образ в драматической форме — это жизнь, очищенная и претворенная воображением. Таинство эстетического творения, которое можно уподобить творению материальному, завершено. Художник, как бог-творец, остается внутри, позади, поверх или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти.

— Стараясь их тоже утончить до небытия,— добавил Линч.

Мелкий дождь заморосил с высокого, затянутого тучами неба, и они свернули на газон, чтобы успеть дойти до Национальной библиотеки, прежде чем хлынет ливень.

— Что это на тебя нашло,— брюзгливо сказал Линч,— разглагольствовать о красо-

[1] Филип Крэмптон (1777—1858) — известный дублинский хирург.

те и воображении на этом несчастном, богом покинутом острове. Неудивительно, что художник убрался восвояси, сотворив такое безобразие.

Дождь усилился. Когда они дошли до ворот ирландской Королевской академии, то увидели кучку студентов, укрывшихся от дождя под аркой библиотеки. Прислоняясь к колонне, Крэнли ковырял спичкой в зубах, слушая товарищей. Несколько девушек стояли около входной двери. Линч шепнул Стивену:

— Твоя милая здесь.

Не обращая внимания на дождь, который все усиливался, Стивен молча занял место ступенькой ниже группы и время от времени бросал взгляды в ее сторону. Она тоже стояла молча среди своих подруг. «Нет священника — не с кем пофлиртовать»,— с горечью подумал он, вспомнив, как видел ее в последний раз. Линч был прав. Его сознание обретало силу только в теоретических рассуждениях, вне их оно погружалось в безучастный покой.

Он прислушался к разговору студентов. Они говорили о двух товарищах с медицинского факультета, которые только что сдали выпускные экзамены, о возможности устроиться на океанском пароходе, о доходной и недоходной практике.

— Все это ерунда. Практика в ирландской деревне гораздо выгоднее.

— Хайнз пробыл два года в Ливерпуле, и он тоже так считает. Ужасная, говорит, дыра. Ничего, кроме акушерства.

— Что ж, по-твоему, лучше работать в деревне, чем в таком богатом городе? У меня есть приятель...

— У Хайнза просто мозгов не хватает. Он всегда брал зубрежкой, одной зубрежкой.

— Да ну его... Конечно, в большом торговом городе отлично можно заработать.

— Все зависит от практики.

— Ego credo ut vita pauperum est simpliciter atrox, simpliciter sanguinarius atrox, in Liverpoolio [1].

Их голоса долетали до его слуха как бы издалека, то и дело прерываясь. Она собралась уходить с подругами.

Короткий, легкий ливень прошел, повиснув алмазными гроздьями на кустах во дворике, от почерневшей земли уже поднимался пар. Девушки постукивали каблучками; они стояли на ступеньках колоннады, весело и спокойно переговаривались, поглядывая на облака, ловко подставляли зонтики под последние редкие капли, снова закрывали их и кокетливо приподнимали подолы юбок.

Не слишком ли строго он судил ее? А что, если она нанизывает часы своей жизни, как четки, и живет жизнью простой, чуждой нам, как жизнь птицы,— веселая утром, неугомонная днем, усталая на закате? И сердце у нее такое же простое и своенравное, как у птицы?

■

На рассвете он проснулся. О, какая сладостная музыка! Душа его была росно-влажная. Бледные, прохладные волны света скользили по его спящему телу. Он лежал тихо, а душа его словно покоилась на прохладных волнах, внимая негромкой, сладостной музыке. Рассудок медленно пробуждался, готовясь вобрать в себя трепетное утреннее знание, утреннее вдохновение. Его наполнял дух чистый, как чистейшая вода, сладостный, как роса, стремительный, как музыка. Этот дух так нежен, так сладостен, словно серафимы дохнули на него. Душа пробуждалась медленно, боясь проснуться совсем. Это был тот безветренный, рассветный час, когда просыпается безумие, и странные растения раскрываются навстречу свету, и беззвучно вылетают мотыльки.

Завороженность сердца! Ночь была завороженной. Во сне или наяву он познал экстаз серафической жизни. Как долго длилась эта завороженность: только один колдовской миг или долгие часы, годы, века?

Миг вдохновенья, казалось, теперь отражался сразу со всех сторон от множества облачных случайностей, от того, что было или могло быть. Миг сверкнул, как вспышка

[1] Я думаю, беднякам в Ливерпуле живется просто ужасно, чертовски скверно (*лат.*).

света, и вот от облака к облаку случайная, неясная форма мягко окутывает его сияющий след. О, в девственном лоне воображения Слово обретает плоть. Архангел Гавриил сошел в обитель Девы [1]. Сияющий след разливался в его душе, откуда, разливаясь розовым знойным светом, вырывалось белое пламя. Розовый знойный свет — это ее своенравное, непостижимое сердце: его никогда не знали прежде и не узнают потом, непостижимое и своевольное от века. И соблазненные этим знойным розовым сиянием сонмы серафимов падают с небес.

Ты не устала в знойных лучах
Падшего духа манить за собой?
Память, усни в завороженных днях.

Из глубины сознания стихи устремились к губам, и, бормоча их, он чувствовал, как возникает ритм вилланеллы[2]. Розовое сияние источало вспышки рифм: лучах, очах, днях. Вспышки воспламеняли мир, сжигали сердца людей и ангелов; лучи розы, которая была ее своенравным сердцем.

Сердце сгорает в твоих очах,
Властвуешь ты над его судьбой.
Ты не устала в знойных лучах?

А дальше? Ритм замер, замолк, снова начал расти и биться. А дальше? Дым, фимиам, возносящийся с алтаря мира.

Дым фимиама плывет в небесах
От суши, и глуби, и шири морской.
Память, усни в завороженных днях...

Дым курений поднимается со всей земли, от окутанных испарениями океанов — фимиам во славу Ей! Земля — как мерно раскачивающееся кадило, шар с фимиамом, эллипсоидальный шар. Ритм внезапно замер. Вопль сердца оборвался. И снова и снова губы его бормотали первую строфу. Потом, путаясь, прошептали еще несколько строк, запнулись и смолкли. Вопль сердца оборвался.

Туманный, безветренный час миновал, и за стеклом незанавешенного окна уже занимался утренний свет. Где-то вдали слабо ударил колокол. Чирикнула птица, вот еще, еще... Потом колокол — и птицы смолкли; тусклый, белесый свет разливался на востоке и западе, застилая весь мир, застилая розовое сияние в его сердце.

Боясь позабыть, он быстро приподнялся на локте, отыскивая бумагу и карандаш. На столе ничего не было, кроме глубокой тарелки, на которой он ел за ужином рис, и подсвечника с оплывшим огарком и кружком обгоревшей бумаги. Он устало протянул руку к спинке кровати и стал шарить в карманах висевшей на ней куртки. Пальцы нащупали карандаш и пачку сигарет. Он снова лег, разорвал пачку, положил последнюю папиросу на подоконник и начал записывать куплеты вилланеллы мелкими четкими буквами на жестком картоне.

Записав стихи, он откинулся на смятую подушку и снова начал бормотать их. Комки сбившихся перьев в подушке у него под головой напомнили ему комки свалявшегося конского волоса в ее диване в гостиной, где он обычно сидел — то улыбаясь, то задумавшись, и спрашивал себя, зачем он пришел сюда, недовольный и ею и собой, смущенный литографией святого сердца Иисусова над пустым буфетом. Разговор смолкает, она подходит к нему и просит спеть какую-нибудь из его прелестных песенок. Он садится за старое пианино, перебирает пожелтевшие клавиши, и на фоне вновь возобновившейся болтовни поет ей — а она стоит у камина — изящную песенку елизаветинских времен, грустную и нежную жалобу разлуки, песню победы при Азенкуре, милую песенку «Зеленые рукава». Пока он поет, а она слушает или делает вид, что слушает, сердце его спокойно, но когда изящные старинные песенки кончаются и он снова слышит разговор в комнате, ему вспоминается собственное ехидное замечание — про дом, где молодых людей чересчур скоро начинают называть запросто, по имени.

В какие-то минуты ее глаза, казалось, вот-вот доверятся ему, но он ждал напрас-

[1] Имеется в виду Благовещение — архангел Гавриил явился к деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Иисуса Христа. Стивен использует этот образ как метафору для творческого акта — зачатия Слова.

[2] Вилланелла — первоначально пастушеская песня в средневековой французской и итальянской народной поэзии; характеризуется трехстрочной строфой и повторами.

но. Теперь в его воспоминаниях она проносилась в легком танце, как в тот вечер, когда он увидел ее на маскараде, в развевающемся белом платье, с веткой белых цветов в волосах. Танцуя, она приближалась к нему. Она смотрела чуть-чуть в сторону, и легкий румянец алел на ее щеках. А когда цепь хоровода сомкнулась, ее рука на мгновение мягким нежным подарком легла ему на руку.

— Вас давно нигде не видно.

— Да, я от природы монах.

— Боюсь, что вы еретик.

— Вас это очень пугает?

Вместо ответа она, танцуя, удалялась от него вдоль цепи рук, легко, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка кивала в такт ее движениям. А когда она попадала в полосу тени, румянец на ее щеках вспыхивал еще ярче.

Монах! Его собственный образ предстал перед ним: осквернитель монашеского звания, еретик-францисканец, то желающий, то зарекающийся служить, плетущий, подобно Герардино да Борго Сан-Доннино [1], зыбкую паутину софизмов и нашептывающий их ей на ухо.

Нет, это не его образ. Это скорее образ молодого священника, с которым он видел ее последний раз и на которого она нежно смотрела, теребя страницы своего ирландского разговорника.

— Дамы ходят нас слушать. Да, да! Я убеждаюсь в этом каждодневно. Дамы с нами. Они самые надежные союзницы ирландского языка.

— А церковь, отец Морен?

— Церковь тоже. И церковь с нами. Там тоже идет работа, насчет церкви не беспокойтесь.

Тьфу! Он правильно поступил тогда, с презрением покинув комнату. Правильно поступил, что не поклонился ей на лестнице в библиотеке, правильно, что предоставил ей кокетничать со священником, заигрывать с церковью, этой судомойкой христианства.

Грубая, неистовая злоба вырвала из его души последний, еле теплящийся там миг экстаза, вдребезги разбила ее светлый образ и расшвыряла осколки по сторонам. Со всех сторон изуродованные отражения ее образа всплывали в его памяти: цветочница в оборванном платье со слипшимися жесткими волосами и лицом шлюхи, та, что назвала себя бедной девушкой и приставала к нему, упрашивая купить букетик; служанка из соседнего дома, которая, гремя посудой, пела, подвывая на деревенский лад первые куплеты «Среди гор и озер Килларни»; девушка, которая засмеялась над ним, когда он споткнулся, зацепившись рваной подметкой за железную решетку на тротуаре у Корк-хилла; девушка с маленьким пухлым ротиком, на которую он загляделся, когда она выходила из ворот кондитерской фабрики, и которая, обернувшись, крикнула ему через плечо: «Эй, ты, патлатый, с мохнатыми бровями, нравлюсь я тебе?»

И все же он чувствовал, что, как ни унижай ее образ, как ни издевайся над ним, сама его злоба была своего рода поклонением ей. Он тогда ушел из класса, полный презрения, но оно было не совсем искренним, ибо он чувствовал, что за темными глазами, на которые длинные ресницы бросали живую тень, быть может, скрывается тайна ее народа. Бродя тогда по улицам, он твердил, что она — прообраз женщин ее страны, душа, подобная летучей мыши, пробуждающаяся к сознанию в темноте, в тайне и в одиночестве, душа, которая пока еще медлит, бесстрастная и безгрешная, со своим робким возлюбленным и покидает его, чтобы прошептать свои невинные грешки в приникшее к решетке ухо священника. Его злоба против нее вылилась в грубые насмешки над ее возлюбленным, чье имя, голос и лицо оскорбляли его униженную гордость: поп из мужиков, у которого один брат полисмен в Дублине, а другой — кухонный подручный в кабаке в Мойкаллене [2]. И этому человеку она откроет стыдливую наготу своей души, тому, кто только и заучил, как надо

---

[1] Герардино да Борго Сан Доннино (? 1276) известен как строгий аскет. В истории его жизни нет свидетельств о любовных связях.

[2] Небольшой городок на западе Ирландии.

гыполнять церковный обряд, а не ему, служителю бессмертного воображения, претворяющему насущный хлеб опыта в сияющую плоть вечно живой жизни?

Сияющий образ причастия мгновенно соединил его горькие, отчаянные мысли, и они слились в благодарственный гимн:

В стонах прерывистых, в скорбных мольбах
Гимн претворенья плывет над землей.
Ты не устала в злобных лучах?

Вот моя жертва в простертых руках,
Чаша наполнена жизнью живой.
Память, усни в завороженных днях...

Он повторял стихи вслух до тех пор, пока их музыка и ритм не наполнили его сознание и не успокоили его; потом он тщательно переписал их, чтобы лучше почувствовать, и, прочитав глазами, опять откинулся на подушку.

Уже совсем рассвело. Кругом не было слышно ни звука, но он знал, что жизнь рядом вот-вот проснется привычным шумом: грубыми голосами, сонными молитвами. И, прячась от этой жизни, он повернулся лицом к стене, натянув, как капюшон, одеяло на голову, и принялся рассматривать большие поблекшие алые цветы на рваных обоях. Он старался оживить свою угасающую радость их алым сиянием, представляя себе, что это розовый путь отсюда к небу, усыпанный алыми цветами. Как он устал! Как устал! И он тоже устал от их злобных лучей!

Ощущение тепла, томной усталости охватило его, спускаясь по позвонкам по всему телу от плотно закутанной в одеяло головы. Он чувствовал, как оно разливается, и, отдавшись ему, улыбнулся. Сейчас он заснет.

Спустя десять лет он снова посвятил ей стихи. Десять лет тому назад шаль капюшоном окутывала ей голову, пар от ее теплого дыхания клубился в ночном воздухе, башмачки громко стучали по замерзшей дороге. То была последняя конка, гнедые облезлые лошади чувствовали это, встряхивая бубенчиками. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головами в зеленом свете фонаря. Они стояли на ступеньках конки: он на верхней, она на нижней ступеньке. Разговаривая, она несколько раз заносила ногу на его ступеньку и снова опускалась на свою, а раз или два осталась около него, забыв опуститься, но потом все же опустилась. Ну и пусть. Ну и пусть.

Десять лет прошло с мудрой поры детства до теперешнего безумия. А что, если послать ей стихи? Их будут читать вслух за утренним чаем, под стук чайных ложек об яичную скорлупу. Вот уж поистине безумие! Ее братья, хихикая, будут вырывать листок друг у друга грубыми, жесткими пальцами. Сладкоречивый священник, ее дядя, сидя в кресле и держа перед собой листок на вытянутой руке, прочтет их, улыбаясь, и одобрит литературную форму.

Нет, нет, это безумие! Даже если он пошлет ей стихи, она не покажет их другим. Нет, нет, она не способна на это.

Ему начало казаться, что он несправедлив к ней. Уверенность в ее невинности трогала его, вызывая в нем чуть ли не чувство жалости; невинность, о которой он не имел представления до тех пор, пока не познал ее через грех, невинность, о которой и она не имела представления, пока была невинной или пока странная унизительная немочь женской природы не открылась ей в первый раз. Только тогда, впервые, пробудилась к жизни ее душа, как и его душа пробудилась к жизни, когда он согрешил в первый раз. Его сердце переполнилось нежным состраданием, когда он вспомнил ее хрупкую бледность, ее глаза, огорченные, униженные темным стыдом пола.

Где была она в то время, как его душа переходила от экстаза к томлению? Может быть, неисповедимыми путями духовной жизни в те самые минуты ее душа чувствовала его преклонение. Может быть.

Жар желания снова запылал в нем, зажег и охватил все тело. Чувствуя его желание, она — соблазнительница в его виланелле — пробуждалась от благоуханного сна. Ее черные, томные глаза открывались навстречу его глазам. Она отдавалась ему,

нагая, лучезарная, теплая, благоуханная, щедрая, обволакивая его, как сияющее облако, обволакивая, как живая вода; и словно из тумана, обтекающего пространство, полились плавные звуки речи — символы самой сути тайны:

Ты не устала в знойных лучах
Падшего духа манить за собой?
Память, усни в завороженных днях.

Сердце сгорает в твоих очах,
Властвуешь ты над его судьбой.
Память, усни в завороженных днях.

Дым фимиама плывет в небесах
От тверди, и глуби, и шири морской.
Память, усни в завороженных днях.

В стонах прерывистых, в скорбных мольбах
Гимн претворенья плывет над землей.
Ты не устала в знойных лучах?

Вот моя жертва в простертых руках,
Чаша наполнена жизнью живой.
Память, усни в завороженных днях.

Но все ты стоишь в истомленных очах,
И томный твой взор манит за собой.
Ты не устала в знойных лучах?
Память, усни в завороженных днях.

■

Что это за птицы? Устало опираясь на ясеневую трость, он остановился на ступеньках библиотеки поглядеть на них. Они кружили, кружили над выступающим углом дома на Мулсворт-стрит. В воздухе позднего мартовского вечера четко выделялся их полет, их темные, стремительные, трепещущие тельца проносились, четко выступая на небе, как на зыбкой ткани дымчатого, блекло-синего цвета.

Он следил за их полетом: птица за птицей, темный взмах, взлет, трепетанье крыльев. Попробовал считать, пока не пронеслись их стремительные, трепещущие тельца: шесть, десять, одиннадцать... И загадал про себя — чет или нечет. Двенадцать, тринадцать... а вот еще две, описывая круги, спустились ближе к земле. Они летели то высоко, то низко, но все кругами, кругами, то спрямляя, то закругляя линию полета и все время слева направо облетая воздушный храм.

Он прислушался к их крику: словно писк мыши за обшивкой стены — пронзительная, надломленная нота. Но по сравнению с мышиным писком ноты эти куда протяжнее и пронзительнее; они понижаются то на терцию, то на кварту и вибрируют, когда летящие клювы рассекают воздух. Их пронзительный, четкий и тонкий крик падал, как нити шелкового света, разматывающиеся с жужжащего веретена.

Этот нечеловеческий гомон был отраден для его ушей, в которых неотступно звучали материнские рыдания и упреки, а темные, хрупкие, трепещущие тельца, кружащие, порхающие над землей, облетающие воздушный храм блеклого неба, радовали его глаза, перед которыми все еще стояло лицо матери.

Зачем он смотрит вверх со ступеней лестницы и слушает их пронзительные, надломленные крики, следя за их полетом? Какого знака он ждет: доброго или злого? Фраза из Корнелия Агриппы[1] промелькнула в его сознании, а за ней понеслись обрывки мыслей из Сведенборга[2] об аналогии между птицами и явлениями духовной жизни и о том, что эти воздушные создания обладают своей собственной мудростью и знают свои сроки и времена года, потому что в отличие от людей они следуют порядку своей жизни, а не извращают этот порядок разумом.

Веками, как вот он сейчас, глядели люди вверх на летающих птиц. Колоннада над ним смутно напоминала ему древний храм, а ясеневая палка, на которую он устало опирался,— изогнутый жезл авгура[3]. Чувство страха перед неизвестным шевельнулось в глубине его усталости — страха перед символами, и предвестиями, и перед

[1] Корнелий Агриппа (1486—1533) — немецкий философ, гуманист. Утверждал, будто птицы приносят счастье, если садятся справа и число их четное.

[2] Эмануэль Сведенборг (1688—1772) — шведский ученый-натуралист, мистик, прозванный северным Дедалом; в своих сочинениях высказывал соображение о соответствии полета птиц человеческим мыслям.

[3] Авгур — в Древнем Риме жрец-прорицатель, толковавший «волю богов» по пению и полету птиц.

ястребоподобным человеком, имя которого он носил,— человеком, вырвавшимся из своего плена на сплетенных из ивы крыльях; перед Тотом — богом писцов [1], что писал на табличке тростниковой палочкой и носил на своей узкой голове ибиса двурогий серп.

Он улыбнулся, представив себе этого бога, потому что бог этот напомнил ему носатого судью в парике, который расставляет запятые в судебном акте, держа его в вытянутой руке, и подумал, что не вспомнил бы имени этого бога, не будь оно похоже по звучанию на слово «мот». Вот оно — сумасшествие. Но не из-за этого ли сумасшествия он готов навсегда покинуть дом молитвы и благоразумия [2], в котором родился, и уклад жизни, из которого вышел.

Они снова пролетели с резкими криками над выступающим углом дома, темные на фоне бледнеющего неба. Что это за птицы? Вероятно, ласточки вернулись с юга. Значит, и ему пора уезжать, ведь они, птицы, прилетают и улетают, свивают недолговечные гнезда под крышами людских жилищ и покидают свои гнезда для новых странствований.

Склоните лица ваши, Уна и Алиль.
Гляжу на них, как ласточка глядит
Из гнездышка под кровлей, с ним прощаясь
Пред дальним странствием над зыбью шумных вод [3].

Тихая радость, подобно шуму набегающих волн, разлилась в его памяти, и он почувствовал в сердце тихий покой безмолвных блекнущих просторов неба над водной ширью, безмолвие океана и покой ласточек, летающих в сумерках над струящимися водами.

Тихая радость разлилась в этих словах, где мягкие и долгие гласные беззвучно сталкивались, распадались, набегали одна на другую и струились, раскачивая белые колокольчики волн в немом переливе, в немом перезвоне, в тихом замирающем крике; и он почувствовал, что предвестие, которого он искал в круговом полете птиц и в бледном просторе неба над собой, спорхнуло с его сердца, как птица с башни — стремительно и спокойно.

Что это — символ расставания или одиночества? Стихи, тихо журчащие на слуху его памяти, медленно воссоздали перед его вспоминающим взором сцену в зрительном зале в вечер открытия Национального театра [4]. Он сидел один в последнем ряду балкона, разглядывая утомленными глазами цвет дублинского общества в партере, безвкусные декорации и актеров, двигающихся точно куклы в ярких огнях рампы. У него за спиной стоял, обливаясь потом, дюжий полисмен, готовый в любой момент навести порядок в зале. Среди сидевших тут и там студентов то и дело поднимался неистовый свист, насмешливые возгласы, улюлюканье [5].

— Клевета на Ирландию!

— Немецкое производство!

— Кощунство!

— Мы нашей веры не продавали!

— Ни одна ирландка этого не делала!

— Долой доморощенных атеистов!

— Долой выкормышей буддизма!

Из окна сверху вдруг послышалось короткое шипенье, значит, в читальне зажгли свет. Он вошел в мягко освещенную колоннаду холла и, пройдя через щелкнувший турникет, поднялся по лестнице наверх.

---

[1] Тот — египетский бог писцов, луны, премудрости, времени, искусства. Изображается в виде человека с головой ибиса и с двурогим серпом.

[2] Так Джойс называет среднесословную, мещанскую Ирландию.

[3] Из пьесы известного ирландского поэта и драматурга У. Б. Йитса (1865—1939) «Графиня Кетлин» (1892).

[4] Имеется в виду Ирландский литературный театр, в 1904 г. переименованный в Театр аббатства, вокруг которого сгруппировались лучшие ирландские драматурги: У. Б. Йитс, Дж. Синг и другие. В 20-е годы ведущим драматургом Театра аббатства стал Шон О'Кейси.

[5] Герой вспоминает скандал, разразившийся на премьере пьесы У. Б. Йитса «Графиня Кетлин» в 1899 г. Кетлин, символизирующая Ирландию, продает душу дьяволу, чтобы спасти свой умирающий с голоду народ. Пьеса подверглась резкой критике со стороны ирландских националистов, обвинявших драматурга в искажении национального характера.

Крэнли сидел у полки со словарями. Перед ним на деревянной подставке лежала толстая книга, открытая на титульном листе. Он сидел откинувшись на спинку стула, приблизив ухо, как выслушивающий покаяние исповедник, к лицу студента-медика, который читал ему задачу из шахматной странички газеты. Стивен сел рядом с ним справа, священник по другую сторону стола сердито захлопнул свой номер «Тэблета» [1] и встал.

Крэнли рассеянно посмотрел ему вслед. Студент-медик продолжал, понизив голос:

— Пешка на e4.

— Давай лучше выйдем, Диксон,— сказал Стивен предостерегающе.— Он пошел жаловаться.

Диксон сложил газету и, с достоинством поднявшись, сказал:

— Наши отступают в полном порядке.

— Захватив оружие и скот,— прибавил Стивен, указывая на титульный лист лежавшей перед Крэнли книги, где было напечатано: «Болезни рогатого скота».

Когда они проходили между рядами столов, Стивен сказал:

— Крэнли, мне нужно с тобой поговорить.

Крэнли ничего не ответил и даже не обернулся. Он сдал книгу и пошел к выходу; его щеголеватые ботинки глухо стучали по полу. На лестнице он остановился и, глядя каким-то отсутствующим взглядом на Диксона, повторил:

— Пешка на чертово e4.

— Ну, если хочешь, можно и так,— ответил Диксон.

У него был спокойный, ровный голос, вежливые манеры, а на одном пальце пухлой чистой руки поблескивал перстень с печаткой.

В холле к ним подошел человечек карликового роста. Под грибом крошечной шляпы его небритое лицо расплылось в любезной улыбке, и он заговорил шепотом. Глаза же были грустные, как у обезьяны.

— Добрый вечер, джентльмены,— сказала волосатая обезьянья мордочка.

— Здорово тепло для марта,— сказал Крэнли,— наверху окна открыли.

Диксон улыбнулся и повертел перстень. Чернявая сморщенная обезьянья мордочка сложила человеческий ротик в приветливую улыбку, и голос промурлыкал:

— Чудесная погода для марта. Просто чудесная.

— Там наверху две юные прелестницы совсем заждались вас, капитан,— сказал Диксон.

Крэнли улыбнулся и приветливо сказал:

— У капитана только одна привязанность: сэр Вальтер Скотт. Не правда ли, капитан?

— Что вы теперь читаете, капитан? — спросил Диксон.— «Ламмермурскую невесту»?

— Люблю старика Скотта,— сказали податливые губы.— Слог у него — что-то замечательное. Ни один писатель не сравнится с сэром Вальтером Скоттом.

Он медленно помахивал в такт похвалам тонкой сморщенной коричневой ручкой. Его тонкие подвижные веки замигали, прикрывая грустные глазки.

Но еще грустнее было Стивену слышать его речь: жеманную, еле внятную, всю какую-то липкую, искаженную ошибками. Слушая, он спрашивал себя, правда ли то, что рассказывали о нем? Что его скудельная кровь благородна, а эта ссохшаяся оболочка — плод кровосмесительной любви?

Деревья в парке набухли от дождя, дождь шел медленно, не переставая, над серым, как щит, прудом. Здесь пронеслась стая лебедей, вода и берег были загажены белесовато-зеленой жижей. Они нежно обнимались, возбужденные серым дождливым светом, мокрыми неподвижными деревьями, похожим на щит соглядатаем-озером, лебедями. Они обнимались безрадостно, бесстрастно. Его рука обнимала сестру за шею, серая шерстяная шаль, перекинутая через плечо, окутала ее до талии, ее светлая головка поникла в стыдливой податливости. У него взлохмаченные медно-рыжие волосы и нежные, гибкие, сильные, веснушчатые руки. А лицо? Лица не видно. Лицо

[1] Английский католический еженедельник, известный своей реакционностью.

брата склонялось над ее светлыми, пахнувшими дождем волосами, рука — веснушчатая, сильная, гибкая и ласковая, рука Дейвина.

Он нахмурился, сердясь на свои мысли и на сморщенного человечка, вызвавшего их. В его памяти мелькнули отцовские остроты о шайке из Бантри[1]. Он отмахнулся от них и снова с тягостным чувством предался своим мыслям. Почему не руки Крэнли? Или простота и невинность Дейвина тайно манили его?

Он пошел с Диксоном через холл, предоставив Крэнли распрощаться с карликом.

У колоннады в небольшой кучке студентов стоял Темпл. Один студент крикнул:

— Диксон, иди-ка сюда и послушай. Темпл в ударе.

Темпл поглядел на него своими темными цыганскими глазами.

— Ты, О'Кифф, лицемер,— сказал он.— А Диксон — улыбальщик. А ведь это, черт возьми, хорошее литературное выражение.

Он лукаво засмеялся, заглядывая в лицо Стивену, и повторил:

— А правда, черт возьми, отличное прозвище — улыбальщик.

Толстый студент, стоявший на лестнице ниже ступенькой, сказал:

— Ты про любовницу доскажи, Темпл. Вот что нам интересно.

— Была у него любовница, честное слово,— сказал Темпл.— При этом он был женат. И попы ходили туда обедать. Да я думаю, все они, черт возьми, ее попробовали.

— Это, как говорится, трястись на кляче, чтобы сберечь рысака,— сказал Диксон.

— Признайся, Темпл,— сказал О'Кифф,— сколько кружек пива ты сегодня в себя влил?

— Вся твоя интеллигентская душонка в этой фразе, О'Кифф,— сказал Темпл с нескрываемым презрением.

Шаркающей походкой он обошел столпившихся студентов и обратился к Стивену:

— Ты знал, что Форстеры — короли Бельгии? — спросил он.

Вошел Крэнли в сдвинутой на затылок кепке, усердно ковыряя в зубах.

— А вот и наш кладезь премудрости,— заявил Темпл.— Скажи-ка, ты знал это про Форстера?

Он помолчал, дожидаясь ответа. Крэнли вытащил самодельной зубочисткой фиговое зернышко из зубов и уставился на него.

— Род Форстеров,— продолжал Темпл,— происходит от Болдуина Первого, короля Фландрии. Его звали Форестер. Форестер и Форстер — это одно и то же. Потомок Болдуина Первого, капитан Фрэнсис Форстер, обосновался в Ирландии, женился на дочери последнего вождя клана Брэссила. Есть еще черные Форстеры, но это другая ветвь.

— От Обалдуя, короля Фландрии,— сказал Крэнли, снова задумчиво ковыряя в ослепительно белых зубах.

— Откуда ты все это выкопал? — спросил О'Кифф.

— Я знаю также историю вашего рода,— сказал Темпл, обращаясь к Стивену.— Знаешь ли ты, что говорит о нем Гиральд Камбрийский?[2]

— Он что, тоже от Болдуина произошел? — спросил высокий чахоточного вида студент с темными глазами.

— От Обалдуя,— повторил Крэнли, высасывая что-то из щели между зубами.

— Pernobilis et pervetusta familia[3], — сказал Темпл Стивену.

---

[1] Тимоти Майкл Салливен (1827—1914) и его племянник Тимоти Майкл Хили (1855—1931), оба из Бантри — юго-запад Ирландии, сторонники Парнелла, пока он был «некоронованным королем Ирландии», впоследствии предавшие его.

[2] Гиральд Камбрийский, собственно Джеральд Барри (1146—1220),— валлийский летописец, автор трудов «Завоевание Ирландии» и «Топография Ирландии».

[3] Благороднейший древний род (*лат.*).— так летописец называет английский род Фитц-Стивенов, не имеющий никакого отношения к семье Стивена Дедалуса и сыгравший значительную роль в покорении Ирландии. Темпл намекает на интерес Стивена к английской культуре и его нежелание примкнуть к ирландскому национальному движению.

Дюжий студент на нижней ступеньке пукнул. Диксон повернулся к нему и тихо спросил:

— Ангел заговорил?

Крэнли тоже повернулся и внушительно, но без злобы сказал:

— Знаешь, Гоггинс, ты самая что ни на есть грязная скотина во всем мире.

— Я выразил то, что хотел сказать,— решительно ответил Гоггинс,— никому от этого вреда нет.

— Будем надеяться,— сказал Диксон сладким голосом,— что это не то же самое, что изрекают о научных открытиях paulo post futurum [1].

— Ну, разве я вам не говорил, что он улыбальщик,— сказал Темпл, поворачиваясь то направо, то налево,— разве я не придумал ему это прозвище?

— Слышали, не глухие,— сказал высокий чахоточный.

Крэнли, все еще хмурясь, грозно смотрел на дюжего студента, стоявшего на ступеньку ниже. Потом с отвращением фыркнул и пихнул его.

— Пошел вон,— крикнул он грубо,— проваливай, вонючая посудина. Вонючий горшок.

Гоггинс соскочил на дорожку, но сейчас же, смеясь, вернулся на прежнее место. Темпл, оглянувшись на Стивена, спросил:

— Ты веришь в закон наследственности?

— Ты что, пьян? — спросил Крэнли, в полном недоумении уставившись на него.

— Самое глубокое изречение,— с жаром продолжал Темпл,— написано в конце учебника зоологии: воспроизведение есть начало смерти.

Он робко коснулся локтя Стивена и восторженно сказал:

— Ты ведь поэт, ты должен чувствовать, как это глубоко!

Крэнли ткнул в его сторону длинным указательным пальцем.

— Вот, посмотрите,— сказал он с негодованием.— Полюбуйтесь — надежда Ирландии!

Его слова и жест вызвали общий смех. Но Темпл храбро повернулся к нему и сказал:

— Ты, Крэнли, всегда издеваешься надо мной. Я это прекрасно вижу. Но я ничуть не хуже тебя. Знаешь, что я думаю, когда сравниваю тебя с собой?

— Дорогой мой,— вежливо сказал Крэнли,— но ведь ты неспособен, абсолютно неспособен думать.

— Так вот, хочешь знать, что я думаю о тебе, когда сравниваю нас? — продолжал Темпл.

— Выкладывай, Темпл,— крикнул толстый со ступеньки,— да поживей!

Жестикулируя, Темпл поворачивался то направо, то налево.

— Я дерьмо,— сказал он, безнадежно мотая головой.— Я знаю это. И признаю.

Диксон легонько похлопал его по плечу и ласково сказал:

— Это делает тебе честь, Темпл.

— Но он,— продолжал Темпл, показывая на Крэнли,— он такое же дерьмо, как и я. Только он этого не знает, вот и вся разница.

Взрыв хохота заглушил его слова, но он опять повернулся к Стивену и с внезапной горячностью сказал:

— Это очень любопытное слово, его происхождение тоже очень любопытно.

— Да? — рассеянно сказал Стивен.

Он смотрел на мужественное, страдальческое лицо Крэнли, который сейчас принужденно улыбался. Грубое слово, казалось, стекло с его лица, как стекает грязная вода, выплеснутая на свыкшееся с унижениями старинное изваяние. Наблюдая за ним, он увидел, как Крэнли поздоровался с кем-то, приподнял кепку, обнажив голову с черными жесткими волосами, торчащими надо лбом, как железный венец [2].

Она вышла из библиотеки и, не взглянув на Стивена, ответила на поклон Крэнли. Как? И он тоже? Или ему показалось, будто щеки Крэнли слегка вспыхнули? Или это от слов Темпла? Уже совсем смеркалось. Он не мог разглядеть.

---

[1] Несколько преждевременно (*лат.*).

[2] Стивен вспоминает средневековое орудие пытки — железную раскаленную корону, которую надевали на голову предателям и самозванцам.

Может быть, этим и объяснялось безучастное молчание его друга, грубые замечания, неожиданные выпады, которыми он так часто обрывал пылкие, сумасбродные признания Стивена? Стивен легко прощал ему — ведь в нем самом тоже была эта грубость. Вспомнилось, как однажды вечером в лесу, около Малахайда, он сошел со скрипучего, одолженного им у кого-то велосипеда, чтобы помолиться богу. Он воздел руки и молился в экстазе, устремив взор на темную чащу деревьев, зная, что он стоит на священной земле, в священный час. А когда два полисмена показались из-за поворота темной дороги, он прервал молитву и громко засвистел какой-то мотивчик из модной пантомимы.

Он начал постукивать стертым концом ясеневой трости по цоколю колонны. Может быть, Крэнли не слышал его? Что ж, он подождет. Разговор на мгновение смолк, и тихое шипение опять донеслось из окна сверху. Но больше в воздухе не слышалось ни звука, а ласточки, за полетом которых он праздно следил, уже спали.

Она ушла в сумерки. И потому все стихло кругом, если не считать короткого шипения, доносившегося сверху. И потому смолкла рядом болтовня. Тьма ниспадала на землю.

«Тьма ниспадает с небес»...[1]

Трепетная, мерцающая, как слабый свет, радость закружилась вокруг него волшебным роем эльфов. Но отчего? Оттого ли, что она прошла в сумеречном воздухе, или это строка стиха с его черными гласными и полным открытым звуком, который льется, как звук лютни?

Он медленно пошел вдоль колоннады, углубляясь в ее сгущающийся мрак, тихонько постукивая тростью по каменным плитам, чтобы скрыть от оставшихся позади студентов свое мечтательное забытье и, дав волю воображению, представил себе век Даулеида, Берда и Нэша [2].

Глаза, раскрывающиеся из тьмы желания, глаза, затмевающие утреннюю зарю. Что такое их томная прелесть, как не разнеженность похоти? А их мерцающий блеск — не блеск ли это нечистот в сточной канаве двора слюнтяя Стюарта? [3] Языком памяти он отведывал ароматные вина, ловил замирающие обрывки нежных мелодий горделивой паваны, а глазами памяти видел уступчивых знатных дам в лоджиях Ковент-Гардена [4] их манящие алчные губы, видел рябых девок из таверн и молодых жен, радостно отдающихся своим соблазнителям, переходящих из объятий в объятия.

Образы, вызванные им, не доставили ему удовольствия. В них было что-то тайное, разжигающее, но ее образ был далек от всего этого. Так о ней нельзя думать. Да он так и не думал. Значит, мысль его не может довериться самой себе? Старые фразы, зловонно-сладостные, как фиговые зернышки, которые Крэнли выковыривает из щелей между своими ослепительно белыми зубами.

То была не мысль и не видение, хотя он смутно знал, что сейчас она идет по городу домой. Сначала смутно, а потом сильнее он ощутил запах ее тела. Знакомое волнение закипало в крови. Да, это запах ее тела: волнующий, томительный запах; теплое тело, овеянное музыкой его стихов, и скрытое от взора мягкое белье, насыщенное благоуханием и росой ее плоти.

Он почувствовал, как у него по затылку ползет вошь; ловко просунув большой и указательный палец за отложной воротник, он поймал ее, покатал секунду ее мягкое, но ломкое, как зернышко риса, тельце и отшвырнул от себя, не зная, жива она или нет. Ему вспомнилась забавная фраза из Корнелия а Лапиде [5], в которой говорится, что вши, рожденные человеческим потом, не были созданы богом вместе со всеми зверями на шестой день. Зуд кожи на шее раздражил и озлобил его. Жизнь тела, плохо одетого,

---

[1] Искаженная Стивеном строка из стихотворения английского поэта Томаса Нэша (1567—1601) «Молитва во время чумы».

[2] Век Даулеида, Берда, Нэша - английское Возрождение. Джон Даулеид (1563 - 1626) и Уильям Берд (1543 - 1623) - композиторы и музыканты этого периода.

[3] Яков I Стюарт (род. в 1566 г.) — король Англии и Ирландии. Его правление (1603—1625) связывают с угасанием духа Возрождения. Джойс называет его «слюнтяем» из-за нерешительной и крайне противоречивой внутренней и внешней политики.

[4] Ковент-Гарден — площадь в Лондоне, на которой расположен большой фруктовый, овощной и цветочный рынок. В 1630 г. архитектор Иниго Джонс построил по сторонам площади лоджии. Позже район приобрел известность благодаря оперному театру, построенному здесь в 1732 г.

[5] Корнелий а Лапиде (1567—1637) — католический богослов, иезуит, комментатор Библии.

плохо кормленного, изъеденного вшами, заставила его зажмуриться, поддавшись внезапному приступу отчаяния, и в темноте он увидел, как хрупкие, светлые тельца вшей падают и крутятся в воздухе. Но ведь это вовсе не тьма ниспадает с неба. А свет.

«Свет ниспадает с небес»...

Он даже не мог правильно вспомнить строчку из Нэша. Все образы, вызванные ею, были ложными. В воображении его завелись гниды. Его мысли — это вши, рожденные пóтом неряшливости.

Он быстро зашагал обратно вдоль колоннады к группе студентов. Ну и хорошо! И черт с ней! Пусть себе любит какого-нибудь чистоплотного атлета с волосатой грудью, который моется каждое утро до пояса. На здоровье!

Крэнли вытащил еще одну сушеную фигу из кармана и стал медленно и громко жевать ее. Темпл сидел, прислонясь к колонне, надвинув фуражку на осовелые глаза. Из здания вышел коренастый молодой человек с кожаным портфелем под мышкой. Он зашагал к компании студентов, громко стуча по каменным плитам каблуками и железным наконечником большого зонта. Подняв зонт в знак приветствия, он сказал, обращаясь ко всем:

— Добрый вечер, джентльмены.

Потом опять стукнул зонтом о плиты и захихикал, а голова его затряслась мелкой первической дрожью. Высокий чахоточный студент, Диксон и О'Кифф увлеченно разговаривали по-ирландски и не ответили ему. Тогда, повернувшись к Крэнли, он сказал:

— Добрый вечер, особенно тебе!

Ткнул зонтом в его сторону и опять захихикал. Крэнли, который все еще жевал фигу, ответил, громко чавкая:

— Добрый? Да, вечер недурной.

Коренастый студент внимательно посмотрел на него и тихонько и укоризненно помахал зонтом.

— Мне кажется,— сказал он,— ты изволил заметить нечто самоочевидное.

— Угу! — ответил Крэнли и протянул наполовину изжеванную фигу к самому рту коренастого студента, как бы предлагая ему доесть.

Коренастый есть не стал, но, довольный собственным остроумием, важно спросил, не переставая хихикать и постукивать зонтом:

— Следует ли понимать это?..

Он остановился, показывая на изжеванный огрызок фиги, и громко добавил:

— Я имею в виду это.

— Угу! — снова промычал Крэнли.

— Следует ли разуметь под этим,— сказал коренастый,— ipso factum[1] или нечто иносказательное?

Диксон, отходя от своих собеседников, сказал:

— Глинн, тебя тут Гоггинс ждал. Он пошел в «Адельфи»[2] искать вас с Мойнихеном. Что это у тебя здесь? — спросил он, хлопнув по портфелю, который Глинн держал под мышкой.

— Экзаменационные работы,— ответил Глинн.— Я их каждый месяц экзаменую, чтобы видеть результаты своего преподавания.

Он тоже похлопал по портфелю, тихонько кашлянул и улыбнулся.

— Преподавание! — грубо вмешался Крэнли.— Несчастные босоногие ребятишки, которых обучает такая мерзкая обезьяна, как ты. Помилуй их, господи!

Он откусил еще кусок фиги и отшвырнул огрызок прочь.

— Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им,— сказал Глинн сладким голосом.

— Мерзкая обезьяна! — еще резче сказал Крэнли.— Да еще богохульствующая мерзкая обезьяна!

Темпл встал и, оттолкнув Крэнли, подошел к Глинну.

— Эти слова, которые вы сейчас произнесли,— сказал он,— из Евангелия: не возбраняйте детям приходить ко мне.

— Ты бы поспал еще, Темпл,— сказал О'Кифф.

---

[1] Буквально: это самое (*лат.*).
[2] «Адельфи» — гостиница в Дублине.

— Так вот, я хочу сказать,— продолжал Темпл, обращаясь к Глинну,— Иисус не возбранял детям приходить к нему. Почему же церковь отправляет их всех в ад, если они умирают некрещеными? Почему, а?

— А сам-то ты крещеный, Темпл? — спросил чахоточный студент.

— Нет, почему же все-таки их отправляют в ад, когда Иисус говорил, чтобы они приходили к нему? — повторил Темпл, буравя Глинна глазами.

Глинн кашлянул и тихо проговорил, с трудом удерживая нервное хихиканье и взмахивая зонтом при каждом слове:

— Ну, а если это так, как ты говоришь, я позволяю себе столь же внушительно спросить, откуда взялась сия «такость»?

— Потому что церковь жестока, как все старые грешницы,— сказал Темпл.

— Ты придерживаешься ортодоксальных взглядов на этот счет, Темпл? — вкрадчиво спросил Диксон.

— Святой Августин [1] говорит, что некрещеные дети попадут в ад,— отвечал Темпл,— потому что он сам тоже был старый жестокий грешник.

— Ты, конечно, дока,— сказал Диксон,— но я все-таки всегда считал, что для такого рода случаев существует лимб.

— Не спорь ты с ним, Диксон,— с негодованием вмешался Крэнли.— Не говори с ним, не смотри на него, а лучше всего уведи его домой на веревке, как блеющего козла.

— Лимб! — воскликнул Темпл.— Вот еще тоже замечательное изобретение! Все тот же ад!

— Но без его неприятностей,— заметил Диксон.

Улыбаясь, он повернулся к остальным и сказал:

— Надеюсь, что я выражаю мнение всех присутствующих.

— Разумеется,— сказал Глинн решительно.— Ирландия на этот счет единодушна.

Он стукнул наконечником своего зонта по каменному полу колоннады.

— Ад,— сказал Темпл.— Эту выдумку серолицей супружницы сатаны [2] я могу уважать. Ад — это нечто римское, столь же уродливое, как и сами римские стены. Но вот что такое лимб?

— Уложи его обратно в колыбельку! — крикнул О'Кифф.

Крэнли быстро шагнул к Темплу, остановился и, топнув ногой, шикнул, как на курицу:

— Кш!..

Темпл проворно отскочил в сторону.

— А вы знаете, что такое лимб? — закричал он.— Знаете, как называются у нас в Роскомоне [3] такие вещи?

— Кш!.. Пошел вон! — закричал Крэнли, хлопая в ладоши.

— Ни задница, ни локоть,— презрительно крикнул Темпл,— вот что такое ваше чистилище.

— Дай-ка мне сюда палку,— сказал Крэнли.

Он вырвал ясеневую трость из рук Стивена и ринулся вниз по лестнице, но Темпл, услышав, что за ним гонятся, помчался в темноте, как ловкий и быстроногий зверь. Тяжелые сапоги Крэнли загромыхали по площадке и потом грузно простучали обратно, на каждом шагу разбрасывая щебень.

Шаги были злобные, и злобным, резким движением он сунул палку обратно в руки Стивена. Стивен почувствовал, что за этой злобой скрывается какая-то особая причина, но с притворной терпимостью он чуть тронул Крэнли за руку и спокойно сказал:

— Крэнли, я же тебе говорил, что мне надо с тобой посоветоваться. Идем.

Крэнли молча смотрел на него несколько секунд, потом спросил:

— Сейчас?

— Да, сейчас,— сказал Стивен.— Здесь не место для разговора. Ну идем же.

---

[1] Августин Блаженный Аврелий (354 430) — виднейший христианский теолог, один из отцов церкви.

[2] Подразумевается дочь и жена Сатаны — Греховность. Этот образ использован Дж. Мильтоном в «Потерянном рае».

[3] Роскомон — графство и город в Ирландии.

Они пересекли дворик. Мотив птичьего свиста из «Зигфрида»[1] мягко прозвучал им вдогонку со ступенек колоннады. Крэнли обернулся, и Диксон, перестав свистеть, крикнул:

— Куда это вы, друзья? А как насчет нашей партии, Крэнли?

Они стали уговариваться, перекликаясь в тихом воздухе, насчет партии в биллиард в гостинице «Адельфи». Стивен пошел вперед один и, очутившись в тишине Килдер-стрит против гостиницы «Под кленом», остановился и снова стал терпеливо ждать. Название гостиницы, бесцветность полированного дерева, бесцветный фасад здания кольнули его, как учтиво-презрительный взгляд. Он сердито смотрел на мягко освещенный холл гостиницы, представляя себе, как там, в мирном покое, гладко течет жизнь ирландских аристократов. Они думают о повышениях по службе и армии, об управляющих поместьями; крестьяне низко кланяются им на проселочных дорогах; они знают названия разных французских блюд и отдают приказания слугам писклявым, крикливым голосом, но в их высокомерном тоне сквозит провинциальность.

Как растормошить их, как завладеть воображением их дочерей до того, как они понесут от своих дворянчиков и вырастят потомство не менее жалкое, чем они сами. И в сгущающемся сумраке он чувствовал, как помыслы и надежды народа, к которому он принадлежал, мечутся, словно летучие мыши в темных деревенских поселках, под купами деревьев, над водой, над трясинами болот. Женщина ждала в дверях, когда Дейвин шел ночью по дороге. Она предложила ему кружку молока и позвала разделить с ней ложе, потому что у Дейвина кроткие глаза человека, умеющего хранить тайну. А вот его никогда не звали женские глаза.

Кто-то крепко схватил его под руку, и голос Крэнли сказал:

— Изыдем.

Они шли молча. Потом Крэнли сказал:

— Этот проклятый идиот Темпл! Клянусь богом, я когда-нибудь убью его.

Но в голосе его уже не было злобы. И Стивен спрашивал себя: не вспоминает ли он, как она поздоровалась с ним под колоннадой?

Они повернули налево и пошли дальше. Некоторое время оба шли все так же молча, потом Стивен сказал:

— Крэнли, у меня сегодня произошла пренеприятная ссора.

— С домашними? — спросил Крэнли.

— С матерью.

— Из-за религии?

— Да,— ответил Стивен.

— Сколько лет твоей матери? — помолчав, спросил Крэнли.

— Не старая еще,— ответил Стивен.— Она хочет, чтоб я причастился на пасху.

— А ты?

— Не стану.

— А собственно, почему?

— Не буду служить[2],— ответил Стивен.

— Это уже было кем-то сказано раньше,— спокойно заметил Крэнли.

— Ну, а вот теперь я говорю,— вспылил Стивен.

— Полегче, голубчик. До чего же ты, черт возьми, возбудимый,— сказал Крэнли, прижимая локтем руку Стивена.

Он сказал это с нервным смешком и, дружелюбно заглядывая Стивену в лицо, повторил:

— Ты знаешь, что ты очень нервный?

— Конечно, знаю,— тоже смеясь сказал Стивен.

Отчужденность, возникшая между ними, исчезла, и они вдруг снова почувствовали себя близкими друг другу.

— Ты веришь в пресуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы? — спросил Крэнли.

— Нет,— сказал Стивен.

— Не веришь, значит?

---

[1] Имеется в виду опера Р. Вагнера «Зигфрид».

[2] Слова сатаны, произнесенные в момент его изгнания из рая.

— И да и нет.

— Даже у многих верующих людей бывают сомнения, однако они или преодолевают их, или просто не считаются с ними,— сказал Крэнли.— Может, твои сомнения слишком сильны?

— Я не хочу их преодолевать,— возразил Стивен.

Крэнли, на минуту смутившись, вынул из кармана фигу и собирался уже сунуть ее в рот, но Стивен остановил его:

— Послушай, ты не сможешь продолжать со мной этот разговор с набитым ртом.

Крэнли осмотрел фигу при свете фонаря, под которым они остановились, понюхал, приложив ее к каждой ноздре по отдельности, откусил маленький кусочек, выплюнул его и, наконец, швырнул фигу в канаву.

— Иди от меня, проклятая, в огонь вечный [1],— провозгласил он ей вслед.

Он снова взял Стивена под руку.

— Ты не боишься услышать эти слова в день Страшного суда? — спросил он.

— А что предлагается мне взамен? — спросил Стивен.— Вечное блаженство в компании нашего декана?

— Не забудь, он попадет в рай.

— Еще бы,— сказал Стивен с горечью,— такой разумный, деловитый, невозмутимый, а главное, проницательный [2].

— Любопытно,— спокойно заметил Крэнли,— до чего ты насквозь пропитан религией, которую ты, по твоим словам, отрицаешь. Ну, а в колледже ты верил? Пари держу, что да.

— Да,— ответил Стивен.

— И был счастлив тогда? — мягко спросил Крэнли.— Счастливее, чем теперь?

— Иногда был счастлив, иногда — нет. Но тогда я был кем-то другим.

— Как это кем-то другим? Что это значит?

— Я хочу сказать, что я был не тот, какой я теперь, не тот, каким должен был стать.

— Не тот, какой теперь? Не тот, каким должен был стать? — повторил Крэнли.— Позволь задать тебе один вопрос. Ты любишь свою мать?

Стивен медленно покачал головой:

— Я не понимаю, что означают твои слова,— просто сказал он.

— Ты что, никогда никого не любил? — спросил Крэнли.

— Ты хочешь сказать — женщин?

— Я не об этом говорю,— несколько более холодным тоном возразил Крэнли.— Я спрашиваю тебя: чувствовал ли ты когда-нибудь любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь?

Стивен шел рядом со своим другом, угрюмо глядя себе под ноги.

— Я пытался любить бога,— выговорил он наконец.— Кажется, мне это не удалось. Это очень трудно. Я старался ежеминутно слить мою волю с волей божьей. Иногда это мне удавалось. Пожалуй, я и сейчас мог бы...

Крэнли внезапно прервал его:

— Твоя мать прожила счастливую жизнь?

— Откуда я знаю? — сказал Стивен.

— Сколько у нее детей?

— Девять или десять,— отвечал Стивен.— Несколько умерло.

— А твой отец...— Крэнли на секунду замялся, потом, помолчав, сказал: — Я не хочу вмешиваться в твои семейные дела. Но твой отец, он был, что называется, состоятельным человеком? Я имею в виду то время, когда ты еще был ребенком.

— Да,— сказал Стивен.

— А кем он был? — спросил Крэнли помолчав.

Стивен начал скороговоркой перечислять труды и дни своего отца.

— Студент-медик, гребец, генор, любитель-актер, ярый политик, мелкий помещик, мелкий вкладчик, пьяница, хороший малый, говорун, чей-то секретарь, кто-то на винном заводе, сборщик налогов, банкрот, а теперь певец собственного прошлого.

---

[1] Слова Иисуса, обращенные к грешникам на Страшном суде: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный!»

[2] Качества, которыми, по мнению Фомы Аквинского, должны обладать праведники.

Крэнли засмеялся и, еще крепче прижав руку Стивена, сказал:

— Винный завод — отличная штука, черт возьми!

— Ну что еще ты хочешь знать? — спросил Стивен.

— А теперь вы хорошо живете? Обеспеченно?

— А по мне разве не видно? — резко спросил Стивен.

— Итак,— протянул Крэнли задумчиво,— ты, значит, родился в роскоши.

Он произнес эту фразу громко, раздельно, как часто произносил какие-нибудь технические термины, словно желая дать понять своему слушателю, что произносит их не совсем уверенно.

— Твоей матери, должно быть, немало пришлось натерпеться,— продолжал Крэнли.— Почему бы тебе не избавить ее от лишних огорчений, даже если...

— Если бы я решился избавить,— сказал Стивен,— это не стоило бы мне ни малейшего труда.

— Вот и сделай так,— сказал Крэнли.— Сделай, как ей хочется. Что тебе стоит? Если ты не веришь, это будет просто формальность, не больше. А ее ты успокоишь.

Он замолчал, а так как Стивен не ответил, не прервал молчания. Затем, как бы продолжая вслух ход своих мыслей, сказал:

— Все зыбко в этой помойной яме, которую мы называем миром, но только не материнская любовь. Мать производит тебя на свет, вынашивает в своем теле. Что мы знаем о ее чувствах? Но какие бы чувства она ни испытывала, они, во всяком случае, должны быть настоящими. Должны быть настоящими. Что все наши идеи и чаяния? Игра! Идеи! У этого блеющего козла Темпла тоже идеи. И у Маккэнна — идеи. Любой осел на дороге думает, что у него есть идеи.

Стивен, пытаясь понять, что таится за этими словами, нарочито небрежно сказал:

— Паскаль, насколько я помню, не позволял матери целовать себя, так как он боялся прикосновения женщины.

— Значит, Паскаль — свинья,— сказал Крэнли.

— Алоизий Гонзага [1], кажется, поступал так же.

— В таком случае и он свинья,— сказал Крэнли.

— А церковь считает его святым,— возразил Стивен.

— Плевать я хотел на то, кто кого кем считает,— решительно и грубо отрезал Крэнли.— Я считаю его свиньей.

Стивен, обдумывая каждое слово, продолжал:

— Иисус тоже не был на людях особенно учтив со своей матерью [2], однако Суарес [3], иезуитский теолог и испанский дворянин, оправдывает его.

— Приходило ли тебе когда-нибудь в голову,— спросил Крэнли,— что Иисус был не тем, за кого он себя выдавал?

— Первый, кому пришла в голову эта мысль,— ответил Стивен,— был сам Иисус.

— Я хочу сказать,— резко повысив тон, продолжал Крэнли,— приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что он был сознательный лицемер, гроб повапленный, как он сам назвал иудеев, или, попросту говоря, подлец?

— Признаюсь, мне это никогда не приходило в голову,— ответил Стивен,— но интересно, ты что, стараешься обратить меня в веру или совратить самого себя?

Он заглянул ему в лицо и увидел кривую усмешку, которой Крэнли силился придать тонкую многозначительность.

Неожиданно Крэнли спросил просто и деловито:

— Скажи по совести, тебя не шокировали мои слова?

— До некоторой степени,— сказал Стивен.

— А собственно, почему? — продолжал Крэнли тем же тоном.— Ты же сам уверен, что наша религия — обман и что Иисус не был сыном божьим.

— А я в этом совсем не уверен,— сказал Стивен.— Он, пожалуй, скорее сын бога, нежели сын Марии.

— Вот потому-то ты и не хочешь причащаться? — спросил Крэнли.— Ты что, и в

---

[1] Алоизий Гонзага почитается католической церковью за подвиги в умерщвлении плоти.

[2] Стивен имеет в виду сцены в Евангелии, например Евангелие от Марка (3, 33), где Иисус произносит следующие слова: «И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?»

[3] Франсиско Суарес (1548—1617) — философ-схоласт, комментатор Фомы Аквинского.

этом не совсем уверен? Боишься, что причастие действительно может быть телом и кровью сына божия, а не простой облаткой?

— Да,— спокойно ответил Стивен.— Я чувствую это, и потому мне вчуже страшно.

— Понятно,— сказал Крэнли.

Стивен, удивленный его не допускающим возражений тоном, заговорил сам.

— Я многого боюсь,— сказал он,— собак, лошадей, оружия, моря, грозы, машин, проселочных дорог ночью.

— Но почему ты боишься кусочка хлеба?

— Мне кажется,— сказал Стивен,— за всем тем, чего я боюсь, кроется какая-то зловещая реальность.

— Значит, ты боишься,— спросил Крэнли,— что бог римско-католической церкви покарает тебя проклятьем и смертью, если ты кощунственно примешь причастие?

— Бог римско-католической церкви мог бы это сделать и сейчас,— сказал Стивен.— Но еще больше я боюсь того химического процесса, который начнется в моей душе от лживого поклонения символу, за которым стоят двадцать столетий могущества и благоговения.

— А мог бы ты,— спросил Крэнли,— совершить это святотатство, если бы тебе грозила опасность? Ну, скажем, если бы ты жил в те времена, когда преследовали католическую веру?

— Я не берусь отвечать за прошлое,— ответил Стивен.— Возможно, что и не мог бы.

— Значит, ты не собираешься стать протестантом?

— Я потерял веру,— ответил Стивен.— Но я не потерял уважения к себе. Какое же это освобождение: отказаться от одной нелепости, логичной и последовательной, и принять другую, нелогичную и непоследовательную?

Они дошли до района Пембрук и теперь, медленно шагая по улице, почувствовали, что огни, кое-где горящие на виллах, успокоили их. Атмосфера достатка и тишины, казалось, смягчила даже их бедность. В кухонном окне за лавровой изгородью мерцал свет, оттуда доносилось пение служанки, точившей ножи. Она пела, чеканя строки «Рози О'Грейди».

Крэнли остановился послушать и сказал:

— Mulier cantat [1].

Мягкая красота латинских слов завораживающе коснулась вечерней тьмы прикосновением более легким и убеждающим, чем прикосновение музыки или женской руки. Смятение в их умах улеглось. Облик женщины, появляющейся во время литургии, тихо возник в темноте: облаченная во все белое фигура, маленькая и мальчишески-стройная, с ниспадающими концами пояса. Ее голос, по-мальчишески высокий и ломкий, доносит из далекого хора первые слова женщины, прорывающие мрак и вопли первого плача Страстей господних:

— Et tu cum Jesu Galilaeo eras [2].

И, дрогнув, все сердца устремляются к этому голосу, сверкающему, как юная звезда, которая разгорается на первом сдове и гаснет на последнем. Пение кончилось. Они пошли дальше. Крэнли, акцентируя ритм, повторил конец припева:

Заживем с моею милой,
Счастлив буду с нею я.
Я люблю малютку Роза,
Рози любит меня.

— Вот тебе истинная поэзия,— сказал он.— Истинная любовь.

Он покосился на Стивена и как-то странно улыбнулся.

— А по-твоему, это поэзия? Тебе что-нибудь говорят эти слова?

— Я бы хотел сначала поглядеть на Рози,— сказал Стивен.

— Ее не трудно найти,— сказал Крэнли.

Его кепка нахлобучилась на лоб. Он сдвинул ее назад, и в тени деревьев Стивен увидел его бледное, обрамленное тьмой лицо и большие темные глаза. Да, у него красивое лицо и сильное крепкое тело. Он говорил о материнской любви. Значит, он понимает

[1] Женщина поет (*лат.*).
[2] И ты был с Иисусом Галилеянином (*лат.*). Строка из Евангелия.

страдания женщин, их слабости — душевные и телесные; он будет защищать их сильной, твердой рукой, склонит перед ними свой разум.

Итак, в путь! Пора уходить. Чей-то голос тихо зазвучал в одиноком сердце Стивена, повелевая ему уйти, внушая, что их дружбе пришел конец. Да, он уйдет, он не может ни с кем бороться, он знает свой удел.

— Возможно, я уеду,— сказал он.

— Куда? — спросил Крэнли.

— Куда удастся,— ответил Стивен.

— Да,— сказал Крэнли.— Пожалуй, тебе здесь придется трудновато. Но разве ты из-за этого уезжаешь?

— Я должен уехать,— сказал Стивен.

— Только не думай, что тебя вынудили к изгнанию,— продолжал Крэнли.— Не считай себя каким-то еретиком или отщепенцем. Многие верующие так думают. Тебя это удивляет? Но ведь церковь — это не каменное здание и даже не духовенство с его догматами. Это люди, рожденные в ней. Я не знаю, чего ты хочешь от жизни. Того, о чем ты мне говорил в тот вечер, когда мы стояли с тобой на остановке у Харкорт-стрит?

— Да,— сказал Стивен, невольно улыбнувшись. Его забавляла привычка Крэнли запоминать мысли в связи с местом.— В тот вечер ты полчаса потратил на спор с Догерти о том, как ближе пройти от Селлигепа в Лэррес [1].

— Дубина! — сказал Крэнли с невозмутимым презрением.— Что он знает о дорогах от Селлигепа в Лэррес? Что он вообще может знать, когда у него вместо головы дырявая лохань!

Он громко расхохотался.

— Ну, а остальное,— сказал Стивен,— остальное ты помнишь?

— То есть то, о чем ты говорил? — спросил Крэнли.— Да, помню. Найти такую форму жизни или искусства, в которой твой дух мог бы выразить себя раскованно, свободно.

Стивен приподнял кепку, как бы подтверждая это.

— Свобода! — повторил Крэнли.— Где там! Ты даже боишься совершить святотатство. А мог бы ты украсть?

— Нет, лучше просить милостыню,— сказал Стивен.

— Ну, а если тебе ничего не подадут, тогда как?

— Ты хочешь, чтобы я сказал,— ответил Стивен,— что право собственности условно и что при известных обстоятельствах воровство не преступление. Тогда бы все воровали. Поэтому я воздержусь от такого ответа. Обратись лучше к иезуитскому богослову Хуану Мариане де Талавера [2], он объяснит тебе, при каких обстоятельствах позволительно убить короля и как это сделать — подсыпав ему яду в кубок или же пропитав отравой его одежду или седельную луку. Спроси меня лучше: разрешил бы я себя ограбить? Не предал ли бы я грабителей, как говорится, карающей деснице правосудия?

— Ну, а как бы ты это сделал?

— По-моему,— сказал Стивен,— это было бы для меня не менее тяжело, чем быть ограбленным.

— Понимаю,— сказал Крэнли.

Он вынул спичку из кармана и стал ковырять в зубах. Потом небрежно спросил:

— Скажи, а ты мог бы, например, лишить девушку невинности?

— Прошу прощения,— вежливо сказал Стивен.— Разве это не мечта большинства молодых людей?

— Ну, а ты как на это смотришь? — спросил Крэнли.

Его последняя фраза, едкая, как запах гари, и коварная, разбередила сознание Стивена, осев на нем тяжелыми испарениями.

— Послушай, Крэнли,— сказал он.— Ты спрашиваешь меня, что я хотел бы сделать и чего бы я не стал делать. Я тебе скажу, что я делать буду и чего не буду. Я не буду служить тому, во что я больше не верю, даже если это моя семья, родина или

---

[1] Места вблизи Дублина.

[2] Хуан де Мариана из Талаверы (1536—1623) — испанский историк, политический деятель и теолог. Стивен вспоминает его известный трактат «О короле и институте королевской власти» (1599).

церковь. Но я буду стараться выразить себя в той или иной форме жизни или искусства так полно и свободно, как могу, защищаясь лишь тем оружием, которое считаю для себя возможным,— молчанием, изгнанием и хитроумием.

Крэнли схватил Стивена за руку и повернул его обратно по направлению к Лисон-парку. Он лукаво засмеялся и прижал к себе руку Стивена с дружелюбной нежностью старшего.

— Хитроумием?! — сказал он.— Это ты-то? Бедняга поэт!

— Ты заставил меня признаться тебе и в этом,— сказал Стивен, взволнованный его пожатием,— так же, как я признавался во многом другом.

— Да, дитя мое [1],— сказал Крэнли все еще шутливо.

— Ты заставил меня признаться в том, чего я боюсь. Но я скажу тебе также, чего я не боюсь. Я не боюсь остаться один или быть отвергнутым ради кого-то другого, не боюсь покинуть все то, что мне суждено оставить. И я не боюсь совершить ошибку, даже великую ошибку, ошибку всей жизни, а может быть, даже всей вечности.

Крэнли замедлил шаг и сказал теперь уже серьезно:

— Один, совсем один. Ты не боишься этого? А понимаешь ли ты, что значит это слово? Не только быть в стороне ото всех, но даже не иметь друга.

— Я готов и на это,— сказал Стивен.

— Не иметь никого, кто был бы больше чем друг, больше чем самый благородный, преданный друг?

Эти слова, казалось, задели какую-то сокровенную струну в нем самом. Говорил ли он о себе, о том, каким он был или хотел бы стать? Стивен несколько секунд молча вглядывался в его лицо, на котором застыла скорбь. Он говорил о себе, о собственном одиночестве, которого страшился.

— О ком ты говоришь? — спросил, наконец, Стивен.

Крэнли не ответил.

■

20 марта. Длинный разговор с Крэнли о моем бунте.

Он важно вещал. Я подделывался и юлил. Донимал меня разговорами о любви к матери. Пытался представить себе его мать. Не смог. Как-то однажды он невзначай обмолвился, что родился, когда отцу был шестьдесят один год. Могу себе его представить. Здоровяк фермер. Добротный костюм. Огромные ножищи. Нечесаная борода с проседью. Наверное, охотится с гончими. Платит церковный сбор отцу Дваеру из Лэрреса исправно, но не очень щедро. Не прочь поболтать вечерком с девушками. А мать? Очень молодая или очень старая? Вряд ли молодая, Крэнли бы тогда говорил по-другому. Значит, старая. Может быть, заброшенная. Отсюда и отчаяние души: Крэнли — плод истощенных чресел.

21 марта, утро. Думал об этом вчера ночью в постели, но я теперь слишком ленив и свободен и потому записывать не стал. Да, свободен. Истощенные чресла — это чресла Елизаветы и Захарии[2]. Значит, он—Предтеча. Итак, питается преимущественно копченой грудинкой и сушеными фигами. Понимай: акридами и диким медом [3]. Еще — когда думаю о нем, всегда вижу суровую отсеченную голову, или мертвую маску, словно выступающую на сером занавесе, или Нерукотворный Спас. Усекновение главы — так это у них называется. Недоумеваю по поводу святого Иоанна у Латинских ворот [4]. Что я вижу? Обезглавленного Предтечу, пытающегося взломать замок.

21 марта, вечер. Свободен. Свободна душа и свободно воображение. Пусть мертвые погребают своих мертвецов [5]. Да. И пусть мертвецы женятся на своих мертвых.

22 марта. Шел вместе с Линчем за толстой больничной сиделкой. Выдумка Линча. Не нравится. Две тощих голодных борзых в погоне за телкой.

---

[1] Крэнли пародирует обращение священника во время исповеди.

[2] Согласно Евангелию, престарелые родители Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя).

[3] По Евангелию, пищей Иоанна в пустыне были дикий мед и акриды.

[4] Мысль Стивена ассоциативно движется от Иоанна Предтечи к Иоанну Евангелисту. Стивен вспоминает чудесное освобождение Иоанна Евангелиста от преследовавших его воинов у Латинских ворот в Риме.

[5] Цитата из Евангелия.

23 марта. Не видел ее с того вечера. Нездорова? Верно, сидит у камина, закутавшись в мамину шаль. Но не дуется. Съешь тарелочку кашки!

24 марта. Началось со спора с матерью. Тема — пресвятая дева Мария. Был в невыгодном положении из-за своего возраста и пола. Чтобы отвертеться, привел в пример отношения Иисуса с его папашей и Марии с ее сыном. Сказал ей, что религия — это не родовспомогательное заведение. Мать снисходительна. Сказала, что у меня извращенный ум и что я слишком много читаю. Неправда. Читаю мало, понимаю еще меньше. Потом она сказала, что я еще вернусь к вере, потому что у меня беспокойный ум. Это что же: покинуть церковь черным ходом греха и вернуться через слуховое окно раскаяния? Каяться не могу. Так ей и сказал. И попросил шесть пенсов. Получил три.

Потом пошел в университет. Вторая стычка с круглоголовым Гецци, у которого жуликоватые глазки. На этот раз повод — Бруно из Нолы[1]. Начал по-итальянски, кончил на ломаном английском. Он сказал, что Бруно был чудовищный еретик. Я ответил, что он был чудовищно сожжен. Он не без огорчения согласился со мной. Потом дал рецепт того, что называется risotto alla bergamasca[2]. Когда он произносит мягкое «о», то выпячивает свои пухлые, плотоядные губы. Как будто целует гласную. Может, и впрямь целует? А мог бы он покаяться? Да, конечно, и пустить две крупные плутовские слезищи, по одной из каждого глаза.

Пересекая Стивенс-Грин-парк, мой парк, вспомнил: ведь это его, Гецци, а не мои соотечественники выдумали то, что Крэнли в тот вечер назвал нашей религией. Солдаты девяносто седьмого пехотного полка вчетвером сидели у подножья креста и играли в кости, разыгрывая одежонку распятого[3].

Пошел в библиотеку, пытался прочесть три журнала. Бесполезно. Она все еще не показывается. Волнует ли это меня? А собственно, что именно? То, что она больше никогда не покажется? Блейк писал:

Я боюсь, что Уильям Бонд скончался,
Потому что он давно и тяжко болен[4].

Увы, бедный Уильям![5]

Как-то был на сеансе в Ротонде[6]. В конце показывали высокопоставленных особ. Среди них Уильяма Юарта Гладстона[7], который тогда только что умер. Оркестр заиграл «О, Вилли, нам тебя недостает!»[8].

Поистине нация болванов!

25 марта, утро. Всю ночь какие-то сны. Хочется сбросить их с себя.

Длинная изогнутая галерея. С пола столбами поднимаются темные испарения. Бесчисленное множество каменных изваяний каких-то легендарных королей. Руки их устало сложены на коленях, глаза затуманены слезами, потому что людские заблуждения непрестанно проносятся перед ними темными испарениями.

Странные фигуры появляются словно из пещеры. Ростом они меньше, чем люди. Кажется, будто они соединены одна с другой. Их фосфоресцирующие лица изборождены темными полосами. Они всматриваются в меня, а их глаза будто вопрошают о чем-то. Они молчат.

30 марта. Сегодня вечером у входа в библиотеку Крэнли загадал Диксону и ее брату загадку. Мать уронила ребенка в Нил. Все еще помешан на материнстве. Ребенка схватил крокодил. Мать просит отдать его. Крокодил соглашается: ладно, только если она угадает, что он хочет сделать с ним — сожрать его или нет.

---

[1] То есть Джордано Бруно.

[2] Ризотто по-бергамаски *(итал.)* — национальное итальянское блюдо.

[3] Стивен пародирует евангельский текст: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части...»

[4] Строки из стихотворения английского поэта Уильяма Блейка (1757—1827) «Уильям Бонд», где в шутливой форме описывается смерть от любви.

[5] Измененные слова Гамлета: «Увы, бедный Йорик».

[6] Во времена Джойса концертный зал, а также место общественных собраний, где часто выступал Парнелл.

[7] Уильям Юарт Гладстон (1809—1898) — английский государственный деятель, вождь либералов, премьер-министр (1868—1874). В Ирландии жестоко подавлял национально-освободительное движение, но в то же время шел на уступки. В 1886 г. внес в парламент законопроект о «гомруле», провал которого побудил его подать в отставку.

[8] Песня американского композитора Стивена Фостера (1826—1864).

Такой образ мышления, сказал бы Лепид, поистине может возникнуть только из вашей грязи, под вашим солнцем[1].

А мой? Чем он лучше? Так в Нил его, на дно!

1 апреля. Не нравится последняя фраза.

2 апреля. Видел, как она пила чай с пирожными в кафе Джонстона, Муни и О'Брайена. Вернее, лиса Линч увидел ее, когда мы проходили мимо. Он сказал мне, что ее брат пригласил к ним Крэнли. А крокодила своего он не забыл захватить? Так, значит, он теперь свет мира?[2] А ведь это я его открыл. Уверяю вас, я! Он тихо снял из-за мешка с уиклоускими отрубями.

3 апреля. Встретил Дейвина в табачной лавке против Финлейтерской церкви. Он был в черном свитере и с клюшкой в руках. Спросил меня, правда ли, что я уезжаю, и почему. Сказал ему, что кратчайший путь в Тару — via[3] Холихед[4]. Тут подошел отец. Познакомил их. Отец был учтив и внимателен. Предложил Дейвину пойти перекусить. Дейвин не мог — торопился на митинг. Когда мы отошли, отец сказал, что у него хорошее открытое лицо. Спросил меня, почему я не записываюсь в клуб гребли. Я пообещал подумать. Потом рассказал мне, как он когда-то огорчил Пеннифезера[5]. Хочет, чтобы я шел в юристы. Говорит, что это мое призвание. Опять нильский ил с крокодилами.

5 апреля. Бурная весна. Несущиеся облака. О, жизнь! Темный поток бурлящих болотных вод, над которыми яблони роняют свои нежные лепестки. Девичьи глаза из-за листьев. Девушки — скромные и озорные. Все блондинки или русые. Брюнеток не надо. У блондинок румянец ярче. Гопля!

6 апреля. Конечно, она помнит прошлое. Линч говорит, что все женщины помнят. Значит, она помнит и свое и мое детство, если я только когда-нибудь был ребенком. Прошлое поглощается настоящим, а настоящее живет только потому, что родит будущее. Если Линч прав, статуи женщин всегда должны быть полностью задрапированы и одной рукой женщина должна стыдливо прикрывать свой зад.

6 апреля, позже. Майкл Робартес[6] вспоминает утраченную красоту, и, когда его руки обнимают ее, ему кажется, он сжимает в объятиях красоту, давно исчезнувшую из мира. Не то. Совсем не то. Я хочу сжимать в объятиях красоту, которая еще не пришла в мир.

10 апреля. Глухо, под тяжким ночным мраком, сквозь тишину города, забывшего свои сны ради забытья без сновидений, подобно усталому любовнику, которого не трогают ласки, стук копыт по дороге. Теперь уже не так глухо. Вот уже ближе к мосту: миг — мчатся мимо темных окон, тревогой, как стрелой, прорезая тишину. А вот уже они где-то далеко; копыта, сверкнувшие алмазами в темной ночи, умчавшиеся за спящие поля — куда? — к кому? — с какой вестью?

11 апреля. Перечел то, что записал вчера ночью. Туманные слова о каком-то туманном переживании. Понравилось бы это ей? По-моему, да. Тогда, значит, и мне должно нравиться.

13 апреля. Эта цедилка долго не выходила у меня из головы. Я заглянул в словарь. Нашел. Хорошее старое слово. К черту декана с его воронкой! Зачем он явился сюда — учить нас своему языку или учиться ему у нас? Но как бы то ни было — пошел он к черту!

---

[1] Лепид Марк Эмилий Младший (ок. 89—13 12 г. до н. э.) — римский политический деятель, сподвижник Цезаря. Джойс приводит парафразу реплики Лепида из пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра»: «Ваши египетские гады заводятся в вашей египетской грязи от лучей вашего египетского солнца. Вот, например, крокодил» (перевод Мих. Донского).

[2] Здесь использованы евангельские слова: «Вы — свет мира... И, зажегши свечу, не ставь ее под сосуд, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

[3] Через *(лат.)*.

[4] Тара — древняя столица Ирландии и символ ирландского золотого века, расцвета культуры. Холихед — порт на западном побережье Уэльса, куда прибывают суда, идущие из Ирландии. Значение слов Стивена: изгнание — кратчайший путь к истинному знанию и пониманию Ирландии.

[5] Пеннифезер — фамилия одного из родственников Джойса, напоминающая своим звучанием английское слово «penny-father» — скупердяй.

[6] Майкл Робартес — герой стихотворения У. Б. Йитса «Майкл Робартес вспоминает утраченную красоту» (1896). Для поэта Майкл Робартес — символ фантазии, творчества и самой Ирландии.

14 апреля. Джон Альфонс Малреннен[1] только что вернулся с запада Ирландии. Прошу европейские и азиатские газеты перепечатать это сообщение. Рассказывает, что встретил там в горной хижине старика. У старика глаза и короткая трубка во рту. Старик говорил по-ирландски. И Малреннен говорил по-ирландски. Потом старик и Малреннен говорили по-английски. Малреннен рассказал ему о вселенной, о звездах. Старик сидел, слушал, курил, поплевывал. Потом сказал:

— Вот уж, верно, чудные твари живут на том конце света.

Я боюсь его. Боюсь его красных остекленевших глаз. Это с ним суждено мне бороться всю ночь до рассвета[2], пока ему или мне не наступит конец, душить его жилистую шею, пока... Пока что? Пока он не уступит мне? Нет, я не желаю ему зла.

15 апреля. Встретился с ней сегодня лицом к лицу на Графтен-стрит. Нас столкнула толпа. Мы остановились. Она спросила меня, почему я совсем не показываюсь. Сказала, что слышала обо мне всякие небылицы. Все это говорилось, только чтобы протянуть время. Спросила, пишу ли я стихи. О ком? — спросил я. Тогда она еще больше смутилась, а мне стало ее жаль, и я почувствовал себя подлецом. Тотчас же закрыл этот кран и пустил в ход духовно-героический охладительный аппарат, изобретенный и запатентованный во всех странах Данте Алигьери: быстро заговорил о себе и своих планах. К несчастью, среди разговора у меня нечаянно вырвался бунтарский жест. Наверное, я был похож на человека, бросившего в воздух пригоршню гороха. На нас начали глазеть. Она сейчас же пожала мне руку и, уходя, выразила надежду, что я осуществлю все, о чем говорил.

Мило, не правда ли?

Да, сегодня мне было с ней хорошо. Очень или не очень? Не знаю. Мне было хорошо с ней, а для меня это какое-то новое чувство. Значит, все, что я думал, что думаю, все, что я чувствовал, что чувствую, одним словом, все, что было до этого, теперь в сущности... А, брось, старина! Утро вечера мудренее.

16 апреля. В путь, в путь!

Зов рук и голосов: белые руки дорог, их обещания тесных объятий и черные руки высоких кораблей, застывших недвижно под луной, их рассказ о далеких странах. Их руки тянутся ко мне, чтобы сказать: мы одни — иди к нам. И голоса вторят им: ты наш брат. Ими полон воздух, они взывают ко мне, своему брату, готовые в путь, потрясают крыльями своей грозной, ликующей юности.

26 апреля. Мать укладывает мои новые, купленные у старьевщика вещи. Она говорит: молюсь, чтобы вдали от родного дома и друзей ты понял, что такое сердце и что оно чувствует. Аминь! Да будет так. Приветствую тебя, жизнь! Я ухожу, чтобы в миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души несотворенное сознание моего народа.

27 апреля. Древний отче, древний мастер[3], будь мне опорой ныне и присно и во веки веков.

Дублин, 1904.
Триест, 1914.

■

[1] Комментаторам Джойса не удалось выяснить, кто такой Малреннен. Джойс, по-видимому, сознательно использует здесь случайную фамилию, вновь высмеивая ирландских националистов.

[2] Библейская аллюзия: имеется в виду борьба Иакова с богом: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари...» Образ старика становится для Стивена символом родины, которую он собирается покинуть, и религии, от которой он отказался.

[3] Стивен обращается к Дедалу, имя которого он носит.

Критика

К. ЯЦКОВСКАЯ

ПЕВЕЦ НОВОЙ МОНГОЛИИ

К 70-летию со дня рождения Дашдоржийна Нацагдоржа

В этом году исполняется 70 лет со дня рождения одного из крупнейших монгольских писателей нашего времени Дашдоржийна Нацагдоржа, снискавшего славу основоположника новой монгольской литературы. Если же следовать старинному монгольскому летосчислению, по которому век — это шестьдесят лет, то славе Нацагдоржа идет второй век. Теперь она старше его самого: ведь Нацагдоржу шел тридцать первый год, когда, по образному выражению современного монгольского поэта П. Пурэвсурэна, «...уснув ночной порой, он разминулся с утренней зарей».

О Нацагдорже никак не скажешь, что «он ушел из жизни». И дело не только в том, что память его увековечена: высшая литературная премия МНР и Театр драмы в Улан-Баторе носят имя Нацагдоржа, школьники, прочитавшие много книг, удостаиваются значка с барельефом Нацагдоржа... Открыт музей Д. Нацагдоржа. Его творение «Три печальных холма» не сходит со сцены оперного театра... Он живет в народе как любимый сын, как певец страны.

Оказавшись в Улан-Баторе, я не раз ловила себя на том, что поскорее хочется побывать у Нацагдоржа, постоять в тишине рядом с ним, изваянным в камне, последовать за его взглядом, устремленным к священной горе Богдо-Ула — от ее мягких очертаний по голубому полю ясного неба, от складок бархатного покрова зелени трудно отвести глаза,— посмотреть в лица тех, кто приходит поклониться поэту, и тихо повторить знакомые каждому монголу с детства строки поэта:

Хребты Хентея, Хангая —
они высоки и прекрасны.
Покрытые лесом горы —
северная краса.
Пустыни Номина и Шарга,
бескрайние их просторы,
Море холмов песчаных —
южная сторона.
Это — моя Монголия,
Милая навсегда.

(Перевод Л. Гитовича)

Сколько раз слыхала я эти стихи из уст людей, живущих в самых разных концах Монголии. И каждый, кто произносил их, вкладывал в слова свою любовь к родному краю — «нутаку», так образно воспетому Нацагдоржем. Стихотворение, о котором идет речь, называется «Мой нутак» (в русском переводе — «Моя родина»). Нутак — понятие многозначное для монгола; оно включает в себя несколько исторических пластов: и аймак, обычно огромный по своим пространствам край, и то место, то кочевье, где человек родился; нутак — это и все те пространства, где человек пасет скот, охотится, получает все нужное ему для жизни... Нацагдорж раздвинул границы нутака до пределов всей страны — «прекрасной Монголии».

Реки Онон и Тула —
они чисты и прозрачны,
Целебными стали ныне
источники и ручьи.
Буир, Хобсогол — озера,
глубокие, голубые,
Воды всех водоемов
щедро поят людей.
Это — моя Монголия,
Милая навсегда.

В этих стихах — вся Монголия, ее реалии, все, что восхищает взор монгола, чем он гордится, все то, что воспринял по традиции от предков, и та новь, творцом которой он теперь стал и которую, как истинный поэт, прорицал Нацагдорж.

В стихотворении гармонически сочетаются традиционность образной системы стихосложения (оно даже начинается с географических названий мест, где происходит действие,— так принято было в историко-литературных монгольских памятниках-летописях) и новаторская для монгольской поэзии глубина выраженного чувства. Это произведение сделалось классическим еще при жизни автора. Для последующих поколений оно стало народным.

...Нацагдорж родился в семье обедневшего потомственного дворянина — тайджи Дашдоржа — и рос в спокойной атмосфере дома, где не было культа традиционной почтительности по отношению к старшим, что часто с ранних лет «смиряет» детей. Дашдорж с радостью отмечал в сыне наблюдательность, пытливость и не медлил с его обучением, определив мальчика в школу. В тринадцать лет — к гордости отца — он начал выполнять обязанности писаря.

Когда в Монголии победила Народная революция, Нацагдоржу было всего пятнадцать. Юноша с головой окунулся в лихорадку революционных будней, работал в качестве секретаря Военного совета — рядом с легендарным Сухэ-Батором и прославленным полководцем Хатан-Батор Магсаржавом. Тогда же начинается и его писательский путь. Он инсценировал классические повести, стал одним из организаторов и авторов агитационных сатирических интермедий для уличных представлений — «шийнгуу». Песни, написанные к этим спектаклям, принято считать началом творчества Нацагдоржа. В большинстве своем это обработки или подражания народным песням.

Первые «авторские» в собственном смысле слова произведения Нацагдоржа — «Пионерская песня» (как руководитель пионерской организации Монголии он позаботился об ее гимне) и стихотворение «Он в далекие едет учиться края», в котором, по словам В. Луговского, автора вступительной статьи к первому сборнику Д. Нацагдоржа на русском языке, так символически звучит прекрасная строфа:

Он в далекие едет учиться края,
Ветер дует в долине навстречу ему.
Позади, где колышется тихо трава,
Голубеет над старою юртой дымок.

(Перевод Л. Гитовича)

Нацагдорж сам был одним из тех, кого страна посылала в далекие края на учебу. Год он провел в Ленинграде (1925), а с 1926 по 1929 год продолжал образование в Германии — в Берлине и Лейпциге. Его путевые заметки (записная книжка неизменно была с Нацагдоржем всюду) — поэтический дневник «От Улан-Батора до Берлина» — заканчиваются записью: «Мы поселились в Берлине. День за днем входили в новую обстановку, привыкали ко всевозможным незнакомым вещам. Мы старались жить на этой земле, приобретать знания, постигать науку. Старались ради того, чтобы в будущем стать полезными своей стране и народу».

Двадцатилетний Нацагдорж приехал в Германию, имея уже немалый опыт государственной и партийной работы, опыт активного участника революционного строительства. Студента из Монголии отличали прирожденная деликатность, скромность, та скупость на слова, о которой говорит монгольская поговорка: «Прибыли нет от многословья, убыли нет от единственного слова». «Я никак не думал, что Нацагдорж — писатель, что он был так известен в своей стране»,— вспоминал впоследствии С. Вольф, занимавшийся в двадцатые годы в Германии устройством монгольских учащихся.

...Размышляя над «немецким периодом» жизни и творчества Нацагдоржа, я старалась представить его себе в обстановке Германии второй половины двадцатых годов нашего столетия, его интересы, увлечения. Как свидетельствуют современники, уже через год после приезда в Германию Нацагдорж свободно говорил по-немецки, хорошо знал достопримечательности Берлина, где он обычно проводил летние каникулы, охотно служил приезжавшим в Германию землякам переводчиком и гидом. Естественно предположить, что Нацагдорж — «человек из революционной страны» — интересовался всем тем, что несло с собой европейское пролетарское движение. Об этом красноречиво свидетельствуют сохранившиеся литературно-публицистические наброски «Первое мая в капиталистической стране». В образе центрального персонажа очерков — монгола Очира — нетрудно узнать автора: «Ласковым, мягким весенним утром огромное, красное, каким оно бывает на севере, солнце только что показалось с востока и сквозь окно проникло на третий этаж высокого дома, что стоит на площади в одном из крупных городов Европы... В открытое окно... вливалась мелодия оркестра. Музыка радостью отозвалась в сердце Очира... Охваченный любопытством, он выглянул в окно: по широкой улице струился поток демонстрантов. Рабочие несли красные знамена, пели «Интернационал». Они шли, демонстрируя мощное единство, сотрясая небо и землю... Повсюду стояли вооруженные полицейские, но демонстрация пролетариата не дрогнула. Ни один ряд не потерял равнения».

Весной этого года я ездила в Веймар на симпозиум востоковедов социалистических стран, обсуждавших некоторые теоретические проблемы развития литератур стран Азии и Африки, и поделилась с аудиторией немецких коллег мыслями, позволившими мне соединить два имени — Бертольта Брехта и Дашдоржийна Нацагдоржа. Внимание Нацагдоржа не могла, на мой взгляд, не привлечь театральная жизнь Германии той поры — это так естественно для человека, причастного к театральному делу,— и вряд ли Нацагдорж, будучи летом 1928 года в Берлине, мог пропустить с триумфом шедшую «Трехгрошовую оперу» Б. Брехта.

Хотелось думать, что Нацагдоржу мог быть понятен пролетарский политический

театр, могли стать близки брехтовские идеи большого эпического театра, тем более что в драматургии автора «Трехгрошовой оперы» он мог обнаружить необычное использование хорошо знакомых сценических приемов (ведь Б. Брехт заимствовал их из восточного театра), в первую очередь тех, что создают так называемый «эффект отчуждения». Свои предположения я старалась подтвердить анализом нескольких известных пьес Нацагдоржа, как шедших на сцене, так и остававшихся при жизни писателя в рукописи. Не настаивая на непосредственном влиянии Б. Брехта, я попыталась обратить внимание коллег на сходство, обусловленное, быть может, родством творческих задач...

Уже по окончании симпозиума, в Берлине, возвращаясь с кладбища, где покоится прах Бертольта Брехта, я невольно остановилась у здания театра «Берлинер ансамбль», подле витрин с афишами, снимками сцен из спектаклей. И словно какие-то невидимые нити протянулись отсюда к Монголии... Почему-то вспомнилось, что действие пьесы Б. Брехта «Исключение и правило» происходит на дорогах старой Монголии... В улан-баторском Театре имени Нацагдоржа много сезонов подряд идет «Кавказский меловой круг». Неожиданно подумалось о том, что к 70-летию Нацагдоржа в Монголии будет впервые поставлена на сцене его пьеса «Старшая жена». В ней мне видятся параллели с подчеркнутым обращением Б. Брехта к трезвому, ясному разуму человека, со стремлением великого немецкого драматурга противопоставить силу искусства мутному потоку тех массовых эмоций и инстинктов, которые фашизм многие годы провоцировал и эксплуатировал в своих преступных целях... Может быть, и не было влияния, а была, как свежо сказал один критик, непредугаданная встреча на родственных путях...

Я потому так долго задержалась на «годах учебы» Нацагдоржа за границей, что они явились известным рубежом в его жизни и творчестве. Нацагдорж возвратился из Германии, и начался период неустанной творческой работы, большого вдохновения. С 1930 по 1932 год Нацагдорж много трудится. Переписывает отдельные законченные произведения в тетрадь, сшитую из больших линованных листов,— стихотворения, рассказы,— отбирая, видимо, из созданного то, что хотелось почитать товарищам по литературному кружку.

В ту пору писатель работает в Комитете наук, сначала в его филологическом кабинете, затем в кабинете истории. В анкете, заполненной 5 октября 1936 года, в графе «профессия» он написал: «литератор, филолог, историк». Интерес к средневековой литературе, к историческим хроникам, вобравшим в себя яркие образцы монгольской поэзии и прозы, привел Нацагдоржа к серьезному изучению прошлого своей древней страны. Из научных трудов, созданных Нацагдоржем в этой области, увидела свет лишь небольшая работа «Краткая история Монголии». Однако ему принадлежит немалая заслуга в собирании старинных документов, книг, рукописей-сутр. Он переводит — с русского и других европейских языков — работы по истории Монголии и о Монголии: с немецкого — краткое изложение «Книги» Марко Поло, с русского — труд историка Д. Покотилова «История восточных монголов в период династии Мин».

Ко времени работы в Комитете наук относится и сотрудничество Нацагдоржа с крупным ученым-монголоведом Ц. Джамцарано. В частности, под руководством Джамцарано Нацагдорж, пользуясь немецким и русским изданиями, делал перевод 1-й книги «Капитала» К. Маркса.

Разностороннее образование, научная работа, постоянный интерес к европейской, в том числе русской, литературе способствовали вдумчивому отношению Нацагдоржа и к культурному наследию своей страны. В атмосфере споров о литературном языке, о традициях, в обстановке чрезвычайно сложной, во многом складывавшейся в результате низкой грамотности населения, Нацагдорж сумел найти верные позиции. В его творчестве органично сочетаются формы традиционной монгольской поэзии и политически злободневное содержание. И в агитационной лирике поэта присутствует та мера естественности, которая делает произведение подлинно художественным.

Современникам подчас трудно было сразу полностью оценить самобытность таланта Нацагдоржа, его вклад в духовную жизнь нации, почувствовать глубину его творений. Причина состоит отчасти в том, что немногочисленные прижизненные публикации произведений Нацагдоржа рассеяны по монгольским периодическим изданиям, причем в большинстве своем анонимны. Без имени автора вышел и агитационный сборник стихов и прозы «Здоровье», изданный в 1935 году к 10-летию Министерства здравоохранения. Это была, по сути, первая печатная книга Нацагдоржа.

Оценивая монгольскую литературу тридцатых годов с дистанции в сорок лет, ясно видишь, насколько выделялась среди писателей-современников фигура Нацагдоржа. Его богатая внутренняя культура, интуиция, любовь к мировой реалистической литературе, с которой он познакомился во время учебы за границей, помогли решить многие творческие проблемы. Школой мастерства для Нацагдоржа стали и художественные переводы. Он переводил Эдгара По, Ги де Мопассана, «Пиковую даму», «Выстрел» и некоторые стихотворения А. С. Пушкина. В поэтических переводах Нацагдоржа изумляют удивительное проникновение в богатство пушкинских стихов и подлинные находки при воплощении их в форме монгольского стиха, столь отличной от русской.

...Тот, кому довелось быть в Улан-Баторе, в Музее изобразительных искусств, несомненно, задерживался у полотен Марзан Шарава — мастера национальной живописи «монгол дзураг», автора первой монгольской

К. ЯЦКОВСКАЯ
ПЕВЕЦ НАРОДНОЙ МОНГОЛИИ

картины, изображающей В. И. Ленина. Еще до Народной революции он снискал себе славу знаменитой картиной «Один день Монголии», рисующей жизнь монгола во всех деталях, от рождения до смерти. Если бы кто-нибудь задался целью отыскать для этой картины созвучные образы, краски, музыку в поэтическом слове, то лучшего произведения, чем стихотворение Нацагдоржа «Четыре времени года», не нашлось бы. Вместе со стихотворением «Моя родина» они составляют поэму о Монголии.

С высоты вечного неба тысячи тысяч
весен
Год за годом нисходит на раздолье
прекрасной монгольской земли...

В этих первых строках возникает образ огромного мира. Небо и земля занимают в стихотворении по строчке (небо — верхнюю, земля — нижнюю) и словно очерчивают мир, где происходит вечный круговорот жизни.

Несказанно прекрасны летом напоенные
зноем и светом
склоны гор, поросшие лесом, и равнины
страны Хангай!
Вот кукует кукушка в чаще, так
приветливо, так маняще...
В мире нет ничего желанней! В мире нет
ничего милей!

Запах трав достигает неба, млеют марева
в сизой дымке,
ржет протяжно скакун усталый, поспешая
в родной табун,
лик земли цветы захлестнули пестрым
ливнем, дождем лепестковым,
а любовь с необорной силой расцветает
в жарких сердцах.

Очень близкий к подлиннику, перевод Аркадия Штейнберга[1] передает созданную поэтом объемную картину мира, наполненного воздухом, звуками, красками Монголии, последовательно чередующимися со сменой времен года: -

Солнце осени, желтое солнце, светит мне
и тебе щедро,
С каждым днем все ниже и ниже вместе
с ним склоняемся мы,
В диких дебрях трубят олени и ревут
сохатые лоси.
Поединком быков ревнивых развлекаются
пастухи.
. . . . . .
Поседело раннее утро. На траве, словно
жемчуг, иней,
Конь от стужи переступает, мелко
вздрагивая порой.
Ныне встал хозяин с рассветом — время
волчьей да лисьей травли.
Будут ждать домочадцы добычи
у горящего очага.

В разных строфах стиху придан разный оттенок, и мы чувствуем, как меняется настроение человека. Стихотворение заканчивается строками, символизирующими вечность жизни:

Человек провожает старцев, принимает
младенцев,
И так без малейшего перерыва — тысячи-
тысячи лет.

[1] Выполнен специально для публикации в «Иностранной литературе», посвященной 60-летию Д. Нацагдоржа. *(Здесь и далее—прим. автора.)*

Можно сказать, что и в своих прозаических произведениях Нацагдорж оставался поэтом — поэтом и живописцем. Зримый живописный портрет монголки создан им в литературной миниатюре «Сельская красавица»: «Полная счастья, прекрасная, как дикая лань, она взволновала бы сердце не одного храброго юноши... Красоту ее стройного скакуна, сына далеких степей, подчеркивало богатое седло с зеленым подстремянником. Подвернув полы халата, девушка ловко сидела на нем. Красавице было лет восемнадцать-девятнадцать. Она сияла как молодая луна. Черные волосы, туго заплетенные в длинную косу, были по всем правилам моды повязаны шелковым оранжевым шарфом: концы его сходились на лбу и свисали у самого глаза. Белое нежное лицо посмуглело от летнего солнца, на щеках алой зарей разлился румянец. Я невольно ловил каждое движение ее ласковых черных глаз».

А вот пейзаж или, вернее, картина, словно написанная кистью художника. От нее веет душевной чистотой, безотчетной радостью, светлым настроением. Рассказ Нацагдоржа «В ночном» воспринимается и как стихотворение в прозе: «Лишь только пробился белый свет зари, нежно закуковала кукушка. Ее песню повторили горы, а потом бережно подхватил ветер и мягко рассыпал по широкой, просторной степи. Эти звуки сняли дремоту, и юный табунщик Цогт проснулся. Он сладко зевнул, потянулся, потер тыльной стороной ладони глаза...

Вот-вот должно было показаться круглое солнце. Его еще не видно, но вершины и склоны гор засветились на западе, на севере. Потом степной простор окрасился золотом на юге — и заря разлилась во всю ширь. Мальчик и сам засветился радостью. Он оперся на урог[1], вскочил на коня и помчался к своему табуну... Он гнал и гнал его, пока не вышли к водопою. Цогт спешился, отпустил коня и тоже подошел к воде. Он умылся. Не вытираясь, подставил лицо и руки ветру».

Проза Нацагдоржа хранит черты давних эпических традиций и в то же время показывает нарастание новых тенденций — переход от характеристики героев через поступки, действия к изображению их внутренней жизни, душевных движений.

Творчество Дашдоржийна Нацагдоржа стало явлением и в жизни новой Монголии, и в ее культуре, во многом подготовив и определив поиски современных монгольских писателей. К новой монгольской литературе, к творчеству Нацагдоржа хочется отнести слова Иоганнеса Р. Бехера о том, что искусство никогда не начинается с новых форм, оно всегда рождается с новым человеком. Новый человек новой Монголии, певец ее, Нацагдорж, родившись однажды, продолжает жить в сердце народа своей страны.

[1] Урог — длинный тонкий шест с петлей на конце для заарканивания лошади.

Д. УРНОВ

ДРУГАЯ КНИГА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

О романе «Портрет художника в юности»

Книга эта — портрет молодого ирландца — впервые увидела свет в огненно-памятный год Дублинского восстания. Если авторский замысел и не отвечал вполне такому совпадению, то исторически, в особенности на большой дистанции, эта исповедь бунтаря читается как глава из духовной предыстории года 16-го, этапного для Ирландии и ее народа.

1916-й — дата, пламенеющая и теперь в памяти каждого гражданина Зеленого острова. Ирландское национально-освободительное движение, имевшее, по ленинским словам, за собой века и прошедшее многие этапы, достигло тогда рубежа революционного [1]. Борьба ирландцев против британского господства рассматривалась классиками марксизма как разведка боем в мировом антиимпериалистическом движении. И на Апрельской конференции большевиков в 1917 году шла речь об уроках Дублинского восстания. Ныне прогрессивные ирландские историки с гордостью говорят, что с той поры, когда в течение «красной недели» реял над дублинским почтамтом трехцветный национальный флаг, минуло не многим более года,— и победное знамя революции взвилось в Петрограде.

Быстро и безжалостно было подавлено Дублинское восстание, однако после него Ирландия стала другой, той, что в итоге добилась независимости. Как сказал тогда один ирландский поэт, «все переменилось вокруг». И хотя в рядах борцов не было ни героя, ни автора «Портрета художника», роман по-своему отражает нарастание того же самого, решительного и бесповоротного, исторического перелома.

«Портрет» оказался одним из поворотных пунктов и в развитии современной литературы. Поначалу встреченный широкой публикой довольно безучастно, роман постепенно проявлял свою «современность», творческую актуальность, прежде всего при рассмотрении чего бы то ни было зрением внутренним, «очами души».

Роман этот давно уже числится среди тех книг, которые составляют классику нашего века. Историческое место его бесспорно, но ведь и о классике спорят. Спорят и о «Портрете художника», тем более что позиция самого автора была подчеркнуто полемической.

■

В начале нашего века, в 1902 году, приехал в Париж молодой ирландец Джеймс Джойс. Приехал ради того же, зачем приезжали в Париж множество поколений,— учиться искусству и, может быть, завоевать мир! Что ж, со временем сделать это ему удалось. Джойс и «Улисс» — имя автора и название книги — склоняются непрерывно в литературных дискуссиях нашего времени. Правда, существует разница между читателями и почитателями Джойса, между теми, кто в самом деле читал «Улисса», и теми, кто всего лишь слышал об этой «большой книге». «Улисс» — книга действительно не маленькая, хотя бы по объему, и для чтения нелегкая, но нет сомнений в том, что наши читатели с ней познакомятся, когда будет закончена работа над переводом.

[1] См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 53—54.

— Зачем вы приехали ко мне, ведь в вашей стране мои книги запрещены?— с такими словами обратился Джойс к советскому писателю Вс. Вишневскому, который посетил его незадолго до начала второй мировой войны.

— Мы издаем вас с 1925 года,— ответил ему Вишневский.

В свое время двумя изданиями вышел у нас сборник рассказов Джойса «Дублинцы». В альманахе «Новинки Запада» и в журнале «Интернациональная литература» печатался «Улисс» — частично. Однако много лет минуло с тех пор, и требуется новый и, главное, полный перевод.

Знакомство с «Улиссом» еще впереди, а сейчас перед читателем первый роман Джойса «Портрет художника в юности» [1].

Обычно «Портрет» рассматривается только как пролог к «Улиссу». «Портрет» — принципиально не «Улисс», это — другая книга, и не по названию или проблемам другая, ибо как раз в постановке проблем и приемах письма проследить преемственность между ними нетрудно. Не так отличается «Портрет» от «Улисса», как вообще бывают разными книги одного писателя. Это книга другого писателя, каким Джойс после «Портрета» просто перестал быть.

■

«В чем дело? Я давно написал то же самое, только гораздо лучше»,—так откликнулся на «Портрет» старый прозаик Джордж Мур. Нет, не написал, хотя его «Исповедь молодого человека», вышедшая в 80-х годах прошлого столетия, прямо ведет и подводит к «Портрету» почти вплотную. И ведь сколько было еще, и каких, «историй души»! Для далеких экскурсов здесь не место, однако необходимо напомнить, что автор «Портрета» — младший современник Толстого и Чехова, что непосредственно перед ним поле психологии разрабатывали в литературе такие мастера, как Флобер. И все-таки даже в тени вершин заметна принципиальная новизна «Портрета».

Наш читатель, подобно Джорджу Муру, может сказать: «Позвольте, такую прозу я давно знаю!» Мы действительно уже знакомы с Джойсом путем косвенным, а повлиял он на таких крупных и хорошо у нас известных писателей, как Хемингуэй и Фолкнер, Грэхем Грин и Шон О'Кейси. Даже Голсуорси, вступивший в литературу раньше Джойса, все же, чувствуется, читал его, не говоря уже о том, что для писателей послевоенного поколения — Алана Силлитоу или Джона Апдайка — Джойс выступает в ореоле авторитета.

«Портрет художника в юности» — это надпись, обычно встречающаяся под портретами живописными. Изобразительность и должна была, по замыслу Джойса, отличать его книгу ото всякой исповеди, «истории души». Вместо «истории» у Джойса — «портрет». Не рассказывается о художнике, а показывается он, причем под несколькими углами зрения.

Но что может означать показ вместо рассказа, если средством по-прежнему остаются все те же слова? Конечно, разница относительна. И все-таки об одном существенном отличии следует сказать определенно. Время! Книгу мы читаем постепенно — картину видим всю сразу целиком. «Во мне теперешнем есть я будущий»,— в «Улиссе» мысль об этом высказана прямо. А в «Портрете» разные возрастные состояния героя не чередуются, автор не ждет, когда «сейчас» станет «потом», детство — юностью, нет, все показывается одновременно. Совсем юный художник вдруг взрослеет, потом опять возвращается к юности, но важен единый узел — душа художника.

После классических душевных анализов и самоанализов, проникновенных, детальных, живых, как сама жизнь, мы, читая «Портрет», видим прямую откровенность, открытость души, хотя, собственно говоря, что здесь сообщается особенно откровенного? Маленький Стивен идет по коридору к ректорскому кабинету, лежит в лазарете или сидит за рождественским столом, и мы, все подобное вроде бы уже читавшие еще в толстовском «Детстве», чувствуем очередную степень приближения к самому непосредственному наблюдению за работой сознания.

Ведь если герой какой-либо книги говорит «я», то есть рассказывает свою жизнь, стало быть, жизнь эта в прошлом. Он вспоминает, а память, как известно, вещь ненадежная. Почему мы должны ему верить, было так или не было? А если говорится о герое «он», значит, рассказывает о нем кто-то другой. Еще меньше оснований для доверия. Вот у Джойса как-то не заметно «я» или «он». За исключением нескольких вставок из дневника, то есть от «я», повествование в «Портрете» внеличное, в третьем лице, а впечатление такое, будто душа изнутри и — во всех подробностях. Повествование расширяется, словно раздвигающийся телескоп со все уточняющимся фокусом. Фокус естественно стремится к точке, а одновременно обзор расширяется, предметы, явления, процессы, друг от друга все более отдаленные, обнаруживают связь через единство восприятия. Убедительна в этой цепи правдоподобно-прихотливая, исподволь оправдываемая соотнесенность разномасштабных объектов, втягиваемых в повествование и располагающихся в нем не по иерархии значения, расстояния, величины, а в меру движения, для всякого известного и непостижимого, когда не совершается будто бы ничего и вместе с тем все время что-то происходит: не больше и не меньше как совершается сама жизнь. Неприхотливость, неподготовленность, непрерывность, не «рассказ о...», а непосредственно то, что есть и было. Там, где для соединения первого и второго плана традиционно ставилось вводное указание: «А в это время...» — Джойс уже безо всяких слу-

[1] Роман публикуется в «Иностранной литературе» № 10—12, 1976 г.

жебно-соединительных звеньев постоянно (одновременно) держит своего героя, а вместе с ним и читателя, в средоточении событий какого бы то ни было плана.

«История — это кошмар, от которого я стараюсь очнуться»,— выскажет Стивен в «Улиссе» свою основную мысль. Да, вместе с возрастом герой «Портрета» перейдет и на страницы второго романа Джойса. Война, объявленная им времени, имела для Джойса универсальный смысл. О себе, о своей семье, о своей родине, о человечестве, о вселенной хотел он вырвать у времени истину, которую оно уносит с собой. Если когда-то классический герой думал остановить время, то Джойс предпринял попытку угнаться за ним.

Так что впечатление открытого, самого непосредственного присутствия при душевной работе создается не за счет интимных подробностей (хотя и это имеет свое значение), а благодаря точке зрения на эти подробности, точке зрения, ориентируемой во времени. «Было» или «сейчас» не существует, мы, читатели, все время «здесь», присутствуем при том, что происходит. Конечно, это благодаря все тем же подробностям, мелочам памяти, которые цепко и последовательно выхватываются из потока сознания.

«Поток сознания» следует поставить в кавычки, потому что это выражение приобрело значение термина, сначала в психологии, а затем и в литературе. Среди критиков постоянно идут споры о том, а не предвосхитил ли этого самого Джойса давным-давно все тот же Толстой? Действительно, откройте любое издание «Анны Карениной» или академическое — «Войны и мира», где помещены черновики, и прочтите эпизоды в форме «потока сознания». «У Толстого нечто совсем иное!» — говорят критики, не желающие рассматривать Толстого в опасной близости к модернистам. Что ж, пусть читатель прочтет и убедится сам, благо Джойс у него теперь в руках, а до Толстого — стоит только к полке руку протянуть.

Граница между классическим реализмом и модернизмом ненарушима, только разделяет она не отдельные приемы, а системы воззрений на мир и искусство.

Иногда, играя словами, говорят: «У Джойса — поток сознания, а у Толстого — внутренний монолог...» «Поток сознания» — крайняя форма «внутреннего монолога», более однолинейного, и Толстой с начала своего творческого пути осваивал «внутренний монолог» во всех формах, вплоть до самых крайних, он подошел к границам «потока» и ввел его, хотя бы очень ограниченно, в русло своего повествования. Это не покажется чересчур преждевременным, если учесть, что эпизоды, отражающие в толстовской прозе поток сознания, и самый термин «поток сознания» появились хотя и на дистанции друг от друга, но фактически в одну эпоху. Это — атмосфера определенного времени, когда в поисках решения одних и тех же проблем издалека и разными путями идут многие.

«Толстой возвышается надо всеми»,— признавал Джойс [1]. Ранние опыты в духе «внутреннего монолога» делал он под впечатлением от эпизода из «Севастопольских рассказов» (предсмертные мысли Праскухина), но в своей литературной родословной ссылался в основном на писателей, предпринимавших попытки распространения «потока» на целую книгу. В этом плане от сплошного «потока» он совершил шаг назад. Когда его спрашивали, в чем, по его мнению, проявляется основной характер новейшей литературы, он отвечал: «В субъективности». А сам он постарался создать в «Портрете» по возможности объективную картину внутренней жизни.

«Портрет» складывается из зарисовок отдельных состояний Стивена, причем каждая зарисовка — это разросшийся поэтический образ. Проза Джойса — нетрудно заметить — строится по принципу лирическому. Не чередование событий, как в эпосе, а сцепление образов, напоминающее стихи, составляет ее основу.

В моем сердце дожди,
Как дожди за окном.

(Верлен, 1872)

И у Джойса все начинается с метафоры, с какого-нибудь одного «как», сопоставляющего самые разноплановые явления. В стихах сопоставление уже готово, завершено. Джойс развертывает процесс сопоставления. Поэтому даже обычные вводные формулы: «Он вспомнил, что...», «Он подумал, как...» — у Джойса играют новую роль. Как в самом деле вспомнил, как подумал, как пришла мысль — нам становится видно.

Но, в конце концов, и Толстой передавал ход мыслей через сравнение. Вспомните, как засыпает Петя Ростов или как умирает

---

[1] Как писатель Джойс формировался в ту пору, которую на Западе по справедливости считают «эпохой русских». В это время, начиная с 70-х годов прошлого столетия, за рубежом узнают и буквально усваивают Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова и — Горького. Литературная атмосфера на Западе оказывается насыщена интересом к русским писателям, их воздействием. Так что и не читая Чехова можно было воспринять нечто чеховское. В отношении испытанных им влияний Джойс, прямо надо сказать, запутывал следы, занимаясь выискиванием имен. Ему напоминали о Флобере и Мередите, он раздражался и называл Дюжардена, Валери Ларбо, Итало Звево, не известных даже знатокам. Так было и с русскими писателями: вместо Толстого Джойс предпочитал говорить о Лермонтове, что само по себе свидетельствует о большом интересе Джойса к нашей литературе, но вместе с тем в его оценках все время сказывается стремление сбить устоявшуюся шкалу. Лермонтова знали тогда на Западе так же мало, как Ларбо, вот Джойс и подчеркивал, что «Герой нашего времени» — «единственная книга», которую несколько напоминает его автобиографический роман, подчеркивал, обороняясь от указаний на прямых предшественников. Так он ставил Короленко выше Тургенева, а о Чехове вовсе умалчивал.

Андрей Болконский. И слышится одному «Ожиг-жиг-ожиг-жиг», а другому «И-пити-пити-пити», объединяющие картину успокаивающегося или же гаснущего сознания. Однако пользуется этим Толстой лишь в отдельных случаях. Кроме того, в случаях исключительных, когда обстоятельства подсказывают странный ход мыслей. И все же основное отличие психологизма Толстого еще не в этом. Известная цельность личности была безусловна для Толстого, между тем душа, изображаемая в «Портрете», проблематична в самом своем единстве. «Портрет» в той же степени, как представляет собой этот роман погоню за временем, является поисками личности, самого себя. Стивен верит, что он — поэт, но то — сравнительная уверенность, на фоне тусклого окружения, а по абсолютной шкале он ни в чем не уверен.

■

Долго считалось, что «Портрет» чуть ли не автобиография. Потом, по мере того как выяснялась история романа и, в частности, был обнаружен его более ранний вариант, имевший название «Стивен-герой», потребовались оговорки и уточнения.

Конечно, «Портрет» во многом повторяет ранние годы самого Джойса.

«Стивен Дедалус меня зовут,
Родина моя — Ирландия,
Клонгоус — мой приют,
Небо — моя надежда».

«Меня зовут»... Зовут, разумеется, Джеймс Джойс, родился в 1882 году, в Дублине. Из старинной фамилии. Отец имел имя, образование, заметный государственный пост, но и — легкомыслие, судить о котором яснее всего можно количественно, поскольку припоминал он с трудом, было ли у него шестнадцать или семнадцать детей — выжило из них десятеро. Отец Джойса причастен был и к ирландской истории, и к текущей политике, и к деловой жизни, и к искусству: он, как и его сын, хорошо пел тенором. Тип был заметный, готовый персонаж, сошедший со страниц популярной местной беллетристики, живописавшей «похождения молодого ирландца», а в преклонные годы попавший в роман, написанный собственным сыном. Мать Джеймса Джойса происходила из обеспеченной буржуазной среды. Так что он, старший сын во многочисленном семействе, отправлен был, как и полагалось, в колледж, и респектабельный колледж.

«Клонгоус — мой приют»... Так этот колледж и назывался, но вскоре Джойсу пришлось его сменить, потому что семья переезжала с квартиры на квартиру. Причина перемен была все та же — неистощимое легкомыслие Джойса-старшего. Его самого привело оно к затруднительным материальным обстоятельствам, семью — на более дешевую квартиру, а сына его — в колледж разрядом ниже. Там Джеймс Джойс и доучился до конца, до шестнадцати лет, проявив блестящие способности и получив прекрасный аттестат.

«Небо — моя надежда»... Такова была основа духовных интересов Джойса в пору его учения и странствий. Его отец относился к религии так же, как относился он ко всему на свете,— с легкостью, но религиозна была мать, она прививала религиозность в семье. И все учебные заведения, которые прошел Джойс, включая еще колледж Дублинского университета, находились в руках иезуитов.

«Родина моя — Ирландия»... В семье, в колледжах, даже в любой дублинской пивной держалась та атмосфера, которую Джойс классически передал на страницах «Портрета» в сцене рождественского обеда: сгусток противоборствующих, со всех сторон фанатично отстаиваемых идей — вера, родина, свобода.

«...Английское нашествие отняло у Ирландии всякую возможность развития и отбросило ее на столетия назад, и притом именно начиная с XII века»[1],— писал Энгельс. Владельцами ирландских земель оказывались английские лорды, которые даже и не жили в Ирландии, но при усиленной эксплуатации рост Зеленого острова искусственно задерживался. Кроме гнета государственного, исходившего от британской короны, ирландцы попали и под гнет церковный, католический, что еще более усложнило англо-ирландские отношения, поскольку в Англии был силен протестантизм — сопротивление католическому влиянию.

Лидер национального ирландского освобождения, герой юности Джойса, Парнелл, как известно, не был сам ни ирландцем, ни католиком, а по меньшей мере три четверти ирландского населения являлось к исходу прошлого века католическим. «Мы победили! Мы сокрушили его насмерть! Сатана!» — этот злобно-торжествующий возглас католички по адресу Парнелла попал на страницы «Портрета» непосредственно из семейно-домашних воспоминаний автора. Из того же источника и ответные, истошно-истерические реплики отца, дяди — многовековая боль, чему Джойс тоже подводил итог.

Никогда не знала Ирландия того, хотя бы временного, союза политических, национальных и церковных сил, какой способствовал, скажем, достижению независимости южнославянских или восточных стран. «Свинья, пожирающая своих поросят»,— образ жуткий, возникший у Стивена в пылком споре о судьбе страны. Помимо всех других противоречий, внешних и внутренних, религиозные распри разорвали Ирландию таким образом, что между лагерями не могло быть не только перемирия, но даже вражды последовательной. Глубину и противоестественность разрыва Джойс познал на собственном опыте, в семье: отец — сторонник Парнелла, мать — ревностная католичка, и сам он не знал покоя при мысли о родине, однако практически не находил путей и позиции, чтобы действовать в пользу ее освобождения и независимости.

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 32, стр. 349.

Что же касается британской имперской политики в отношении к Ирландии, то Герберт Уэллс выразительно написал об этом в «Очерке всемирной истории». Ирландцам были нанесены давние и жестокие обиды, сказано у него, о которых в самой Англии никто даже не помнит, но в Ирландии память о них так свежа, как будто все это случилось вчера. Понятно, старые раны не затягивались потому, что их то и дело заново растравляли.

Вместе с тем волею исторических судеб сложилась и развилась, принеся мирового значения плоды, особая англо-ирландская культура. «Ирландия Свифта и Гольдсмита»,— так это назвал Уэллс. Естественно здесь добавить имена Лоренса Стерна, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу. «Я люблю Ирландию, однако не испытываю ненависти и к Англии»,— так говорил еще один видный представитель этой особой промежуточной культуры, старший современник Джойса, нам уже знакомый Джордж Мур. Однако сам Джойс — случай более сложный.

Особенность его судьбы становится видна сразу, как только требуется дать ему самые обычные определения. По национальной принадлежности чей он писатель? Теперь его причисляют к англо-ирландской культуре, но, ясно, он от нее гораздо дальше, чем другие выдающиеся англо-ирландцы. Современник так называемого «ирландского Возрождения», Джойс разве что соприкоснулся с этим культурно-политическим движением и — стал в сторону. Писал по-английски, но Лондон посетил всего несколько раз и, уж конечно, не считал себя англичанином. За вычетом ранних, проведенных в Ирландии, лет и после поездки 1902 года в Париж география и хронология его судьбы такова: Триест (1904) — Цюрих (1915—1920) — вновь Париж (1920—1939) — Цюрих (1939—1941). Да, бывали короткие наезды в Лондон, Рим и другие европейские города, но на родную землю с 1904 года до кончины, за исключением единственного и очень краткого посещения в 1912-м, Джойс уже не ступал.

Порвав с родиной, Джойс жил мыслью об Ирландии. Поражены бывали те, кто, встречаясь с Джойсом, ожидали увидеть некоего «гражданина мира», а видели ирландца до мозга костей. Но, конечно, ирландца на свой лад, со своим представлением обо всем ирландском. Это выразилось и в грустной его шутке. Однажды Джойса спросили, какого он мнения об ирландском национальном характере, и Джойс ответил: «Самого отрицательного, я этот характер знаю по себе».

В девять лет, в годы мальчишества, сложил он исполненные патриотизма стихи, того патриотизма, о котором наслышан был от отца и его приятелей. Молодым человеком, студентом, Джойс пишет статьи, критикующие ирландский национальный театр, а по существу — узость, обывательщину ирландского национализма, бесперспективного, по мнению Джойса, именно в деле освобождения Ирландии. Статьи его вызвали нападки ответные и при этом парадоксально разносторонние: против публикации одной статьи Джойса протестовал редактор-иезуит, хотя собственно антикатолического в статье ничего не было. Сочли, что статья оскорбляет национальное чувство, сочли те, кто оскорблял это чувство самим своим нахождением на ирландской земле. Так что этот приговор — лоскутное соединение из совершенно разнохарактерных представлений о «национальном чувстве». Ни распутать, ни разрубить узел таких противоречий Джойсу оказывается не по силам, и он совершил в итоге шаг, которым заканчивается «Портрет»,— он уехал, бежал на континент, в Париж.

■

Каждый из парижских паломников, подобно герою «Утраченных иллюзий», бросал человечеству свой вызов. Но бальзаковский молодой бунтарь говорил: «Ужо тебе!» — поднявшись на Монмартр, Холм мучеников, а ко временам Джойса дерзающие дарования перебрались в Латинский квартал, по другую сторону Сены. Монмартр уже был прославлен импрессионистами и оказался, так сказать, в сюжетном отношении исчерпанным. Кроме того, за счет своей славы он стал дорог, а у таких, как Джойс, карман, понятно, был пуст настолько же, насколько полна творческими планами голова.

В отличие от романа, где герой стремится посвятить себя творчеству, только творчеству, сам Джойс имел, хотя бы формально, намерение продолжить учебу по медицинской части. Но на самом деле он, конечно, занимался, вернее, пытался заняться литературной деятельностью, причем профессионально, то есть ради заработка, в качестве рецензента.

С первым же редактором, который при поддержке рекомендательного письма согласился Джойса выслушать, у них обнаружились расхождения, чего Джойс не счел нужным скрывать. На это редактор сказал: «Молодой человек, стоит мне высунуться в окно и крикнуть, как сбегутся ко мне толпы подобных вам алчущих работы рецензентов, но они напишут все, что я захочу». На этом их отношения и кончились.

В «столице искусств» двадцатилетний Джойс провел полгода в точном смысле голодной жизни. Выхода не предвиделось. Но однажды ночью он получил телеграмму: «Мать при смерти приезжай отец». В кармане у него опять-таки буквально не было ни гроша. С телеграммой в руках, пройдя чуть ли не через весь ночной Париж пешком, Джойс достучался до одного из косвенного и состоятельного знакомого, который, увидав телеграмму, снабдил его деньгами на дорогу. Джойс вернулся в Дублин, и началась уже другая полоса его жизни, за пределами «Портрета», из другого романа.

Итак, все это похоже и вместе с тем не похоже на жизнь Стивена Дедалуса из

Д. УРНОВ
ДРУГАЯ КНИГА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

«Портрета художника». Не в том дело, конечно, чтобы уточнять, так ли уж неприязненно Джойс относился к своим родителям, такой ли суровой была обстановка в колледже, сколько раз его пороли и как часто принимал он причастие — лишь однажды, как в романе, или, судя по фактам, пять раз? Такие расхождения обычны. Понимания романа они не меняют: по силе читательского впечатления единственная исповедь Дедалуса стоит пяти посещений священника самим Джойсом. Важно разобраться в конфликте, который был выстрадан Джойсом и воплощен в «Портрете художника». И вот тут существенна разница между тем, что было «на самом деле», и тем, что Джойс отчасти придумал (надумал) для себя как конфликт.

Джойс тщательно вынашивал и воплощал свой замысел. Как ни наступали на него обстоятельства, он не торопился. Десятилетний период охватывают даты, поставленные под «Портретом» — 1904—1914. К этим годам следует еще добавить несколько лет от самого начала века, когда в значительной части был написан уже «Стивен-герой». Поправки Джойс вносил и в журнальный текст «Портрета», печатавшийся в обозрении «Эгоист» (1915), и в отдельное, сначала нью-йоркское, а потом лондонское издание 1916 года. Небольшая книжка поглотила лет пятнадцать работы, из которых, правда, около двух лет роман скитался по редакциям,— издатели в свою очередь не торопились получить рукопись, но Джойс все время правил роман, а от раннего варианта, начав переговоры с издателем, он отказался сам. Всеми силами стремился он выразить то, что хотел выразить. От первого ко второму варианту, от «Стивена-героя» к «Портрету художника», он совершил рывок от черновика к законченному произведению, но также он взял другую точку зрения, переменил конфликт, и эта перемена, рассматриваемая сейчас, с большой дистанции, очень наглядна для характеристики Джойса.

Так что же, Джойс ставит под сомнение ском смысле, был еще более автобиографичен по фактам. Но тот молодой человек, мечтая стать художником бился прежде всего над вопросом, художник ли он. Для Стивена в «Портрете» подобных сомнений не существует. Он занят другой проблемой: как утвердить себя в качестве творческой личности.

■

Когда для краткости роман называли «Портретом художника», Джойс добавлял: «...как молодого человека». Таково буквально заглавие — «Портрет художника как молодого человека». Оценить нагрузку, которую должна нести эта конструкция, можно по сравнению с названиями похожими, предшествовавшими книге Джойса: «Герой как писатель» (Карлейль), «Художник как критик» (Уолтер Пейтер), «Критик как художник» (Оскар Уайльд). Заглавие Джойса в свою очередь стало формулой, по образцу которой строятся другие заглавия, другие «портреты художника... как врага... как сорванца...».

Каждое из названий предполагает определенную парадоксальность, основанную на передоверении функций героя — литератора, художника — критику, превращение критика в художника. Перестановка возникает из-за невозможности дать определение прямое и адекватное. Некогда невозможность объяснялась обстоятельствами: в противовес торгашескому преуспеянию писатель как герой возводится на пьедестал; вопреки все тому же до убожества одностороннему буржуазному вкусу предоставляется критику свобода артистическая — не столько судить о предмете, сколько создавать в своем мнении самый предмет... И пока идет полемика, не заметно, что перестановка эта не только полемически-временная, но и по существу в самом деле кто-то другой оказывается перед нами то «как писатель», то «как критик». Когда же произошла подмена? Если в пылу полемики, то следует вернуться назад и спокойно выправить положение. Однако проверяя доводы, которыми утверждалось «героическое» значение писательской деятельности, мы вдруг видим, что писатель как писатель теряет свои самые специфические признаки. «Он изъявляет свою волю вовне,— подчеркивал Карлейль,— словом или жестом, как придется»... А у Джойса? Конечно, не только возраст сам по себе важно было подчеркнуть ему в заглавии. «Как молодого человека» — значит, лишь по этому признаку распознается художник, между тем все другие признаки проблематичны, не гарантированы.

Так что же Джойс ставит под сомнение уверенность Стивена в своем творческом призвании? Смотрите и судите сами, на то и «Портрет». Для того Джойс показал молодого художника, а не рассказывал, чтобы не вмешиваться в суждение о нем. Но хотел ли Джойс, чтобы читатель в какой-то момент испытал от общения со Стивеном досаду и скуку? Едва ли, не говоря уже о том, что существует принципиальная разница между изображением «скуки» и состоянием читателя, которому становится за книгой скучно. А читатель, должно быть, временами испытывает нечто подобное, читая «Портрет». Даже переводчик романа, наш выдающийся мастер М. П. Богословская-Боброва, отдавшая этому произведению много времени и сил, подготавливая «Портрет» к печати, все спрашивала: «А не скучновато ли местами?» Возможно, и это тем более заметно по контрасту с другими местами, где совсем не скучновато, где — жизнь.

Отчего нам интересен маленький Стивен и почему в момент, когда должно нам все стать еще интереснее — Стивен подрос и осознал себя поэтом,— ожидания наши не всегда оправдываются?

По мере того как развертывается каждый из «внутренних монологов» Стивена, этот юный художник, носящий имя Дедала-стро-

ителя, мысленно восстанавливает или, напротив, разрушает мир вокруг себя. С каждым усилием памяти вспоминается все, любой ход мысли, и — внутренний мир героя целиком приходит в движение, нарочито «всякий» момент служит точкой опоры или, вернее, отправным пунктом для обзора вселенной. Формирующемуся сознанию представляется, будто весь мир, все человечество, вообще все на свете обрушивается непомерным грузом на молодую голову. «Как все кругом меня изобличает» («Гамлет», IV, 4, 32) — еще Шекспир, изображая психику молодого человека, выделил в ней этот гиперболический универсализм. У Джойса в сознании его героя, юного Стивена, также выстраивается система: в основании — школьная парта, за которой сидит маленький мальчик, затем — весь колледж, город, округ, страна, континент, земной шар, вселенная. Но прежде всего — слова, вся мудрость человечества, выраженная мудреными словами и втискиваемая в сознание юного художника. Перегруженность сознания — мы знаем трепещущих деток Диккенса, знаем отчаянных мальчишек Марка Твена, знаем по классике множество образцово переданных состояний детской психики, и страхов, и радостей, и на этом фоне Стивен Дедалус не затеряется, его выделяет своя проблема. Преждевременную старость души, недетские испытания, выпавшие на детскую долю, найдем мы у многих писателей, однако у Джойса это, как и другие состояния, передано не в готовом виде, а в становлении и — в монтаже с универсальной проблемой: детство в старом, одряхлевшем мире.

Так много обещала рано пробудившаяся восприимчивость Стивена и так плодотворно запечатлено у Джойса это состояние героя, что и в дальнейшем, если Джойс возвращался так или иначе к первым переживаниям Стивена, он, как после антеева прикосновения к земле, вновь обретал силы. Тема не повторялась — развивалась, подобно всему истинно живому. В «Улиссе» Джойс напишет едва ли не самое лучшее, что он вообще написал: главу о школе, где Стивен уже не учится, а учит сам таких же, какими были они, сорванцов, учит и — вспоминает себя. «Мое детство, склонившееся рядом со мной»,— проза того уровня, о которой Уэллс, читая «Портрет», сказал, что иные эпизоды лучше не написал бы даже Лоренс Стерн, предтеча современного психологизма в литературе. Но там же в «Улиссе» на целые страницы растянется, разовьется в систему мертвящая схематизация, которая уже заметна в «Портрете».

Братья-иезуиты сумели воспитать себе достойного противника, глубоко воспринявшего их выучку и обратившего схоластические приемы против них самих. Один из тонких и многозначных эпизодов в романе — когда Стивена за учебное сочинение обвиняют в ереси. «Я хотел сказать, без возможности когда-либо достигнуть»,— Стивен оправдывается с помощью словесной уловки, и принимается его оправдание с помощью уловки: «О! Да! Когда-либо достигнуть. Это другое дело»...

Столь же существенный и уже не мимолетный, а развернутый и тем более с превеликим тщанием отделанный эпизод—проповедь. Здесь Джойс стремился выполнить до конца тот пункт повествовательной программы, который еще у Флобера получил обозначение «беспристрастия», авторского «невмешательства». Самого художника не видно, а он всюду — так, вроде бы из беспорядочных эпизодов, у Флобера в «Мадам Бовари» была воспроизведена картина сельскохозяйственной выставки. А Джойс, тоже казалось бы не вмешиваясь, дает чуть ли не стенограмму устрашающей проповеди. «Слово божие» в устах проповедника призвано запугать юных слушателей. Между тем автор хочет дать читателям самое непосредственное представление о том, какой силы убивающий душу нажим приходилось выдерживать его сверстникам с малых лет. И не просто нажим — гнет, который был сброшен юным художником, как только стал он зрелее и смог осознать: «Я пытался любить бога... Не удалось».

Когда Уэллс прочитал «Портрет», он высоко оценил книгу как разоблачение иезуитского воспитания. Разоблачение тем более сильное, что производится изнутри, путем показа, без прямых осуждений. Некоторые страницы «Портрета» Уэллс смело сравнивал по уровню не только со Стерном, но и со Свифтом. К этому можно добавить, что проза Джойса, достигая временами сатирической остроты, неизменно остается в пределах быта, вроде бы «нормальной» жизни Как такового разоблачения и не заметно, оно получается в итоге, творческом итоге, достигнутом за счет поистине живого воспроизведения душевных состояний.

Состояния эти проявляют, однако, коварную заразительность. Вырвавшись из-под власти авторской, поражают они самого автора и — передаются читателю уже не творчески, а в натуральной непосредственности. Вот один из первых эпизодов, когда приятели по всем схоластическим правилам (преподают эти правила в колледже) выпытывают у Стивена: «Скажи-ка, Дедалус, ты целуешь свою маму перед тем, как лечь спать?» Отбившись кое-как от вопрошателей, Стивен начинает, спрашивая уже самого себя, вспоминать о доме, о матери, и что же? В остатке, когда память все просеяла, оказалось всего лишь слово, и не полновесное, значимое, согретое чувством слово, а только звук — «пц»... «Одни только слова» — тот же результат самопроверки в другом случае. И замечательный эпизод в лазарете, когда Стивен так живо воображает собственную кончину и мы с ним вместе слышим звон и видим монахов в черных одеяниях, все же и этот эпизод сводится к словам, «таким красивым и гру-

---

Д. УРНОВ
ДРУГАЯ КНИГА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

стным, как музыка» и все же одним словам, не выражающим, а подменяющим переживание. Пока Стивен мал, это выглядит признаком исключительной, рано изощрившейся пытливости. Другое дело, когда «одни только слова» остаются в итоге у взрослеющего Стивена, когда возникает опасное соответствие между «усталостью», «утомлением» героя и утомительностью тех же страниц для читателя.

Борьба живого сознания против догмы во имя новой постройки — такова суть исповеди молодого художника, но прямота исповеди не тождественна выводу, который может сделать читатель. Мы видим: отвергнув веру, художник тут же начинает молиться; вырвавшись из одного лабиринта, принимается за строительство другого; иной логики, кроме догмы, сознание его, судя по всему, не содержит.

«Я утратил веру, но я же не лишился рассудка»,— говорил о своей собственной духовной эволюции Джойс. Это он отшучивался, понимая, что в действительности он, как и его герои, прошел искус более сложный. Уже вера Стивена, и соответственно самого Джойса, отличалась рассудочностью и нуждалась в том «оправдании софизмами», о котором говорил по себе все это знавший Толстой. В подобном оправдании веры он видел кризис, и кризис непоправимый. На своем опыте Джойс дает творчески объективные показания, подтверждающие, что, с другой стороны, и рассудок, прошедший школу веры, притом веры иезуитской, так и остается на все последующее время лишь формой веры, а не разумом в продуктивном смысле этого слова. Пределом остается рассудочная вера, или верующий рассудок. Не сочетание, а все та же перестановка и подмена, подстановка по формуле — «разум как вера», к тому же вера иезуитская, увертливая и оговорочная.

По природе своего воспитания Стивен пользуется в «Портрете» многими понятиями из словаря религиозного, в том числе когда рассуждает об искусстве, о творчестве. Еще больше таких рассуждений было в том варианте, где Стивен назывался не «художником», а «героем». Сокращения продиктованы были чувством меры, но одно из очень важных рассуждений Джойс снял помимо соображений формальных вместе со всей перестройкой замысла. Он убрал отрывок об «озарениях» как способе творчества.

«Озарение», оно же «богоявление», взято было из Евангелия, но Стивен придал ему свой смысл. Художник, по идее его, живет озарениями, в сознании его сочетание впечатлений вдруг дает вспышку. Но что дальше? Допустим, художник испытал озарение, а публика? По истории священной, озарение—это как раз явление бога людям, сошествие «духа святого» на всех. Это, если угодно, передача внутреннего прозрения вовне. Стивен с изворотливостью поистине иезуитской уходит от вопроса: а дойдут ли до людей его озарения и каков, собственно, их источник, их содержание? В основном пункте своей творческой программы совершает он ту же подстановку— без разбора говорит о «слове или жесте», выражающем вспышку творческого духа. «А может быть,— добавляет он,— озарение так и останется в сознании». И по контрасту со всеми теми резкими разграничениями между собой и окружением, которые так определенно проводит Стивен на том основании, что он — художник, эта зыбкость творческого самоанализа особенно заметна.

■

«Молчание, изгнание и хитроумие»,— формулирует юный художник программу, основной пункт которой обозначен понятием, не просто поддающимся переводу. М. П. Богословская-Боброва немало потрудилась специально над поисками равнозначного русского слова. Cunning — ведь это и «мастерство», и «хитрость», и «изворотливость». Мастерство как ухищрения.

Восходит слово к Шекспиру, все к тому же «Гамлету». «Отличная пьеса,— говорит принц актерам во втором акте,— в ней все сцены были тщательно отобраны, и все сделано с такой же скромностью, как и с cunning». У Шекспира — «мастерство»? Эта пьеса, которую вспоминает Гамлет, была по-своему образцовой, но... прошла всего один раз. Ее не хотели смотреть. Она оказалась «пищей для немногих». Так ее определяет Гамлет. Однако сам Шекспир писал и для немногих, и для многих, и писал совсем по-другому. Стало быть, и для немногих вся эта образцовость не могла быть «питательной». Это «мастерство» и «ловкость», соединенные в одном понятии, в одной способности. Всего-навсего умение и навык в отличие от более крупной творческой силы.

«Лишь то оружие...» — Стивен, выдвигая тройственный девиз, в свою очередь признает сравнительно скромные возможности такого «мастерства». Однако затем, уже в «Улиссе», выполняя обещанную программу, Джойс все больше будет использовать «мастерство» как уловку, как способ творческую задачу обойти. Сначала в меру прежней своей требовательности Стивен скажет: «Кажется, я противоречу себе?» — но потом отмахнется: «Что ж, пусть противоречу». И так это попустительство из наблюдаемого, изображаемого переходит уже у самого Джойса в утрату творческого самоконтроля.

Чем дальше, тем все в большей степени будет Джойс приближаться к типу так называемого «трудного писателя», собственно, он один из первых воплотит в себе этот тип. Он будет рассчитывать на помощь читателей, и если скажут ему, что «большую книгу» трудно читать, он ответит: «А мне было трудно писать».

«Большая книга» и автор ее, «большой писатель», даются в кавычках, потому это особые понятия, отвечающие той позиции, в которую поставил себя Джойс: заняв традиционное место писателя, он, однако, оказался способным вступить во взаимоотно-

шение с читателями лишь при дополняющем пособничестве истолкователей, критики, даже рекламы. В «Портрете» еще мало опоры на всю эту окружившую «большую книгу» внетворческую демонстративность, но уже проявляет себя склонность к доктринерскому схематизму, а тогда и читателю трудно становится преодолевать прозу Джойса.

■

Три человека решали судьбу рукописи, и мнение каждого из них заключало в себе особую позицию, существенную и для современной оценки «Портрета».

Рукопись прочел консультант крупного издательства, внутренний рецензент, которым оказался Эдвард Гарнет, лицо в литературе не случайное. В общем, после его отзыва, хотя и благожелательного, рукопись была возвращена Джойсу. Затем она попала в руки деятельного организатора литературных мнений, поэта-модерниста Эзры Паунда. Он прежде всего обрушился на Гарнета, изобразив его филистером, который, как и положено филистеру, страшится всего «нетрадиционного». «А что же как нетрадиционное нам еще нужно сейчас!» — восклицал Паунд. Однако рассматривая эти мнения теперь, мы убеждаемся, что все обстояло несколько иначе по сравнению с распространенными представлениями о борьбе «традиционного» и «нетрадиционного», «непонимающих» и «понимающих». Гарнет был как раз ценителем очень понимающим, свидетельством чему служит судьба целого ряда глубоко нетрадиционных писателей, которых именно он поддержал и продвинул в литературу. Нетрадиционность прозы Джойса вовсе не испугала рецензента. Он отметил повествовательный талант автора, живость некоторых сцен и лиц, а пожелания его сводились к тому, чтобы автор, приложив дополнительные усилия, отделал свою книгу именно как книгу, доведя до отчетливости собственный замысел. Паунд оценивал «Портрет» совершенно иначе. Он считал, что прозу Джойса как некий бродильный фермент следует немедля внедрить в текущую литературу. По инициативе Паунда «Портрет» стал печататься в журнале, очень ограниченном по тиражу и распространению, но когда была сделана новая попытка обратиться в издательство, опять возникла необходимость в отзыве. И тут третейским судьей в споре выступил Герберт Уэллс.

У них с Джойсом были общие знакомые, и, по их просьбе, знаменитый писатель просмотрел рукопись. Просмотрел и, видимо, вынес то же впечатление, что и Гарнет, потому что отложил рукопись в сторону. Его попросили еще раз, он опять взялся за «Портрет» и уже не только рекомендовал его к изданию, но, когда книга вышла, поместил свой отзыв в печати. Мы уже знаем, что некоторые страницы «Портрета» Уэллс сразу занес в классику. Но мы также можем увидеть по его отзыву, что все критические замечания остались на своих местах. И Уэллсу казалось, что Джойс подчас без необходимости тычет читателю в лицо грязные слова и вещи (об этом писал Гарнет), что иногда подробность психологического анализа переходит просто в затянутость, что воспитанный братьями-иезуитами страх перед жизнью овладевает временами не только героем, но и автором, и в таких случаях схематизм, угнездившийся в сознании «художника», из предмета изображения превращается в метод повествования.

Разве с этим отзывом разойдется современное восприятие «Портрета»? Ведь и сегодня читатель вынесет то же самое впечатление: талантливости там, где талантливо, затянутости, где затянуто. И бесформенность, где бесформенность, вызовет чувство досады. И лица, и типы, некоторые лица и типы выступят как живые, и в то же время пожалеет читатель, что автор кое-где не доработал, хотя бы не сократил своей рукописи. Однако в критической канонизации Джойса на Западе восторжествовал совсем не такой подход. Новейшая джойсиана в значительной своей части пошла по пути, наметившемуся в отзыве Паунда: «...можно наслаждаться предложение за предложением».

Ни восприятие читательское, ни творческий процесс не дробится так, на предложения, и этот гурманский, как бы смакующий прозу анализ разлагает художественное создание вовсе не на те элементы, из которых оно складывалось. Но в таком духе процветает критика на критику критики (как называл это Толстой), целые горы критические громоздятся вокруг Джойса. И вместе с тем мощный поток, охватывающий, кажется, всякий оттенок авторского замысла, минует «рифмы» — трудности подлинной критической оценки. Где писатель выполнил свой замысел, а где потерпел неудачу?— такого вопроса и существовать не может, если исходить из уравнения: трудно писать — и читать должно быть не легко. Однако именно с этой позиции Джойс по-своему «завоевал мир», во всяком случае множество сторонников, считающих: каков мир, таково в этом мире искусство, а современный мир поистине «труден».

Были и прежде «трудные» писатели, которых в старину называли «темными», проще сказать, невразумительными для широкой публики, но их творения и предназначались «токмо любителям». В нашем веке стали говорить, что это и есть «искусство века». Так в первую очередь говорят модернисты и — ссылаются на Джойса.

В литературе извечно существовала разветвленная система больших и малых величин. Вместе с «трудным» искусством вводятся величины вовсе другой системы, основанной на идее о безнадежном кризисе «современного духа», современного мира, современного искусства. И не какой-либо художник персонально, а художник, как

Д. УРНОВ
ДРУГАЯ КНИГА ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

таковой, обрекается на заведомую неудачу. В конечном итоге логика этой системы приводит к тому, что художник, или, вернее, некая личность, принимающая на себя тяготы творческого труда, может и не быть художником. Словами, кистью или жестом — «как придется» — эта фигура, позирующая в роли «художника», желает возвестить о себе миру. При этом Джойс принимается за точку отсчета в ряду подобных «величин».

Вопрос сложный. В нескольких фразах или в какой-либо критической формуле его не охватишь, а главное, тогда надо говорить о Джойсе в целом, особенно об «Улиссе», а перед нами пока «Портрет». Но и уклониться от такого вопроса нельзя, иначе и «Портрет» понятен не будет. Отметим основное: модернисты, которые сами себя считают и которых действительно можно считать серьезными исполнителями собственной программы, не отрицают заведомой и тотальной своей творческой обреченности.

Модернизм серьезный — это современный исторический пессимизм. «Конец» — для него ключевое слово. Джойс пришел к такому пессимизму, причем еще даже не в «Улиссе», а уже в последней своей книге— «Поминки по Финнегану». «Портрет» написан был Джойсом, лучших надежд не утратившим. Поэтому и творческие трудности, с которыми столкнулся он, работая над ранней своей книгой, он не передоверял для решения читателю. Собирался решить их своими силами. А сил на книгу, к тому же еще большую книгу, на современную «Илиаду» или «Войну и мир», не хватало. Оживали под его пером отдельные эпизоды, страницы, вспыхивали удивительные по движению и емкости фразы — книга из них не вырастала! И тогда, перенеся свои творческие промахи как принцип на мировую ситуацию, Джойс и решил заставить читателей «трудиться» над книгами вместе с автором, вернее, вместо него.

Но в нем был силен и подлинный художник. Творческая природа его личности проявлялась, как и должно быть, прежде всего в особой отзывчивости, называемой по традиции всемирной в смысле чуткого отклика на самые разнохарактерные явления, соединяющиеся в восприятии художника. У него и в личном поведении сказывалась эта способность. Можно кого-либо из его многомудрых интерпретаторов представить в следующей ситуации?

Это было в самом начале второй мировой войны. Коричневая чума распространялась по Европе. Фашистские полчища надвигались на Францию. Джойс жил в Париже. В том самом куда он приехал некогда совсем молодым и безвестным. Теперь он уже был занесен в литературные святцы и — в туристические справочники, наряду с живописцами Монмартра и собором Парижской богоматери. Тогда он был двадцатилетним, теперь на плечи его ложился груз шестого десятка лет. Перенес он чуть ли не дюжину глазных операций и плохо видел. Казалось, что и мир вокруг него погружается в ночь. С приятелем он зашел как-то на окраине Парижа в большой, как ангар, дансинг. А там три роты солдат пели «Марсельезу». И вдруг, как ни могуч был солдатский хор, все услышали отчетливый, мелодичный, хорошо поставленный тенор, который включился в сильное, но нестройное пение и повел всех за собой. Спутник, сопровождавший мэтра, не сразу даже осознал, откуда голос. А потом понял: это пел Джойс. Бледный, худой, почти ничего не видящий человек поводит длинными худыми руками, выключен из жизни, существует в странном мире—таким в ту же пору видел Джойса Вишневский у него дома, на улице Гренель, неподалеку от Эйфелевой башни. И вот эта фигура — среди солдат. Джойса влекут в середину, поднимают на стол, и гимн свободы звучит с новой силой.

Это ведь тоже жест, вместо печатного слова — поступок. Но в этом движении был тот самый, согретый живым чувством, талант, артистизм в высшем смысле, что дает себя знать и на лучших его страницах. Это — Джойс, обещавший в итоге исповеди начинающего художника, может быть, слишком много, но искренне: «Приветствую тебя, жизнь! Я ухожу, чтобы в миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души несотворенное сознание моего народа».

Благодаря этой проникновенности Джойс остался одним из заметных ориентиров в западноевропейской литературе нашего века. Дублин с литературной стороны стал городом Джойса в известной мере так же, как есть представление о бальзаковском Париже, диккенсовском Лондоне или Петербурге Достоевского. Молодой ирландец-бунтарь на исходе прошлого века — Стивен признан типом классическим. Но это не только портрет из галереи прошлого. Черты юного художника, обрисованного Джойсом, проглядывают и теперь едва ли не в каждой книге, касающейся проблем современной ирландской молодежи. Ирландия как государство добилась независимости, но все же далеко не изжиты проблемы, которые так обостренно переживал автор и герой «Портрета». И теперь в отношении к своей родине многие ирландцы оказываются перед проблемой любви-ненависти, того выбора, что у истоков современности был по-своему сделан Стивеном, героем Джойса.

Н. ФЕДОРЕНКО

ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Размышления над итогами лондонского конгресса ПЕН-клуба

Взаимосвязь истины и воображения, правды и художественного вымысла была главной темой сорок первого конгресса международного ПЕН-клуба, проходившего в Лондоне в конце минувшего августа. Об этом писательском форуме — краткие наши записи.

...У каждого большого города — особые черты, неповторимые приметы. Однажды войдя в нашу память, они надолго способны остаться в сознании человека. И от того, быть может, испытываешь еще большее изумление, когда нечто запечатленное тобою внезапно опровергается вновь представшей действительностью.

Лондон в те дни удивил разительностью перемен, необычностью возникшего и происходящего. Во всем — значительном и малом. И в сфере материальной, экономической, с ее неостановимым ростом цен на товары и предметы первой необходимости, с денежной девальвацией. Никогда еще английский фунт не испытывал такой невесомости, как теперь. И в области интеллектуальной жизни общества, где царит невыносимая атмосфера вседозволенности. Интерес к проблемам нравственности, о которых в последнее время на Западе заговорили и приверженцы вседозволенности, в известной мере является некой реакцией на духовный маразм, на моральный распад. Слишком много в продаже наготы и непристойности. Открыта рана, которая неизвестно когда и при каких обстоятельствах заживет.

Весьма символично, что знаменитые башенные часы на здании английского парламента, Биг Бэн,— одна из исторических реликвий Британской империи — прекратили недавно вселенский свой бой, исчерпав меру выносливости в момент самых острых дебатов в парламенте. Символ усталости, уставшего времени... На все легла печать глубокой истощенности, дряхлости системы, изношенности социального организма, взвращенного на почве былого колониализма. Великобритания все более — и увереннее — отходит в тень мировой политики. Она, как все чаще можно услышать теперь в Лондоне, «дошла до конца своего пути».

Времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Нет больше империи, над необъятными землями которой никогда не заходило солнце, но вековечная амбициозность неистребима — будто кому-то самой судьбой предназначено управлять другими землями и людьми всю жизнь, от колыбели до гроба. Как встарь, продолжается смена королевского караула, разряженных стражей померкшего единоцарствия, хотя зрелище церемонно вышагивающих гвардейцев в огромных медвежьих папахах в африканскую жару прошедшего лета вызывало лишь ироническую улыбку прохожих и туристов.

Но, сверх всего, Лондон в те дни удивил и необычностью своих красок. Вечно погруженный в густой туман и смог, он превратился теперь в очень «горячий» город. Неузнаваемо изменился привычный для всех его облик. Опаленные солнечным жаром, прославленные салатно-зеленые английские газоны в Гайд-парке стали цвета жухлой соломы и были готовы вспыхнуть от любой

искры. Исчезли цветы. Чахли деревья. Засуха нанесла весьма ощутимый ущерб природе, всему живому на Британских островах.

На конгресс съехалось свыше пятисот литераторов — представителей восьми тысяч членов ПЕН-клуба из пятидесяти пяти стран мира, в том числе некоторых социалистических государств Европы. Среди участников — видные художники слова: Роберт Лоуэлл (США), Веркор (Франция), Стефан Хермлин (ГДР) и другие. В работе конгресса активно участвовали известные английские романисты Айрис Мердок и Виктор Притчетт, поэты Джон Бетчемен и Стивен Спендер, драматург Том Стоппард и целый ряд эссеистов, критиков, литературоведов. В то же время бросалась в глаза малочисленность писателей «третьего мира», связи которого с международным ПЕН-клубом все еще остаются неустойчивыми. И объясняется это не состоянием литературы в странах Азии и Африки, а скорее причинами политического характера, в частности, тем, что членом организации является южно-африканский ПЕН-центр, не занявший до сих пор принципиальной позиции по отношению к режиму апартеида.

Советские литераторы присутствовали на лондонском конгрессе в качестве наблюдателей и принимали участие в творческих дискуссиях. У Союза писателей СССР имеется опыт сотрудничества с международными писательскими организациями и международным ПЕН-клубом. Нередко это приносило положительные результаты, способствовало развитию деловых контактов, лучшему взаимному пониманию литераторов. Вне всякого сомнения, в наше время любой творческий форум только выигрывает от участия в нем представителей крупнейшей в мире многонациональной литературы Советского Союза.

И надо сказать, что устроители конгресса, в частности президент международного ПЕН-клуба Виктор Притчетт, генеральный секретарь Питер Элстоб, а также глава английского центра Стивен Спендер, многое предприняли, чтобы создать благоприятную обстановку для работы и сделать возможным участие в конгрессе представителей социалистических стран. Новые тенденции внутри ПЕН-клуба нашли выражение и в факте избрания очередным президентом этой организации известного перуанского романиста Марио Варгаса Льосы, автора многих книг, в том числе и переведенного на русский язык романа «Город и псы», рассказывающего о жизни перуанской молодежи, и романа «Зеленый дом», за который автор получил в Венесуэле премию Ромуло Гальегоса по жанру романа.

Союз советских писателей неизменно выступает за литературные связи, за творческий диалог, за широкий международный обмен произведениями искусства. За развитие сотрудничества, обмена культурными и духовными ценностями на основе взаимности, уважения и доверия сторон, как это предусматривается Заключительным актом общеевропейского совещания в Хельсинки. «Мы открыты для всего правдивого и честного,— говорил на Конференции коммунистических и рабочих партий Европы в Берлине Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— и мы готовы всемерно умножать контакты, используя благоприятные условия, которые создает разрядка. Но наши двери будут всегда закрыты для изданий, пропагандирующих войну, насилие, расизм, человеконенавистничество... Мы считаем, что культурный обмен и средства информации должны служить гуманным идеалам, укреплению доверия и дружбы между народами».

В этой связи особенно важна международная деятельность советских писателей, проходящая сегодня в обстановке острой идеологической борьбы, в условиях непрерывных атак буржуазных пропагандистских служб против советской литературы. Антисоветские элементы, противники разрядки международной напряженности, стремящиеся подорвать взаимоотношения между государствами с различным социальным строем, постоянно держат советскую литературу под прицелом. Еще недавно они пытались организовать бойкот советской литературе, предполагая загнать ее на остров отчуждения, отлучить от мирового литературного процесса. Сегодня с полным основанием можно сказать, что расчеты наших противников отнюдь не оправдались. Зарубежные литературные связи советских писателей непрерывно ширятся. Двери нашего писательского дома гостеприимно открыты, и сотрудничество, которое мы предлагаем литераторам мира, опирается на самые высокие побуждения. Мы — за всемерное развитие литературных связей, за то, чтобы взаимное понимание шло встречными потоками.

Настоящая культура по своей природе, по глубокой своей сущности — явление интернациональное. Подлинному художнику чужды насилие, кровопролитие, вражда людей. Напротив, уважение к культурам других народов, естественный интерес к ним, стремление понять их творчество есть верная черта истинного писателя, творца человеческих ценностей.

■

Проходившие на лондонском конгрессе дискуссии охватили широкий круг творческих проблем: современное состояние прозы, поэзии, драматургии, произведений для телевидения и радио. Докладчики и те, кто выступал в свободном обсуждении, высказывали различные точки зрения, нередко у них были противоположные взгляды и эстетические оценки.

Высказывались на конгрессе мнения, касавшиеся вопросов обмена литературой между Востоком и Западом. Вместе с тем очевидно — и это нам пришлось наблюдать на лондонском конгрессе,— что разрядка

международной напряженности становится, по мере своего углубления, объектом все более острого идеологического противоборства. Сторонники «холодной войны» вовсе не смирились со своим поражением. Они пытаются посеять сомнение в искренности советской внешней политики, доказать, например, что Советский Союз противится свободному и плодотворному обмену в области информации и культуры.

Лидер английских консерваторов М. Тэтчер, эта «железная леди», по свидетельству прессы, полагает, например, что со времени Хельсинки никакого осязаемого прогресса вообще не было... В выступлениях отдельных писателей и особенно в буржуазной прессе явно обнаруживалась тенденциозность подхода, желание усилить односторонний поток западной литературы в Советский Союз, который в этих целях, по их мнению, должен распахнуть «все свои двери и шлюзы».

Что может скрываться за такого рода постановкой вопроса? В своей издательской деятельности, как известно, мы стремимся сделать достоянием нашего народа все лучшее, подлинно гуманистическое, что есть в зарубежной литературе. Кстати, в нашей печати уже не раз приводились высказывания зарубежной прессы, отмечавшей высокий уровень издания мировой литературы у нас в стране.

На какие же произведения западных писателей, кроме выходящих у нас — и весьма внушительными тиражами, — нам следует обратить внимание? Не на ту ли второразрядную и третьеразрядную продукцию духовного обихода, что широко распространяют средства массовой информации, в том числе радио и телевидение, в странах Запада? В США, например, на огромную аудиторию издается «литература» на тему о том, как сделать головокружительную карьеру, разбогатеть, стать миллионером, или о сенсационных грабежах.

Или, скажем, на разного рода формалистическое шаманство, которое претендует на новаторство? Оно способно лишь разрушать, но не в силах создать что-либо идейно и художественно ценное. Оно воплощает жестокую, мрачную, антигуманную сторону времени.

Или на поистине ницшеанскую апологию преступности и зла. На проповедь жестокости, расизма, войны. Неизбежности войны, ядерной катастрофы. Страх перед будущим — превалирующая тенденция в западном обществе и литературе.

Но где же благородные идеалы, способные вдохновлять человека на созидание, духовное творчество? Уровень подобного искусства столь низок, что дальнейшее падение невозможно.

Разве в этом не обнаруживается оскудение сердец? И тут не какая-то одна, отдельная, или даже несколько граней действительности, а нечто естественное в жизни или естественность самой жизни, воспринимаемая как реальность, как будни современного западного образа существования. Здесь нельзя не видеть проявлений кризиса буржуазной культуры. Тяжелого духовного кризиса. Уж не подобного ли рода искусство и литературу мы должны у себя пропагандировать?

Люксембургская газета «Цайтунг фум летцебургер фоллек» писала недавно в статье, посвященной вопросам культурного сотрудничества между Востоком и Западом: «Неотъемлемой частью буржуазной культуры являются, как известно, широко распространенные на Западе произведения, оскорбляющие человеческое достоинство, прославляющие насилие и расизм, насаждающие неприкрытую порнографию. Даже в самих западных странах много пишут о пагубном влиянии на общество коммерческого телевидения и нередко констатируют, что реакционная буржуазная печать поставляет лживую информацию, которая вводит читательские массы в заблуждение. И такой «продукции» сторонники «свободного обмена идеями» хотят обеспечить беспрепятственный доступ в социалистические страны! Распространения подобной «культуры» и «информации», конечно же, не могут допустить ни Советский Союз, ни другие социалистические страны».

Нет необходимости повторять, что мы за мир творческих личностей, а не роботов. И потому мы решительно — за сохранение и развитие общечеловеческих начал в искусстве, они лежат и в основе социалистического гуманизма, научного нашего миропонимания.

По опыту истории нашей Родины и по личному опыту мы хорошо знаем цену войне и миру. Но мы также знаем, что «чужую беду — рукой разведу». Ныне, как никогда ранее, возросла человеческая ответственность перед жизнью на земле. Мир не может быть дарован милостью судеб. И нерасторжимость связей между народами разных стран давно уже глубоко осознана человечеством как историческое содержание нашего времени. Оно требует от каждого художника, наделенного чувством ответственности, проявления трезвомыслия, взаимной сдержанности. Сдержанность — это прежде всего невмешательство во внутреннюю жизнь других народов. И можно лишь испытывать удовлетворение по поводу того, что тема эта затрагивалась в выступлениях различных литераторов на конгрессе.

Европа, познавшая трагизм смерти, крови, страданий и руин, торжественно и твердо провозгласила в Хельсинки, что хочет жить, может жить и должна жить без войн. В этом великий смысл подписанного больше года назад Заключительного акта, являющегося поистине хартией европейского мира. Но о результатах его выполнения судить надо не по словам, как бы благозвучны они ни были, а по реальным поступкам, по предпринимаемым практическим действиям.

Н. ФЕДОРЕНКО
ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
И РЕАЛЬНОСТЬ

Долгие годы «холодной войны», конечно, оставили много шрамов. Нельзя игнорировать реальности международной обстановки. Но разве в ядерный век существует разумная альтернатива мирному сосуществованию? Именно в понятии «разрядка напряженности» нашли сегодня отражение процессы начавшейся глубокой перестройки системы международных отношений на основе принципов мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Однако некоторым кругам на Западе, видимо, не по душе курс на мир, на подлинную разрядку международной напряженности. Пытаясь идти против ветра времени, против закономерностей исторического развития, они цинично требуют в обмен на разрядку идеологических уступок от Советского Союза... Не об этом ли, в сущности, идет речь, когда нам говорят о необходимости «усилить» поток информации в Советский Союз? Но смягчение международной напряженности не означает отказа от противоборства различных общественных систем, идеологической борьбы двух миров. И здесь в силе ленинское положение: «...буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет... *Всякое* умаление социалистической идеологии, *всякое отстранение* от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной» [1].

Общеизвестно, что на Западе происходит процесс унифицирования информации, находящейся в руках монополистической буржуазии. Многомиллионная аудитория «потребителей» получает одинаковую, специально обработанную политически и идеологически информацию о том или ином событии, имеющую вполне определенную классовую окраску. Это касается и отбора информации о жизни СССР и социалистических стран. Вот что писал об этом английский еженедельник «Листнер»:

«В британских газетах очень бедно освещается жизнь в Советском Союзе. В основном материалы о советской действительности носят негативный характер. А главное, из этих статей читатели получают искаженное представление о событиях в СССР, у них создается впечатление, что за последние десятилетия ничего не изменилось. Корреспонденты, аккредитованные в СССР, присылают мало статей о развитии союзных республик. Что касается журналистов, пишущих в Лондоне, то они, кажется, взирают на Россию через телескопическую трубу; особенно слабо освещаются социальные аспекты жизни СССР. А ведь читателей весьма интересует, как организовано там здравоохранение, наблюдается ли в СССР инфляция, есть ли проблема безработицы. Сотни таких вопросов, актуальных для Англии, вообще не затрагиваются в статьях об СССР, а если и затрагиваются, то только для того, чтобы подчеркнуть какие-нибудь недостатки. Один довольно яркий пример. В 1972 году из-за засухи в СССР был собран плохой урожай. Вся пресса взахлеб писала об этом. На следующий год был собран рекордный урожай, однако этот факт почти не упоминался в «большой» лондонской прессе».

Это высказывание английского журнала еще раз подчеркивает очевидную истину: средства массовой информации, находящиеся в руках капиталистических монополий, не скрывают своей враждебности социализму. Верно, что у нас был неурожай. Но у нас не было позора Вьетнама, скандала Уотергейта, чудовищных заговоров ЦРУ, как нет у нас безработицы или инфляции. Ясно, что за «информацией» многих буржуазных газет в сущности скрывается преднамеренная дезинформация.

Искажение сути советской внешней политики — одна из наиболее характерных черт западной прессы, английской в частности. Основной ее мотив: курс на разрядку есть уступка Советскому Союзу. Подобные утверждения постоянно раздаются на страницах таких органов, как «Гардиан», «Таймс», «Нью стейтсмен», «Обсервер» и др. Так, в редакционной статье «Таймс», озаглавленной «Баланс разрядки», говорилось, что «разрядка есть зло, поскольку более сладкие плоды этой политики достаются Востоку, а не Западу».

Во всех крупных английских буржуазных изданиях регулярно помещаются серии статей, которые активно гальванизируют миф о советской угрозе. Военный обозреватель «Таймс» лорд Чалфонт, например, опираясь на натовские источники, прямо утверждал, что СССР готовит нападение на страны Западной Европы.

Фальсификация эта давно уже всем набила оскомину, но задействованная однажды английская старокостная машина неостановима. А усердствующие политиканы тем временем добиваются гладкого проведения все возрастающих военных бюджетов через парламент.

Аргументами при этом служат все те же стереотипы: Советский Союз получил односторонние выгоды от совещания в Хельсинки и использует разрядку для наращивания своей военной мощи.

Странные эти речи об односторонних выгодах Советского Союза слышали мы и на лондонском конгрессе. Иные из наших собеседников пускались в рассуждения о том, какую «цену» за разрядку они ожидали бы от Советского Союза. Собственно, «цену» за что? За смягчение напряженности, за мир, уменьшение опасности ядерного конфликта? Но разве Запад заинтересован в этом меньше, чем Советский Союз? Или, быть может, кое-кто питает иллюзии, будто ядерное оружие способно быть беспощадным к одним и гуманным к другим?! Увы, оно нечувствительно к идеологической ориентации.

Некоторые западные литераторы, в частности представители французского ПЕН-центра, усиленно пытались навязать конгрессу обсуждение разного рода внелитературных вопросов вроде «диссидентов» в СССР и т. п. Не составляло тайны то, что инициаторы подобных затей руководствова-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 39—40.

лись не творческими целями, а недостойными расчетами демагогического и провокационного характера, действовали в духе печальной памяти «холодной войны», погребальных гимнов в хоровом исполнении. В английской прессе без обиняков об этом писалось: французский ПЕН-центр «добивается того, чтобы делегация советских литераторов покинула конгресс». Чем же закончилась эта выходка? Участники лондонской встречи не сочли для себя уместным вовлекать конгресс в подобные авантюры.

Бросается в глаза, особенно, так сказать, «глядя из Лондона», что западная реакционная печать в извращенном виде изображает природу социалистической демократии, положение личности и творческой интеллигенции при социализме.

На страницах лондонской прессы то и дело выступают политические демагоги, покровительствующие всякого рода перебежчикам, которые утверждают, что русская литература там, где они — эмигрантские элементы и идеологические диверсанты. Сочинители «архипелагов», «диссиденты» и иже с ними — какая странная избирательность западных издателей в отношении советской литературы...

Это имел в виду, кстати, известный канадский литератор Джон Ричмонд, который в газете «Монреаль стар» критиковал западные издательства за то, что, публикуя большими тиражами антисоветские сочинения различных эмигрантов и «недовольных», они слишком мало знакомят западных читателей с произведениями действительно советских и действительно талантливых писателей.

Поборники «социализма с гуманным лицом» не щадят сил для обвинения коммунизма в том, что он, согласно этим вещунам, утверждает «тиранию» над личностью и свободой, а также распространяют версии «коллективизированной души», «партийного диктата» и т. д. и т. п. Как видно, у злобствующих этих авторов нет своих убеждений, но есть чужие предрассудки.

Сожаления достойно то, что лондонская пресса печатает на своих страницах заведомую ложь и фальсификации. Не разумнее ли подобным ревнителям прав человека и свободы направить пафос своего критицизма на положение дел в собственном доме?

■

В качестве своеобразного девиза конгресса, в значительной мере определившего содержание и направленность полемики, были взяты строки из письма английского поэта Джона Китса, адресованного его коллеге Бенджамину Бэйли и датированного 22 ноября 1817 года. Китс, в частности, писал: «Я не уверен ни в чем, кроме святости приязни сердца и истинности воображения. То, что воображение улавливает как прекрасное, должно быть истиной...» Отсюда возникла и формулировка основной темы дискуссии на конгрессе — «Истинность творческого воображения».

В докладах и выступлениях нашли выражение различные точки зрения по обсуждавшемуся вопросу, в том числе субъективистские, идеалистические взгляды, не подкрепленные какими-либо новыми мотивами и по сути повторяющие известные взгляды философов и эстетиков давно минувшего времени. В выступлениях некоторых западных писателей ощущалось несколько настороженное отношение к произведениям, в которых присутствует показ трагического в жизни человека, жестокая реальность. Они скорее склонялись к необходимости воспроизведения прежде всего положительных явлений, прекрасного в жизни, желая видеть все или почти все в розовом свете. Как к этому относиться?

Искусство призвано отображать не какую-то часть правды, истины, не нечто от правды, но всю действительную правду. Правда, как реальность, многолика: она бывает не только привлекательной, чарующей, прекрасной, но и горькой, страшной, чудовищной. Достоверность творческого воображения писателя нерасторжима с существующей вокруг нас реальностью, правдой жизни в ее многосложности и диалектической противоречивости. Здесь вся гамма страстей человеческих. От восторгов и восхищения до разочарований, отчаяния, трагизма. И об эмоциональных этих потрясениях автор должен стремиться поведать читателю, который в ходе сопереживания постигает многое не просто умом, но воспринимает сердцем, всем существом своим.

Разве не правы те, кто, обращаясь к свидетельству истории, отмечали, что Европа — арена самых страшных войн в жизни человечества? Не менее сотни миллионов погубленных жизней — таков кровавый баланс истории Европы. Чудовищный баланс в истории человечества. Это грозно предупреждает и обязывает. Серьезно обязывает задуматься над минувшим ради будущего.

Анахронизмом, например, выглядели слова индийской поэтессы Умы Боруа, утверждавшей, что лозунг «искусство для искусства» все еще не изжил себя и что для поэта нет объективно существующего мира, есть лишь мир внутренних его ощущений, эмоций, движений его души. Однако выступление иранского литератора Голама Сабри-Табризи явилось убедительным ответом на подобные суждения. Он указал, в частности, на безответственность эстетического эскейпизма в странах «третьего мира», в которых ведется бескомпромиссная борьба за преодоление вековой отсталости, следствия колониального угнетения. Оратор подчеркнул важность все возрастающей социальной активности художественного творчества.

На конгрессе прозвучали и не новые суждения о том, что искусство занимается лишь чем-то личным: случаями, персонажами, частными историями. И потому доми-

---

Н. ФЕДОРЕНКО
ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
И РЕАЛЬНОСТЬ

нантой должен быть человек в его отношениях, прежде всего, с самим собою и только во вторую очередь — с обществом. Отмечалось при этом, что всеобщее принадлежит науке, философии или истории. Искусство же в силу своей эмоциональности, по мнению приверженцев этой точки зрения, прежде всего тяготеет к частному, тогда как философия и история — нет. Иными словами, в конечном счете речь шла о попытке провозгласить внутреннюю самоценность искусства, оторванного от общественной жизни, вопросов социального значения.

На конгрессе было изложено и наше, марксистское понимание проблемы правды и творческого воображения, соотнесенности их с эстетической категорией прекрасного. В частности, внимание было обращено на объективный характер правды, как реальности, существующей независимо от сознания писателя, а также на то, что истина нами рассматривается как верное отражение действительности в мысли, в сознании человека. При этом истина постигается в сопоставлении фактов. Мудрость эта была знакома еще древним. Критерии истины? Сама реальность, практика, объективные факты помогают понять, в какой мере мы ее постигли.

Воображение художника, с нашей точки зрения, неотделимо от личностного, субъективного начала в его творчестве, от его способности создавать новые чувственные или отвлеченные образы в сознании на основе преобразования полученных от действительности впечатлений, конкретных знаний. Одних знаний, однако, недостаточно. Художник должен еще обладать способностью подняться над конкретным фактом. Иначе его знание и отображение жизни останутся неодухотворенными, несогретыми страстью художника. Такие произведения не трогают нас, не волнуют, не возвышают. Творческое воображение особенно существенно в процессе создания художественных ценностей, образно преломляющих действительность, в отличие от беспочвенных грез и беспредметных мечтаний, которые уводят художника от реальной жизни.

Участвовавшие в обсуждении писатели справедливо отмечали, что воображение может быть не только конструктивным, созидательным, но и опасным, разрушительным. Разве не таково воображение маньяков от литературы, одержимых психозом насилия, войны, кровопролития? Именно поэтому важно было напомнить нашим собеседникам, что только воображение, обращенное к потребностям общества, служащее его познанию и преобразованию, представляет собой, по мысли Ленина, качество величайшей ценности.

В ходе творческих дискуссий обнаружились существенные тенденции, свидетельствующие о важных позитивных сдвигах в мироощущении и художественном мышлении целого ряда представителей современной мировой литературы. Не обходились стороной и не замалчивались волнующие всех актуальные проблемы сегодняшнего дня, отражение их в литературе. Речь шла о философском осмыслении жизни, минувшей и нынешней реальности. О критическом реализме.

Беседы с зарубежными писателями во время лондонского конгресса еще раз позволили нам убедиться, что советская литература и искусство все более прочно утверждают свои эстетические позиции, противостоят элитарному, модернистскому искусству, «массовой культуре», развращающей художественные вкусы людей, нравственно их калечащей. «Советская литература и искусство,— говорится в Программе Коммунистической партии Советского Союза,— проникнутые оптимизмом и жизнеутверждающими коммунистическими идеями... призваны служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и нравственного воспитания».

Литература призвана прежде всего творить моральный климат времени. Уверенные в своей правде, мы сквозь многое прошли, многое испытали, многое постигли. Наше мировоззрение вооружает нас оптимистическим видением, способностью смотреть на настоящее из будущего.

В большой степени возросшее значение искусства слова в духовной жизни нашей страны стало общепризнанным фактом. В этом нельзя не видеть материализации основополагающих принципов общества реального социализма, создающего высшие формы человеческого общежития. Именно вследствие этого советская художественная практика отражает исторический оптимизм наиболее передового строя.

Место и значение нашей литературы в общемировом движении словесно-речевого искусства нерасторжимо связано и с художественным методом, лежащим в основе творчества советских писателей. Социалистическим реализмом, который дает возможность выявления общего и индивидуально-неповторимого, развития диалектического соотношения национального и интернационального. Сущность метода социалистического реализма вытекает из ленинского положения о том, что «рабочие создают во всем мире свою интернациональную культуру» [1]... Полезно напомнить, что, как подчеркивал Горький, социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество. В этом одно из важнейших качеств литературы нового типа.

Передовое искусство, храня верность великим традициям, естественно их обновляя, в то же время воплощает образы социалистической действительности, реального социализма — общества, свободного от господства монополистической олигархии, свободного от страха перед кризисами, безработицей, свободного от социальных бедствий.

Лондонские встречи убедили нас и в том, что эстетические позиции нашей литературы вызывают растущий интерес в передовых кругах современного мира. Об этом го-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 23, стр. 150.

ворит и тот факт, что распространенный нами доклад, содержавший материал о современных явлениях советской многонациональной литературы, об итогах недавно прошедшего VI съезда писателей СССР, быстро разошелся среди делегатов и гостей. С большим вниманием были встречены и выступления на конгрессе литераторов социалистических стран.

С удовлетворением восприняли мы возникший в личных беседах и в ходе дискуссий творческий диалог с зарубежными писателями, который позволил поделиться сведениями о нашей литературе, ее своеобразии, позволил высказать свои взгляды по обсуждавшимся проблемам, в частности по вопросу о реализме. Именно реализм мы отстаиваем в литературном творчестве, утверждаем в художественной практике. Это наша эстетическая программа, органически связанная с революционным мировоззрением, сочетающим в себе стремление к высоким идеалам и трезвость, самую смелую мечту и реальный подход к действительности.

Особый социально-исторический характер нынешней эпохи обусловливает и новый характер реализма нашего времени. В поисках истины советским писателям чужды иррационализм и мистика, они не разочарованы в человеке, не исповедуют асоциальных доктрин. Их родословная — это родословная событий нашей жизни и дум народных. Отсюда проистекает стремление литературоведческой науки сегодня осмыслить подходы и пути к сложному меняющемуся миру литературы. Мы отдаем себе отчет в том, что человек как объект искусства приобретает все большую сложность, объемность и многогранность. С таким пониманием истины и достоверности творческого ее выражения связана, в частности, задача создания подлинно живого образа нашего современника.

У многих наших зарубежных собеседников вызвала интерес проблема культурного наследия и позиция советских литераторов в этом вопросе. И хотя наши разъяснения воспринимались не всеми одинаково, никто не оспаривал того, что именно советской литературе, пожалуй более чем какой-либо другой, пришлось в силу морального ее долга и ответственности перед временем принять на себя полную меру творческих поисков. Познавая человеческую жизнь, правдиво выражая духовный мир человека — его чувства, надежды, сомнения и разочарования, новая литература не может не опираться на литературное наследие, которое было создано предшествующими поколениями и которое продолжает доставлять духовную радость, эстетическое удовлетворение.

Каждый художник, принадлежа своей эпохе, черпает материал из своего времени и одновременно — и в этом закономерная преемственность — вбирает в себя, разумеется в соответствии со своим дарованием, то, что завещано и сохраняется веками, историей, традицией.

В наши дни художнику нужна не только современная подготовка, современные знания, современный образ мышления. Осмыслить жизнь, какой она была и какая есть теперь, осознать законы прекрасного ему помогают мудрость живших ранее нас, опыт мировой культуры, знание истории.

Советская литература, несомненно, принадлежит к тем явлениям, которые составили бы предмет национальной гордости любого народа, если судить по напряженности духовных и творческих ее исканий, бескомпромиссности общественных идеалов. Законы нашей нравственности требуют, чтобы художник очень внимательно всматривался во внутренний мир человека с его многоплановостью и контрастностью чувств.

Нас, разумеется, не могли не интересовать в ходе творческих дискуссий и направление исканий зарубежных художников слова, содержание этико-эстетического идеала в мировой литературе. На важных перевалах истории литература пересматривает, порой критически, и обновляет критерии и оценки морали и эстетических воззрений. Грядущий день мудрее дня нынешнего. Именно в этом заключена диалектика духовной культуры. Нравственная атмосфера жизни нашего общества сопряжена с повышенной взыскательностью, с приложением более строгих идейных и эстетических критериев к литературным произведениям.

В выступлениях на конгрессе отмечалось, что каждое новое поколение, каждый истинный художник ищет в искусстве собственные пути, индивидуальные средства изобразительности, стремясь открывать то, что не было известно предшественникам. Именно так создается движение слова и мысли. Творческое развитие. Речь шла о самом существенном — о глубине, горизонте, перспективе.

Одним из наиболее ярких показался нам доклад английской романистки Айрис Мердок, хорошо известной советскому читателю по ряду ее произведений, в частности роману «Черный принц»[1]. Она говорила о непреходящей роли жанра романа в мировом литературном процессе сегодня. Вопреки утверждениям скептиков, роман отнюдь не умер, он продолжает жить и приобретать все новые и новые стилевые качества. Чтобы лучше познать самого себя и общество, читатель нуждается в романе не меньше, чем в самых актуальных трудах ученых. Мердок указала на то, что от научного анализа художественное исследование общества и человека, предпринимаемое романистом, отличается, в частности, применением иносказания, непрямолинейными аналогиями и другими образными средствами, являющимися признаком художественной зрелости и творческого воображения. В следовании традициям Диккенса и Толстого видит Мердок основу нынешнего и дальнейшего расцвета романа. «Мы не позволим кон-

[1] Опубликован в «Иностранной литературе» № 8—11 за 1974 год.

Н. ФЕДОРЕНКО

ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

структивистам отнять у нас эти традиции»,— решительно заявила она и добавила: «В признании обществом, читателем — смысл жизни и работы автора. Иначе неизбежны выкихи. Искусство — постоянный источник утешения для всех. Оно может придавать значимость даже самым тривиальным событиям в нашей жизни... Роман в большей степени, чем другие литературные жанры, умеет выразить трагедию нашей и любой другой эпохи. Именно поэтому значение романа все время возрастает». Писательница говорила и о том, что роман отражает реальную истину, правду жизни через посредство множества подробностей, художественных деталей. И лучше всех, по ее мнению, удавалось это Толстому. В способности романа выражать правду — залог его будущего.

Слов нет, роман — это пирочайшая панорама художественного видения жизни. Не частность, не отдельный аспект явления, а цельная, всеохватная картина. Толстой сумел отобразить во всей полноте различные стороны жизни — крестьянской, городской, военной, частной и общественной. Он словно бы собрал воедино все нити времени и жизни. В этом сила его творчества, сила толстовского романа. Думается, по-своему это удалось Шолохову, как и другим выдающимся советским писателям.

Айрис Мердок заявила, что она разделяет озабоченность, высказанную выступавшим на конгрессе французским писателем Веркором, в связи с возрастающей коммерциализацией «массового» искусства в западных странах и усиливающимся процессом дегуманизации литературы. Человек, подчеркивала она, остается главным предметом искусства. Если писателю в его воображении уже видится живой образ героя, это можно считать успехом дела. К сожалению, отметила она, сплошь и рядом реальные люди намного ярче и полнокровнее литературных героев. Следует помнить поэтому, что писатель должен служить обществу и что от него ждут поистине прекрасных произведений, а не «нужной» или «красивой лжи». Только так романист и может служить обществу, социальному его здоровью.

Участники дискуссии отнюдь не всегда и не во всем были единодушны. Преобладал полемический обмен суждениями. Споры, сопоставление опыта, доказательства. Литературные дискуссии, когда они ведутся в духе взаимного уважения и такта, всегда полезны. В этом, пожалуй, смысл и оправдание столь масштабного международного форума литераторов.

И мы ощущали, невзирая на повышенную активность горстки недоброжелателей и противников творческих контактов, горячую заинтересованность подавляющего числа участников лондонского конгресса в реалистическом диалоге, в плодотворном обмене идеями и информацией, в совместном труде ради мира на земле — именно этого требуют высшие цели современной международной жизни.

◆

Заметки на полях

СОВРЕМЕННАЯ УТОПИЯ

Молодежь Запада в поисках новых ценностей: находки и потери

Одно из центральных мест в молодежной «контркультуре» 60-х годов занимала тема «идеальной общины», микрокосмоса, позволяющего преодолеть чувство отчуждения, столь распространенное в современном, «атомизированном» буржуазном обществе. Так, по мысли Пола Гудмэна, весьма заметной фигуры в ряду духовных авторитетов молодых американских радикалов 60-х годов, небольшие общины, коммунитарные группы, основанные на принципах личных контактов, совместного принятия решений и неограниченной свободы инстинктивного самовыражения, призваны были стать «очагами здоровья внутри сумасшедшего дома, именуемого индустриальным обществом». Гэри Снайдер, один из столпов «бит»-поколения и зачинателей «подпольной», неофициальной молодежной культуры, отличительной ее особенностью склонен был считать подражание «...трайбалистским социальным структурам», образец которых он обнаруживал у североамериканских индейцев. Опросы 1970 года, проводившиеся в американских кэмпусах, позволили установить, что очень значительная часть студенчества ставит под сомнение ценность традиционного западного индивидуализма и буржуазной семьи. Огромный ценностный престиж приобрели, напротив, идеи общинножития, сообщества и т. д. Ныне, на спаде движений, когда ушли в прошлое яркие, зрелищные проявления протеста, характерные для 60-х годов, поиски «альтернативного стиля жизни» не только не утратили своего значения, но в некотором смысле и углубились.

В этих поисках в последние годы едва ли не на первое место выдвинулись опыты общинножития, так называемые «коммунитарные эксперименты», в которых приняло участие довольно большое число людей, по тем или иным причинам не нашедших ни удовлетворения, ни своего места в традиционных рамках господствующего жизненного уклада. Развитие коммунитарной субкультуры характерно как для Америки и Японии, так и для Европы. Сейчас насчитывается около 200 коммун в Голландии, около 50 в Англии; в Англии же существует и формальное «коммунитарное движение», объединяющее около трех тысяч членов. Именно анализу опыта английских участников общинных опытов, «коммунитариев», посвящено исследование Эндрью Ригби, профессора Эбердинского университета и сотрудника журнала «Коммуны»,— «Альтернативная реальность. Опыт исследования коммун и их членов».

Волнения 60-х годов не имели в Англии проявлений, сколько-нибудь сравнимых с событиями в США, Франции или Италии. Но тем показательнее, быть может, развитие

здесь коммунитарного движения, участники которого в своих исканиях руководствуются общим духом молодежного протеста и основными принципами «подпольной» культуры. В настроениях отказа, ухода от современной цивилизации они находят отличавшие этот протест и эту культуру апокалипсическую окрашенность и острое ощущение необходимости как-то изменить направление социального развития.

Насколько позволяют судить об этом высказывания самих коммунитариев — а одной из наиболее привлекательных черт книги Ригби является обилие опросного материала,— основные нападки с их стороны вызывает господствующая система ценностей в целом, и яростность этих нападок на весь дух цивилизации «латинского Запада» порою приводит на память интонации таких идеологических лидеров третьего мира, как Франц Фанон. Ригби констатирует:

> «Интересно отметить, что при ответе на вопросы относительно существа переживаемого ими чувства отчуждения от общества почти ни один из коммунитариев не упомянул о таких вещах, как распределение богатства и доходов в обществе. Их личные трудности адаптации были связаны с тем, что они считают определяющим качеством жизни в этом сером, обесцвеченном мире».

И в другом месте и в несколько ином контексте автор развивает ту же мысль:

> «Когда коммунитариев спрашивают, какая именно сторона жизни в современном обществе представляется им особенно невыносимой, они затрудняются с ответом, но скорее склонны считать невыносимой жизнь в современном обществе в целом. Так, например, один из моих респондентов следующим образом определил это невыносимое: «Весь бизнес от девяти до пяти. Вы становитесь похожи на машину. Это не жизнь».

Заявления такого рода, приводимые автором, и поразительно разнообразны, и вместе с тем единодушны в обнаружении того, что американский социолог К. Кенистон определил как синдром «утраты веры» — веры в основные ценности и ориентиры буржуазной культуры:

> «Если мы вынуждены жить в макрокультуре, то мы должны вполне удовлетворяться тем, что эта культура манипулирует нами, но если наш взгляд на вещи радикально отличается от современных коллективных представлений или если мы воспринимаем жизнь в понятиях иной шкалы ценностей, создание сообщества единомышленников открывает единственный путь, на котором мы можем претворить наши идеи в жизнь... в кругу подобным же образом мыслящих людей.
>
> Жизнь в нормальном обществе чертовски бессмысленна... Люди тратят свою жизнь главным образом на то, что не доставляет им никакого удовольствия... Все они живут в этих одинаковых маленьких коробках. Еще у них есть другая коробка, на колесах,— для воскресных дней. Они совсем не используют своих способностей... И это проклятое телевидение — еще одна коробка... мне казалось, что я схожу с ума.
>
> Очень трудно выразить все это. И то, что нужно вставать в 7 — 8 часов утра и тащиться на работу, а вечером обратно, а потом вы с женой таращитесь в телевизор; и что нужно будет делать то же и завтра, и послезавтра... Боже, я не мог бы вынести этого. Кому в этом стадообразном обществе еще достаточно повезло, чтобы иметь возможность пережить свою жизнь как приключение, и какой ум еще настолько свободен, чтобы обрести вдохновение в царстве всеобщей посредственности и подавления индивидуальности?»

Большинству участников общинных опытов жизнь, которую они вынуждены вести в «нормальном» буржуазном обществе, представляется призрачной, не подлинной, не оставляющей ни малейшего шанса стать творцом своей собственной судьбы. А поскольку сверхорганизованность и индустриализм выступают в их глазах как определяющие черты этого общества, именно они и возбуждают наиболее глубокое отвращение и протест.

Не случайно в ряду непосредственных побудительных мотивов к проведению общинных экспериментов столь же значительное место, что и ощущение невозможности реализовать свою жизнь, «самоосуществиться», заняла экологическая проблематика.

Такая настроенность придала общинным экспериментам романтически-пасторальный оттенок бегства из больших городов, возвращения к природе; многие коммунитарни охотно и сознательно ведут свою родословную от хиппи как первых беглецов из современного города-гиганта.

«С риском быть обвиненными в стремлении бежать «назад, к природе» или «назад, к земле», позвольте сказать, что именно этого мы и желаем. Нам кажется (и, думается, мы в этом не одиноки), что мы слишком далеко ушли от вещей и явлений природного мира, от роста трав, света и воздуха, от смены времен плодоношения и увядания, от источников творчества, зрелости и самопознания. Хотя и не стремясь к «примитивной» жизни, в каком бы то ни было смысле, мы чувствуем желательность и необходимость более тесного контакта с травой, деревьями и незараженным воздухом, нежели тот, что возможен в городе».

Так обосновывает свой выбор в пользу общины один из респондентов Ригби. Другой, основатель и лидер подобной общины, подчеркивает, что она

«...возникла как ответ на проблемы, созданные современной жизнью на Западе, образом жизни, все более неудовлетворительным и стеснительным для самых разных людей и ставящим, по всей видимости, под вопрос само существование человека на этой планете».

Подобные настроения чрезвычайно популярны. Автор замечает:

«Наиболее широко распространенный взгляд на будущее поражает пессимизмом, уверенностью, что человек устремляется к катастрофе и что, к сожалению, почти невозможно заставить его не отравлять атмосферу, не перенаселять планету и так далее».

Очень выразительно сформулировано это всеобщее ощущение в одном из ответов:

«Я как-то чувствую, что у нас осталось не очень много времени для того, чтобы поработать над нашими идеями».

И если с классическими утопистами прошлых веков современных коммунитариев роднит общая антикапиталистическая настроенность, неприятие идей частной собственности, обособленного индивидуального существования, то все же господствующие среди них настроения разочарования в возможностях науки и разума ведут их по путям, существенно отличным от путей социальной утопии в духе Мора или Кампанеллы. Принципиальный отказ от разработки проекта будущего общественного устройства, склонность к риторике «царства божьего на земле» в гораздо большей мере сближают их с анархо-пацифизмом в духе Толстого и Торо, а в историческом разрезе — с английскими диггерами и исповедующими общинножитие религиозными сектами Северной Америки.

Большинство коммунитариев затрудняются, как констатирует автор, с ответами на вопрос о частностях социально-экономической организации будущего общества, однако охотно прибегают к образам «совершенно иного», «нового Иерусалима» и т. д. Наиболее выразителен следующий ответ:

«Мое видение? Блейковский Иерусалим — «и сошел агнец божий на эти веселы зеленые холмы». И прочь от городов и искусственной среды, созданной человеком на этой планете. Она духовно разрушает род человеческий...»

В том же ключе звучат и другие ответы с характерным для них лейтмотивом отказа от разработки деталей будущего общества и стремлением подчеркнуть дух радикального обновления жизни:

«Вы имеете видения, вы можете живо представлять, что произойдет. Но не нужно это планировать, потому что тогда вы искажаете образ... Через два года Лондон станет Новым Иерусалимом».

В сочетании с недоверием к разуму и специфическим культом всего «естественного» — прямым наследием 60-х годов — эта религиозная напряженность коммунитарных

исканий привела к разработке особого идеала человека, выражающего себя прежде всего на уровне подсознательном и инстинктивном. Наиболее общие представления коммунитариев по этому вопросу могут быть суммированы следующим образом: человек, по естественной своей природе, хорош и добр, эти его качества непосредственно раскрываются в живом общении; идеальные условия для такого общения создает малая группа, основанная на прямых межличностных контактах между ее членами. Современное же буржуазное общество, с его анонимными бюрократическими структурами, извращает человеческую природу и отчуждает человека от его собственной, врожденной доброты и естественной способности к творчеству.

«Членам общин,— отмечает Ригби,— обычно присущ взгляд на человека как потенциально творческое, ищущее самовыражения и наслаждения существо...»

В свете такого представления о человеческой сущности, при уничижительном отношении к ценностям «разума» и культе инстинктивной стороны человеческой натуры, наркотические и сексуальные эксперименты, столь характерные для жизненного уклада современных общин, выступают как средства продвижения к этой своей истинной натуре и ее реализации. Более того, они получают значение почти религиозно-ритуальное, как могущественные средства проникновения в область подсознательного и обнаружения в ней основ идеального общественного устройства:

«Личностная целостность... отыскивается в сфере подсознания. Более того, наркотики, которые являются средствами продвижения к этой сфере, обеспечивают также возможность постижения социальных основ этой целостности: они побуждают к пьянящим изысканиям, к путешествию по причудливым тропам нашей души... Применение наркотиков, расширяющих сознание — таких, как марихуана или ЛСД,— рассматривается в качестве средства достижения того утопического умонастроения, которое дает возможность поставить под вопрос все...»

Для многих, кроме того, групповое применение галлюциногенов является средством преодоления состояния разобщенности, столь болезненно переживаемой многими в современном буржуазном обществе. Отчасти ту же цель преследует и практика групповых браков, впрочем отрицательно оцениваемая большинством коммунитариев. Не считая удовлетворительной современную организацию семьи, большинство склонно рассматривать общину как «большую» семью по типу крестьянской, где ряд отдельных малых семей, основанных на принципах моногамного брака, в социальном плане выступает как единое целое.

Конечно, современные общины существуют еще слишком недавно, а опыт их деятельности еще не столь значителен, чтобы на основании его можно было делать сколько-нибудь определенные выводы и прогнозы. Тем не менее некоторые обобщения этого опыта уже возможны. Прежде всего, несмотря на их эскейпистский характер и узкую социальную базу, в лоне коммун продолжается известная разработка так называемых «новых ценностей», намеченных еще молодежными движениями 60-х годов. Представляет интерес сама попытка сформулировать новые принципы человеческих отношений на основе реальной практики такого рода отношений, а не просто провозглашать их в форме прямых противоположностей общепринятым нормам и ценностям, переход к положительной, в том числе и производственной, деятельности в лоне малых групп.

Вместе с тем (и книга Ригби, несмотря на безусловную симпатию автора к участникам коммунитарных экспериментов, изобилует материалами такого рода) в недрах самих общин развился болезненно переживаемый ими парадокс, когда та самая сфера межличностных отношений, которая мыслится основой всего социального переустройства, оказалась источником бесчисленных конфликтов и огромной внутренней напряженности.

Оказалось, что жизнь в малом сообществе, с ее необходимостью каждодневных контактов, с угрозой тирании общественного мнения и регламентации частной жизни и поведения, порою может оказаться для личности гораздо более невыносимой, нежели абстрактная зависимость от анонимных бюрократических структур.

С другой стороны, изоляция от общества, отсутствие конкретных и масштабных социальных задач и даже нежелание их формулировать, подменяемое декларациями все-

общей братской любви и пророческими видениями, довольно быстро обессмысливает жизнь общины, а присущая ей атмосфера экзальтации только усиливает напряженность и усугубляет опасность конфликтов.

Наконец — и это, быть может, одна из самых серьезных проблем, стоящих перед коммунитариями, которой автор не уделяет достаточно внимания,— трудно представить себе обновление общества на путях романтического бунтарства, бегства «назад, к природе», принципиального антитехницизма и антирационализма. Это признают и буржуазные исследователи, в целом с симпатией относящиеся к исканиям молодежи в сфере ценностей. Так, один из наиболее видных специалистов по этой проблеме профессор Д. Янкелович замечает: «Хлеб, испеченный в «общине», зачастую черствый, плоский и безвкусный, кожаные ремни разлезаются... а юридические компании, основанные на началах «общины» и отвергающие дисциплинированную мысль, редко выигрывают дело в суде... Доведенный до крайности отказ от концепций, техники, профессионализма, практических знаний и методов рационализации ведет к бестолковости и поражению».

Тем не менее развитие утопических умонастроений на современном Западе не следует понимать односторонне, как только лишь оживление консервативно-романтических идей. Целый ряд особенностей социально-психологической ситуации в развитых капиталистических странах обуславливает сегодня возрождение утопии как формы радикальной критики основных ценностей современного буржуазного общества, и развитие утопических умонастроений не следует понимать лишь как антитезис идеям научного социализма. В. И. Ленин отмечал, что «...привлечение новых и новых «рекрутов», втягивание новых слоев трудящейся массы неизбежно должно сопровождаться шатаниями в областях теории и тактики, повторениями старых ошибок, временным возвратом к устарелым взглядам и к устарелым приемам и т. д.» [1].

Утопия как устремление к «совершенно иному» означает в условиях современного буржуазного общества требование совершенно новых обычаев, нового строя чувств, нового стиля жизни и человеческих взаимоотношений.

К. МЯЛО

◆

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 15.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

ЭПИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О СИБИРИ

В зарубежной печати все чаще появляются публикации о советской литературе, тенденциях ее развития, о творчестве отдельных писателей и критиков. Редакция журнала «Иностранная литература» предполагает регулярно знакомить своих читателей с такими публикациями. В этом номере мы печатаем перевод рецензии известного польского писателя Ярослава Ивашкевича на роман Георгия Маркова «Сибирь». Рецензия была опубликована в газете «Жиче Варшавы».

Совсем недавно я прочитал выдающееся произведение русской литературы, представляющее по многим причинам и для нас немалый интерес. Речь идет о романе Георгия Маркова «Сибирь», удостоенном в этом году Ленинской премии.

«Сибирь» — эпическое повествование. Это огромный многоплановый роман, всесторонне отображающий жизнь народов, населяющих регион, о котором еще Ломоносов сказал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Книге Г. Маркова, глубоко и правдиво изображающей русское общество в канун Революции, присущи все черты классического романа.

Литературные достоинства романа «Сибирь» дают основания отнести его к образцовым. Читатель найдет в нем великолепные пейзажные зарисовки, яркие образы, сильные характеры, и можно не сомневаться, что книга эта, воссоздающая совершенно преображенные ныне условия жизни, станет документом исторической летописи русского народа.

Г. Марков сознательно настраивает свою лиру на эпический лад и с самого начала ударяет по струнам, которых мы уже давно не слышали в русской литературе и которые у нас в Польше умолкли совершенно. Между прочим, именно «Сибирь» показывает специфику современной советской литературы и то, сколь ценным является сохранение особенностей каждой отдельной национальной литературы.

Посмотрите, как начинается роман Г. Маркова. Уже само начало говорит о многом:

«Епифан Криворуков, первый хозяин в Голещихиной, справлял свадьбу сына Никифора. Стояла середина октября. Дул с Оби студеный, порывистый, со снежинками в воздухе ветер. По пескам белели ледяные забереги, на полях, насколько хватает глаз, серебрились от инея отава и жнивье. Зима приближалась на рысях, и только плотные кедровые леса, окружавшие Голещихину, сдерживали ее натиск. Небо было белесым, и тучки, бродившие над деревней, в любой миг могли накрыть землю снегом».

Бежавший с каторги революционер Акимов направляется в центр подпольного движения и будущих революционных событий, в Петроград. Разумеется, его побег оказывается делом весьма нелегким, особенно поздней осенью, с приближением суровой сибирской зимы. Навстречу Акимову следует из Петрограда подпольщица, курьер Катя, везущая для него бумаги, а вскоре выясняется, что Катя влюблена в Акимова.

После множества перипетий и приключений влюбленные подпольщики встречаются, и — что весьма важно — Акимов после целого ряда сомнений и колебаний, напоминающих колебания Юдыма [1], не отказывается от личного счастья, доставляя тем самым немалое удовольствие нашему читателю, всегда с горестью вспоминающему о «раздвоенной сосне» [2].

В романе выведена целая галерея людей, которых автор рисует с большой любовью, даже отрицательные персонажи показаны с известной симпатией реалиста. Следует также добавить, что Г. Марков — большой мастер женских образов. В его широкой панораме их множество, все они очень правдивы, будь то девушки Катя или Маша или тетя Зина, попадья Глафира Савельевна, образ несколько мелодраматичный, но по-русски правдивый. Для нас далеко не безразлично, что Г. Марков, прекрасно знающий Сибирь, хорошо понимает, какую роль сыграли в ее судьбе польские ссыльные.

«...Кусковские мужики,— пишет Г. Марков,— сроду дураками не бывали, их провести на мякине просто немыслимо. Они сами кое-что знают про тайные дела борцов с царизмом. В Старой и Новой Кусковых десятка полтора дворов Гронских, Кубицких, Яблоньских, Броневских. Это все дети польских повстанцев шестьдесят третьего года, нашедшие приют среди коренных сибирских чалдонов. Свежи еще в памяти воспоминания о том времени, когда тысячи поляков по зловещей царской милости были выброшены в суровую Сибирь на произвол судьбы. Не окажи им тогда местные жители помощи, не протяни руку сочувствия, исчезли бы с лица земли бесследно не только сами польские повстанцы, но и дети и внуки их».

Один из героев романа — ссыльный варшавянин, по профессии вроде бы дамский портной, но мастер на все руки, подпольщик Бронислав Насимович с его милой супругой, доброй тетей Стасей, мастерицей печь чудесные пироги.

Прекрасные образы поляков обращают внимание на нашу роль в жизни удивительного сибирского края. Думается, что стоило бы написать серьезную работу о роли поляков в судьбах восточной и западной Сибири. Роль эта была значительной и вела по путям прогресса.

Перевод с польского В. БОРИСОВА

◆

[1] Главный герой романа С. Жеромского «Бездомные» *(прим. перев.)*.
[2] Символ раздвоенности чувств главного героя из того же романа С. Жеромского *(прим. перев.)*.

Публицистика

ДЕННИС СМИТ

ПОЖАРНАЯ КОМАНДА № 82

Фрагменты книги

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ

Вниманию читателей «Иностранной литературы» предлагается необычная публикация — отрывки из книги дневниковых записей, облеченных в художественную форму, работника американской пожарной службы. Необычен и сам автор: кадровый пожарный в крупнейшем городе США, он закончил вечернее отделение Нью-йоркского университета, получил звание магистра искусств и, не оставляя службы, занялся литературной деятельностью. Первая его книга — с ней мы и знакомим наших читателей — вышла в 1972 году, а вторая, под названием «Последний пожар»,— в 1975-м.

Книга «Пожарная команда № 82», ставшая в США «бестселлером», заинтересовала американских читателей именно необычностью темы: не часто появляется в мировой литературе документальная проза, посвященная людям этой тяжелой и опасной профессии, людям, для которых тушение пожаров, спасение детей, женщин, стариков — будничная, привычная работа, хотя и связанная ежедневно, ежечасно с риском для собственной жизни. Читается она, по словам одного из американских критиков, «как военный роман, принадлежащий перу солдата, который в отличие от журналиста не может избежать личного участия в боях».

Действие книги происходит главным образом в Южном Бронксе — одном из самых бедных и запущенных районов Нью-Йорка, где, как пишет автор, «на каждую квадратную милю площади приходится больше убийств, больше наркоманов и проституток, чем в каком-либо другом районе США». Значительную часть населения этого района — «гетто», как говорит о нем автор,— составляют «цветные», то есть негры и эмигранты из Пуэрто-Рико — фактической колонии США, именуемой «свободно присоединившимся государством».

Что удерживает «храбрейших города», как называют пожарных в нью-йоркских газетах, на этой опасной и, увы, далеко не всегда благодарной работе? Приличный заработок, обеспечивающий возможность содержать семью, дать детям образование, жить в респектабельном, зажиточном пригороде? Да, разумеется. Но, как свидетельствует автор, не только это. Когда мать уговаривает Денниса отказаться от беспокойной должности пожарника «в этом паршивом районе» и подыскать себе тепленькое местечко в муниципалитете, он отвечает: «В этом паршивом районе, мама, живет много хороших, работящих людей, но оттого, что они черные, или оттого, что они говорят по-испански, у них нет возможности поселиться в центре Манхэттена, даже в таком перенаселенном и запущенном доме, как твой. А право на услуги города имеют даже те, кто не работает, хотя и мог бы работать. Вот я и предоставляю им услуги. Обслуживаю людей, оказываю им неотложную помощь. И мне нравится так зарабатывать себе на жизнь».

Деннис Смит и его товарищи по команде любят свою профессию. Но, любя ее, не могут без боли и горечи наблюдать, как доведенные до отчаяния обитатели грязных, вонючих кварталов поджигают мало пригодные для жилья квартиры, как гибнут от болезней, алкоголя и наркотиков юноши и девушки. Они не могут не сетовать на «отцов» города, на «аристократов и их прислужников», которых мало волнует судьба обездоленных. «Я никогда не считал,— рассуждает про себя Смит,— что аристократы действительно озабочены проблемами бедности и невежества, что они действительно сочувствуют людям, вынужденным ютиться в трущобах, именуемых жилыми домами, где кишат паразиты. Напротив, я считаю,

что закрытые учебные заведения, в которых они воспитывались, и замкнутый светский круг, в котором они вращались, развили в них склонность к снисходительной благотворительности, которая так привлекательна на бумаге и в их предвыборных речах. Наркомания, распространенная в нашей стране, не представляла для них никакой проблемы, пока не стали сажать за решетку их собственных детей».

Сказанное Смитом — крик души простого американского труженика, которому приходится, в силу своей профессии, каждодневно сталкиваться с картинами ужасающей бедности, запустения и человеческой деградации. Сами-то пожарные избавлены от необходимости жить в таких условиях, но надолго ли? Ведь «кризис городов», о котором так много пишут в газетах, сегодня непосредственно касается всех трудящихся капиталистической Америки.

Ныне Нью-Йорк, много лет считавшийся цитаделью капиталистического мира, стоит на грани банкротства. Его задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам достигла в мае 1975 года двенадцати миллиардов долларов. Только на выплату процентов по ним и на погашение облигаций расходуется ежегодно около двух миллиардов долларов. А платить стало нечем. Доходы города, этого «ярчайшего светила в созвездии городов», как величал Нью-Йорк писатель-географ Джон Гантер, непрерывно падают. Таков парадокс богатейшей капиталистической страны. Причина кризиса — в порочности налоговой системы, в огромном наплыве в Нью-Йорк бедного населения, нуждающегося в пособиях, в массовом бегстве в пригороды представителей состоятельных слоев, не желающих платить высокие муниципальные налоги. Хотя бедность — это общенациональная проблема, часть расходов на социальное обеспечение ложится на местный бюджет, а точнее — на плечи городских налогоплательщиков, которым и без того приходится туго из-за роста цен, инфляции и безработицы. Администрация города, не получая финансовой помощи от правительства, ищет выход в выпуске дополнительных займов, дальнейшем повышении налогов, сокращении штатов полиции, пожарной службы, школ, больниц и т. д., но эти меры лишь усугубляют положение. Кризис финансовый грозит превратиться в кризис политический — недаром вопрос о Нью-Йорке стал одной из центральных проблем в межпартийной борьбе в связи с президентскими выборами 1976 года.

Нет нужды доказывать, что социальные беды, о которых рассказывает в своей книге Деннис Смит, заложены в самой капиталистической системе. Правда, автор «Пожарной команды № 82», по-видимому, недостаточно четко представляет это себе. Иначе нельзя объяснить его слова: «Зло проникло в самое нутро человеческое, независимо от социальной среды, в которой живут люди. Мы разучились дорожить жизнью...»

Значит, корни социального зла надо искать в самом человеке?

Но верит ли в это наш автор? Теория о том, что человек ничего не изменит, пока не изменится сам, что именно в нем, а не в эксплуататорском обществе заложены все пороки,— старая и давно опровергнутая концепция. К тому же она не согласуется с фактами, приводимыми автором в его правдивой и талантливой книге.

К. ЧУГУНОВ

В этой книге речь идет о людях, которые борются с пожарами в Южном Бронксе, но описанные здесь события дают представление о деятельности всех пожарных, работающих в нашей стране. Трудности у них одни и те же — и в Бостоне, и в Кливленде, и в Чикаго, и в Детройте, и в Лос-Анджелесс. Разные только имена.

Мы почти все сидим в кухне и смотрим по телевизору «Передачу для полуночников», когда раздается сигнал тревоги. Делаю последний глоток чая и считаю про себя: «Раз-два, раз-два-три-четыре-пять, раз, раз-два-три-четыре-пять». На последнем «пять» стулья пустеют. Пожарный извещатель 2515. Район Интервэйл-авеню и Келли-стрит.

Когда наша машина сворачивает на Интервэйл, в нос ударяет запах дыма; привычно подтягиваем до бедер специальные сапоги, защелкиваем карабины на куртках, надеваем рукавицы. Машина останавливается перед зданием почти на углу Келли-стрит. Начинаем разматывать шланг, и в это время внутри здания раздается душераздирающий вопль. Из дверей выбегает парень — его рубашка и волосы в огне.

31-я команда с брандмейстером Солвином подъехала вслед за нами, и один из их команды бросается на помощь этому парню. Вилли Ниппс подхватывает пожарный рукав и бежит в здание, мы с Кэрролом устремляемся за ним, тащим остальные скатки рукавов. Ройс и Бойл еще на улице — надевают противогазы.

Лейтенант Уэлч ждет нас на втором этаже, присев на корточки перед дымящейся дверью. На площадке — четыре квартиры, три двери распахнуты настежь — жильцы бежали. По лестнице поднимается брандмейстер Солвин, останавливается на последней ступеньке, потом бросается в квартиру, соседнюю с той, где пожар. Он начинает пробивать стену. В образовавшуюся дыру вырывается черный дым, заполняет кварти-

ру, распространяется на лестницу. Мы с Ниппсом задыхаемся от кашля; приходится лечь ничком на пол — ждем, когда в рукав начнет поступать вода. Кэррол побежал вниз еще за одним противогазом. Ясно, что работенка будет пыльная, не пустячная.

Билли-о и Арти Мэррит начинают взламывать дверь. Дышать мне, уткнувшись носом в каменный пол лестничной площадки, трудно, а каково сейчас Арти и Билли-о? Ведь они, стоя во весь рост в густом дыму, колотят по двери топором и поддевают ее ломом. Дверь крепкая, никак не поддается.

Появляется капитан Фраймс, за ним — Чарли Маккарти.

— Кто с ломом — ко мне! — кричит брандмейстер Солвин; и капитан Фраймс вместе с Маккарти бросаются в ту квартиру, которая примыкает к горящей.

— Там кто-то есть, я слышал голос,— говорит Солвин.

Чарли расширяет пролом в стене. Брандмейстер и капитан Фраймс стоят на коленях возле. Чарли бешено рубит, и вот в стене образовался шестнадцатидюймовый лаз. Через это отверстие Чарли пытается протиснуться в соседнюю квартиру, но не может — мешает противогаз. Он отступает, хочет снять маску, за эту минуту в дыру уже пролез капитан Фраймс.

А входная дверь в квартиру все еще не выломана, и Фраймс понимает, что пламя в любую минуту может охватить все комнаты, тут единственная надежда лишь на счастливый случай да на помощь божью. Он ползет к входной двери, разводя перед собой руками, словно плывет брассом. Ладонь его натыкается на лежащее на полу тело. Человек, похоже, крупный, капитан Фраймс с трудом тащит его к пролому в стене. Огонь бушует в трех комнатах в конце коридора и быстро распространяется к фасаду здания.

В это время Маккарти как раз просунул голову и плечи в пролом и видит капитана: тот волочит свою ношу куда-то.

— Сюда, капитан! Сюда! — орет Маккарти.

Дым такой густой, что капитан Фраймс потерял направление. Маккарти обхватывает пострадавшего и тянет его на себя.

Билли-о и Арти все еще ломают дверь. Капитан Фраймс ныряет обратно в дым и пробирается к двери по звуку их ударов. Он нащупывает длинный стальной стержень засова. Капитан Фраймс знает любые замки как свои пять пальцев, он опускается на колени и, повозившись, отпирает дверь. Едва он успевает отскочить — дверь распахивается: Билли-о и Арти подхватывают капитана — он наглотался дыма, еле держится на ногах — и вытаскивают его из квартиры.

Из соседней двери на лестницу выходит Чарли Маккарти, с ним пострадавший. Это рослый парнишка, негр лет 16—17. Но Маккарти — сильный мужчина, он легко несет его мимо нас и спускается на улицу. Парень еще дышит, но едва-едва. Ему необходим кислород, иначе он не выживет; и Маккарти делает ему искусственное дыхание «рот в рот».

Билли-о и Арти волокут капитана вниз по лестнице, и в это время рукав наконец наполняется водой. Лейтенант Уэлч дает «добро» Ниппсу, и мы начинаем ползти по коридору. Вот мы уже у первой горящей комнаты, Ниппс открывает кран ствола. Трещит пламя, гудит бьющая по потолку водяная струя, грохочет осыпающаяся штукатурка, дымит и шипит на мокром полу.

Огонь сбит, но дым доходит до самого пола. От него нет спасения, Ниппс понимает: надо отойти в угловую комнату, немного передохнуть.

— Подтащите мне рукав! — кричит он, и лейтенант Уэлч передает этот приказ по коридору:

— Трави полуторадюймовый!

Рукав продвигается вперед, и Ниппс вместе с ним.

Подходит Бойл, он в противогазе, дышать ему легко. Бойл должен сменить Ниппса у ствола, но посреди комнаты он спотыкается. Быстро шарит по полу — обо что он споткнулся? — и рукой нащупывает человеческое тело.

— Еще один пострадавший! — кричит он сквозь противогаз. К нему тут же подбегает Кэррол, и вдвоем они выносят тело.

У ствола уже Ройс. Ниппс говорит, что еще не устал, но лейтенант Уэлч приказывает ему отойти. Ройс берет ствол, а Ниппс встает во весь рост и бежит к выходу, скорее на свежий воздух. Но он уже наглотался дыма. Его рвет — прямо мне на сапоги и на спину. Ниппс даже не останавливается извиниться.

Винни Ройс методично, не торопясь, обрабатывает вторую и третью комнаты. Лейтенант Уэлч рядом.

— Все нормально, Винни, молодец. Все в порядке,— повторяет он и при этом беспрестанно кашляет.

Я иду следом за ними, что есть силы подтягиваю рукав, напрягаюсь, стараюсь держать покрепче: напор воды в стволе пятнадцать фунтов на квадратный дюйм, одному Винни удержать его трудно. Вот и в третьей комнате пламя сбито, и тогда я подбегаю к пожарному окну и вылезаю наружу. Прислонясь спиной к узким стальным ступеням пожарной лестницы, глубоко вдыхаю свежий воздух, словно пью из него кислород, ни на что вокруг не обращаю внимания.

Бойл и Кэррол кладут второго пострадавшего на тротуар, рядом с тем парнем, которого вынес Маккарти,— теперь он хлопочет над ним с аппаратом искусственного дыхания. Кэррол смотрит на лежащего перед ним негра. Тоже подросток, одежда на

нем сгорела, кусками припеклась к телу, как обуглившаяся бумага. И сам он сильно обгорел, мышечная ткань на лице местами обнажена, похоже, будто на черную кожу наложили розовые заплаты. Бойл отворачивается, его рвет. Между тем Бенни включает кислородную маску... Аппарат нагнетает в легкие чистый кислород, там создается противодавление, и легкие выталкивают кислород обратно. Бенни прижимает маску обеими руками, чтобы обеспечить плотное прилегание,— если есть утечка, аппарат не сработает. Бойл кладет парню на грудь руку, поверх нее другую и начинает нажимать на грудь в ритме работы сердца — 60 раз в минуту.

— Поможет как мертвому припарки,— говорит Бойл.

— Так-то оно так,— отвечает Бенни,— но все равно надо попытаться.

73-я команда проложила рукавную линию на верхний этаж над огнем. Одна комната сгорела дотла, но пожар прекратили. Теперь они свернут рукава и возвратятся в свое депо на Проспект-авеню. Пожарные 31-й и 48-й команд все еще заняты делом — вскрывают потолки и стены. Винни снял противогаз и дожидается, когда спасательная команда закончит работу. В последний раз прольем квартиру водой и вернемся в часть.

Операцией руководит брандмейстер Солвин, и Аллен Сайбек, орудуя багром, спрашивает его:

— А что с тем парнем, который горел, шеф?

— Отправлен в больницу на полицейской машине. Но вряд ли он доехал. Скорее всего, врач констатировал «смерть до прибытия».

— Как же ему, черт побери, удалось выбраться оттуда? — спрашивает Аллен.

— Наверно, вылез через пожарное окно, спустился на нижний этаж, а потом по лестнице — и в вестибюль.

В комнате появляется Билл Финч, помощник брандмейстера Солвина.

— Что делать с канистрами, шеф? — спрашивает он.

— Не трогать,— отвечает Солвин.— Скоро сюда прибудут пожарные инспектора.

Осматривая комнаты, Билли-о нашел две канистры из-под бензина, третью Арти обнаружил в коридоре. В этой еще и бензин оставался.

— Доказательство налицо, верно? — говорит Винни и неприязненно морщится.— Не иначе как эти ребята подожгли. А когда полыхнуло, их же самих и прихватило. Грех говорить, но если бы такое случалось почаще, меньше было бы поджогов.

Подходит лейтенант Уэлч, и мы начинаем разбирать этот случай, как делаем обычно после каждого вызова.

— Вы обратили внимание на то, как все вокруг опалено? — спрашивает Уэлч, вводя нас в прихожую сгоревшей квартиры. Мы осматриваем стены комнат — штукатурка облупилась и потрескалась от жара.— Как видите,— говорит он,— стены испытали воздействие высокой температуры, а когда мы прибыли, горели всего три комнаты. Мальчишки, наверно, все вокруг полили бензином, и огонь вспыхнул повсюду одновременно. За несколько секунд бензин выгорел, и огонь погас, за исключением, разумеется, трех комнат по фасаду: там было достаточно кислорода, чтобы поддерживать горение. Это все равно что зажечь свечу в майонезной банке, а потом накрыть крышкой: свеча будет гореть до тех пор, пока в банке не кончится кислород.

Прибывают два пожарных инспектора, берут показания у брандмейстера, капитана Фраймса и лейтенанта Уэлча. На инспекторах — пиджаки с широкими лацканами и яркие галстуки. Встреть я их где-нибудь в баре, я принял бы их за сыщиков, потому что пиджаки у них не застегнуты, а лица хоть и красивые, но совершенно каменные. Они, в сущности, те же полицейские сыщики, но занимаются лишь преступлениями, которые связаны с пожарами. Они пожарные, как и мы, но предпочитают носить на боку пистолет, а не держать в руках пожарный ствол. Мне один раз предложили стать инспектором. Но я потому и пошел в пожарные, что хотел бороться с пожарами. Если бы меня привлекало расследование преступлений, я поступил бы в полицию.

Инспекторы записывают данные, которые представляют для них интерес, и едут в больницу. Один из троих парней еще жив, и они надеются, что успеют получить у него ответы на кое-какие вопросы. Канистры они забирают с собой.

Пожарные завершают тщательный осмотр помещения, и Винни в последний раз проливает комнату водой. Мы выпускаем из рукава оставшуюся воду, скатываем его и уезжаем обратно, в часть. Сейчас около шести утра, и в Южный Бронкс пробивается дневной свет.

Снова на кухне. Ребята даже не дали себе труда умыться. Перед ними — чашки с дымящимся кофе, на лицах — сажа и грязь. Иронизируют о справедливости возмездия на пожарах, но называют они это не возмездием, а «сущим дерьмом». Никто из нас никому не желает гибели, но горечь иронии — в том, что перед огнем все равны. Мы перебираем в памяти случаи явных поджогов; вспоминаем проломы в полу, затянутые линолеумом нарочно, чтобы пожарник провалился; вспоминаем, как погибли люди на верхнем этаже только из-за того, что в квартире под ними муж поругался с женой и поджег дом; вспоминаем свои ожоги, раны, переломы, которые достались на нашу долю по их вине. И сегодня мог погибнуть любой из нас. Но на этот раз погибли сами поджигатели.

В кухню входит Вилли Ниппс, и я не могу отделаться от мысли о том, как Винни Ройс смывал блевотину у меня с робы и сапог. Тогда я и думать об этом забыл, но Винни заметил, в каком я виде, и направил на меня струю воды. В таких случаях я не

прочь пошутить, надо бы сказать что-нибудь вроде: «Эй, Ниппс, когда в следующий раз поедешь на пожар, не забудь прихватить с собой ведерко. Ясно?» Но сейчас мне не до шуток — я слишком устал.

Через четыре дня Бенни Кэррол спросил у меня:

— Слыхал про пожар, что был на днях, когда погибли два парня?

— Я же был там, Бенни, дырявая ты башка.

— Да я не о том, дубина, я о расследовании.

— Нет, не слышал. И что же там выяснилось?

— Так вот, вчера приезжали инспектора, рассказывали, как было дело. Оказывается, домовладелец хотел выселить жильцов из той квартиры, он знал, что в ту ночь их не будет дома. И заплатил одному типу, чтобы тот устроил у них пожар. А тип нанял на это дело трех мальчишек, но когда они разлили бензин, сам бросил туда спичку и запер их в горящей квартире. Теперь его разыскивают по делу о двойном убийстве. Третий парень, которого вытащил капитан Фраймс, кажется, будет жить.

Бенни не успевает закончить рассказ. Раздается сигнал тревоги. На этот раз на задней ступеньке машины стою я. Рассказ Бенни не идет у меня из головы — так, значит, опять никакого справедливого возмездия не было. Вышло так, как всегда в Южном Бронксе. Настоящий злодей остался цел и невредим, жертвами оказались дети...

■

Меня зовут Деннис Смит. Я — нью-йоркский пожарный, один из «храбрейших города», как именуют нас газеты. В Нью-Йорке живет около восьми миллионов человек, двенадцать тысяч из них — пожарные. Мы отличаемся от всех остальных людей, живущих и работающих в этом городе: от банкиров, служащих рекламных бюро, водителей грузовиков, секретарей, продавцов и покупателей; для каждого из них есть большая вероятность, что после работы он возвратится домой на своих собственных ногах. Пусть усталым, но целым и невредимым. Пожарный ни в чем не может быть уверен. Жена пожарного, целуя мужа перед уходом на работу, молит судьбу, чтобы он возвратился домой. Чтобы ей не пришлось в отчаянии искать, на кого оставить ребенка, и сломя голову мчаться к мужу в больницу. При каждом звонке в дверь у нее замирает сердце — не начальник ли это пожарной команды, который пришел вместе с пастором и представителем профсоюза, чтобы сказать ей, каким хорошим, самоотверженным и храбрым человеком был ее муж?

Я пожарный из команды № 82. Наша пожарная часть расположена на перекрестке Интервэйл-авеню и 169-й улицы, в гетто, известном под названием Южный Бронкс. Из трех крупнейших гетто Нью-Йорка о Южном Бронксе говорят реже всего. Вы наверняка слышали о Гарлеме... может быть, и о Бэдфорд-Стайвесенте, откуда вышли разные знаменитые люди. Но Южный Бронкс не примечателен ничем.

Тут же, за углом, находится сорок первый полицейский участок Южного Бронкса. Это самый бойкий полицейский участок Нью-Йорка. Здесь на каждую квадратную милю площади приходится больше убийств, больше наркоманов и проституток, чем в каком-либо другом районе США.

В нашей пожарной части на Интервэйл-авеню — четыре команды. Команды № 82 и № 83 работают с пожарными рукавами на всем участке. Команда № 31 выполняет лестничные работы, а оперативно-контрольное подразделение № 12 осуществляет все остальные виды работ.

У каждой из этих команд примерно по 700 выездов в месяц. Можно с уверенностью сказать, что наша пожарная часть — самая загруженная в городе, а может быть, и во всем мире... В среднем в Нью-Йорке при исполнении служебных обязанностей ежегодно гибнет 8 пожарных. Только в прошлом году погибло 6 человек, и не хочется думать о том, скольких мы потеряем в этом или будущем году. 5 тысяч пожарных получили травмы во время исполнения служебных обязанностей. Эти травмы обошлись городу в 65 тысяч отпускных дней по болезни.

В кухне нашего депо висит плакат. Он не бросается в глаза и звучит довольно неопределенно: «МОЖЕТ БЫТЬ, СЕГОДНЯ!» Мы не говорим в депо об опасностях нашей профессии. Зачем говорить о том, что, даст бог, с нами может и не случиться? Но такая уж у нас работа, и мы, как фанатичные кальвинисты, принимаем все, что нам предуготовано.

Вот только вчера погиб один из нас. Он был пожарным спасательной команды № 1 и работал на крыше горящего пакгауза. Крыша прогорела и рухнула, и человек провалился в вентиляционную шахту. Он пролетел восемь этажей и ударился о землю.

Я сидел на кухне нашего депо, когда раздался сигнал: пять коротких звонков — пауза, еще пять — и снова пауза снова пять звонков — и опять пауза, и наконец пять заключительных звонков. Сигнал 5-5-5-5. Для нас он имеет особое значение: приспустить флаг на мачте и ждать сообщения по внутреннему радио.

У входа в пожарное депо есть кабина — в этом небольшом помещении находится дежурный, заносящий сигналы в специальный журнал. Он включает местное радио, и мы собираемся вокруг приемника. Получив сигнал, дежурный приспускает флаг на мачте, затем возвращается к пульту и заносит сообщение в журнал. Лицо дежурного

задумчиво — он задает себе тот же вопрос, что и каждый из нас: знал ли я этого парня?..

У меня был друг, о котором мы теперь стараемся не говорить. Его звали Майк Карр. Сильный, честный человек. Мы выбрали Майка нашим профсоюзным делегатом. Всего за несколько дней до его гибели я сказал ему, что было бы неплохо освободить старый шкаф и использовать его для профсоюзных нужд. Шкаф был облезлый, старый, но в нем можно было хранить медицинские бланки, рабочие контракты, информационные бюллетени и другие профсоюзные документы. Майк решил, что это неплохая идея; не откладывая дела в долгий ящик, он сразу же освободил шкаф и стал его красить. Все, что могло принести хоть какую-то пользу пожарным, интересовало его, и, не жалея сил, Майк трудился на благо ребят из нашего депо.

В один прекрасный день какой-то мальчишка дотянулся до рукоятки сигнала пожарной тревоги и дернул ее вниз. Такое часто случается в Южном Бронксе. Остальные ребята с хохотом бросились за угол смотреть, как приедут пожарные машины.

Сигнал поступил из пожарного извещателя 2787, угол Южного Бульвара и 172-й улицы. Завыла сирена. Машина на полном ходу свернула с Интервэйл на Фримен-стрит. Майк, стоявший сбоку на подножке, не удержался и отлетел на мостовую. Заскрежетали тормоза. Марти Хэннон и Хуан Моран соскочили на землю еще раньше, чем водитель успел остановить машину. Всюду была кровь. И сразу стало ясно, что Майк не дышит. Марти вытер его лицо носовым платком и стал делать искусственное дыхание «рот в рот». Единственное, что врезалось ему в память в эти страшные минуты,— это оглушительный голос брандмейстера, радирующего в часть: «Передаю сигнал 10—92. Пожарный извещатель 2787. Преднамеренно ложная тревога».

На следующий день в городских газетах появились сообщения о том, что за любые сведения, содействующие аресту виновника ложной тревоги, Пожарная ассоциация обещает награду в размере тысячи долларов. В тот же самый день тяжелые железные двери сорок первого полицейского участка захлопнулись за девятилетним мальчишкой. Новости распространяются в Южном Бронксе мгновенно. Другие ребята рассказали обо всем родителям, и те вызвали полицейских.

Пока в полиции допрашивали виновного, пожарные из соседней части покрасили сигнальную коробку № 2787 черной краской и повесили на ней объявление, в котором на двух языках — по-испански и по-английски — было написано: «ЗДЕСЬ ПОГИБ ПОЖАРНЫЙ, ВЫЗВАННЫЙ ПО ЛОЖНОЙ ТРЕВОГЕ». Не успела просохнуть краска, как отсюда же был подан еще один ложный сигнал тревоги. Пожарные из 85-й команды сами сняли это объявление.

У Майка было два сына. Два славных перепуганных мальчугана семи и девяти лет. И теперь они идут возле своей матери за блестящей красной машиной, сопровождаемой толпой школьников и пожарных. Они не сводят глаз с покрытого флагом гроба и с гордостью думают о том, что вся эта церемония — в честь их отца. Но при этом они перепуганы, ведь они уже достаточно выросли и понимают, что отныне им предстоит жить без отца.

Мальчишка в полицейском участке также перепуган. Но по другому поводу. Он не может взять в толк, отчего взрослые так расстроены? Ведь все ребята вызывают пожарных по ложной тревоге. По крайней мере те, с кем он бегает по улицам. Пять лет назад он приехал сюда из Пуэрто-Рико, и мальчишки этого квартала научили его, что в Южном Бронксе каждый должен сам находить себе развлечения. Можно играть в заброшенных зданиях, на больших мусорных кучах, в провонявших крысами подвалах. Когда-то в этом районе был детский клуб. Но он сгорел и больше не открылся. Этот ребенок усвоил также, что, дернув рукоятку пожарного сигнала, ты оказываешься в самом центре событий — из-за тебя поднимается столько шума, вой сирен, автомобильные гудки. Так чем же взрослые так расстроены?

Я-то знаю, чем я расстроен. Только за прошлый год одна наша 82-я пожарная команда выезжала по сигналу ложной тревоги больше двух тысяч раз. И в большинстве случаев — по вине вот таких же мальчишек, которым некуда пойти и нечем заняться. Мальчишек, чьи родители никогда не уделяют им внимания, не дарят подарков, никогда их не приласкают. Чья роль в семье сводится к получению нескольких лишних долларов в ежемесячном пособии на многодетность. Детей, чьи родители, не имея никакого представления о противозачаточных средствах, так и не научились любить своих нежеланных потомков, детей, рожденных в невежестве и нищете и обреченных на лишения.

Как поступить с девятилетним мальчишкой, который в шутку потянул за ручку сигнала пожарной тревоги, а это повлекло за собой смерть человека? Проще всего сказать, что смерть — результат несчастного случая, явление печальное, но непосредственно не связанное с подачей ложного сигнала тревоги. Еще проще сказать, что провинившемуся всего девять лет и поэтому, чтобы довести до его сознания всю тяжесть его поступка, его следует просто отдать под надзор районных патронажных организаций. Именно так, кстати сказать, с ним и поступили.

Я не ратую за то, чтобы ребенку отрубили руку, но я убежден, что его следует поместить на год в исправительное заведение. Я понимаю, он живет в тяжелых социальных условиях, все так, но я не могу больше слышать разговоры о том, что виновник преступления — нищета, а не малолетний хулиган. Всякий, кого признают виновным

в преднамеренной подаче ложного сигнала тревоги, должен отбыть год заключения в тюрьме, а если преступник несовершеннолетний, то в исправительно-трудовой колонии. Но за восемь лет, что я проработал пожарным, я видел только один случай, когда человека посадили, хотя за эти годы я выезжал по тысяче преднамеренно ложных сигналов тревоги.

В прошлом году пожарные Нью-Йорка сделали 72 060 выездов по ложной тревоге — в среднем 197 ложных тревог ежедневно. И при этом судья и полиция не считают подачу ложного сигнала тревоги серьезным преступлением. Редко кого арестовывают, еще реже признают виновными и совсем уж изредка подвергают наказанию.

Кроме Майка Карра, за последние восемь лет я знаю два случая, когда пожарные погибли во время выезда по ложной тревоге. Но страдают не только пожарные. Нередки случаи, когда мы выезжаем по ложной тревоге в один конец своего участка, а тем временем на другом конце вспыхивает настоящий пожар. В борьбе с огнем самое главное — время. Сколько раз бывало: появись мы на несколько минут раньше, и нам, возможно, удалось бы спасти людей. В прошлом году в Нью-Йорке во время пожаров погибло триста семь человек. Я не располагаю статистическими данными, но могу с уверенностью утверждать, что некоторые из этих смертей не удалось предотвратить только потому, что в нужную минуту пожарных отвлекли по ложной тревоге.

Майк Карр мертв, и вдове с семьей придется существовать на половину его жалованья. Кажется странным, что если бы в результате этого несчастного случая Майк остался нетрудоспособным, ему была бы назначена пенсия в размере трех четвертей жалованья. И сам он был бы жив, и жена не лишилась бы мужа. Но Майк погиб, и вдова будет получать на содержание семьи только половину того, что он зарабатывал. То же самое относится и к вдове того парня, который вчера провалился сквозь крышу.

Мы в депо не говорим о Майке Карре, но часто думаем о нем. Для наших мыслей и чувств не так-то легко подобрать слова.

■

— Деннис, Деннис,— смутно доносится до меня чей-то голос. Не хочу просыпаться, но понимаю, что выхода нет. Мне снился сон. Не помню, какой именно. Кажется, сон был приятный, потому что я чувствую себя отдохнувшим и освеженным.— Деннис, Деннис,— зовет меня мать. Голос звучит неуверенно. Ему недостает убедительности, ей, видно, не хочется меня будить, да никуда не денешься, надо.— Деннис, Деннис.— Голос ее пробивается ко мне, и я пытаюсь подняться. И вдруг, совершенно неожиданно, в моей памяти возникают вместо маминых другие слова: «Руфус, Руфус!» Я снова опускаю голову. Что делает сейчас эта женщина? Утром, перед уходом с работы, я узнал, что Руфус скончался по дороге в больницу, и теперь у меня в ушах звучит тоскливый, умоляющий голос его жены.

— Деннис.

— Все в порядке, ма. Все в порядке. Я уже встал.

— Приготовить тебе яичницу с ветчиной?

Смотрю на стенные часы в кухне:

— Нет. Спасибо. Не успею. Уже половина пятого.

Я стараюсь приезжать в часть до пяти, но сегодня буду там не раньше половины шестого.

— Может, выпьешь кофе или чаю?

— Да. Чаю. Спасибо.— Поднимаюсь с кушетки, ищу брошенные на пол носки. Становлюсь на колени, заглядываю под кушетку. Вот они. Теперь брюки. Я оставил их на стуле, но их здесь нет.

— Ма, ты не видала мои брюки?

— Я повесила их на вешалку. Должен же кто-то следить за твоей одеждой. Они висят у меня в шкафу.

Порядок. А где же моя рубашка?

— Послушай, мама, ты не знаешь, куда девалась моя рубашка?

— Она здесь, на кухне. Я только что выгладила ее.

Выхожу на кухню, целую маму в щеку.

— Спасибо, мама, рубашка как новая.

Сажусь за стол и кладу сахар в чай. Мама придвигает ко мне два куска поджаренного хлеба и идет к холодильнику за банкой с вареньем.

— Знаешь, мама,— говорю я,— тебе бы носить фамилию Гольдберг. Ты бы меня еще куриным бульончиком пичкала.

— Я урожденная Хоган,— говорит она.— А по мужу Смит. Но мать все равно мать, какая бы у нее ни была фамилия, она должна заботиться о своих детях.— Она садится напротив меня.— И раз уж на то пошло, хотя мне, может, и не надо бы вмешиваться,— продолжает она,— но я считаю, что в последнее время ты слишком много работаешь, Деннис. Почему бы тебе не переменить место? Ты уже отработал больше пяти лет в этом паршивом районе, на этих бесконечных пожарах. Подыскал бы теперь должность в муниципалитете или еще где-нибудь.

Моя мама считает, что на городской службе я стану влиятельным лицом, что делать мне там ничего не придется, только сидеть и руководить. В Нью-Йорке многие, как мама, помнят времена Демократических клубов и патронажной деятельности «Таммани-холла» [1]. Им невдомек, что с этим покончено навсегда.

— Послушай, ма,— говорю я со всей убежденностью, на какую способен,— в этом паршивом районе живет много хороших, работящих людей, но оттого, что они черные, или оттого, что они говорят по-испански, у них нет возможности поселиться в центре Манхэттена, даже в таком перенаселенном и запущенном доме, как твой. А право на услуги города имеют даже те, кто не работает, хотя и мог бы работать. Вот я и предоставляю им услуги. Обслуживаю людей, оказываю им неотложную помощь. И мне нравится так зарабатывать себе на жизнь. Если наступит день, когда моя работа мне разонравится,— тогда я подыщу себе другую. А пока давай не будем больше об этом разговаривать.

— Тебе лучше знать. Может, ты и прав, но, по-моему, это просто безумие оставаться на такой работе, когда ты мог бы получить место в центре города, в хорошей, чистой конторе.

— Спасибо за чай, мама. Я к тебе на днях еще заеду.

Я уже давно усвоил, что одного объяснения в день на любую тему вполне достаточно. Если объяснять все свои поступки, не останется времени на то, чтобы что-то делать.

■

Я живу в небольшом городке Вашингтонвилле. Это милый городок в 60 милях к северу от Нью-Йорка, и единственное, что мне не по душе в нем,— это его слишком длинное название. Окрестности Вашингтонвилла — пологие холмы, на которых пасут скот. Всего лишь десять лет назад местные фермеры начали продавать горожанам земельные участки. Люди приезжали и по сей день приезжают сюда из Нью-Йорка, чтобы приобрести собственный клочок Америки. Полицейские, пожарные, монтажники, учителя, машинисты, автомеханики покидают насиженные места вблизи своей работы. А почему бы и нет? Прожив всю жизнь в тесноте многоквартирных домов, я хочу своим сыновьям дать немного больше простора, чем имел сам, хочу, чтобы они могли гонять на велосипедах и дышать чистым воздухом.

Мой клочок Америки — это дом с четырьмя спальнями и прилегающие к нему пол-акра земли. Дом расположен на вершине холма, из окон — вид на дальние горы и на соседский двор. Здесь царят мир и простота. Правда, мне не дано наслаждаться безмолвием, описанным у Торо,— до меня то и дело доносятся крики играющих во дворе детей, треск соседской газонокосилки или снегоочистителя, но зато — если захочется — я могу посадить здесь грядку фасоли.

Несколько лет назад в Бойсе, штат Айдахо, умерла одна старушка. Она не оставила завещания, и ее имущество разделили между дальними родственниками. Дядя моей жены, слепой бедняк, живущий в Ирландии, стал по тамошним представлениям богачом, состоятельный кузен стал еще состоятельнее. На долю моей жены также пришлось несколько тысяч долларов, как раз достаточно для первого взноса за дом. Из жалованья пожарного нам никогда не удалось бы накопить этих денег. Такова жизнь — я с женой и тремя сыновьями должны были ютиться в трехкомнатной квартире, пока где-то, за тысячу миль, не умерла незнакомая старушка.

Вашингтонвилл — твердыня голдуотеровских республиканцев. Добрососедством мы похвастаться не можем. Здесь каждому предоставляют заниматься своим делом, и до тех пор, пока соблюдаются законы, учащиеся колледжей не устраивают беспорядков и не растут налоги,— горожане ни во что не вмешиваются. Но стоит, как это было недавно, какому-то школьнику, озадаченному выстрелами в Кенте, нарисовать американский флаг, обрамленный вопросительными знаками, а учителю рисования вывесить этот рисунок в школьном коридоре, как здешнее общество Джона Берча тут же сочло своим долгом выступить в защиту американских идеалов и потребовать увольнения учителя. Это были самые впечатляющие местные события с тех пор, как мы здесь живем. Три дня подряд берчисты бесновались на страницах газет. Но наделав много шуму, они в конце концов все же ничего не добились. Рисунок остался висеть в коридоре, учитель остался на работе — обстоятельства, которые внушают надежду моему ирландско-католическо-демократическому сердцу.

В свое время через наш городок тайно переправляли на Север негров, и еще до Гражданской войны многие обрели здесь свободу. Вот почему в Вашингтонвилле живет много черных. Но здесь даже негров и тех не затрагивают сложности, с которыми сталкиваются жители больших городов. Здесь нет настоящей бедности и лишений. Лишь очень немногие значатся в окружных списках на получение благотворительного пособия. В городе нет гетто для черных, во всех кварталах смешанное население. Одна негритянская семья живет на нашей улице, а недавно в дом через два двора от нас въехали негры-молодожены. По этому поводу не было никаких разговоров. Вот чем

[1] Политический центр демократической партии в Нью-Йорке.

мне нравится Вашингтонвилл. Жаль только, что пришлось отъехать на шестьдесят миль от Нью-Йорка, чтобы найти такое место.

Как и большинство пожарных, уехавших из Нью-Йорка, я прежде всего думал о своих детях. Я хочу, чтобы мои сыновья ходили в школу, не опасаясь, что старшеклассники отнимут у них деньги на завтрак. Здесь, на просторе, мои ребята могут гонять на велосипедах, потом оставить их где-нибудь и пойти побродить по лесу, а возвратившись с прогулки, найти их в целости и сохранности. Здесь они могут научиться защищать себя и в споре с соседскими детьми отстаивать то, во что они верят. Их не будут терроризировать банды малолетних хулиганов. Таких здесь нет. Здесь мои сыновья смогут расти без лишних травм.

Обстановка, разумеется, как и люди, меняется день ото дня. Возможно, наступит время, когда придется собрать семью, пожитки и снова тронуться в путь. Как глава семейства, я должен бдительно следить за переменами, которые могут повлиять на наше положение в местном обществе. Пока мы чувствуем себя уверенно. Но может быть, завтра нам придется оставить насиженное место. Это не бегство, скорее — попытка своевременно уйти от безумия.

Нью-Йорк попросту чересчур велик. Я слишком долго в нем жил, чтобы его ненавидеть, но слишком хорошо его знаю, чтобы любить. До сих пор я все еще воспринимаю себя как его частицу, но уже смотрю со стороны, словно бывший жокей, который стал конюхом. Я зарабатываю тем, что ухаживаю за своим питомцем, но что тут поделаешь, если не мне с ним работать, не мне вести его к победе, не мне завоевывать призы. Хозяева Нью-Йорка — это либо аристократы, не знающие, что такое труд, либо пробившиеся в верха политические пройдохи. Я никогда не считал, что аристократы действительно озабочены проблемами бедности и невежества, что они действительно сочувствуют людям, вынужденным ютиться в трущобах, именуемых жилыми домами, где кишат паразиты. Напротив, я считаю, что закрытые учебные заведения, в которых они воспитывались, и замкнутый светский круг, в котором они вращались, развили в них склонность к снисходительной благотворительности, которая так привлекательна на бумаге и в их предвыборных речах. Наркомания, распространенная в нашей стране, не представляла для них никакой проблемы, пока не стали сажать за решетку их собственных детей. И против войны в Азии они находят лишь самые легковесные моральные доводы, это не их детей привозят домой в прямоугольных ящиках, и не им приходится смотреть в глаза смерти.

Гораздо больше я уважаю политиков старого толка.

Те, по крайней мере, способны были увидеть, что наша система уродлива, и обучились искусству управлять в ее рамках. Они платили налоги городским властям, а не подкупали их. Они научились правильно складывать салфетки после обеда, пробиваться в первые ряды, когда щелкают фотоаппараты, бойко отвечать на любые вопросы. Они никогда публично не отдавали приказов полицейским, а тихо обращались за помощью к капитану полиции. Они делали свое дело.

Теперь в Нью-Йорке плохо идут дела. Город умирает. Городские налоги утекают в Олбани, столицу штата, и мало что поступает в обмен. Финансы богатейшего в мире города контролируются людьми, представляющими в государственном законодательстве фермеров. Это нелепо.

Последняя реальная надежда для Нью-Йорка блеснула, когда Норман Мейлер и Джимми Бреслин выставили свои кандидатуры соответственно на пост мэра города и председателя муниципального совета. Мейлер намеревался превратить Нью-Йорк в 51-й штат — разбить город на множество небольших городков-спутников, хотя население каждого все равно превосходило бы население штата Вермонт. А Бреслин — один из немногих людей, понимающих сегодня, что речи, которыми обмениваются в углу за столиком водопроводчики, представляют определенный интерес. Но оба претендента потерпели в этих скачках поражение — силы были неравны. Когда колесо Демократии не спеша обернется и подойдет черед следующих выборов, я уже не буду принимать в них участия. Я собираюсь остаться вне игры. Подобно жокею, я люблю эту лошадь, и мне горько, что результат скачки от меня не зависит.

Да, Нью-Йорк для меня слишком велик. И не только для меня, я думаю. В нем слишком много людей, слишком много школ, слишком много чиновников, слишком много заключенных, слишком много «кадиллаков», слишком много безработных, слишком много банков, слишком много заброшенных зданий, слишком много бед.

Но мы — вся наша семья из пяти человек — по сей день ютились бы в трехкомнатной квартире нью-йоркского многоквартирного дома без лифта, если бы не старушка, которая забыла оставить завещание...

Сижу у себя дома на кухне и смотрю, как моя жена Пэт готовит омлет с грибами. Она стоит ко мне спиной и сбивает в сковородке яйца. Сейчас три часа дня. Дети гуляют. Мне хочется обнять жену, сказать ей, как я ее люблю, приласкать. Но нет времени — надо ехать на работу, успею только съесть омлет и выпить чаю...

— Уже четверть четвертого,— говорит Пэт,— если хочешь поспеть в часть к пяти, надо торопиться.

Она наливает чашку чаю и садится напротив. Проницательные, чуткие глаза устремлены на меня, нижняя губа прикушена. Это ее привычка: она всегда прикусывает нижнюю губу, когда у нее что-нибудь на уме. Принимаюсь за омлет. Пэт пристально смотрит на меня и молчит. Я ем, а она молчит. Наконец доедаю омлет и кладу сахар в чай.

— Ну хватит, Патриция Энн, нечего прикусывать губу,— говорю я, размешивая сахар в чашке.— Выкладывай, что там у тебя.

— Так, не важно.

Всякий раз, когда предстоит важный разговор, Пэт сначала говорит, что это не важно.

— Не хитри. Если ты вот так смотришь на меня, прикусив губу, значит, тебе надо мне что-то сказать.

— Честное слово, ничего особенного. Просто беспокоюсь, хорошо ли ты себя чувствуешь, можно ли тебе снова выходить на работу.

— Я совершенно здоров, дорогая. Ей-богу. Если бы я знал, что ты так беспокоишься, я бы принес справку от врача.

— Не валяй дурака, Деннис. На днях я разговаривала с твоей мамой...

— Ах вот оно что! — прерываю я жену.

— Вот именно. И она совершенно права! Сколько лет еще ты намерен оставаться в Южном Бронксе? Когда ты работал в Куинсе, я была гораздо спокойнее, тогда ты, по крайней мере, возвращался хоть похожий на человека. А теперь ты добираешься до дому полумертвый от усталости — если вообще не оказываешься в какой-нибудь больнице, где тебе делают рентген, накладывают швы, лечат ожоги. Даже из Вьетнама солдат отпускают домой через год службы, а ты работаешь в своей 82-й пожарной команде уже больше пяти лет.

Пэт искренне расстроена; и меня это удивляет — раньше она никогда открыто не выражала своего беспокойства. Жена каждого пожарного тревожится о своем муже, но до сих пор Пэт держала себя в руках. Ее лицо морщится, годами подавляемая тревога готова вырваться наружу. Надо переубедить, успокоить жену. Но что я могу сказать, чтобы развеять ее страхи? Сколько еще лет? Никогда не задумывался над этим. Может, действительно наступило время перебираться в чистый район с хорошо обеспеченным белым населением, где ложные тревоги происходят лишь по вине приезжих европейцев, по ошибке принимающих коробку пожарного сигнала за почтовый ящик? Где нет заброшенных зданий или брошенных автомобилей, которые так удобно поджечь. Сколько лет? Почему я остаюсь работать в Южном Бронксе — из чувства некоего абстрактного морального долга, потому что считаю, что бедных надо защищать от огня и что защищать их — моя обязанность? Ведь пожары, как преступления и болезни, больше всего угрожают беднякам. Что же я, воюю со злом или просто делаю свою работу?

Наклоняюсь над столом и беру жену за руку.

— Послушай, малышка,— говорю я,— перестань тревожиться. Я уже не раз говорил тебе: если пожарному суждено получить увечье или даже погибнуть, это с таким же успехом может произойти в Куинсе или Статен-Айленде, как и в Южном Бронксе. Ты права — иногда я возвращаюсь домой усталым. Но я еще молод. Мне все это по силам. Разве ты слышала когда-нибудь, чтобы я жаловался на свою работу?

— Я о другом, Деннис,— умоляюще говорит она,— я просто не понимаю, почему ты хочешь заниматься именно этим, когда можешь получить место учителя в средней школе рядом с домом. Ты мог бы работать там с девяти до трех. Рождество проводить дома, отдыхать целое лето. К тому же ты бы и зарабатывал больше. Но дело не в деньгах. Просто я не могу тебя понять.

Чувствую себя беспомощным, разоблаченным. Ведь мне действительно нечего сказать в свое оправдание, кроме того, что я люблю именно эту работу. Ставлю пустую чашку в раковину, подхожу к жене и сжимаю в ладонях ее милое лицо.

— Послушай, Пэт,— говорю я почти шепотом,— через каких-нибудь двенадцать лет я выйду на пенсию и буду получать половину теперешнего жалованья. Мне исполнится всего сорок два года, и мы сможем переселиться в какой-нибудь тихий университетский город в Новой Англии, или уедем в Ирландию, или вернемся в Нью-Йорк — куда душе угодно. Сможем жить в свое удовольствие, ни о чем не думать. Дети подрастут. Захотим — будем путешествовать, не захотим — не будем, у нас, по крайней мере, появится возможность выбирать. А пока — мне нравится мое дело. Оно доставляет мне удовлетворение и как рабочему и как человеку. Я могу приносить людям пользу.

Звонит телефон. Это Арти Мэррит, живущий в десяти милях от нас. Он хочет, чтобы я подбросил его на работу. У него сломался автомобиль. Уже половина четвертого, пора ехать. На прощанье целую Пэт. Понимаю, что объяснение не успокоило ее. Но здравый смысл побеждает — я вижу это по ее глазам,— и вопрос о моей работе в пожарной команде № 82 остается висеть в воздухе.

Завтра пасха. У меня выходной, и я проведу его дома вместе с Пэт и мальчиками. К нам в гости приедут брат с семьей и мама. Брат станет рассказывать об умственно отсталых детях, которых он учит читать и писать, и мы будем ругать наших собственных детей за то, что они так шумят. Я буду рассказывать о пожарах и пожарных, а мама — об успехах и неудачах моих одноклассников и сверстников. Мы будем смеяться и петь песни вместе с детьми. Малыши начнут хватать струны моей гитары, и пение прервется. Мы наедимся до отвала, а потом дети станут уговаривать меня сыграть на волынке, и я буду отказываться, ссылаясь на усталость и набитый живот. Когда уберут со стола, аккуратно завернут в целлофан остатки окорока и умолкнет отвратительное завывание посудомойки, мы сядем у камина вместе с женщинами, станем потягивать бренди, грызть орехи и бросать скорлупу в огонь. Славный будет день.

Сейчас 8 утра, я только что переехал через мост Джорджа Вашингтона. Транспорт на автостраде Бронкс-экспрессвэй движется медленно. День выдался холодный, я вижу, как выхлопные газы впереди идущих машин поднимаются над землей и смрадный туман становится еще гуще.

Проезжая по Хоум-стрит, замечаю, что одна из верхних механических дверей нашего депо все еще сломана и по-прежнему полуоткрыта. Эта дверь неисправна вот уже две недели, а наш официальный запрос о починке все пересылается из одного департамента в другой. По радио только что передали прогноз погоды: сегодня один из самых холодных апрельских дней в истории Америки, а дверь прикрыта лишь тонким куском брезента. Ставлю автомобиль и направляюсь в депо — хорошо бы организовать сидячую забастовку. Я уже звонил в профсоюз, и в свою очередь начальники команды справлялись о судьбе нашего запроса. Но и от администрации, и от профсоюза получен один и тот же стандартный ответ: «Вопрос рассматривается». Они будут рассматривать вопрос, а у нас пока будут отмерзать задницы. Надо бы объявить забастовку до тех пор, пока городские власти не примут меры. Хороший профсоюз не удовлетворился бы таким ответом и потребовал бы перевода людей в теплое помещение. Не поднимай шума, говорю я себе, не то загонят тебя куда-нибудь на самую окраину Статен-Айленда. Поступит приказ: «Пожарного первой категории Денниса Е. Смита перевести из пожарной команды № 82 в пожарную команду № 400». И тогда на дорогу до работы у тебя будет уходить три часа в одну сторону. Нет, не поднимай шума, повторяю я про себя. Лучше напяль еще один свитер.

Двадцать минут десятого. Иду в кухню выпить кофе. Здесь, как всегда, в центре внимания Чарли Маккарти. Он рассказывает о своих похождениях прошлой ночью на Вестчестер-авеню. Ребята с чашками в руках сгрудились вокруг него, и Чарли разливается соловьем: «И вот под конец занесло меня в один кабак где-то возле 174-й улицы. За стойкой—красотка. Чуть ли не в чем мать родила. Буфера что надо, но фальшивые. Расчет на дураков. Ясно? Я, значит, принимаю стаканчик виски, а сам оглядываюсь по сторонам. Вокруг полно хорошеньких пуэрториканочек, но каждая — со своим ухажером. Так что остается краля за стойкой. Только я на нее уставился, появляются трое. И дураку ясно: полицейские — спортивные пиджачки, начищенные ботиночки и все такое прочее. Один подходит к стойке, облокачивается и начинает разглядывать кабак, словно он здесь хозяин. Пиджак расстегнут, рука на поясе, и кобуру видно. Ну, думаю, и дерьмо же ты. Не стал с ним связываться и смотался домой».

Ребята ухмыляются, но хохота не слышно. Билли-о бросает газету на стол и говорит:

— И это все, Чарли?

Чарли стоит спиной к стене, словно готовится отразить нападение.

— Не помню,— отвечает он.— К сожалению, я оставил свои заметки в шкафу.

— Ну так сходи загляни в них,— говорит Билли,— потому как твоя история остроумием не блещет.

— Подумаешь какой профессор остроумия нашелся,— обрывает Чарли.

— Я, может, и не самый остроумный человек на земле,—говорит Билли-о,— но уж тебя-то я знаю как облупленного и россказни твои могу оценить по достоинству. За эту историю ты получаешь кол. Не больше.

— Да что ты понимаешь, Билли? Ты хорошей шутки в глаза никогда не видел, а увидишь — не узнаешь. Ну, ладно, время девять тридцать. Тащи наверх свою «Нью-Йорк таймс», сможешь подтереть ею пол.

Раздается проверочный сигнал. Одиннадцать звонков, потом еще одиннадцать. Время для уборки помещения. Мы все дали согласие поработать сегодня сверхурочно. Решили оставить депо в чистоте для тех, кто завтра будет здесь разговляться. Если мы сегодня поработаем на совесть, на долю завтрашнего караула останется не слишком много дел. Нехорошо заставлять людей драить полы в светлое пасхальное воскресенье.

Разбиваемся на группы — у каждого свои обязанности. Билли-о идет в раздевалку, я беру метлу и направляюсь к лестнице, ведущей в подвал. Выходя слышу, как Чарли, взгромождая стулья на столы, ворчит:

— Неудивительно, что он не может понять хорошую шутку,— у читателей «Нью-Йорк таймс» не бывает чувства юмора.

Спускаясь по лестнице, усмехаюсь про себя.

В подвале нашего депо стоят большой биллиард, маленький биллиард-карамболь и стол для пинг-понга. Мы купили их на свои деньги, но поиграть удается не так уж часто, мне во всяком случае. Только начнешь партию в биллиард или в пинг-понг — раздается сигнал пожарной тревоги. А когда возвращаемся с пожара, мне уже не до игры. Но некоторых наших ребят не так-то легко вывести из равновесия, и от пожара до пожара они торчат в этом сыром, грязном подвале. Я же провожу свободное время в кухне — читаю журналы, смотрю телевизор или просто болтаю с пожарными из гаража.

Стою посреди подвала. Большую часть его занимают отопительный котел и бак с горючим. Здесь же стол, несколько деревянных скамеек, которыми мы разжились в соседней школе, и десятка три деревянных подпорок, их недавно поставили для укрепления потолка — балки перекрытия подгнили. Цементный пол весь в масляных пятнах, возле биллиардных столов усыпан раздавленными окурками. Начинаю подметать. Возле котла замечаю, что решетка слива сдвинута и в полу — дыра. Кто-то из ребят оправлялся прямо здесь, вместо того чтобы подняться наверх в уборную. Бросаю метлу, беру шланг, соединенный с водяной системой котла, и обмываю пол вокруг слива. Потом подталкиваю ногой решетку, прикрываю ею дыру в полу и тщательно промываю все это струей воды. Теперь здесь будет немного чище.

Покончив с уборкой подвала, возвращаюсь в кухню. Билли-о как раз прикалывает на доску объявлений какой-то листок. Брандмейстер Лэни заболел инфекционной желтухой, говорит он.

— Я, конечно, не ручаюсь, но по-моему, он подцепил ее именно здесь. И у нас есть единственный способ оградить себя от заразы. Вот, читай.

Читаю написанное отчетливыми, разборчивыми буквами объявление:

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОБИТАТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО ДОМА.

В связи с недавно выявившимся случаем гепатита у одного из наших служащих (второй случай на протяжении года) был проведен общественный опрос о мерах улучшения санитарных условий в кухне, а также и во всех других помещениях. Один из З. П. (завсегдатаев подвала) предложил установить над сливом биде, другой посоветовал приобрести дезинсекционную установку, а третий — приспособить огнетушитель, чтобы персонально обмывать себя и свою драгоценную «мадам сижу» до и после работы. Но верх одержал здравый смысл — большинство высказалось за покупку одной или двух новых посудомоек. На это, естественно, потребуются средства, а посему предлагается вносить с каждой зарплаты по доллару до тех пор, пока мы не соберем 700 долларов (7 взносов). Дело это, разумеется, добровольное. Но в противном случае — проказа, сифилис, гонорея, грипп и т. п.

Благодарю за внимание.
Билли О'Манн.

— Дохлое дело, Билл,— говорю я,— мне нравится твой пыл, но до тех пор, пока посуду будут мыть стажеры, ты никого из наших не заставишь раскошелиться на семь долларов.

— Именно. Пока посуду моют стажеры, она никогда не будет чистой. Они работают без души.

Билли-о прав Тарелки и столовые приборы у нас в депо всегда сальные — посудомойка нам действительно нужна. Но мы только что собрали 300 долларов на мясорезку, и вряд ли найдутся охотники вносить деньги на посудомойку, поскольку в ней нет крайней необходимости. Инфляция ударяет по каждому из нас.

Сейчас четверть одиннадцатого. Раздается сигнал пожарной тревоги. Пожарный извещатель 2743. Первый выезд за смену. Угол Шарлотт-стрит и 170-й улицы. Без вызова из пожарного извещателя 2743 дня не проходит.

Сбрасываю ботинки, чтобы залезть в сапоги. Холод пронизывает ноги. Сегодня дежурит Марти Хэннон из 85-й команды — на нем толстая брезентовая роба, вокруг шеи обмотан шарф. Дежурный раздвигает сломанные двери, и пожарная машина выезжает на Интервэйл.

На пронизывающем ветру нас ждет молодая девчонка, худая, бледная, лет 22. Отороченные мехом домашние туфли, полы бумажного халатика плещутся на ветру.

— Мой муж перебрал наркотиков,— говорит она.

— Адрес? — спрашивает капитан Олбергрей.

— Сиберри-плейс, дом 811, квартира 6,— отвечает она.

Машина трогается с места, девчонка идет следом. До Сиберри-плейс всего один квартал. Подъезжаем к дому 811. На лестнице кто-то нацарапал прямо на каменной стене: «НАРКОМАНАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН. ВХОДЯ, ВЫ БЕРЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ». Лучше не придумаешь. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. Капитан

Олбергрей и я — впереди, за нами — Дэнни Гейнфул, Билли-о и другие пожарные 31-й команды. Дверь в квартиру № 6 открыта. На полу в кухне лежит красивый молодой пуэрториканец. Над ним склонились какие-то ребята — парень и девушка.

— Принесите льда,— говорит Дэнни, обращаясь к девушке.

Она в дурмане и, кажется, не понимает, что происходит вокруг.

— Лед несите! — кричит Дэнни, но девчонка по-прежнему бессмысленно глядит на него. Парень идет к холодильнику. Дэнни и я становимся на колени по обе стороны распростертого на полу тела. У Дэнни в руке лед — он кладет его пуэрториканцу под мошонку. Я тоже беру кусок льда и подкладываю его парню под затылок. Дэнни шлепает пуэрториканца ладонью по лицу, щиплет ему щеки, а я изо всех сил трясу его за плечи. Появляется брандмейстер Ниброк; он приказывает лейтенанту Лайерли послать одного из пожарных 31-й команды вниз, за аппаратом искусственного дыхания, но Билли-о уже пошел за ним.

— Как его зовут? — спрашивает Дэнни у девчонки.

На этот раз вопрос доходит до нее.

— Питер,— следует ответ.

Я проверяю зрачки пуэрториканца. По-прежнему сужены. Пульс едва прощупывается.

— Эй, Питер! — зову я.— Очнись! Вставай! Скажи мне что-нибудь. Как ты себя чувствуешь? Не очнешься — наркотик убьет тебя. Давай-давай!

Входит Билли-о с аппаратом искусственного дыхания. Он проверяет точность установки на «вдох» и прикладывает маску к лицу парня. Кислород оказывает свое действие. Жена парня стоит рядом и скулит:

— Он не наркоман. Не наркоман он!

— Какого же черта вы его накачали? — спрашивает Дэнни.

— Он сам! Он сам перебрал лишнего! — кричит она.

— Перебрал,— повторяет Дэнни, взглянув на меня.— И чуть на тот свет не перебрался.

Я понимаю его чувства. На лице Дэнни гримаса отвращения. Он хорошо знает, какое это бедствие, наркотики — распростертый на полу парень, клюющие носами дружки, беспомощная жена,— но он столько этого перевидал на своем веку, что убежден: бороться бесполезно. Появляется санитар «скорой помощи» с каталкой, и мужчины выносят парня из дома. Выходя из квартиры, Дэнни говорит:

— Ну и помойная яма.

Я оглядываюсь вокруг и киваю в знак согласия.

— Позор,— возмущается он.

Спускаясь вниз по лестнице, думаю о разоблачительных романах начала XX века. Дела тогда были плохи. Жестоко обращались с еврейской беднотой, тяжко приходилось ирландцам и немцам, сербам и итальянцам — всем, у кого не было денег. Но это было 50—70 лет назад. У обитателей Южного Бронкса по-прежнему нет денег, но до них вообще никому нет дела. Они брошены на произвол судьбы, погружены в апатию, а их дети колют себя наркотиками.

Снова в кухне. Часы показывают одиннадцать. Билли-о и Джерри Герберт готовят завтрак. На стойке стоят две огромные сковороды. Билли-о заполняет их длинными тонкими колбасками. Джерри Герберт режет зеленый перец, потом смешивает его с уже нарезанным луком. Четырнадцать итальянских хлебцев лежат в углу стойки и ждут, когда их разрежут пополам,— получится двадцать восемь сандвичей. Сытный завтрак за 60 центов.

Занятие поваров прерывает сигнал тревоги. Дневальный кричит:

— Восемьдесят вторая и тридцать первая! Симпсон-стрит, 1335, третий этаж.— Он повторяет адрес и добавляет: — Брандмейстер тоже едет.

Пожарная машина в сопровождении грузовика спасателей и легкового автомобиля брандмейстера выезжает из депо. Едем по 169-й улице. Сворачиваем на Симпсон-стрит. Сквозь оконную раму на третьем этаже пробивается дым.

— Проложить линию на три скатки! — приказывает капитан Олбергрей, торопливо проходя мимо. Мы выполняем приказ, машина отъезжает к гидранту... Винни Ройс со стволом в руках бежит в здание. Вилли Ниппс и я следуем за ним, подтягивая пустой рукав.

Навстречу нам по лестнице спускаются пуэрториканцы всех возрастов и состояний — старики пытаются бежать, хоть им это и не по силам, девчонки тащат грудных младенцев и кричат на детей постарше, красивые подростки сводят по ступеням дряхлых старух. Суматоха все усиливается. Спотыкаясь, падает старик, рыдает женщина, истерически кричит мать, потерявшая малыша. Экспрессивная испанская речь, подстегиваемая волнением, звучит еще стремительнее и эхом отдается на лестничной клетке. От пронзительных криков этот исход кажется еще более паническим, чем на самом деле. На третьем этаже мимо нас протискиваются трое подростков. Двое тащат телевизор, третий — портативный магнитофон. В доме пожар, и бедные люди пытаются спасти самое ценное.

Мы ждем на площадке, пока Билли присоединит насос пожарной машины к гидранту и откроет вентиль. 31-я команда осмотрела помещение. Горящая квартира

пуста и необитаема. Ричи Риттмен стоит на коленях, лицо его перепачкано, из глаз и носа течет.

— Горит только в одной комнате,— говорит он Ройсу,— ничего страшного, работа — раз плюнуть.

Вода пошла по стволу, и Ройс весь напрягся, чтобы его удержать.

— Двинулись, Винни,— говорит капитан Олбергрей.

Ползком они пробираются в горящую квартиру, а я следом за ними тащу рукав. Длинный грязный коридор. Винни проникает в крайнюю комнату и открывает воду. Сначала на потолок. На стены. Кругами. 150 галлонов в минуту. Через мгновенье огонь исчезает. 60 секунд льется вода — и здание спасено. От воды почти ничего не пострадало. Отличная работа. Не придется освобождать квартиры на нижнем этаже — потолки не промокнут, не обвалятся.

Ниппс берет ствол из рук Винни, и тот идет к открытому окну подышать чистым воздухом. Ждем, пока рассеется дым. Брандмейстер Ниброк внимательно осматривает все вокруг, потом уходит наверх: надо убедиться, что пожар никуда не распространился. Маккарти и Билли-о остались в горевшей комнате — они отбивают баграми обуглившуюся и вздувшуюся штукатурку. Время летит быстро. В последний раз проливаем комнату легкой струей воды. Дело сделано. Отбой.

В коридоре суматоха.

— Ограбили, обворовали! — кричит какая-то женщина. Около нее двое малышей.— Украли мой телевизор и магнитофон!

Смотрю на малышей. Двое мальчиков-дошколят в одинаковых курточках. Милые ребятишки. На их лицах — уныние. Пожар в соседней квартире окончился. Дело прошлое. А у них дома теперь какое-то время не будет ни субботних мультипликационных фильмов, ни «Улицы Сезам», ни «Мистера Роджерса».

Брандмейстер записывает данные — фамилию, номер квартиры. Он доложит в пожарную часть. А потом и полиция начнет расследование.

Помню, сестра Мэри Джин говорила нам, что украсть у соседа — грех более тяжкий, чем украсть, скажем, в универсальном магазине «Мейси». Я тогда учился в пятом классе и поверил, что так оно и есть. Я и сейчас верю.

В детстве я жил на восточной 56-й улице, в одном квартале к западу от Саттон-плейс. Всего лишь один квартал. Контраст между черным и белым миром я запомнил на всю жизнь. Уже тогда в Саттон-плейс жили только миллионеры. Зимой загорелые мальчики в пальтишках из верблюжьей шерсти дожидались на углу такси или школьного автобуса. У них в карманах всегда были деньги, на завтрак — во всяком случае. Но нам и в голову не приходило отнимать у них эти деньги. Потому что они люди. Вместо этого мы отправлялись в универсальный магазин «Блумингдейл». Три квартала вверх и два наискосок. Кожаные перчатки. Бейсбольные рукавицы. Карманные ножи. Рубашки. Галстуки. Запонки. Мы тащили все, что можно было продать. Универсальный магазин «Блумингдейл» — это всего лишь магазин. Людей же мы никогда не обворовывали.

— Думаешь, эти парни нарочно устроили поджог, чтобы словить рыбку в мутной воде? — спрашивает Винни, стаскивая по лестнице пожарный рукав и оглядываясь назад.

— Похоже на то,— отвечаю я; большего не скажешь.— Хорошо еще,— добавляю я,— что мы так быстро приехали. Не то бы к нам теперь еще один сигнал тревоги поступил.

— Точно,— отвечает Винни.— Нам крупно повезло.

Возвращаемся в часть. На часах — двенадцать тридцать...

Едим спокойно.

Бросаю в кружку 60 центов за сандвич и кипячу воду для чая. Я пью чай по-ирландски — наполовину с молоком. На столе лежит чей-то журнал. По телевидению передают идиотское дневное шоу. Раздаются сигналы, но они адресованы только 85-й команде. Пожарные этой команды стремительно выбегают из кухни. Беру журнал. Богачи с Парк-авеню сложились и выкупили из тюрьмы группу «черных пантер». В одном из фешенебельных небоскребов на Парк-авеню был устроен роскошный прием: разодетые дамы и господа и «пантеры» в туниках. Статья раздражает — из головы не выходят ребятишки, у которых больше нет телевизора... Хватит философствовать. Посмотри на окружающий тебя мир. Хотя бы на Симпсон-стрит.

Снова звонки тревоги. Пожарный извещатель 2558. Выбегая из кухни, швыряю в мусорный ящик пакетик из-под чая. Угол Интервэйл-авеню и 165-й улицы. Капитан Олбергрей изо всех сил нажимает на кнопку сирены. Тридцать децибелов — в пустом помещении. Вой врывается в уши, бьет по нервам. Едва ли это безвредно.

Едем. За нами 31-я команда и машина брандмейстера. Сверкают красные огни, воют сирены, машина вздрагивает и подскакивает по булыжнику мостовой Интервэйл-авеню. Холод обжигает кожу, и я поднимаю воротник брезентовой робы.

Машина останавливается перед деревянным трехэтажным домом. Горит верхний этаж, и пламя уже выбило оконные стекла. Здесь потребуется большой рукав — в два

с половиной дюйма. Беру ствол, три скатки рукавов и начинаю прокладывать линию в дом. Мимо пробегают ребята из 31-й команды. За мной следует Вилли Ниппс, за ним Билл Келси — они тащат рукава. Винни Ройс достает из пожарной машины сумку с противогазами, открывает ее и надевает противогаз. Космо Поскуло с водителем присоединяют насос к гидранту.

Капитан Олбергрей ждет на третьем этаже. Дым густой, почти липкий. Темные, коричневые клубы не находят выхода — один из пожарных прорубает отверстие в крыше. Но вот рукав набухает водой. Подхожу к капитану Олбергрею, чуть поворачиваю кран ствола. С шумом вырывается наружу воздух, словно из вентиля кислородного баллона. За ним — вода, она бьет об пол прямо передо мной.

— Порядок? — спрашивает капитан Олбергрей.

— Порядок.

— Тогда пошли.

Горят две комнаты окнами на улицу и, возможно, чердачное помещение. Круто разворачиваем рукавную линию вокруг перил на лестнице.

— Протяните рукав еще на десять футов! — кричу я Ниппсу и Келси.

Они волокут рукав, а я продвигаюсь к самому огню. Ползу на животе. Рядом капитан Олбергрей. Сзади — Ниппс, он поддерживает наполненный водой шланг. Во время работы у нас течет из носа, рот полон слюны. Задыхаюсь от кашля, но продолжаю работать со стволом — вверх, вниз, вокруг. Ройс перекатывается через Ниппса и хлопает меня по плечу.

— Беру ствол, Деннис,— доносится до меня его приглушенный противогазом голос. Подходит Космо, он тоже в противогазе. Теперь мы с Ниппсом можем перевести дух.

Снова на улице. Келси надевает противогаз, на тротуаре позади него лежит еще один — для капитана Олбергрея. Но теперь он уже не потребуется. Смотрим наверх, на третий этаж. Пламени нет. Сквозь обугленные рамы пробивается только дым. Пожарные из 73-й и 94-й команд стоят перед домом и волнуясь ждут приказа приступить к работе. Но им не велят двигаться с места. Через несколько минут они услышат приказ: «Отбой».

Мы с Ниппсом сидим на задней подножке машины. Я совсем выбился из сил. Закурить бы сигарету, да легкие не принимают. Пока обойдусь без курева. Сидим молча, обессиленные, зато исполненные сознания завершенного дела.

Молодой парень — негр лет 22 — ходит по комнате, качает головой. Невысокий, на вид кроткий человек, он, кажется, потрясен увиденным. Одет модно — расклешенные брюки и блестящая синтетическая куртка. Осторожно переступает через мусор на полу, чтобы не запачкать манжеты брюк.

— Вы здесь живете? — спрашивает его брандмейстер Ниброк.

— Да, это мой дом, начальник. Точнее, все, что от него осталось.

Брандмейстер записывает его фамилию и расспрашивает о причине пожара. Нет, он понятия не имеет, он сидел неподалеку, в баре, и вдруг слышит — пожарные машины.

Неожиданно в коридор врывается высоченная женщина.

— Где этот сукин сын? — вопит она.— Где этот сукин сын!

В ее руке огромный нож-мачете. Глаза выпученные, бешеные.

— Где этот сукин сын! — Это не вопрос. Утверждение. Она знает, кого ищет, знает, что найдет его здесь. Женщина крупная, но не толстая. Пудов пять. Она появляется внезапно, как дикарка из зарослей сахарного тростника. И стремительно бросается вперед с занесенным ножом в руке.

— Берегитесь, шеф!

Брандмейстер оборачивается, и в этот самый миг Маккарти обхватывает женщину сзади. Но она все еще неистово размахивает ножом и совсем немного не достает до брадмейстера.

— Я убью тебя, сукин ты сын! — кричит она, заливаясь слезами.— Я убью тебя.

Молодой негр, стоявший рядом, убегает в соседнюю комнату. Женщина отбивается. Трое пожарных с трудом удерживают ее. Маккарти, наконец, заставляет ее выпустить нож, берет его и бросает на пол. Женщина разражается истерическими рыданиями.

— Эта баба сошла с ума. Уберите ее отсюда! — кричит молодой негр. Он выглядывает из дверей, убеждается, что она больше не буйствует, и, чувствуя себя в относительной безопасности, снова выходит в переднюю. Легкий чад все еще поднимается от обуглившейся мебели.

Маккарти и Риттмен — двое дюжих мужчин — крепко держат женщину. При виде парня на нее снова находит бешенство, и она делает попытку вырваться. Но Чарли и Ричи ей не одолеть. Она убеждается в этом и стихает. Не отрывая глаз от парня, она говорит с ненавистью:

— Это дело твоих рук, и я убью тебя.

Парень всплескивает руками и отворачивается. Потом говорит тихо, но нервно, кривя губы:

— Разве я это сделал?

Женщина не отвечает, но по-прежнему пристально, с ненавистью смотрит на него. Парень повторяет свой вопрос, на этот раз громко, зло:

— Я это сделал? Боже мой, с какой стати я стал бы жечь свое добро, зачем мне сжигать дотла собственный дом?

— Ты сказал моей дочери, что сожжешь дом,— резко отвечает женщина.— Сегодня утром, когда она вышвырнула тебя отсюда, ты сказал, что сожжешь дом.

Вижу, как в ней снова закипает ненависть, желание ударить его. Она рвется из рук, и парень опять прячется в соседнюю комнату — видно, боится, что пожарные ее не удержат.

— Я убью тебя, сукин ты сын! — вопит женщина.

Брандмейстер Ниброк приказывает Чарли и Ричи свести женщину вниз. По транзисторному радиотелефону он передает своему помощнику приказ вызвать по радио наряд полиции.

— Полиция уже на месте, шеф,— следует ответ.

На этаже появляются двое полицейских. Брандмейстер перебрасывается с ними несколькими фразами, и они направляются в соседнюю комнату, чтобы допросить молодого парня. В комнату входит капитан Олберггрей и вежливо просит всех присутствующих выйти в переднюю — у пожарных здесь есть еще кое-какая работа. Комнату освобождают, и Космо открывает ствол для последней проливки.

— По окончании работы можете возвращаться в часть,— говорит брандмейстер нашему капитану. Тот же самый приказ поступает лейтенанту Лайерли и 31-й команде. Но пожарные 31-й команды остаются, чтобы помочь нам с рукавами: они всегда готовы помочь нам расцеплять, опорожнять и скатывать рукава.

Выходим — не видно ни молодого парня, ни женщины, ни полицейских. Чарли говорит, что все уехали на полицейской машине. На мой взгляд, парень искренне возмущен тем, что его обвинили в поджоге, но разбираться в преступлениях — это уж не мое дело, на то есть полиция.

■

Кипячу на кухне кастрюльку с водой для горячего шоколада. Винни Ройс и Вилли Ниппс играют в шахматы. Я научился играть в шахматы еще подростком. Некоторое время наблюдаю за партией, но Вилли уже выиграл ферзя и обоих слонов — силы явно неравные. Чарли Маккарти и Ричи Риттмен разглагольствуют о футболе, об асах защиты. До меня доносятся фразы вроде: «Ну, он кому хочешь даст прикурить! Для такого игрока ничего не жалко, ей-богу!» Разговор этот меня раздражает.

Пробую шоколадный напиток, но он еще слишком горячий.

На столе лежит журнал «Плейбой». Перелистываю несколько страниц, вот интервью с актером Эллиотом Гулдом. В нашей стране немного надо, чтобы произвести впечатление. Принимаюсь за интервью, но меня опять выручает сигнал тревоги. Два звонка, потом девять, пять и шесть. Стэббинс-авеню и Фримен-стрит. Это совсем рядом, за углом.

— 82-я и 31-я на выезд. Брандмейстер едет тоже.

В нижнем этаже, где гараж голос дневального на холоде звучит не так оглушительно. Он снова начинает что-то кричать, но тут звонит внутренний телефон. Дневальный снимает трубку.

— 31-я, отставить. 712-я, на выезд,— кричит он.

Выезжаем из депо, видим, как машина команды 712 уже несется по Интервэйл-авеню. Через полминуты мы на перекрестке Стэббинс-авеню и Фримен-стрит. Пожар в угловом доме, но горит лишь одна комната на нижнем этаже. Гидрант как раз напротив дома, тут требуются всего две скатки рукавов. Плевое дело.

— Проложить линию в два с половиной дюйма,— приказывает капитан Олберггрей.

Этот пожар можно было бы потушить и рукавом с меньшим сечением, но инструкция предписывает при тушении пожаров в подвалах и нижних этажах диаметр в два с половиной дюйма. У нас, как и в армии, проще всего действовать точно по уставу.

Отсоединяю ствол, Келси и Ниппс подтаскивают две скатки рукавов. Конец второго рукава присоединяется к насосу пожарной машины. Поднимаюсь на крыльцо дома. Никсон и Майк Рэнион под наблюдением капитана Олберггрея и лейтенанта Коглина взламывают запертую дверь. Замок простой, один раз поддеть ломом — и открылся. Дверь немного поддается, но тут же снова захлопывается. Никсон налегает плечом, но кто-то держит дверь изнутри. Слышен приглушенный, задыхающийся голос:

— Я хочу умереть. Я хочу умереть.

Никсон с силой толкает дверь и она распахивается. По длинному узкому коридору убегает человек лет сорока. Убегает в глубь квартиры. Подальше от огня.

Дым довольно густой, но вырывается через окно, свободно уходит вверх. Ползу на коленях, рядом капитан Олберггрей, за ним — Ройс с противогазом, на всякий случай. Но горит всего одна комната, и я проникаю в нее без труда.

Никсон и стажер побежали ловить того, кто не давал открывать дверь. Разыскивать и спасать людей — их обязанность. Майк Рэнион бежит по комнатам и распахивает окна, а этот — в кухне, забился в угол, словно загнанное животное. В руке у него большой кухонный нож. Стажер пытается осторожно приблизиться к нему. Но человек взмахивает ножом и бросается на него. Лезвие рассекает стажеру щеку. Человек снова забивается в угол, а Джон тащит залитого кровью стажера вон из кухни.

— Пойди, пусть тебе обработают рану,— говорит Джон, захлопывая дверь в кухню.— Пусть шеф позовет полицейских. А я пока подержу этого психа взаперти.

Джон крепко держит ручку двери, но человек и не пытается открыть ее.

— Я хочу умереть! — исступленно кричит он.— Дайте мне умереть! Я хочу умереть!

Пожар потушен. Ниппс сменяет меня у ствола. Брандмейстер Ниброк смотрит, нет ли где еще огня и одновременно — в безопасности ли Никсон. Другие пожарные команды № 712 прорубают дыры в потолках и стенах. Брандмейстер тщательно освещает фонарем каждое отверстие, внимательно проверяет, не распространился ли огонь.

В коридоре появляются двое полицейских с револьверами в руках.

— Где он? — спрашивает один.

— Вон там,— шеф указывает в конец коридора.

Джон отпускает ручку двери и говорит:

— Осторожнее. Он ненормальный.

Полицейский резким толчком распахивает дверь. Человек стоит в углу, все еще вопит, что хочет умереть. Полицейские входят осторожно, не торопясь.

— А ну, бросай нож! — громко и четко приказывает один из них.

С безумным, злобным воплем человек, занеся нож, бросается на полицейского. Другой полицейский стреляет. Человек выпускает нож и падает. Он не перестает вопить, но теперь он лежит скорчившись на кухонном полу и обхватив раненую ногу. Пуля попала чуть выше колена. Полицейский поднимает с пола нож Другой с удовлетворением вкладывает пистолет в кобуру: ведь ему только что удалось спасти человеческую жизнь.

Никсон разрезает штанину на раненой ноге сумасшедшего, а Рэнион раскладывает рядом санитарную сумку. Человек утихомирился, лишь время от времени раздаются прерывистые всхлипывания. Джон залепляет рану небольшими кусками пластыря — все равно в больнице будут накладывать другую повязку. Один из полицейских пишет в свой журнал отчет о происшествии. Билл Финч, помощник брандмейстера Ниброка, тоже делает у себя в блокноте запись: «Джон Уилкс, возраст 42 года, напал на пожарного Артура Мазарака, ранен в левую ногу полицейским Хиллери из 41-го участка».

— Больше мне никаких данных не надо,— говорит Финч полицейскому.— Спасибо.

Полицейские решают, не дожидаясь «скорой помощи», отправить арестованного в больницу на своей машине. На него уже надеты наручники. Он больше не рыдает, затих, почти оцепенел. Мы сажаем его на стул и выносим на улицу. Перед домом толпа. Усталые, изможденные лица, печальные лица негров. Люди переговариваются друг с другом. Гадают, что произошло.

У стажера забинтовано лицо. Он сидит в машине брандмейстера и ждет «скорую помощь». Шеф что-то говорит ему, стажер выходит из автомобиля и покорно садится в полицейскую машину. Она с воем отъезжает, в ней рядом с шофером сидит стажер, сзади — виновник нападения.

Рукава упакованы. Работа окончена. Возвращаемся в часть. На повороте замечаю блестящий, синий с белым, указатель — название улицы,— прибитый к фонарному столбу: «Фримен-стрит». Подходящее название — улица Свободного Человека,— ничего не скажешь. А машина тем временем, свернув за угол, несется по Интервэйл-авеню.

Половина шестого. Эдди Пенан входит в гараж. В одной руке у него каска и брезентовая роба, в другой — сапоги. Подойдя к задней двери нашего пожарного автомобиля, он бросает сапоги в машину. Потом вытаскивает оттуда мою робу и каску и вместо них швыряет на скатки рукавов свою амуницию. Я стою на пороге кухни с чашкой кофе в руках. Увидев меня, Эдди говорит:

— Сдавай дежурство, Деннис.

— Спасибо, Эд,— говорю я, принимая от него мои вещи, вешаю на вешалку робу, кладу на полку каску.

— Как прошел день? Много работы? — спрашивает Эд.

— Да. Парочка вызовов была,— отвечаю я, подымая сапоги с пола.

— Вот как? А противогазами пользовались?

— Пользовались,— отвечаю я и ставлю сапоги на подставку для обуви.— Но Космо и Винни как следует прочистили их и сменили цилиндры.

— Порядок,— говорит Эдди и входит в кухню.— До скорого.

Потом останавливается и спрашивает:

— Завтра работаешь?

— Нет. Свободен.

— Тогда счастливого праздника,— говорит он.

Приму душ — и домой, надо помогать Пэт готовиться к завтрашнему приему гостей. Пасха будет для меня днем отдыха. Настоящего домашнего отдыха...

■

Июльское солнце стоит прямо над нашей пожарной частью, и кажется, оно никогда не было ближе к земле, чем сейчас. Скоро полдень, лежу на койке и думаю о пожаре, с которого мы только что возвратились. Жильцы недавно покинули дом на Фокс-стрит, и дневной жар прогрел кучу отбросов, сваленных в парадном,— вонь была чудовищная. Я тащил через эту кучу рукав и старался не дышать, но сразу там не перелезешь, и меня чуть не вывернуло наизнанку Горело на четвертом этаже — так, ничего особенного. Огонь был всего в двух комнатах, и Вилли Ниппс без труда работал стволом. Когда огонь погасили и дым рассеялся, я увидел тараканов, они были повсюду — на стенах, на полу, во всех комнатах, кроме сгоревших, в длинном узком коридоре. Я сказал Вилли, Бенни и лейтенанту Уэлчу, что, раз делать особенно нечего, я подожду отбоя на улице.

Вонь проникала с лестничной клетки на все этажи, и, пока я спускался, от нее не было никакого спасения. Оказавшись снова на улице, я испытал странное чувство свободы, словно меня отпустили с многолетней каторги. Я стоял перед этим домом, не зная, что делать, испытывая глубокое облегчение и счастье оттого, что я уже не там. На жаркой, удушливой Фокс-стрит дышалось удивительно легко.

В вентиляционных трубах надо мной мягко урчит воздух, окутывая прохладой наши шестнадцать коек. Полы сверкают чистотой, стены — свежевыкрашены, симметрично расставленные койки аккуратно заправлены. Второй этаж нашей пожарной части напоминает мне казарму — здесь мы отдыхаем. Но даже лежа на койке, я все думаю о многоквартирных домах на Фокс-стрит. Я устал на пожаре, который мы только что потушили. А жара на улице, пока я выливал воду из ствола, скатывал и упаковывал рукав, окончательно меня вымотала. Хочется отдохнуть. Расслабиться. Закуриваю сигарету и закашливаюсь при первой же затяжке. Будь я полицейским, водопроводчиком, школьным учителем или бизнесменом, я бы отказался от этой отвратительной привычки. Но стоит ли бросать курить, если каждый пожар, который мне приходится тушить, страшнее тысячи блоков сигарет «Пэл Мэл»? Кури. Успокойся. День наполовину прожит. Но успокоиться я не могу. Все думаю о многоквартирных домах на Фокс-стрит, о людях, живущих на Фокс-стрит, о Тине де Вега.

Тине де Вега 18 лет. Она родилась в Пуэрто-Рико, и шестилетним ребенком вместе с тремя сестрами и четырьмя братьями мать привезла ее в нашу страну. Тина мало что знает о Южном Бронксе Ей неизвестно, что уголовный отдел в их полицейском участке на Симпсон-стрит за каждый месяц расследует больше убийств, чем где бы то ни было еще в городе. Ей неизвестно, что на долю нашей пожарной части — всего в трех кварталах от ее дома — приходится больше ложных тревог и больше пожаров, чем в любом другом районе Нью-Йорка. Не знает она и того, что показатель венерических заболеваний и детской смертности здесь в три раза выше, чем в любой другой части города. Тина знает только, что цена ей пять долларов и что с недавних пор она вынуждена соглашаться на четыре. Наступили трудные времена, инфляция ударила даже по проституткам Южного бульвара. Бульвар этот кишит девчонками. Но медленно проезжающих машин с клиентами на всех явно не хватает. На промысел снова вышли сорокалетние проститутки в застиранных свитерах и полуспущенных нейлоновых чулках.

Тина встает в одиннадцать утра. И каждый день все начинается сначала. Она разыскивает своего хозяина и получает у него немножко героина; героин, как всегда, приводит ее в себя, у нее появляется аппетит. Она идет в закусочную Амиллио Бодеги и берет на завтрак бутылку пепси-колы и несколько сосисок. Потом возвращается домой, смотрит по телевизору очередную мелодраму из серии «Семейная жизнь» и клюет носом.

Живет Тина рядом с тем покинутым домом, где в парадном огромная куча отбросов, с тем самым домом, откуда мы только что возвратились. Я сидел на подножке старого брошенного автомобиля и вдруг увидел ее — она медленно шла ко мне. С нашей последней встречи прошло несколько лет, но такое лицо не забывается. Безупречная смуглая кожа, узкая кость европейской аристократки, тонко очерченные губы, изящный нос, много повидавшие глаза. Они не сияют как прежде, они едва видны из-под полуоткрытых век — это все наркотики. Раньше эти глаза беспрестанно излучали счастье или, по крайней мере, радость, теперь все исчезло. На ней короткая белая нейлоновая юбка, обтягивающая бедра, и тонкая красная спортивная рубашка, подчеркивающая грудь. При других обстоятельствах можно было бы подумать, что со временем она станет привлекательной элегантной дамой. Она в сандалиях на босу ногу, и ноги у нее сильные, красивые. Неприятное в ней — только глаза и исколотые руки.

— Дениза, Дениза! — окликает она, произнося мое имя как женское.— Как поживаешь? — Голос у нее глухой, протяжный, но в нем звучит искренняя радость.— Вот это встреча!

Она откидывает с лица прядь длинных черных волос и кладет мне на плечо руку с такой простотой и изяществом, которым могла бы позавидовать любая выпускница привилегированного колледжа. Какая ирония — пятидолларовой девчонке с Фокс-стрит даны такие изящные и естественные манеры, которые могли бы украсить самую элегантную студентку.

Мы разговариваем недолго, и все это время ее рука лежит на моем плече. Тина рассказывает, что живет в квартире с еще двумя женщинами и четырьмя детьми. Одна из женщин получает благотворительное пособие, это ее дети. Тина тоже хотела получить пособие, но все не доходят руки подать нужные бумаги. Честно говоря, она вовсе не нуждается — хозяин выдает ей достаточно из ее собственных заработков, так что она вполне довольна. В квартире, где все они живут, две спальни, общая комната, кухня и ванная. Горячей воды за все пять месяцев, что она там живет, им не включали ни разу, и на плите у них всегда кипит кастрюля с водой. Я спросил, много ли у них тараканов.

— Еще бы,— ответила она,— и мышей тоже.

И еще Тина сказала, что пыталась бросить наркотики, да вот пока не получается. Может, в другой раз. О наркотиках она говорит покорно, безнадежно, видно, она не хуже моего понимает, что рано или поздно они ее убьют.

Из подъезда выходят Бенни с ребятами, они тащат за собой мокрый рукав. Тина снимает с моего плеча руку и протягивает ее мне на прощание.

— Ну, до свиданья, Дениза,— говорит она,— до встречи. Да?

— До встречи,— отвечаю я, пожимая ей руку, и Тина, кивнув, медленно отходит. Я окликаю ее, но она не слышит или делает вид, что не слышит.— Береги себя, Тина! — кричу я ей.

И вот теперь, лежа в прохладной, удобной казарме, в полной безопасности, я думаю о том, какими глупыми должны были ей показаться мои слова: «Береги себя!» Она ведь так и делает. Бережет себя. Тина борется за существование как умеет.

Впервые я встретил ее четыре года назад, это была застенчивая, восприимчивая четырнадцатилетняя девочка, ученица средней школы. В то время она вместе с семьей жила на Хоум-стрит. Ее маленькому брату нравились пожарные машины, и однажды она привела его в наше депо. В тот день я был дежурным, и мы по-доброму разговорились с ней. Я спросил, в какой школе она учится и нравится ли ей заниматься. Поиграл с ее братишкой Филлипо. После этого они стали часто приходить в депо — они жили на соседней улице. Она спрашивала: «Где Дениза?» — и ребята, подтрунивая надо мной, называли меня «кумир желторотых». Тина призналась мне, что ей надоело жить дома с младшими братьями и сестрами и надоело ходить в школу — ведь она и читать-то толком не умеет, ей хочется работать, чтобы покупать себе красивые платья, но бросать школу ей еще нельзя — слишком мала.

Перед ней стояли те же проблемы, что и перед миллионами других американских подростков. Она росла и хотела быть человеком, а не лишним голодным ртом в доме, не тем, кто спит на раскладушке в проходной комнате и кто оказывается хуже всех на уроках родного языка в английской школе, потому что английский язык ему не родной.

Через два или три месяца — не помню точно — Тина перестала появляться в нашем депо. Я совсем забыл о ней, пока снова не встретил сегодня утром на Фокс-стрит. Но забыл о ней не я один на этом ее коротком пути в три квартала — от Хоум-стрит, где она жила тогда, до Фокс-стрит, где обретается теперь. Разговаривал ли с ней хоть раз школьный воспитатель или учитель? Помню, ее мать получала пособие — знает ли чиновник из бюро социального обеспечения о том, что у нее есть или была дочь? Неужели не нашлось ни одного тактичного человека, который поговорил бы с этой застенчивой, умной девочкой? Попытался бы рассказать ей, как справляются с душевными сложностями, которые неизбежны для молодого, взрослеющего человека? Был ли рядом с ней кто-нибудь, кому доступны хотя бы такие понятия, как руководство, совет, достижение цели, независимость, самоуважение? А может, дело вовсе не в этом. Может, дело вовсе не в недостатке советов или наставлений. Может, все попросту связано с теми условиями, в которых она росла. Разве можно толковать о самоуважении девочке, которая вынуждена донашивать обноски с сестриного плеча? Разве можно говорить с ней о независимости, если у нее никогда не было отдельной комнаты и нормального дома? И какие цели может она перед собой ставить, когда она в жизни еще не получила новой пары туфель за 10 долларов и путешествовала только один раз — из Пуэрто-Рико в Америку?..

Наша пожарная машина с воем вылетает из гаража, на часах 12.45. Машина 31-й команды с воем следует за нами. Врываемся на Тиффани-стрит, впереди — пляшущие клубы дыма... Надеваю брезентовую робу. Ох и жарко будет: роба не пропускает воздуха, рубашка сразу прилипает к груди. Смотрю за борт машины — что горит? — и вижу: Билл Келси пристегивает сзади 30 фунтовый аппарат с кислородом. Дым поднимается высоко, широко расплывается по небу — предстоит тяжелая работа.

Обитатели многоквартирных домов на Фокс-стрит, спасаясь от полуденной духоты своих жилищ, высыпали на улицу поглазеть на пожар. За рулем нашей машины — Билли Валенцио. Он изо всех сил сигналит, пытаясь проехать сквозь толпу. Настроение толпы праздничное. С криками и шутками люди расходятся на тротуары, пропуская машину.

Почему городские власти так долго не сносят такие дома, думаю я, когда мы приближаемся к заброшенному дому, в котором уже были. На этот раз поджигатели — кто бы они ни были — поленились подыматься на четвертый этаж, огонь полыхает в окнах второго. Машина останавливается напротив дома, лейтенант Уэлч, вбегая в подъезд, кричит, чтобы мы развернули полуторадюймовую рукавную линию. Билл Келси бросается нам на помощь. Ниппс со стволом в руках перебирается через кучу отбросов, сваленных в парадном. Пожарные 94-й команды прокладывают вторую рукавную линию следом за нами. Чак Радек, Билли-о и другие ребята из 31-й команды входят в здание, их задача — обеспечить вытяжку дыма. А Кейджи Далланд бросается в соседний дом — ему нужно пробраться оттуда на крышу горящего здания. Валенцио выруливает машину к гидранту. А вот и машина 48-й команды Их дело проверять этажи над огнем.

Я на втором этаже, работы у меня здесь немного — лишь проложить рукав. Лейтенант Уэлч и Ниппс обрабатывают квартиру с левой стороны коридора, ребята из 94-й команды пробиваются в квартиру справа. Вскоре в коридор выползает Вилли Ниппс, его круглое лицо блестит от пота. Он вытирает нос и сплевывает.

— Господи, ну и пекло,— говорит он.— Дым еще можно вытерпеть, но жара убийственная. Честно говоря, я мог бы еще поработать, но у Келси противогаз, и я решил: какого черта.

Действительно, какого черта, думаю я. Надеюсь, наступит день, когда пожарные вообще откажутся входить в заброшенные здания без противогазов.

— Подтащите рукав! — кричит Винни Ройс из дверей, и я тащу. Рядом со мной пожарный из 94-й команды тоже тянет рукав. Наши команды одновременно продвигаются в глубь горящих комнат. Справа огонь и слева огонь Но вот пламя в обеих квартирах сбито. Для такого огня, конечно, нужен был бензин, но пожар быстро прекратили, верхние перекрытия не успели загореться. Брандмейстер Ниброк с фонарем в руках неторопливо обходит обе квартиры, тщательно проверяя, не горит ли еще где-нибудь. Обо всем увиденном он радирует помощнику начальника 6-го подразделения, тот остался на улице и оттуда руководит всеми операциями.

Дым рассеивается, оглядываюсь вокруг — интересно, есть ли здесь тараканы? Но тараканов не видно, стены обгорели дочерна и облупились. Билл Келси снял противогаз, он сидит на корточках в коридоре и курит. Мы подходим к нему: ребята из 31-й команды обрушивают потолки и выламывают рамы из окон и дверей, а нам пока делать нечего. Потом им надо будет еще обнажить все стены и проверить, нет ли где огня. Сижу на корточках в коридоре, смотрю, как работают ребята из этой команды. Билли-о острым концом багра выламывает из стены оконную раму. Он справляется быстро: еще один толчок — и трехстворчатая рама с грохотом летит вниз. Кейджи Далланд и Хорас Брюстер обдирают с потолка дранку, обрушивают балки перекрытия — и вот потолка нет. Комната наполняется пылью, она прилипает к мокрому лицу Кейджи, пудрит добела красивое черное лицо Хораса. Сплевывая известку, ребята продолжают работу. Обнажить комнату «до костей» наши ребята умеют как никто. Этот тяжелый труд для них — еще не работа. Настоящая работа, которую они делают лучше всех,— это работа в горящем здании, когда подвергаются риску человеческие жизни.

Начальник подразделения приказывает команде № 94 собрать свою линию и возвращаться к себе в часть на Сенека-авеню. Потом радирует брандмейстеру Ниброку, что команде № 82 предстоит еще один выезд: пожар на 138-й улице. Ответственный за операцию — снова брандмейстер Ниброк Здесь же нам остается всего-навсего в последний раз пролить помещение водой.

Вода стекает по ступеням, охлаждает отбросы, и, когда мы спускаемся по лестнице на улицу, отвратительное зловоние уже не так бьет в нос. Появилась полиция, полицейские стараются сдержать толпу, но людей собралось множество, а полицейских всего трое. Машину 31-й команды облепила детвора. Тут всегда так — ведь в районе нет ни парков, ни площадок для игр.

«Пожарный извещатель 2188 — второй сигнал пожарной тревоги. Брук-авеню и 138-я улица»,— вопят радиопередатчики в машинах Капитан 48-й команды запрашивает диспетчера, выезжать ли им по этой тревоге. По радио следует ответ, что 48-й команде надлежит выезжать по следующей тревоге, и рвущиеся в бой пожарные 48-й команды разочарованы.

Подтаскиваю рукав к машине. Ребята из 31-й и 48-й команд помогают нам разъединить его, опорожнить и скатать.

— А что там? — спрашивает кто-то у Валенцио.

— Жилой дом горит,— отвечает он.— Большой ли пожар, я не расслышал. Но похоже, горит вовсю.

Винни Ройс стоит на тротуаре напротив здания, которое мы только что потушили. Его мокрые рукавицы лежат на крыле чьего-то автомобиля; прежде чем при-

ступить к упаковке рукавов, он пытается хоть немчого прийти в себя. Все мы изнываем от жары, взмокли от пота, но Винни только что помогал Биллу Валенцио отсоединять шестидюймовый рукав от гидранта, и это окончательно выбило его из сил. Наконец, Винни начинает стягивать с себя тяжелую брезентовую робу, и вдруг рядом с ним — всего за полшага — сверху с грохотом падает урна для мусора. Еще немного — и угодила бы в него. Винни прячется в ближайшем подъезде. Люди, толпившиеся на улице, разбегаются, дети спрыгивают с машины и со всех ног бегут по переулку. Улица, застроенная по обеим сторонам шестиэтажными жилыми домами,— точно ущелье. Глаза всех сразу же устремляются к крышам.

— БЕРЕГИСЬ! — кричит Бенни Кэррол и прячется под козырек подъезда, где уже укрылся Винни. Сверху обрушивается град двухдюймовых железных гаек. Одна из них вдребезги разбивает ветровое стекло пожарной машины. Трое полицейских по одному ныряют в подъезды ближайших домов. Некоторые ребята из пожарных команд бегут вслед за ними — надо обыскать крыши. Одна из гаек отскакивает от машины и падает рядом со мной. Я поднимаю ее и бегу в укрытие, туда, где стоят Бенни и Винни. Гайка напоминает отпиленное колечко от ножки старинной школьной парты. Кладу гайку в карман и вспоминаю о своем дядюшке Томми, как он вернулся из Германии в 40-х годах и в карманах у него было полно стреляных гильз.

Полицейские и пожарные из 31-й и 48-й команд возвращаются. Неизвестные, находившиеся на крыше, скрылись — либо в квартире у знакомых, либо, спустившись по пожарной лестнице, у себя дома, либо же, уйдя по крышам, преспокойно выбрались где-то на улицу. Кто бы они ни были, им удалось уйти от расплаты — как и в прошлый раз, когда случилась такая же история. И в следующий, с горечью думаю я, удастся, наверно, тоже.

Возвращаемся на улицу, осматриваем сброшенную с крыши урну. Она лежит на боку, в ней было полно золы. Боже, думаю я, а если бы Винни погиб, неужели их тоже так и не поймали бы? Ведь это была явная попытка убийства, правда, случилось так, что никто не пострадал, никто даже не был ранен,— так что оснований для серьезной тревоги вроде и нет. Но душа у меня горит. Полная урна золы! А Винни все еще не может прийти в себя. Он тихонько покачивает головой. И какой парень — загляденье! Ирония судьбы: Винни, потушившего больше пожаров, чем любой из нас, едва не убила урна с золой.

Лейтенант Уэлч вызывает дополнительный наряд полиции. Укладываем рукава в машину, а сами все глядим вверх. В переулок с воем врываются три полицейские машины, теперь мы чувствуем себя немного увереннее. Рукава уложены, и мы, поглядывая на крыши выезжаем с Фокс-стрит. Вот и все. Вернемся в депо, лейтенант Уэлч доложит о происшествии, и делу конец. Может быть, пожарные инспектора позвонят по телефону, захотят получить более подробные сведения для своего отчета. Но никого не пошлют на Фокс-стрит, чтобы по-настоящему допросить свидетелей. Слишком хлопотно, ведь обошлось без жертв. Но я лично думаю, что если бы на месте пожарного Ройса оказался мэр Линдсей, злоумышленники, сбросившие с крыши урну для мусора, сегодняшнюю ночь провели бы за решеткой.

По дороге в часть получаем приказ следовать на Бостон-роуд и Сиберри-плейс. Но 45-я команда прибыла туда раньше нас и передает нам сигнал: 10—92 — ложная тревога. Возвращаемся в депо, бегу на второй этаж, к воздушному кондиционеру. Снимаю рубашку, растираю руки и грудь махровым полотенцем. Вынимаю из шкафчика чистую рубашку. Разворачивая тщательно отглаженные рукава, думаю о жене. Думаю о своих детях и о детях на Фокс-стрит, облепивших пожарную машину. Думаю о том, как в юности сидел под дождем на ступеньках нашего крыльца — лень было подниматься по лестнице домой и нечем было заняться. Думаю о школьных партах, падающих с неба; о лютиках, которые мы вместе с моими мальчиками рвали на пологих зеленых холмах; о том, как мы гуляли с милой моей женой в тихую звездную ночь; как я разговаривал с красивой проституткой на Фокс-стрит. Надо бы помыться, но в свежей рубашке я чувствую себя почти чистым.

В казарму входят Бенни и Винни. Они умылись и сменили рубашки. Лежу на койке и слушаю радио. Передают популярную музыку. Такую обычно включают в учреждениях и лифтах. Справа и слева от меня лежат на койках Бенни и Винни, умытые, в чистых рубашках. Мы разговариваем о недавнем происшествии. Трудно сказать, что это было. Бенни говорит, что это организованное нападение. Винни думает, что просто хулиганство, такие сейчас пошли времена. Может быть, они оба правы, но, по-моему, все дело в том, что у нас, к сожалению, утрачено уважение к человеческой жизни. У сбитателей Фокс-стрит могут быть серьезные основания ненавидеть нас, но не об этом речь. Я тоже в детстве ненавидел многих людей, однако мне не приходило в голову убивать их.

Раньше я считал, что если люди швыряют камнями в пожарных, то в этом повинны тяжелые условия их жизни на дне американского общества. Я думал, что главными проблемами нашего времени являются жилищная проблема и проблема образования, что люди перестанут швыряться камнями, если им дать приличное жилье и равные права на образование. Теперь я в это не верю. Теперь я считаю, что это значило бы лечить внешние симптомы болезни. Сама болезнь скрыта глубоко и более злокачественна, чем бездушие домовладельцев или бюрократизм школьных

чиновников. Зло проникло в самое нутро человеческое, независимо от социальной среды, в которой живут люди. Мы разучились дорожить жизнью...

■

Полдень. На плите шипят котлеты. Джим Стэк помогает Бенни разрезать булки. Арти Мэррит моет накопившиеся в раковине кружки. Раздается сигнал тревоги — пожарный извещатель 2544. Кричит дневальный, ребята стремглав вылетают из кухни и спускаются по столбам вниз.

— 82-я и 31-я — на выезд. Юнион-авеню и 166-я улица. Обе команды — во вторую очередь. В первую очередь 50-я и 19-я команды, это их участок.

Капитан Олбергрей и наш постоянный шофер Билл Валенцио в отпуске. Правда, вместо того чтобы отправиться отдыхать во Флориду, Билл подрядился на другую работу, на его месте, за рулем — шофер Джим Стэк. Капитана Олбергрея заменяет мягкий, тихий человек по фамилии Коллинз. Лейтенант Коллинз получил повышение всего две недели назад — до этого он был рядовым, и мне кажется, он не очень рад новому назначению. Хотя разница между пожарным и лейтенантом в 2000 долларов и одно это — серьезный стимул стремиться к повышению в должности, но как только пожарный становится начальником, он отрывается от ребят, которых успел полюбить, с которыми столько лет работал плечом к плечу, с которыми любой труд не в труд. Теперь у него не будет времени посидеть вместе с ними на кухне, посмеяться или поспорить — его положение изменилось. Теперь он должен научиться следить за ними, и лейтенанту Коллинзу это трудно. Он не любит отдавать приказы, не любит проверять пожарных, но со временем это пройдет, он привыкнет, из него получится хороший начальник — в нем живет природное уважение к подчиненным.

На углу Юнион-авеню и 166-й улицы горит весь второй этаж трехэтажного дома. Это нежилое, заброшенное здание, которое кто-то поджег — для смеха, или из любви к острым ощущениям, или в надежде увидеть гибель одного из нас.

Команда № 50 растянула рукавную линию диаметром в два с половиной дюйма, а пожарные 19-й команды прочесывают здание — может быть, в нем ночует какой-нибудь бродяга или наркоман, до беспамятства накачавшийся зельем. Мы с Бенни Кэрролом бежим к пожарному насосу, находящемуся в машине: надо проложить вторую линию. Огонь вырывается из окон, но еще не успел распространиться на верхний этаж. Кэвин Макмен и Космо Поскуло, наша молодежь, надевают противогазы, а мы с Бенни тянем рукав на верхний этаж. К счастью перед зданием есть гидрант — прокладывать линию приходится недалеко.

На втором этаже сквозь дым я различаю у стены неподвижную человеческую фигуру. Кричу Бенни, чтобы задержался на минуту, а сам иду посмотреть, в чем дело. Приблизившись, по грубым очертаниям брезентовой робы вижу, что это пожарный. В крыше уже пробита дыра, дым начал рассеиваться, и я узнаю этого человека. У него изможденное лицо, из носа вытекают две черные струйки.

— Как самочувствие, Луи? — спрашиваю я.

Луи Минелли, старший пожарник из 50-й команды, отвечает:

— Все в порядке. Я потушил две комнаты. Остальные потушит Майк Роберти.

Луи хочет сказать, что 50-я команда справится с работой без посторонней помощи.

Лейтенант Коллинз дожидается нас на третьем этаже. Дым расходится, но над огнем всегда плохо.

— Вторая линия, наверно, не понадобится,— говорит Коллинз в пространство.

Мы с Бенни сидим на корточках в коридоре. Из квартиры, находящейся надо мной, выползает Арти Мэррит, в одной руке у него лом, в другой — топор. Его дело — тщательно осмотреть помещение.

— Все в порядке,— говорит Арти.— Стены теплые, но огонь, по-моему, не распространился.

Появляются Кэвин и Космо. Им легко дышать в противогазах. Работы для них нет, и они усаживаются рядом с нами на корточки.

Мимо проходит начальник 17-го подразделения. Он исчезает за дверью квартиры, потом появляется снова и говорит:

— Отбой, 82-я. Пожар потушен. 50-я команда отлично справилась без нашей помощи...

166-я улица запружена машинами из пяти пожарных частей. Моторы работают, вопит радио. От наставленных лестниц эхом отдается усиленный динамиком голос диспетчера:

— 82-я и 31-я! Вы готовы?

У нас за рулем Джим Стэк. Он кричит лейтенанту Коллинзу:

— Мы готовы, верно, Лу?

Лейтенант Коллинз кивает. Бенни укладывает ствол на последнюю скатку рукава. Мы бежим к своей машине и слышим из динамиков голос Джима:

— 82-я к работе готова.

— Порядок, 82-я. А 31-я? — спрашивает диспетчер.

Отвечает начальник 17-го подразделения:

— 31-я завершает операцию Небольшая задержка.

— Передача 10—4. Подразделение 17. 82-я, на выезд. Телефонный сигнал тревоги. Оповещатель 2509. Адрес: Интервэйл-авеню, 1335. 82-я, подтвердите прием.

Звучит в ответ голос Джима:

— 10—4, вас понял. 82-я следует по указанному адресу.

Мы покидаем Луи Минелли и обугленное, курящееся дымом здание. Дом 1335 по Интервэйл-авеню — через улицу от нашего депо. Мы были бы на месте через тридцать секунд. Теперь на дорогу уйдет три-четыре минуты.

Дым виден за пять кварталов. Мы в боевой готовности. Проезжаем наше депо с шипящими на плите котлетами. Двери открыты, внутри ни души. Вот горящий объект — пятиэтажный жилой дом. Вижу: пожарные из 85-й команды прокладывают рукавную линию. Этот пожар не на их участке, но они, наверно, получили специальный вызов — ведь мы в это время находились на другом объекте.

Огонь вырывается из двух окон нижнего этажа. Мы с Бенни, Кэвином и Космо спрыгиваем с подножки еще до того, как Джим Стэк останавливает машину, и бежим к дому. Пожар был бы как пожар, если бы пожарные лестницы и вверху и внизу не были бы облеплены отчаянно вопящими людьми. Спасательная команда еще не прибыла, мы понимаем без слов: наше дело — спасать людей. Тушить пожар будет команда № 85.

— Сюда, сюда! — вопят перепуганные люди. Лестница не закреплена, ходит под ногами ходуном. Карабкаюсь по тонким узким ступеням — скорей бы уж приехала спасательная команда! Передо мной на лестнице — Бенни, другие позади. В окне третьего этажа панически кричит человек, стараемся скорее добраться до него, но пожарные лестницы забиты спускающимися вниз жильцами дома.

— Скорее, будьте добры. Держитесь за поручни. Смотрите под ноги. Пропустите, пожалуйста. Дайте пройти

Человек на третьем этаже протягивает из окна ребенка Руки вытянуты вперед. Кажется, что он приносит младенца в жертву, как праотец Авраам. Бенни берет ребенка. Совсем маленький, ему нет и месяца Младенец, надрываясь, кричит тоненьким, писклявым голоском. Мужчина отворачивается от окна, наклоняется вниз. Он поднимает с пола и протягивает Бенни еще одного младенца. Бенни укладывает близнеца на вторую руку и начинает спускаться по пожарной лестнице. В квартире дым, кашляет девочка. Ей три года, и, когда отец передает ее мне, маленькие руки крепко обвивают мою шею Спускаюсь с ребенком на руках по пожарной лестнице, за мной — обнаженный до пояса босой мужчина.

Космо и Кэвин вынесли детей со второго этажа и передали их в бережные руки соседей. Огонь бушует в коридоре первого этажа, и пожарные 85-й команды отступили на лестницу. Им долго не удавалось включить воду. Кто-то, наверно, испортил гидрант, отвинтил какую-нибудь медяшку или в шахту сунул пустую бутылку.

Скорей бы, скорей бы прибыла спасательная команда № 31. Но они где-то задерживаются. Бенни снова карабкается по пожарной лестнице, я — следом за ним. Люди на улице кричат, что на четвертом этаже остались дети Бенни лезет в одно окно, я — в другое Густой дым растекается теперь по всему дому. На стене комнаты висит дешевая окантованная пластиком картина — солнечный закат на Дальнем Западе. Заглядываю под обитую клеенкой мебель В спальнях лезу под кровати, внимательно осматриваю чуланы, уборную. Глаза слезятся, из носа течет, но в кухне и ванной — никого. Ни потерявших сознание взрослых, ни перепуганных, плачущих детей.

Вылезаю на пожарную лестницу. Не знаю, что делать — продолжать осматривать здание или спуститься на улицу и прокладывать вторую линию на верхний этаж, расположенный над огнем. Все решается само собой: по Интервэйл-авеню стремительно несутся пожарные машины 31-й и 48-й команд. Теперь обыскивать помещения и выпускать дым будут «спасатели». Я спускаюсь вниз и думаю о пожаре. Горит вовсю, очень может быть что огонь уже распространился на второй этаж. Но сверху меня окликает Бенни. Он спускается по пожарной лестнице с маленькой девочкой на руках. Встречаюсь с ним между первым и вторым этажами.

— Снеси ее вниз, Деннис,— говорит Бенни.— Я нашел ее в кроватке. А я — опять туда.

Его лицо почернело от дыма, из носа течет. Ребенок плачет. Это хороший признак

Возле пожарной лестницы внизу стоит женщина.

— Мария! Мария! — истерически кричит она, другая женщина держит ее за плечи. Передаю им ребенка. Вижу счастливое выражение в ее глазах, мокрых от слез. Это особое счастье, его может испытать только мать. Она не знакома с Бенни, вспомнит ли она о нем, помолится ли за него?

Лейтенант Коллинз. Космо и Кэвин — на улице. Брандмейстер Ниброк отдает распоряжения. В его радиотелефоне грохот и треск. Сообщения из горящего дома почти не слышны. Можно разобрать лишь слова: «крыша» и «чердачная дверь».

— Прошу повторить сообщение. Вас плохо слышно.— Медленно и четко передает брандмейстер.

В ответ только вой и треск.

Брандмейстер смотрит на Коллинза и на нас. Команда № 45 уже прокладывает рукавную линию на второй этаж, и он приказывает нам помочь им. Проложить вторую линию должны были мы, но мы в это время занимались другим. Лейтенант Коллинз, Космо и Кэвин спускали людей по пожарным лестницам и обыскивали квартиры на нижних этажах. И вот теперь, не принимая непосредственного участия в тушении пожара, мы должны помочь 45-й команде прокладывать вторую линию. Остаемся на лестничной площадке, сидя на корточках, ждем дальнейших указаний, а 45-я команда тем временем пробивается со стволом сквозь огонь.

Команда № 85 успешно работает на своем участке. У ствола — Марти Хэннон и Джим Баррет. Они уже проникли в квартиру, но не добрались еще до самой дальней комнаты — огонь по-прежнему вырывается из окон. За ними идет Билл Робби с противогазом, но Марти и Джим справляются сами. Сопровождающий их капитан Конак, как всегда, подбадривает ребят.

— Молодец, Марти,— кричит он,— попал в самую точку. Попробуй продвинуться еще немного, Робби, подтяни-ка поближе рукав!

Бенни — в квартире на пятом этаже Тщательно осматривает ее. Квартира пуста. Бенни открывает дверь в коридор, и его сразу же обдает жаром. Он бросается на пол, волна жара прокатывается над ним. Он захлебывается от безудержного кашля. Такого густого дыма еще не бывало. Хочется отступить к спасательной лестнице, но он заставляет себя еще крепче прижаться лицом к покрытому линолеумом полу и расслабиться. Совладав с кашлем, он слышит слабые стоны, они доносятся с лестничной площадки. Бенни прислушивается. Похоже, кто-то стонет на площадке между верхним этажом и крышей. Ползком, на животе Бенни пробирается вверх по лестнице. Жара невыносимая. Силы на исходе. Он добирается до последней площадки и видит на ней страшную картину.

Площадка — это сущий ад. Здесь лежат вповалку семь человек — пятеро взрослых и двое детей. Они попытались выбраться из горящего дома через дверь, ведущую на крышу. Но дверь оказалась запертой на цепь, чтобы наркоманы не могли проникнуть в дом через крышу. А жар от огня, бушующего внизу, поднялся вверх и не находит выхода. И семеро людей задыхаются в этом страшном пекле перед запертой на цепь дверью.

Снаружи в дверь яростно бьют обухом топора по лому. В кирпичной стене двухдюймовое отверстие, такое же отверстие в покрытой стальными листами двери, через них пропущена цепь, схваченная изнутри замком. Кольца этой цепи крепкие, прочные, пожарным их не разбить. Они пытаются сорвать дверь с петель.

У Бенни на руках и на этот раз двухлетняя девочка. Но она не дышит. Бенни относит ее в квартиру на пятом этаже и закрывает за собой дверь, чтобы не напустить дыма. Бережно кладет девочку на пол в кухне. Ей надо сделать искусственное дыхание, но ведь его ждут те, что остались на площадке. Он изо всех сил дышит ей в рот — раз и два даст бог, поможет — и сразу же возвращается на лестницу. Подхватывает под мышки крупную женщину, она беременна и поэтому кажется совсем огромной Бенни тащит ее из последних сил, истекая потом. Нет, ее ему не сдвинуть с места. Он задыхается от жары и дыма, сейчас потеряет сознание. И вдруг чья-то рука протягивается через него и перехватывает у него женщину. Это Арти Мэррит. Он пробил отверстие в крыше, увидел дверь на цепи и спустился сюда по пожарной лестнице... Вместе они тащат вниз беременную. Она еще дышит, хотя сильно обгорела. Кладут ее на кухне, рядом с девочкой, и возвращаются на площадку. Арти задыхается от кашля, но он все-таки помогает снести вниз мужчину. Бенни берет на руки второго ребенка, в это время чердачную дверь удается сорвать с петель, и она повисает на цепи. Жар и дым вырываются наружу, и пожарные с крыши устремляются вниз по лестнице. Бенни и Арти вздыхают с облегчением: самое страшное позади. И они снова спешат на помощь людям, чьи жизни им дороже своих собственных.

Команда № 45 гасит огонь распространившийся по стенам. На всякий случай дожидаемся в коридоре, хотя нам ясно: пожарным из 45-й команды наша помощь не потребуется. Кэвин, Космо и я выходим на улицу следом за лейтенантом Коллинзом, он совещается здесь с брандмейстером Ниброком. Тот приказывает нам возвратиться в дом и еще раз тщательно обыскать все квартиры.

В подъезде сталкиваемся с крупным негром в белой рубахе и одном башмаке. Лицо его обожжено и залито кровью. Белая рубаха вся в крови. Он покачнулся и падает, я едва успеваю его подхватить. Ребята уходят в здание, а я остаюсь с пострадавшим на улице.

Проходит минут пятнадцать, я осторожно обтираю носовым платком кровь с его лица. Потом Оскар Бьютин, пожарный из 85-й команды, принес мне мокрое полотенце. У пострадавшего рана во рту. Наверно, упал, спускаясь по лестнице. Я расстегнул на нем пояс, подложил ему под голову вместо подушки свой сапог. Насколько я понимаю, состояние у него не тяжелое. Стараюсь уложить его поудобнее. Вызвана «скорая помощь». Она должна прибыть с минуты на минуту.

Перед зданием собралась большая толпа. Какой-то мужчина возбужденно кричит:

— Почему вы не отправляете его в больницу на пожарной машине?

Он правильно строит фразу, в его речи нет и намека на негритянский диалект или жаргон гетто. Стараюсь не обращать внимания на его слова, мне ясно — он ничего не смыслит в распределении наших обязанностей. Мы не отвозим людей в больницы, потому что это отрывало бы нас от главного. В нашей работе счет идет на секунды и минуты. От минут, от секунд зависит жизнь или смерть. Но он этого не понимает. Ему ясно одно: человек на улице истекает кровью и нет «скорой помощи», чтобы немедленно отправить его в больницу.

— Вам, сволочи, нет дела до негров,— кричит мужчина.— Если б этот парень был белым, вы бы уже давно доставили его в больницу!

Многие в толпе кивают. Другие с интересом прислушиваются. Смотрю на лежащего у моих ног человека, потом — на крикуна. Рассказать бы ему о нашей работе. О людях в этом самом районе, которые остались живы только благодаря пожарным. Но говорить об этом бессмысленно. Он не станет меня слушать. Не здесь. Не теперь. Может, в другой раз удастся объяснить этому крикуну, что мне, как и ему, больно за этого истекающего кровью негра, лежащего у моих ног. И спросить его, почему он считает, что мне нет дела до пострадавшего?

На Интервэйл-авеню сворачивают четыре санитарные машины, бригада неотложной помощи из больницы Бронкс-Лебанон. Брандмейстер передает об этом в дом: пожарные начинают выносить пострадавших. На стульях, на носилках. Санитар подвозит ко мне кресло-каталку, мы сажаем раненого. Санитар подкатывает кресло к машине, и водитель помогает нам поднять пострадавшего в ее стерильно чистое нутро.

Сегодня в депо никто не ест котлет, они подгорели и пересохли. Но если бы они и не подгорели, все равно, не думаю, чтобы у кого-нибудь появился аппетит.

Сейчас начало седьмого. Сидя на койке в своей казарме, надеваю чистые носки. Шеф позвонил в больницу, и ему сообщили, что трое пострадавших доставлены туда мертвыми. Не доехала женщина на восьмом месяце беременности. И двое мужчин. Но з девочку Бенни все-таки удалось вдохнуть жизнь.

Сам Бенни лежит теперь в мужской палате больницы Бронкса. Он донес оживившую девочку до «скорой помощи» и упал, потеряв сознание. Больница Бронкса — ужасное место. Я видел многих пожарных, которые поступали туда после травм, полученных во время работы. В полутемной мрачной комнате — 16 коек. Рядом с Бенни лежит Джо Мазилло, один из тех, кто пробивался с крыши в здание, рядом с Джо — лейтенант Коннел, ответственный за работы на крыше. Врач отделения сказал, что они пробудут в больнице не меньше трех дней — пока придут в себя и будут сделаны необходимые обследования: анализ крови и рентген. А вот Джиму Стэку придется пробыть там подольше. Он лежит в коридоре, в отделении реанимации,— у него угрожающе подскочило давление и начались сердечные перебои. Внезапная боль пронзила Джима, когда он помогал Джорджу Хаймену присоединить насос к гидранту. Арти Мэррита перевели в манхэттенскую клинику глазных и ушных болезней и оставили там на ночь. У него повреждена роговица глаза — пробиваясь сквозь дым, Арти наткнулся на угол стола. Погибло трое и десять находятся в больнице в результате пожара, который можно было бы считать обычным

Что это — неопровержимое подтверждение истины: бог дал — бог взял? А может, если бы в Нью-Йорке не было наркоманов, людям не приходилось бы запирать на цепь двери, ведущие на крышу?...

■

...Утро вступает в свои права. Уличные фонари меркнут в свете наступающего дня. Сейчас семь часов. В кухне полно людей и пустых кружек из-под кофе. Команда № 85 только что возвратилась с третьего вызова по тревоге. Разговариваем о пожарах. Билли Валенцио сменил Ниппса на посту дневального, мы с Ниппсом сидим за столом и вспоминаем, как впервые появились в 82-й команде. Он, Келси и я получали назначение одновременно. Сейчас Келси с повязкой на глазу спит. После окончания смены Ниппс отвезет его домой. Тони Индио отправлен в больницу.

Раздается новый сигнал тревоги.

— 85-я на выезд! — кричит Валенцио.

И ребята из 85-й команды стремглав выбегают из кухни.

Проходит несколько минут, и снова тревога. На этот раз — извещатель 2743, наш всегдашний 2743: угол 170-й и Шарлотт-стрит.

— 82-я и 31-я едут сами знаете куда,— острит Валенцио.— Брандмейстер едет тоже.

На углу Шарлотт-стрит у подножия пожарного извещателя в луже крови лежит старик с перерезанным горлом. Мы опоздали — голова старика запрокинута, и мне видна глубокая рана на шее. Глаза закатились за открытые веки навсегда. Спасти его могло лишь предотвращение убийства. Подходит Маккарти с одеялом и осторожно накрывает тело, защищая его от грязи Шарлотт-стрит.

Рядом с нами останавливается негр средних лет с седеющими волосами. Его гордое, значительное лицо угрюмо.

— Хороший был человек,— говорит он, указывая на покрытое одеялом тело.

— Вы знали его? — спрашивает лейтенант Уэлч.— Как его фамилия?

— Нет,— отвечает прохожий. — Я не знаю его фамилии. Здесь все его называли «старый еврей». И только. Он был хозяином вон той маленькой прачечной. Каждое утро приходил сюда с мешком мелочи для стиральных автоматов. Наверно, из-за этого мешка с мелочью его и убили.

Десять лет назад Южный Бронкс был в основном районом евреев и ирландцев, но со временем они стали жить лучше и перебрались из многоквартирных домов Южного Бронкса в более благоустроенные квартиры Северного Бронкса или на небольшие пригородные фермы Лонг-Айленда. По мере того как они выезжали, район заселялся неграми и пуэрториканцами. И тогда менее преуспевающие белые тоже стали перебираться в другие дома, пусть многоквартирные, но в районы для белых. А здесь и по сей день еще остаются бары под вывесками «Шэнон» или «Драгоценный изумруд», но их завсегдатаи — черные. На стенах заброшенных синагог поверх звезд Давида из цветного стекла висят кричащие испанские надписи «Iglesia Christiana de Dios» [1]. Но некоторые лавочники продолжают оставаться здесь, упорным трудом добывая себе скудные средства к существованию. Вот такие, как этот старик, который перед смертью успел подать сигнал тревоги и вызвать пожарных. Он не хотел умирать.

От прачечной до пожарного извещателя на расстоянии в десять шагов тянется кровавый след. Прохожие шли мимо, разнесли кровь на ногах. Люди спешат на работу, останавливаются на минуту, задают два-три вопроса и идут дальше.

Прибыла «скорая помощь», укладываем тело на покрытые простыней носилки. Маккарти складывает измазанное кровью одеяло. Придется снести в чистку или вот в такую же прачечную. Появляются полицейские, расспрашивают брандмейстера Ниброка. Наша работа окончена. Отъезжая, вижу с подножки пожарной машины, что в замке на двери маленькой прачечной торчит забытая всеми связка ключей.

Без десяти восемь, солнце начинает пробиваться сквозь нависшие тучи. Через час приму душ, сменю одежду и поеду на целый день домой отсыпаться. А пока пью кофе и дожидаюсь, когда заступит дневная смена.

На кухне, как обычно, в центре внимания Чарли Маккарти. Все ребята сидят усталые, отдыхают после трудной ночной смены. Один Маккарти расхаживает по кухне и распекает стажера за плохую уборку.

— В нашем деле,— говорит он,— девяносто процентов — это пожарная работа, борьба с огнем, спасательные операции и тому подобное, а остальные десять процентов — дерьмо в чистом виде...

На лице стажера Фрэнка Пэрриса, собирающего со стола пустые кружки, появляется улыбка.

— И эти десять процентов дерьма,— продолжает Чарли,— как раз твои обязанности, а именно: содержать в чистоте кухню и следить за тем, чтобы всегда был свежий кофе. Будешь исполнять свою работу хорошо, тогда мы, может быть, обучим тебя остальному.

Пэррис — один из самых добросовестных стажеров. Как и все мы, он понимает, что Чарли просто сотрясает воздух. Пэррис вытирает губкой стол, а Чарли продолжает разглагольствовать.

— Когда я был стажером,— говорит он,— я из кожи вон лез, чтобы угодить старшине. Вам, молодежи, этого не понять. То были времена кожаных мехов для искусственного дыхания и деревянных колодцев, а пожарные насосы тогда возили лошади... Вот тогда стажеры знали свое место.

Чарли развлекает ребят, его болтовня вызывает смех, слушают его с интересом. Но звучат три резких сигнала, и Чарли Маккарти забыт.

— 82-я и 31-я — на выезд! — кричит Валенцио на все депо.— Брандмейстер едет тоже,— добавляет он.— Келли-стрит, 1280

Дым чувствуется, как только мы отъезжаем. Мчимся на Тиффани-стрит по 165-й улице. Сворачиваем на Келли-стрит — дым стелется так низко, что не видно и в десяти шагах. Валенцио останавливает машину возле первого гидранта. Придется прокладывать рукав вокруг машины, но по крайней мере мы знаем, что этот гидрант действует. Горит жилой дом, и прежде всего надо будет сбить пламя.

Прибывает 73-я команда и помогает нам прокладывать линию. В просветах дыма видно, что работа предстоит на верхнем, пятом, этаже. Людей, чтобы прокладывать линию, достаточно; поэтому бегу к мешку с противогазами. Надеваю противогаз; Валенцио уже соединил насос машины с гидрантом; Джерри Герберт наставил с машины к пятому этажу спасательную лестницу, рядом с домовой пожарной. Подбегая к дому, вижу, как он лезет по ней вверх.

Пятый этаж весь в дыму — почти ничего не видно. Билли-о и Маккарти пытаются взломать дверь горящей квартиры, но она заложена изнутри на длинную стальную перекладину, как ворота форта в старые индейские времена. Дым ужасающий, и, работая топором, Билли задыхается от кашля. Чарли изо всех сил налегает на лом, а Билли колотит обухом.

---

[1] Христианская божья церковь *(исп.)*.

Наконец дверь начинает поддаваться. Чарли и Билли работают слаженно, как одна машина, орудуя где ломом, где топором. Образуется щель. Кашляя и задыхаясь, Чарли налегает плечом, сорванная с петель дверь падает на пол в прихожей.

Чарли и Билли-о бросаются ничком на пол — огонь вырывается на площадку. Ствол в руках у Вилли Бойла Прошу передать его мне, ведь я в противогазе, но Вилли отвечает, что справится сам.

— Тронулись,— командует лейтенант Уэлч.

Бойл продвинулся в квартиру футов на десять. Дом старый, и с потолка летят огромные куски штукатурки. Они сбивают каску с головы Бойла. Лейтенант Уэлч приказывает мне встать у ствола. Бойл должен отойти — находиться в этом аду с незащищенной головой не дело.

Герберт проник в квартиру через окно. Он слышит, как Маккарти и Билли-о ломятся в дверь. Вся квартира в огне, кроме последней комнаты, но в ней открыто окно, и создалась тяга. Джерри ползет по полу, понимая, что с минуты на минуту и здесь все вспыхнет. С кровати, стоящей посреди комнаты, до него доносится слабый стон. Вокруг черным-черно от дыма, и Джерри ощупью ползет на голос. Когда он добирается до кровати, огонь уже лижет потолок. Дым заслоняет вокруг все, но Джерри знает — теперь отступать поздно.

Вслепую он ощупывает кровать, рука натыкается на мягкое женское тело. Рядом с женщиной — ребенок Джерри хватает его и ползет к окну. В эту секунду в окне появляется Риттмен. Джерри передает ему ребенка, и Риттмен вылезает наружу. Джерри понимает — дело плохо: огонь настигает его. Он хватает женщину под мышки и тащит к окну... Женщина легкая — тащить ее нетрудно. Наконец он вытаскивает ее на пожарную лестницу и слышит, что ребятам удалось взломать входную дверь. В эту же минуту комната вспыхивает как свеча.

Я работаю со стволом, обдавая струей потолок. Пол засыпан мусором, обломками мебели, обвалившейся штукатуркой, пробираться вперед трудно.

— Продвигайся, Деннис,— командует лейтенант Уэлч.— Продвигайся.

— Травите рукав! — кричу я ему сквозь противогаз. И Уэлч приказывает Ройсу и Ниппсу подтащить рукав. Мы на пороге последней комнаты. В поисках надежного упора переставляю ногу, но пол подо мной рушится, и нога, зажатая между тлеющими досками, проваливается вниз. Лейтенант Уэлч видит, что случилось, и посылает к стволу Ройса.

— Осторожно,— говорю я Ниппсу, когда тот приходит мне на помощь.— Тащи меня, только осторожней.

Ройс обработал последнюю комнату, дым рассеивается, и я сдираю маску противогаза, чтобы легче было дышать.

— Спускайся вниз, сними противогаз и проверь, нет ли серьезных повреждений,— кричит мне лейтенант Уэлч.

Пытаюсь выйти, но в прихожей сгрудились ребята из 31-й команды. Они стоят на коленях.

— Это ребенок,— говорит кто-то. Отхожу к окну, чтобы глотнуть немного воздуха. Противогаз тяжел, хочется спать. Дыши. Это ребенок. Дыши глубже.. Чувствую, что меня сейчас вырвет. Я, должно быть, переполз через него... Посреди прихожей.... Дыши... Воздух так хорош... Мы все должны были переползти через него... Во рту отвратительный вкус рвоты, я перегнулся через подоконник, и душу мне холодит утысяченный детский ужас.

Наконец прихожая опустела. Схожу на несколько ступенек вниз, снимаю противогаз и кладу его на лестницу, потом спускаю штаны. Осматриваю ногу выше колена. Ничего страшного, только ушиб и ссадина. Поднимаю тяжелый баллон с кислородом и тащу его вниз по лестнице.

Внизу на ступенях в ожидании санитарной машины сидит Билли-о. У него на руках ребенок, завернутый в какое-то покрывало. Небольшой сверток с загубленной жизнью, которая и начаться-то толком не успела.

Кладу противогаз на пол и сажусь ниже Билли-о, на самой последней ступени. Смотрю на него, Билл качает головой У него течет из носа, лицо покрыто сажей и темными хлопьями обгоревшей краски. Он чувствует, нет, он твердо знает: этого ребенка надо было спасти.

— Как это успел разгореться такой пожар? Почему не сразу подали сигнал тревоги? — Билл продолжает качать головой.— А тут еще этот запор на дверях. Какое страшное клеймо бедности...

— Кто это? — спрашиваю я, глядя ему на руки.

— Девочка. Годика два. Не повезло ей Зато удалось вынести ее мать и сестру.

— «Рот в рот» пробовал? — спрашиваю я.

— Бесполезно. Страшные ожоги, кожа на личике совсем обгорела. Бедняжка. Ей не повезло.

Я не произношу ни слова. Билли-о тоже молчит. Заглядываю в его глаза. Они почти закрыты, но я вижу — они полны слез. Веки покраснели от жара и дыма, в этих залитых слезами глазах отражается свет — они блестят Мне хотелось бы, чтобы моя жена, мать, все, кто спрашивает меня, почему я работаю пожарным, увидели бы сейчас, какой добротой, человечностью болью светятся его глаза,— это мой ответ.

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ XVII ВЕКА

■

Перевод МИХАИЛА КУДИНОВА

ЖАН ОЖЕ ДЕ ГОМБО

РАЗГЛАШЕННОЕ БЛАГОДЕЯНИЕ

Он оказал услугу мне
И так о ней распространялся,
Что мы с ним квиты: он вполне
Сам за нее и рассчитался.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ВИЗИТ

Ко мне он ходит раз в году,
А после я к нему иду;
Томится он, и я в томленье,
Платя стесненьем за стесненье.

ЛЮДИ

В людских сообществах, столь шумных,
Возник закон во время оно.
Лишь у зверей благоразумных
Нет разума и нет закона.

ЭПИГРАММА

В чем эпиграммы суть и что в ней, наконец,
При всех достоинствах ее, всего милее?
Да то, что на нее обидится глупец
И не обидится... тот, кто еще глупее.

МАЛЕРБУ

Дней наших Аполлон, Малерб здесь погребен.
Жил долго. Труд его оплачивался плохо.
Он умер в бедности. Такая уж эпоха,
В которой и живу я так, как умер он.

СРЕДСТВО ИЗБАВЛЕНИЯ

Когда хотите всей душою,
Чтоб вам не докучал знакомый человек,
Рискните суммой небольшою.
Как? Дайте в долг ему — исчезнет он навек.

ЛИЗИМЕНА

Белила, мушки, ожерелья,
Брильянты, серьги, ленты, перья,
Косынки, кружево платков —
Вас выставляют неизменно,
Дурачат вами простаков
И называют: Лизимена.

ЖИЗНЬ ГИЙОМА

О нем никто не скажет слова
Ни доброго и ни дурного:
Не враждовал он, не дружил;
То сидя сиднем, то в движенье
Он прожил жизнь и, в довершенье,
Хотя и помер, но не жил.

ФРАНСУА ДЕ МЕНАР

■ ■ ■

Все то, что создано тобой,
Покрыто словно пеленою;
Твои творенья — мрак ночной,
Не озаряемый луною.

Мой друг, гони ты эту тьму!
Ведь тут нужны жрецы и маги,
Чтоб объяснить нам, почему
И что доверил ты бумаге.

А если что-то утаить
Тебя преследует желанье,
Зачем так много говорить?
Куда верней хранить молчанье.

■ ■ ■

Робэн расстаться порешил
С ученым братством Гиппократа,
И вот он у портного сшил
Мундир, отделанный богато.

Так, практику свою презрев,
В которой всякое бывает,
Расстрига-врач, мундир надев,
В ряды воителей вступает.

Не то чтоб в резвости своей
О славе наш герой хлопочет:
Он просто убивать людей
В таком количестве не хочет.

НИКОЛА БУАЛО-ДЕПРЕО

ПЛЕМЯННИКУ ВРАЧА

Ты говоришь, что дядя твой
Меня избавил от недуга.
Другого он лечил, поскольку я живой,
Но это не его заслуга.

■ ■ ■

Четырнадцать стихов к вам в комнату
вступают,
Четырнадцать стихов склоняются в поклоне,
Четырнадцать стихов о пустяках твердят,
Четырнадцать стихов ждут денег и наград.

НА ОЧЕНЬ ПЛОХУЮ САТИРУ, КОТОРУЮ СОЧИНИЛ АББАТ КОТЭН И КОТОРУЮ ОН ПУСТИЛ ПО РУКАМ ПОД МОИМ ИМЕНЕМ

Напрасно в сотне сочинений,
Прибегнув к яду оскорблений,
Приписывают мне все смертные грехи;
Котэна путь куда вернее:
Он очернил меня сильнее,
Мне приписав свои стихи.

КЛИМЕНЕ

Во мне перемена:
Страдаю, смущен...
Как видно, Климена,
И впрямь я влюблен.
На это сердиться
Нельзя вам сейчас:
Нет, злая девица,
Влюблен я не в вас.

О ТОМ, КАК ПОЭТ С. ЧИТАЕТ СВОИ СТИХИ

Когда с собой я вижу рядом
Монаха с фанатичным взглядом,
Стихи читающего нам
О тех, кто близок к небесам;
Когда рука его простерта,
Рот искривлен, слова как дым,
Мне кажется, я вижу черта,
Что воздает хвалу святым.

◆

ХЕНРИК БАРДИЕВСКИЙ

ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с польского ДМИТРИЯ ШУРЫГИНА

ПОЭМА

Он бросил на песок сандалии и сумку.

— Отличнейшее место, чтобы сложить поэму,— решил он.

До сих пор ему никак не удавалось найти время, зато нашел он место, чтобы создать прекрасную поэму и миру швырнуть в лицо. К большому сожалению, наш мир совсем не в форме: податлив стал и мягок он, как клецка, приемлет все без критики, без злобы, но и без удивления, да к тому ж обычно не поймешь, где у него лицо. Что ни швырни, исчезнет без следа.

Во всяком случае, тут место без изъяна: сливаются могучие стихии — река и море, пресное с соленым, с прозрачным темное и теплое с холодным. Людей здесь нет, а рыбы сколько хочешь. Песок все прибывает, море мостит им берег, словно застилая волнистую просторную постель.

Поэт идет по ней, слагает возвышенные строфы, проверяя на слух звучание рожденного стиха. Коль вышло плохо, повернет он вспять и сложит заново, поэт упорный, все вновь и вновь оттачивает рифмы — их искры сыплются из полнозвучных слов. Потом идет он дальше, продолжая нанизывать на замысел слова. А пляж велик, поэма будет длинной, и море рокотом поэта подбодряет.

Вот стая чаек с моря налетела, а с ней пришли и первые сомненья. Слова застряли в горле, сбился ритм, и новый стих прервался в половине. Неосторожно поэт подумал о читателях своих. Возможно, те сочтут поэму слишком длинной и в раздражении посмотрят на часы. Отметят в ней серьезные огрехи: мол, нет ни музыки, ни образов, ни смысла, не чувствуется личности поэта, ни слова о ковбоях, о боях, о гангстерах, совсем нет трупов, о спорте ничего, и неизвестно, о чем в поэме речь.

Он замер, будто громом пораженный, слова в уме смешались, взбунтовались и шагу не дают ступить. Он вновь о тех подумал горемыках, кто долгие вечерние часы проводит, к телевизору прилипнув, у окон сидя иль торчат в кафе, кто книгу полистает лишь от скуки или из чувства долга, может быть. И стало жаль ему своих усилий, и жаль слова, рожденные напрасно, прошедшие мимо ушей людских бесплодно, погибшие бесследно.

Он огляделся. Море старательно затерло отпечатки ступней его. Песок как скатерть гладкая и спереди и сзади. Ему казалось, что упал он прямо с неба и шагу уж ступить не сможет никогда.

— Ужасное тут место для поэта,— решил он.— Пляж чрезмерно длинный, и море чересчур бурливое...

Слова поэмы стал он распускать, как распускают петли на вязанье, и двинулся в обратный путь по пляжу. Пока дошел он до исходной точки, исчезла вся поэма без следа.

— Ну ладно, прочь, тоска,— утешил он себя,— я что-то накропаю завтра в толпе, в автобусе, и будет в самый раз.

СКУЛЬПТОР

Я оплакиваю друга, талантливого скульптора, которого сгубила любовь. Он работал над моим бюстом в гипсе и не успел закончить. И меня не обессмертил в скульптуре, и сам не вошел в историю искусства. Думаю, что его место в истории Любви.

Мы были близкими соседями — когда он рубил камень, осколки летели ко мне в окно. Я знал его модели, иногда он посылал их ко мне для обозрения, хотя я и не художник. Он считал человеческое тело, особенно женское, произведением искусства и даже одно время придерживался теории, что его можно творчески формировать путем соответствующего питания...

Кроме этих эстетически-диетических размышлений, запечатленных на бумаге, он оставил мраморную фигуру в натуральную величину, изображавшую женщину, ждущую чего-то. Я знал ее, она не любила ждать, имела красивого мужа и сама была красивой Они согласились позировать оба, только муж не сохранился.

Помню день, когда погибло его изваяние. Мы сидели в студии, скульптор созерцал статую этой женщины. Он уже тогда был влюблен в нее и мог говорить о ней часами, не упоминая ни словом ее мужа, хотя его изображение стояло тут же. Продолжая глядеть на статую, он сказал о ней что-то особенно теплое. И тут фигура мужа словно шевельнулась, скрипнула, а может, это скрипнул пол. Казалось, муж собрался отомстить за честь жены и сейчас разделается с соперником. Скульптор схватил молоток. Как ни странно это звучит, но действовал он словно бы в порядке самозащиты и голову мужу расколотил, спасая свою жизнь. Статуя женщины при этом даже не вздрогнула.

После этого любовь скульптора к своему творению расцвела еще ярче, опустошая душу творца. Целыми днями глядел он на статую, шептал ей что-то на ухо, о чем-то умолял. Обычно безразличный к своей внешности, он стал бриться, причесываться, тщательно одеваться — он хотел понравиться ей любой ценой. Приносил статуе цветы, играл ей на арфе, читал стихи. Он углубился в мифологию, штудировал легенду о Пигмалионе. В его глазах я видел пламя надежды.

Желая отвлечь его, я как-то заглянул к нему с моей знакомой, женщиной из плоти и крови, причем весьма привлекательной. Но и ей не удалось победить статую, живая женщина оказалась посрамленной. Признаться, после этого и я к ней охладел.

Потом я попробовал подействовать на него словесно.

— Статуя прекрасна, дорогой маэстро, но холодна. Ведь вы же не можете жить с камнем.

— Случается, что камень оживает от большой любви... Галатея ожила. Почему бы и моей не ожить?.. Вчера вечером у нее заблестели глаза... И рука была теплее, чем обычно... А губы — жаль, что вы не видели ее губ,— они дрогнули!

Он и разговаривал все менее охотно, стал ворчлив и флегматичен, мог часами стоять неподвижно перед статуей и смотреть ей в глаза, не обращал внимания на окружающих, многих вообще не узнавал. И статуя непрерывно вглядывалась в него своими каменными глазами. До последней минуты он надеялся, что оживит ее.

Как-то я позвал его через окно. Он не ответил. Я позвал вторично. Он даже не шевельнулся. Обеспокоенный, я вбежал в его комнату. Напротив статуи женщины стояла статуя моего друга. Свершилось. Он перешел границу, которую не пересекал еще ни один скульптор: перешел на сторону камня. Видно, ему хорошо было с той стороны: лицо его было умиротворенным, даже счастливым.

Вот и все. Вынос состоялся через три дня, в парк. Стоят теперь на главной аллее он и она, обращенные мраморными лицами друг к другу. Посвященные говорят, что, когда бывает очень тихо, слышно, как в парке бьется сердце.

ЛЕТО СРЕДИ ПРИРОДЫ

Лето тянулось и тянулось бесконечно, насыщенное беспощадным солнцем. Город тяжело дышал, поливальные машины тщетно пытались воспроизвести давно забытый дождь. Я медленно погибал от жары, тащась по улицам, запертым сверху зноем.

— Вырвись куда-нибудь,— посоветовал мне какой-то доброжелатель.— Непременно куда-нибудь вырвись.

Я вырвался в музей. Никогда в жизни я не осматривал живопись летом; понятия не имел, как она выглядит летом и нужна ли вообще в это время года. Галерею открывали полотна многочисленных итальянцев, более и менее великих, яркие, насквозь пропитанные солнцем. А мне нужна была тень.

За итальянцами висели испанцы, по два из каждой школы, написанные в столь теплых тонах, что я видел их с закрытыми глазами. Только голландский пейзаж немного освежил меня, и я задержался там, в тенистых рощах, у какой-то голландской реки и просто в поле с ветряными мельницами на горизонте. Казалось, я вырвался не только из города, но и из страны, словно бродяга, попавший в иные края и проникший в иной век.

Следующие залы покорили меня совершенно. Зимний пейзаж, холодное мерцание неподвижной природы. Погруженный в бесстрастный мир полотен, я провел самые жаркие полуденные часы, пока не наступило вечернее облегчение. Назавтра я вернулся сюда, на следующий день тоже. Потом уж я ходил в музей каждый день и сидел, созерцая картины. Теперь я могу сказать, что провел лето среди природы, правда мертвой, но все же...

ШАР

Вокруг было бело и спокойно, только снежный шар, катившийся от горизонта в мою сторону, немного тревожил меня.

Он становился все больше не только потому, что приближался, но и потому, что обрастал все новым снегом. Когда докатится до меня, он будет величиной с гору. Лучше встретить его, пока он невелик.

Я бросился навстречу и перехватил его на участке с малым уклоном поверхности, это было хорошо, так как шар замедлил ход. Я обошел его, оглядывая идеально круглую поверхность, и заметил позади фигуру человека, который толкал шар.

— День добрый,— сказал я.

Он не ответил и только немного подвинулся, давая мне место и как бы приглашая толкать шар вместе с ним. Вдвоем это оказалось действительно легче.

— Вы далеко? — спросил я.

Он указал рукой вперед. Некоторое время мы толкали молча. То и дело человек вытаскивал компас, проверяя направление. Это меня успокоило. Однако через час я снова стал волноваться.

— Прошу прощения,— сказал я,— но он все растет, а нас только двое... Это нехорошо.

— Очень хорошо,— ответил он.— Нас стало больше. Я был один, теперь нас двое, возможно, подойдут и другие. Можно расти, а можно множиться. Кто не может расти, пусть хоть множится.

Я решил, что он прав, и продолжал толкать. Шар уже возвышался над нами столь внушительно, что я начал испытывать страх. Кто может поручиться, что в какой-то момент он не оторвется от нас и не покатится дальше сам? Не опасно ли это?

Я подумал и тут же успокоился. С человеком бывает всякое, но природа разумна. За каким-то пригорком нас ждет весна, за ней лето.

Все в порядке.

МАСКА

Он вошел и предъявил приглашение. Петр Михно — прочел человек у входа и указал ему пальцем гардероб.

— Маски обязательны,— шепнул гардеробщик в маске,— ожидаются сюрпризы... Эта подойдет? Зеркало там.

У маски были острые черты, цвет бледно-зеленый, нос вздернутый, под ним глуповатая усмешка. Маска резко пахла краской и картоном, даже трудно было дышать.

Он едва вытерпел в ней три часа. Танцевали много, но сюрпризов пока не было; одни твердили, что все уже прошло, другие — что еще будет. Все внимательно следили друг за другом, даже не выходили в буфет, чтобы чего-нибудь не пропустить. В густом воздухе висела скука.

Около часа ночи он решил уйти. Сонный гардеробщик посыпал его конфетти, оплел серпантином и попросил пять злотых.

— Держите десять,— сказал Михно.

Пораженный гардеробщик проводил его до самых дверей.

На улице было холодно. Дома в этот час молчали. Остывали утомившиеся за день лампы телевизоров и радиоприемников, отдыхали пружины кресел. Он шел и словно постепенно погружался в тишину, ощущая ее всем телом. Было темно, фонари освещали собственные столбы. Он шел от одного светлого пятна к другому, иногда встречал людей. Те поднимали головы и смотрели ему в лицо. Кто-то захихикал. Михно поднес руку ко лбу, наткнулся на картон и рассмеялся. «Осел, рассеянный осел»... Он быстро снял маску и сунул ее в карман. Вино шумело в голове. Стоило ему закрыть глаза, как вдруг возникали маски — самые уродливые, страшные, глупые маски, которые надевают, чтобы было веселей. И было весело, потому что хоть на пару часов удавалось отбросить старейшую из забот — заботу о лице.

Он полез в карман за ключом. Кто-то стоял у ворот, кто-то двойной, пара. Стоило ему приблизиться, как прозвучал коротенький смешок, тут же заглушенный ладонью. Он вошел в ворота, те двое снова фыркнули. Их смех преследовал его на лестнице до самой двери. Он вошел, захлопнул дверь и дважды повернул ключ — стало тихо. Включил свет, подошел к зеркалу и едва не закричал. На него смотрело чужое лицо: острые черты, кожа бледно-зеленая, холодная, нос вздернутый, под ним глуповатая усмешка...

— Спокойно,— прошептал он,— только спокойно, это маска, я не снял маску...— Дрожащей рукой полез в карман.— Я снял ее,— вырвалось у него громко.— Снял ее, снял, снял...

Он стал лихорадочно ощупывать лицо — от лба к подбородку, от подбородка ко лбу. Кожа. Если ущипнуть, больно. Лоб в поту. Морщины. Кожа.

— Я снял ее! — прорычал он и кинулся к зеркалу в ванной. Бледно-зеленая кожа, вздернутый нос, под ним глуповатая усмешка. Он попробовал перестать улыбаться — безрезультатно. Усмешка осталась, несмотря на страх, на холодный ужас, засевший внутри. Потрясенный, он продолжал улыбаться, а по лицу стекали бледно-зеленые капли пота.

Он выдернул из кармана маску, кинулся к свету. Кулаком протер левый глаз, которым видел лучше. На маске был он! Это было его лицо, но из картона, неподвижное, жесткое, с дырками для глаз и резким запахом краски. Надев маску, он почувствовал себя лучше, привычнее. Поднес руку ко лбу — картон. И ниже картон — нос, виски, щеки, все картонное и при этом жутко натуральное.

С трудом добравшись до кресла, он тяжело рухнул в него и сжал руками виски, все еще не веря в случившееся.

— Это все алкоголь,— шептал он,— глаза пьяные, пальцы пьяные, зеркало пьяное... Едва держится на стене, нализалось в доску зеркало!

Он швырнул чем-то в том направлении, но, конечно, промахнулся, глаза застилали слезы.

— За что? — простонал он. Потом попытался собраться с мыслями.

Теперь у него два лица. Он снял маску, старательно протер носовым платком и положил на стол, пусть полежит. Взглянул на нее сочувственно: «Отслужила старая, свое сделала». При виде ее люди кланялись и мило улыбались. Она внушала доверие, с ней можно было в любой момент раздобыть денег. А с этой, новой?

Он потер лицо руками, вскочил и побежал к зеркалу. Глуповатая усмешка? Ну и что? Он улыбнулся еще шире, зубы сверкнули на фоне толстых бледно-зеленых щек. И с этим новым лицом можно попробовать пожить. А вдруг будущее принадлежит ему?

В ГОРОДЕ В.

Издали этот город выглядел как десятки других. Существовавшее долгие годы равновесие между трубами и колокольнями стало сдвигаться в сторону труб. К облаку дыма и сажи несмело приблизилось благосостояние. Оно остановилось на окраине города, среди крестьянских заборов, словно не решалось тронуться дальше.

Шоссе, по которому мы ехали, незаметно перешло в улицу. Наш автомобиль пересек первые полосы пешеходных переходов. Их, видно, навели недавно. Они были свежи и чисты; пешеходы ступали по ним осторожно, словно боясь запачкать. Вскоре мы встретили еще полосы. Ближе к центру города перерывы между ними исчезли совершенно. Мы ехали со скоростью пешехода по раскрашенным улицам, по полосатым площадям — и так до самого центра. Там полосы стали гуще, как бы агрессивнее, пешеходы смелее прыгали под колеса. Площадь перед ратушей была уже совершенно белой. В толпе пешеходов кое-где торчали одинокие машины. На перекрестке стоял милиционер и регулировал людские потоки.

— Извините, пожалуйста, я хотел бы проехать. .

— Именно сейчас, в часы «пик»? Вечером, дорогой, вечером, когда будет поспокойнее

— А если бочком, бочком, по тротуару?

— По тротуару нельзя, а то люди из ворот выходят, и может быть столкновение. И вообще, где у вас дорожные знаки?

Я не совсем понял, тогда он пояснил:

— У нас дорожные знаки ставятся на машинах, а не на улицах. Так удобнее. Каждый въезжающий в наш город автомобиль получает табличку с запрещением поворота налево или направо, запрещением обгона, стоянки или остановки. При выезде из города табличку надо сдать.

Мы заплатили штраф и дождались вечера. Ночью потихоньку выбрались из города, чтобы не разбудить пешеходов. На развилке стоял один из отцов города и по-отечески нас предостерег:

— Если пожалуетесь кому-нибудь, то в следующий раз и пешком не впустим!

А кому пожалуешься?

С такой многочисленной братией, как пешеходы, лучше не связываться.

◆

СТАРИННЫЕ КИТАЙСКИЕ АНЕКДОТЫ

■

Перевод с китайского АЛЕКСЕЯ ЖЕЛОХОВЦЕВА

Скупой богач

Один скупой богач позвал к себе гостей, а слуге сказал:

— Не наливай зря вина! Жди, пока я не хлопну по столу ладонью, тогда входи и наливай гостям вино.

Один гость случайно услышал его слова. Когда уселись за стол, этот гость спросил богача:

— Скажите, пожалуйста, сколько лет вашему почтенному тестю?

— Семьдесят три года,— отвечал богач.

Гость хлопнул по столу ладонью, изобразив удивление, и воскликнул:

— Какой почтенный возраст!

Слуга услышал, что по столу хлопнули ладонью, вошел и налил гостям вина.

Когда вино было выпито, гость спросил снова:

— Скажите, пожалуйста, а сколько лет вашему почтенному батюшке?

— Восемьдесят четыре года,— отвечал богач.

Гость снова изобразил изумление, хлопнул ладонью по столу и воскликнул:

— Это еще более почтенный возраст!

Слуга услышал хлопок ладонью и снова вошел налить вина. Богач тогда сообразил, что его разгадали, и в бешенстве сказал:

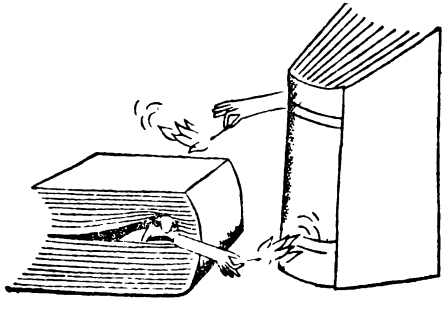
— Какое тебе дело, семьдесят три ему или восемьдесят четыре,— ты уже напился, хватит с тебя!

Выманить обманом

Чжу Гу-минь славился образованностью и способностями. Однажды он пришел в гости к человеку по имени Тан. Хозяин сказал ему:

— Все расхваливают твои дарования. Вот если ты сумеешь хитростью выманить меня на двор из комнаты, то и я тогда стану тебя уважать.

— Куда мне,— засмеялся Чжу.— На дворе сейчас холодно, дует ветер, ты ни за что не согласишься выходить за дверь. А вот если б ты был на дворе, а я — в комнате, тогда я сумел бы обмануть тебя и заставить войти в дом.



Здесь и далее рисунки КОНСТАНТИНА ЧОСУ из сборника «101 басня без слов». Румыния.

Тан поверил ему, вышел во двор и закричал:

— А ну попробуй заманить меня в дом!

— Зачем? — сказал Чжу.— Ведь я уже выманил тебя на двор.

Ровесники в будущем году

Родилась в семье дочка. Приятель пришел к отцу и стал девочку сватать за мальчика, которому было всего два года. Отец рассердился и сказал:

— Моей дочке всего год, а мальчишке уже два. Когда ей будет двадцать лет, ему будет уже сорок! Зачем мне выдавать свою дочь за старого жениха!

Его слова услышала жена, обиделась за дочь и сказала:

— Дурак! Сейчас нашей дочке один год, а в будущем году ей будет два и они станут ровесниками!

Похищение невесты

Две семьи обручили сына и дочь, но семья невесты разбогатела, а семья жениха — беднела. Семья жениха побоялась, что невеста откажется от брака, а потому, выбрав счастливый день, наняла похитителя, чтобы он похитил невесту из дому и принес ее на спине в дом жениха. В спешке похититель по ошибке закинул себе на спину младшую сестру невесты и пустился бежать.

Невеста погналась за ним с криком:

— Не ту похитили! Не ту!

А сестра, которую уносили, закричала:

— Не слушай ее! Все правильно! Беги быстрее!

Глаза как у козы

Одна женщина украла у соседа козу, привела ее в дом, спрятала под кроватью, а малолетнему сыну велела никому про козу не говорить.

Скоро с улицы послышалась ругань соседа, у которого пропала коза.

Сын вышел и сказал соседу:

— Моя мама не крала вашу козу!

Женщина испугалась и сделала страшные глаза. Сын показал на нее и сказал:

— Посмотрите на маму! У нее глаза точь-в-точь как у козы, когда та выглядывает из-под нашей кровати!

◆

К 75-ЛЕТИЮ

А. А. ФАДЕЕВА

ПЕВЕЦ ПОДВИГА

Александр Александрович Фадеев принадлежит к поколению, от имени которого Эдуард Багрицкий сказал: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед...» Профессиональный революционер, защищавший революцию с оружием в руках, выдающийся художник социалистического реализма, секретарь, генеральный секретарь и председатель Правления Союза писателей СССР, вице-президент Всемирного Совета Мира, Фадеев остался в памяти современников как самобытный писатель, крупный общественный деятель, человек щедрой души и необыкновенной духовной красоты.

Романы Фадеева «Разгром» и «Молодая гвардия» завоевали широкое признание у себя на родине и за ее рубежами. Неумирающее значение этих произведений, секрет их воздействия на современного читателя — не только в их безукоризненной художественной форме, но и в актуальности социальной и нравственной проблематики. Фадеева-художника неизменно волновали вопросы становления нового гуманизма, роста самосознания, проблема нравственного выбора. Он обладал обостренным чувством ответственности писателя перед народом, перед своей совестью.

Художественные полотна Фадеева написаны красками сурового реализма и озарены романтикой подвига. В его книгах воплощена мечта о человеке будущего, «прекрасном и добром». Герои «Молодой гвардии», впечатляющие красотой духовного мира, свободные в своем волеизъявлении, натуры гармонические и цельные — художественное

открытие литературы социалистического реализма. Из юности шагнув в бессмертие, молодогвардейцы Фадеева приходят к каждому новому поколению читателей на всех континентах планеты.

Личность Фадеева, его роль в литературно-общественном контексте эпохи привлекают внимание крупных художников современности. Он был другом многих зарубежных мастеров культуры.

Публикуем отрывки из воспоминаний об А. А. Фадееве его зарубежных друзей.

Св. КОВАЛЕНКО

Иоганнес Р. Бехер

...Фадеев вступил в справедливый бой за правду, когда еще был мальчиком. Став взрослым, он узнал, что правда, свобода и мир нераздельны. Он так глубоко принял в свое сердце призыв «Всем, всем, всем!», впервые прозвучавший ноябрьской ночью 1917 года, что смог передать его миллионам сердец по обе стороны границ своей родины. Фадеев стоял на трибунах Москвы и Нью-Йорка, Варшавы и Парижа, Рима и Берлина, высокий, светлоглазый, с очень молодым лицом под белыми как снег волосами. Он был не один. 200 миллионов людей говорили его спокойным проникновенным голосом. От их имени он возглашал гребования дня: Мир! Мир всему миру! С четкостью математика, со страстью поэта, с непреклонной логикой мыслителя, который видит насквозь все взаимосвязи общественных явлений, понимает причины войны и мира, он приводил доказательства того, что мир не утопия, но реальная возможность, осуществимая для людей, ныне живущих.

Неутомимая деятельность этого писателя в борьбе за мир между народами тесно связана с его литературным трудом.

В конце 20-х годов его первый роман «Разгром» пришел к нам в Германию. Мы прислушались: какой сильный новый голос в хоре молодой советской литературы. Неизвестному автору можно было не бояться сравнений с выдающимися литературными именами того десятилетия. Его творчество продолжало линию великой русской литературы. Как это бывает с истинно художественными произведениями, время подтвердило высокий ранг романа «Разгром».

...Если сравнить этого первенца Фадеева с романом «Молодая гвардия», прежде всего впечатляет та поэтическая тонкость, которой достигает писатель, рассказывая о горьком времени 1942—1943 годов на оккупированной гитлеровскими войсками Украине. Снова партизаны — герои Фадеева, но как выросли они по сравнению с теми «девятнадцатью» из «Разгрома».

...Я не знаю другого романа, который бы с большей искренностью и убежденностью, посредством такого множества самых различных персонажей, так живо выражал характерное для советского народа чувство единства между людьми, чувство ответственности отдельного гражданина за общество в целом. Здесь Фадееву в большой степени удалось воплотить те принципы искусства социалистического реализма, которые он отстаивал на писательских форумах: органический синтез реализма и революционной романтики. В советской действительности, в молодежи Краснодона нашел он героев, воплотивших в себе новую, коммунистическую нравственность. Его тонкая писательская интуиция, его увлеченность опытного борца помогли ему ввести их в художественное произведение, которое отразило право художника на «мечту» в ленинском понимании этого слова.

Немецкие писатели обязаны Фадееву прежде всего как большому художнику другого народа. Всякую нацию обогащают великие люди, принадлежащие к другим нациям, большое помогает большому расти, не обращая внимания на границы. Наша благодарность Фадееву шире. Мы благодарны ему не только как выдающемуся писателю, но как выдающемуся с о в е т с к о м у писателю, от которого исходит обогащение особого рода: через него мы соприкасаемся с самой прогрессивной литературой мира.

Людмил Стоянов

Книги А. Фадеева, переведечные на многие языки мира, в том числе и на болгарский язык, имеют широкого читателя. Особенно роман «Молодая гвардия», который учит миллионы молодых людей любить родину, свободу, ненавидеть врагов человечества, захватчиков и насильников.

...На конгрессе сторонников мира в Париже в апреле 1949 года Фадеев сказал, что нет такого советского писателя, совесть которого позволила бы ему стоять в стороне от величайшего движения нашего времени — борьбы за мир. В качестве вице-президента Всемирного Совета Мира он принял живое и компетентное участие в выра-

ботке всех резолюций и решений, которые превратили движение за мир в истинное знамя народов, развевающееся сегодня над всеми странами мира. А. Фадеев питал к нам, к Болгарии и болгарскому народу, самые горячие братские чувства. Я позволю себе вспомнить здесь один случай из времен гражданской войны в Испании. Это было на международном конгрессе писателей в защиту культуры в июле 1937 года, в Мадриде.

Мы, болгарская делегация, стояли и разговаривали в подземном зале студенческого дома, где проходили заседания. Алексей Толстой, Илья Эренбург, Всеволод Вишневский и молодой тогда, тридцатипятилетний Фадеев расспрашивали нас о жизни в Болгарии, о болгарской литературе, о возможностях для работы в условиях фашизма. Между прочим, Фадеев рассказал нам о влиянии на него еще в студенческие годы романа Ивана Вазова «Под игом». Вдруг снаружи завыли сирены и затрещали зенитные орудия. Послышался гул вражеских самолетов и глухой грохот бомб. Это, однако, не смутило наших советских друзей. Они стояли так спокойно, как будто снаружи проехал грузовик. На следующий день, как раз напротив нас, мы увидели высокое пятиэтажное здание, наполовину разрушенное, так что на стенах комнат остались висеть картины и одежда. «Алексей Николаевич,— обратился Фадеев к А. Толстому со своей широкой, открытой улыбкой,— этот негодяй, очевидно, целился в наш конгресс. У Франко есть причина бояться нашего слова — оно дойдет до сердца каждого свободолюбивого испанца».

По дороге во Францию в нашей машине, помню, было душно, красные поля Кастилии излучали огонь. Фадеев попросил шофера остановиться, мы вышли из машины и долго шли по шоссе, заходили в сельские хижины. постоялые дворы, сады, чтобы своими глазами увидеть будни испанского крестьянина. Затем мы сели в машину, и он делился своими впечатлениями:

«Вообще, народ везде одинаков: добрый, простосердечный, великодушный, но одновременно и великий в своей ненависти к угнетателям, когда чаша его терпения переполняется».

Ренато Гуттузо

Фадеев был романтиком, человеком нравственной и интеллектуальной героики, верящим в партию, в значение писателя как «инженера человеческих душ». Тем, кто его видел, Фадеев казался суровым и торжественным. Высокий, сильный, красивый, с юношеским лицом и густыми русыми волосами, он производил впечатление грозного воина, хотя в действительности был очень чуток и по-детски робок.

Фадеев никогда не склонялся к компромиссам, чтобы завоевать так называемую международную известность, и был глух к льстивой похвале влиятельной критики. мнение которой он глубоко презирал. Он принимал лишь критику, выражающую народную точку зрения, был чуток к оценке его творчества коммунистической партией. Ему было дорого мнение людей, борющихся за мир, мнение народа о комсомольцах — героях его романа «Молодая гвардия». Каким мужеством, силой воли, скромностью и чувством ответственности надо обладать, чтобы заново переработать свой роман «Молодая гвардия»... Поступок писателя, бросивший в дрожь наших западных интеллигентов, явился поступком интеллигента новой формации в новом обществе, отразившим коммунистическую честность и революционную романтику А. Фадеева.

Пабло Неруда

В моей стране есть река, которую можно сравнить с Фадеевым. Она начинается у снежных вершин, и мощно врывается в поля, и становится широкой, покойной и прекрасной... Она глядит синими глазами, и белая пена встает над ее головой. Эта река знает всех, кто живет на ее берегах... молодежь, крестьян, солдат, рыбаков. На ее берегах лилась кровь, но река все пела и пела... своим высоким голосом обо всем, что происходило на ее берегах.

Катарина Сусанна Причард

Я думаю, что Фадеев был одним из самых выдающихся современных писателей. Ясность стиля, способность создавать характеристики, лишенные преувеличений, простота и искренность повествования — как в «Разгроме» — эти ценные качества я нашла в творчестве А. Фадеева.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПОЛЬША: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Писатели Народной Польши, Москва, «Наука», 1976.

Польская литература пользуется у нас неизменным, устойчивым спросом, который служил и служит как бы осязаемым, материальным выражением традиционных русско-польских культурных связей. Связей, которые необычайно окрепли, обогатились, обретя качественно новый масштаб в послевоенные десятилетия, когда Польша, решительно встав на путь социалистических преобразований, превратилась в друга, союзника и соратника нашей страны. В Советском Союзе книги польских писателей, в том числе современных, переводятся буквально на десятки языков, а в Польше выходят произведения литераторов разных советских республик. И от этого культурного сотрудничества выигрывают наши народы, наши культуры и, конечно же наши литературы.

Постоянно углубляется, ширится — как в Польше, так и у нас — критическое осмысление и изучение достижений братских литератур, внимательно прослеживается их взаимное воздействие Появляется все больше работ советских ученых, критиков, в которых анализируется не только творчество того или иного писателя, но и рассматриваются основные тенденции и направления, характерные для развития литературного процесса в Народной Польше. Исследования подобного рода помогают вскрыть сходные явления и общие закономерности, определяющие жизнь литератур братских социалистических стран, внося тем самым серьезный вклад в изучение современной мировой литературы и в разработку вопросов теории литературы эстетики.

С этой точки зрения сборник «Писатели Народной Польши» — одна из очевидных удач советской полонистики. Книга складывается из творческих портретов двадцати четырех хорошо известных у нас писателей разных поколений, которые либо стояли у истоков литературы Народной Польши, либо определяют сегодняшнее ее лицо. Поэтому сборник, думается, сослужит добрую службу не только специалистам, но и всем, кто захочет поближе познакомиться с литературным пейзажем современной Польши.

Пейзаж этот, понятно, несколько мозаичен и фрагментарен. Ведь задача у создателей книги была не из легких: на сравнительно небольшой «площади» дать если не полную, то по меньшей мере представительную галерею портретов писателей Народной Польши, показав богатство ее литературы.

Составители и авторы нашли, пожалуй, верный выход. Они не стали унифицировать материал, подгонять его под какой-то один стереотип: сборник является именно сборником, то есть собранием отдельных, формально друг с другом не связанных статей, написанных в различной манере: строгое исследование, эссе, суховатый «очерк жизни и творчества». Но все же книга производит впечатление единого целого, поскольку в совокупности своей эти статьи составляют рассказ не только о писателях разных поколений, обладающих неодинаковым по масштабу и характеру талантом. Авторы рассматривают творчество каждого из них в общем контексте польской литературы, указывают его место в

ней, подчеркивают то, что роднит его с современниками и предшественниками, сближает с мировой, в частности с советской, литературой. В результате рельефнее выделяется вклад каждого писателя в становление и развитие демократической, социалистической литературы, вообще культуры Народной Польши. Поэтому книга представляет собою своеобразный — хотя и краткий, хотя и не без существенных пробелов,— но все же синтетический очерк послевоенной польской литературы.

В большинстве своем авторы помещенных в сборнике статей — это хотелось бы подчеркнуть — сторонятся категорических суждений, безапелляционных оценок. Писательские портреты не только обстоятельны, но и — за редким исключением — субъективны в лучшем смысле слова, то есть оставляют возможность для споров и дискуссий, что оправдывает замысел издания, которое его редакторы хотели бы рассматривать как «одну из ступеней подготовки к созданию истории послевоенной польской литературы».

Польская послевоенная литература родилась не на пустом месте, она продолжает, развивает и обогащает демократические, гуманистические традиции классической и межвоенной польской культуры. Более того, у колыбели литературы Народной Польши стояли писатели, которые в творческом отношении сформировались как раз в межвоенное двадцатилетие,— З. Налковская, М. Домбровская, Ю. Тувим, Я. Ивашкевич, В. Броневский, Л. Кручковский, Т. Бреза, Ю. Пшибось, К. Галчинский и многие другие.

Писатели эти, которых сегодня по праву называют гордостью национальной культуры, не образовывали в свое время какой-то сплоченной группы, организационно, идейно или творчески однородной. Они нередко принадлежали тогда к различным литературным течениям, отнюдь не все из них были связаны с коммунистами, с рабочим движением. Но даже полемизируя друг с другом в своих книгах, на страницах литературных газет и журналов, расходясь—порой существенно — в каких-то политических или мировоззренческих вопросах, они тем не менее представляли передовую, демократическую литературу, которая в довоенной Польше продолжала традиции классики, помогала создавать моральный, психологический климат, благоприятствовавший нарастанию борьбы всех истинных демократов и патриотов против реакционной, антинародной политики тогдашних правящих кругов. Политики, которая привела Польшу к сентябрьской катастрофе 1939 года.

И вполне естественно, что в сборнике этим писателям уделено так много места. В статьях об их творческом пути авторы справедливо стремятся подчеркнуть, что война, нанесшая столь чувствительные раны польскому народу и национальной культуре, послужила для всех, кровно связанных с судьбой страны писателей суровой школой гражданственности. Не случайно книги классиков — Мицкевича, Словацкого, Сенкевича, лучшие произведения, созданные перед войной и во время войны, были, как говорится, взяты на вооружение польским антифашистским Сопротивлением. Они действительно стали оружием, надеждой, помогавшей выжить, сражаться, победить. И. Колташева, например, в обстоятельном и эмоциональном очерке-исследовании творчества выдающегося поэта Юлиана Тувима напоминает, что «узницы Бжезинки, пытаясь выиграть борьбу за жизнь, каждый вечер после поверки всем бараком молились строфами Тувима, чудом дошедшими до них:

Тучи над нами зажги пожаром,
Ударь в сердце золотым колоколом,
Открой нам Польшу, как молнией
Ты открываешь грозовое небо...

По-разному, каждый в меру собственных сил и возможностей, многие писатели принимали участие в общенародной борьбе против фашизма, за освобождение родины. М. Агапкина, автор интересной статьи о Зофье Налковской, рассказывает, что эта немолодая тогда уже женщина, известная всей стране, занималась организацией подпольных литературных собраний. Мария Домбровская, которая еще при жизни причислена была к классикам национальной культуры, в дни Варшавского восстания «дежурила во время налетов, тушила пожары, помогала эвакуировать книгохранилище Публичной библиотеки»,— пишет в своей содержательной работе Я. Станюкович.

Практически все писатели, независимо от того, сражались ли они в рядах Сопротивления, в армиях ли союзников на фронтах второй мировой войны, «просто» ли жили в оккупированной стране (что тоже иногда было подвигом), оказывались в плену, в концлагерях,— все они старались продолжать работать, писать, а если удавалось, и печатать свои книги: подпольно или за границей. Произведения, созданные или задуманные в годы войны, стали, по существу, первыми книгами литературы Народной Польши.

Очень многие из тех, кто после 1945 года пришел (или вернулся) в литературу, участвовали в антифашистском Сопротивлении, которое, как известно, в Польше не было в политическом и организационном отношениях единым. И естественно, что военная тема, ставшая сразу же центральной в литературе Народной Польши, решалась — иногда решается и до сих пор — неоднозначно. Существенное это обстоятельство порой как бы сбрасывается со счетов частью польской критики, не всегда в полной мере учитывается оно и нашими специалистами. Поэтому весьма интересной представляется попытка, которую предпринял критик и переводчик М. Игнатов, проанализировав, как отразились в польской литературе (в частности, на примере произведений Ежи Путрамента) судьбы тех, кто встретил войну двадцатилетними,— судьбы так называемого «поколения Колумбов».

В этой связи остается только пожалеть, что в книге совсем не представлено творчество Р. Братного, роман которого «Колум-

бы, год рождения 1920» (1957) положил начало, пожалуй, одной из наиболее острых и плодотворных дискуссий в польской литературе о польском Сопротивлении. Собственно, речь шла фактически о художественном воплощении трудного, драматического, противоречивого процесса интеграции, сплочения польского общества на новой, социалистической основе. И жаль также, что нет в книге очерка о Е. Брошкевиче, писателе, у нас в стране очень хорошо известном, убедительно и оригинально рассказавшем в романе «Долго и счастливо»[1] о судьбе рабочего человека, ровесника нашего века, рядового партии своего класса.

Не ставя под сомнение критерии, которыми руководствовались редакторы при отборе материала для сборника, хочется тем не менее заметить: книга лишь выиграла бы, если бы в ней нашлось место для характеристики творчества еще таких, скажем, писателей, как Т. Боровский, А. Кусьневич, С. Лем, произведения которых стали крупными вехами в истории не только литературной, но и вообще культурной жизни Народной Польши.

И еще одно замечание. Думается, в подобного рода книгах естественным принципом создания писательских портретов может быть «монографический»: всесторонняя характеристика творчества литератора, синтетический анализ всего им написанного. И принцип этот чаще всего в рецензируемом сборнике выдержан. Таковы, например, статьи о Ю. Пшибосе (А. Константинова), Т. Новаке (А. Пиотровской), Э. Брылле (В. Мочаловой), Т. Голуе (И. Горского) и большинство других. К сожалению, в некоторых случаях авторы и редакторы почему-то от этого принципа отходят. Вряд ли, скажем, оправдано, что Д. Прокофьева в довольно подробной статье о С. Гроховяке представляет его исключительно как поэта, хотя его проза и особенно драматургия свидетельствуют о многогранности этого самобытного и большого таланта. Тот же упрек можно адресовать и Н. Богомоловой, которая пишет лишь о поэзии Ст. Р. Добровольского, хотя он в течение нескольких десятилетий плодотворно работает и в прозе, а не так давно выпустил оригинальную двухтомную «Сагу рода» — во многом автобиографичный лирический рассказ об истории рабочей варшавской семьи. Нельзя не пожалеть также, что и В. Тихомирова в своей убедительной статье сосредоточивает внимание только на поэзии Т. Ружевича, но бегло говорит о его прозе и драматургии, которые в не меньшей мере, нежели поэзия, характеризуют выдающийся вклад в современную польскую литературу этого одного из самых крупных ее представителей.

Наконец, совсем частное соображение. Столь серьезное издание, как мне кажется, несколько проигрывает от того, что в нем отсутствует полная библиография произведений писателей, о которых ведется речь, а также библиография переводов их книг на русский и другие языки народов нашей страны.

Главное же достоинство этого полезного труда состоит в том, что собранные в книге статьи помогают лучше понять характер и особенности творческой манеры и гражданской позиции многих выдающихся писателей Народной Польши. Это особенно важно потому, что творчество их — как не без оснований подчеркивают редакторы сборника во вступлении — «отражает движение всей послевоенной польской литературы ко все более полному раскрытию в свете социалистического гуманизма сложности и многообразия современной жизни, выяснению места и роли человека в истории, его связей с социальными преобразованиями».

А. ЕРМОНСКИЙ

[1] Этот роман впервые был опубликован в «Иностранной литературе» № 6—8, 1972.

ОБ «ЭСТЕР ЭГЕТЁ» — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ

Ласло Немет. Эстер Эгетё. Перевод с венгерского Т. Воронкиной. Послесловие Г. Злобина. Москва, «Прогресс», 1974.

Примерно четверть века назад закончил наш крупнейший писатель Ласло Немет свой роман «Эстер Эгетё». Четверть века в жизни романа — много это или мало? Некоторыми своими соображениями по поводу этого замечательного произведения я и хочу, пользуясь случаем, поделиться с читателем[1].

В годы второй мировой войны Ласло Немет обрел пристанище в Вашархее. Около пяти лет творческого труда сроднило писателя с этим городом: здесь он вел преподавательскую работу, здесь занимался переводческой деятельностью, много писал. В Вашархее созданы большая часть его драм, более десятка эссе и исследований, здесь была закончена книга «Отвращение» и написан роман «Эстер Эгетё», в котором подвергнуты анализу и Вашархей (в романе это захолустный Чоморкань) и специфический мир венгерской интеллигенции того времени.

Но послушаем автора, посмотрим, как он сам определял смысл романа, обращаясь к читателям: «Ярчайшая особенность моей героини Эстер Эгетё заключается в том, что на любом образовавшемся вокруг нее островке жизни она пытается создать гармонический мир человеческих отношений, некое подобие идиллии, земного рая. Куда ни забросит ее судьба — в глухую деревню, в блестящий комитатский центр или скромный родной городок, находится ли Эстер в кругу родных или среди людей, случайно прибившихся к ее дому,— она тотчас же

[1] Статья перепечатывается из венгерского журнала «Кортарш» № 4, 1976.

уподобляется домовитому пауку, начиная ткать нити людского взаимопонимания, помощи, трудолюбия, дабы создать человеческую общину, где закон жизни — добро. Девять глав романа — девять безуспешных попыток утвердить этот нравственный принцип. Но роман, повествующий о противоборстве благоразумия и одержимости, содержит и критику общества. Эстер терпит поражение за поражением не потому, что судьба сводит ее с недостойными людьми. Причина кроется гораздо глубже...»

Почти в каждом произведении Л. Немета — своя жизненная трагедия; этот же роман даже по замыслу намеренно иного плана: за добротным реализмом описания в нем угадываются легенда, притча, попытка показать пример истинной в своих устоях «правильной жизни». И хотя налаживать эту «правильную жизнь» в условиях прежнего, изжившего себя общества заведомо безнадежно, все же попытка эта не перерастает в трагический конфликт, напротив — завершающая мысль произведения подкреплена оптимистической верой в грядущий общественный строй... Бесхитростная, незадачливая и все же торжествующая над злом Эстер жизнью своей утверждает новую мировоззренческую концепцию автора: при всей незавершенности ее судьбы ясно и недвузначно намечена новая ориентация гуманистического начала в человеке — его приход к социализму.

Художественные средства здесь предельно традиционны, словно бы автор и ведать не ведает о ломке формы в западном романе; он пользуется испытанным реалистическим методом, когда детали выписаны глубоко и любовно; Лев Толстой и Роже Мартен дю Гар служат ему образцами для подражания. Строгое и точное до бесстрастия отображение — вот его манера, но в то же время произведение его пронизано пророческим жаром Толстого и активным гуманизмом дю Гара. И, согреваемый этим внутренним огнем, Немет избегает бесцветности, столь часто присущей бытописательским романам: «Эстер Эгетё» построена по принципу музыкальной композиции, как соната. Автор тщательно следит за внутренней музыкой — настроением каждого фрагмента: во всей своей завершенности и чистоте тот же мотив, отзвучав однажды, подчас сплетается с другими, контрапунктирует и повторяется в иной тональности, и так выстраиваются части романа-сонаты. А каждая из этих частей — ступень в духовном росте героини.

Пять календарных лет — и новая глава из жизни Эстер, окружающие ее условия видоизменились, характер получил дальнейшее развитие. Произведение, таким образом, как бы составлено из нескольких повестей (частей «сонаты»). Каждая из них распадается на три раздела, где в свою очередь разрабатываются самостоятельные единые мотивы. Каждый из мотивов (подчас, казалось бы, побочных) в какой-либо из последующих частей повторяется в бравурной обработке. (Вспомним хотя бы женщину, прислуживающую героине, когда она жила в деревне Лайошфалва. Эстер как будто бы не удалось завоевать ее привязанность, и только в одном из завершающих эпизодов романа среди полнейшего хаоса выкристаллизовывается истина: тепло любви человеческой согревает на десятилетия.

Ласло Немет последовательно разоблачает честолюбивых, алчущих власти новоиспеченных буржуа старой Венгрии и в то же время вскрывает и безнадежность борьбы выступающих против них бунтарей-одиночек. В той, прежней Венгрии любое маломальски своеобычное начинание неизбежно воспринималось как «чудачество». Одержимость (на деле — увлеченность) заставляла рвать нити родства — будто взрывом размётывало семью такого безумца, даже когда идеи его не лишены были практического смысла и заслуживали того, чтобы осуществиться в экономике, в общественном переустройстве, в конкретном деле. Строго говоря, перед нами — все приметы неразвитого капитализма. В таких условиях даже лучшие из лучших среди венгерских интеллигентов, крестьян и ремесленников не могли найти приложения своим рукам и уму. Если они соглашались придерживаться рамок феодального крестьянского строя, общество великодушно дозволяло им сколотить зажиток на кулацкий лад (старый Тунёги); если же они оставались тверды в своих попытках построить хозяйство на новый лад, общество било наотмашь, подрезало крылья. Пожалуй, в таких «медвежьих углах», в атмосфере захолустного провинциального городка еще были в состоянии понять и простить «безумцев», както ужиться с ними. Все это художником Неметом великолепно показано, причем в социальном аспекте даже много лучше, чем удавалось до сих пор кому-либо из наших историков или экономистов, хотя писатель «просто» лишь отображает происходящее. «Просто» отображает? Но ведь в этой «простоте» и скрыта чудодейственная сила искусства: совершенство отображения!

Историю Эстер Эгетё следует читать как прекрасную средневековую притчу: с восторгом и наслаждением, с душевной растроганностью, не принимая, однако, полностью философской сути героини. Мы и без того станем лучше, ведь у современного человека потребность в любви, в духовном обогащении и очищении не менее сильна, нежели в средневековье. И тут искусство (в особенности через посредство таких гуманных и возвышенных, лишенных цинизма произведений) в значительной мере может оказать нам помощь. Не следует полагать, конечно, будто образ Эстер — это и есть идеал человечества, а ее представления об идиллической общине — истинная панацея от всех зол. Более того, этот жизненный идеал, как он рисуется Эстер, вообще иллюзорен.

В душе мы скорее согласимся с такими «безумцами», как ее отец — Лёринц Эгетё, который, оказавшись перед выбором, сознательно разрушает семейный «рай для себя» ради попытки — пусть тщетной! — создать новый, более совершенный мир для всех

людей. Приглядимся пристальнее к чоморканьским бунтарям — Эгетё, Яношу Вигу, кружку Деви. Понятно, что им не добиться успеха: слишком устойчивы те консервативные силы, с которыми они вступают в противоборство. Кроме того, ничуть не желая сводить роман Л. Немета к схеме, скажем все же, что конечная истина здесь отнюдь не таится за семью печатями: основной причиной поражения «чудаков» является их разобщенность, их одиночество; каждый за свои идеалы выходит на поединок с обществом в одиночку и, естественно, проигрывает.

Конечно, когда из огромного материала книги, воссоздающей картину жизни с ее социальной структурой и борьбой идей, до известной степени произвольно выхватывается тот или иной аспект, некоторое упрощение неизбежно. Но содержание романа, его весомость в конечном счете выверяется его общественно-политическим резонансом. Перед нами роман прекрасный и художественно богатый, он помогает нравственному самосовершенствованию человека; но он же содержит в себе и критику некоторых концепций автора, например когда сам он утверждает: «Все общество следует перекраивать заново, как одну семью». Но как мы знаем, преобразование общества не протекает без борьбы. Характер этой борьбы писателем понимается несколько абстрактно: как восхваление чувства общности, человеческой близости, живущего в душе Эстер; однако всех ее усилий оказывается недостаточно, чтобы создать гармонию даже в масштабах одной семьи... На заключительных страницах книги автор подводит читателя к мысли о том, что социалистический путь преобразования общества — плодотворнее усилий одиночки.

Социализм открывает равные возможности для развития перед творцом и экспериментатором, интеллигентом и крестьянином. Только при таких условиях, только благодаря единым, согласованным усилиям и великому труду умных, теоретически подготовленных борцов, можно создать новый, более совершенный жизненный уклад. Тогда новатора и первооткрывателя уж не причислят больше к одержимым и в самопожертвовании Эстер Эгетё также не будет необходимости.

ИШТВАН КРИШТО НАДЬ

г. Будапешт

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

Из современной австрийской поэзии. Перевод с немецкого. Составитель Л. Гинзбург. Предисловие Е. Витковского. Редактор А. Големба. Москва, «Прогресс», 1975.

В этой антологии представлены пять австрийский поэтов, творчество которых охватывает более чем полвека: с конца первой мировой войны до наших дней. При всем различии в убеждениях и поэтическом методе все они—из числа художников, открытых действительности и не стремящихся обрести покой ценой отказа от роли свидетеля, участника, а порой—и судьи своего времени. Поэзия для них — не убежище, не «башня из слоновой кости», а средство осознать и освоить то небывало новое, что внес в «условия человеческого существования» двадцатый век, в частности — уплотнившуюся связь человека и политики. Экспансия фашизма в Австрии, «аншлюсс» в 1938 году, война и поражение сформировали их убежденными антифашистами и определили жизненный выбор: для одних это была долговременная политическая эмиграция (Теодор Крамер, Гуго Гупперт [1]), отказ от родины (Эрих Фрид), для других (Ингеборг Бахман [2] и Пауль Целан [3]) фашизм обернулся трагической памятью, распавшейся связью времен — это был сознательный разрыв с устойчивыми формами жизни, существование в психическом климате катастрофы, скитальчество. И для всех переплетение времени и судьбы, поэзии и биографии было глубокой, едва ли не основной лирической темой.

А в чисто поэтическом плане перед всеми стояла проблема нового языка, соответствовавшего новому опыту. Читая антологию, мы видим, что каждый решал эту проблему по-своему. Опоры не было: предшествовавший период в австрийской поэзии завершился. Рубеж и границу знаменовало творчество Рильке. Окончательный и величественный мир позднего Рильке был непроницаемым, самодовлеющe замкнутым. Авторитет Рильке был велик, влияние — гораздо меньшим; для поэтов антологии он не значил почти ничего. В этом смысле все они — «после Рильке», с ними австрийская поэзия вступила в какую-то новую фазу.

Некоторые критики в Австрии называют Теодора Крамера (1897—1958) вторым после Рильке австрийским поэтом двадцатого века. Вместе с тем внутреннего родства между ними не было. Крамер — скорее антипод Рильке, поэт с принципиально простой (хочется даже сказать — опрощенной), непритязательной интонацией, певец, а не философ. Его диапазон локален; лучшие у него стихи — о природе. Природа у Крамера окологородская: отравленный фабриками воздух, пустыри и предместья, чахлые деревья, умирающие реки и среди этого унылого ущерба «огненно-красный рябины вихор», отрада глаз и отрада сердца, метафора, включающая широкий круг ассоциаций — дом, детство, «родина души»...

Чувство оскудения, утраты — сильнейшее у Крамера. Он остро ощущал разрыв между

[1] Произведения Г. Гупперта и рецензии на его книги неоднократно публиковались в «Иностранной литературе». См. «ИЛ» № 7, 1963; № 2 и № 6, 1967; № 9, 1971; № 7, 1973.

[2] Стихи И. Бахман были опубликованы в «ИЛ» № 3, 1974. Рецензия на повесть «Три дороги к озеру» напечатана в «ИЛ» № 2, 1975.

[3] Стихи П. Целана были опубликованы в «ИЛ» № 5, 1974.

«вчера» и «сегодня» («Меж мной и прошлым днем — зияющий провал»). Зыбок и ненадежен свет в его стихах: сумерки, «перрона слабый свет ночной». Герои Крамера — люди, неукорененные в жизни: бродяга, солдат, батрак. Поэт был внутренне и глубоко связан с простыми людьми. Вероятно, питала эту связь тяга к надежным и обнадеживающим представлениям, сохраняемым народной памятью, живущим в народной песенной стихии. В своей работе Крамер всегда опирался на фольклор:

Любимая, гы яблоня,
пушок щеки склоня,
как возле черного плетня,
стоишь возле меня.

(«Песнь о крайнем доме», перевод Е. Гулыга)

Перед войной Крамер уехал в Англию. В его поздних стихах антифашистские мотивы тесно переплетены с горькой лирикой изгнания («на чужбине в Лондоне я дома»), с переживанием трагической обреченности поэтического голоса, лишенного резонирующей и воспринимающей среды — родины:

...пылью полон мой охрипший голос:
вместе с ней в неведомом году
встану и шарманку заведу.

(«Вместе с пылью», перевод Е. Витковского)

Эрих Фрид (род. в 1921 г.) тоже эмигрировал в годы гитлеризма в Англию, где он живет и сегодня. После лирического напева Крамера поражает жесткостью логическая конструкция, лежащая в основе каждого стихотворения Фрида. Это поэт беспощадного зрения, рационалист и аналитик, мастер сарказма и гротеска.

У Фрида, в сущности, одна тема. Эта тема — Слово, понятое как краеугольный камень всей нашей цивилизации. Слово, теряющее смысл, и слово, строящее свой смысл заново Поэт исследует, что может сделать слово и что можно сделать со словом. И оно предстает у него то как обманчивый и лукавый инструмент, как игрушка в руках демагогов и преступников, то как источник чудной власти над душой поэта — и тогда даже не свойственная ему старомодная сентиментальность слышится в его голосе:

Слово прочнее глины
слово сыпучей песка
Слово мои именины
слово моя тоска

(«Логос», перевод В. Куприянова)

Очевидно, как важен адекватный перевод такой, филологической по преимуществу, поэзии, в которой слово — и материал, и своя собственная тема. В. Куприянов, который перевел большую часть стихов этого поэта в антологии, сумел передать не только формальные приметы фридовского стиля, но и высокий накал, и сдерживаемое волнение голоса поэта, резко отличающие его от многочисленных последователей:

И будет из вверх вниз
из приди будет уйди
будет из да нет
из добра будет зло
. . . . . .

Путь дальше
чем путь
дух меньше
чем дух
Страх больше
чем страх
смерть ближе
чем смерть

(«Усиления»)

В поэтике Фрида слово тесно привязано к своему значению. Фрид не признает за словом «плывущего» смысла и не ищет путей нового смыслообразования ни в глубинах языка, ни в глубинах бессознательного. Слово неразрывно у него с ясным светом разума. Напротив, Пауль Целан (1920—1970), стремясь с максимальной полнотой воссоздать в стихах свое смятенное и драматическое мировосприятие—так, словно он хотел в самом акте воссоздания вернуть себе утраченное ощущение реальности,— свободно прибегал к потоку иррациональных ассоциаций, неологизмам, уравнивал в правах фонетику и семантику и стремился вывести поэзию как бы за ее границы, в сопредельные области других искусств, в результате чего у него встречаются то отражения живописных структур —

Мне что-то говорят цветка родные губы,
Мечта, как бабочка, садится на рукав,

(«Я здесь один», перевод Г. Ратгауза)

то полифонические музыкальные композиции, как в знаменитой «Фуге смерти»:

мы роем могилу в воздухе там лежать
                попросторней
в доме живет человек играет со змеями
                пишет
когда над его Германией опускаются
                сумерки
он пишет о золоте кос твоих
                Маргарита
потом выходит из дома в ночь
                где сверкают звезды
скликает своих собак
                сзывает своих евреев
копайте копайте могилу копайте
                могилу в земле
а вы музыканты играйте танец
                чтобы было веселю
беритесь ка за смычки

(Перевод Л. Гинзбурга)

В отличие от Фрида Целан органически связан с романтизмом, о чем говорит и его тяготение к синтезу искусств, и часто приподнятый, экстатический тон, и острое чувство природы Есть у него и сакраментальная романтическая роза, но это, правда, «роза ничто, роза никому». Целан — человек как бы с обнаженной совестью — был болезненно восприимчив к двусмысленной ситуации поэта-романтика после фашистской тотальной спекуляции на мифах и темах романтизма. (Вспомним хотя бы Томаса Манна, засвидетельствовавшего, как остра была для немецкоязычных писателей проблема ответственности за прошлое «в свете нашего опыта»). Обозначившийся разлад между поэзией и действительностью он переживал как абсолютный и как «свой». Отсюда — его пронзительные интонации. Отсюда — преобладающие у него мотивы вины и поражения. И гема обреченности,

которую он порой доводил до размеров какой-то «отрицательной» космогонии:

Никто нас не вылепит больше из глины,
никто.
Никто не станет причитать
над нашим прахом.
Никто.
. . . . . .
Наш
светлый грифель души
в пыльных пустых небесах
выводит
пурпурную нить песни
над терниями,
над шипами.

(«Псалом», перевод В. Топорова)

Мы впервые достаточно близко познакомились с творчеством Целана, и можно с уверенностью сказать, что к этому поэту, в стихах которого и в недолгой, оборванной самоубийством, жизни было много метаний, но не было ни следа фальши, мы будем теперь возвращаться не раз, потому что не быстро и не вдруг раскрываются внутренние перспективы его поэзии — напряженной и требующей от нас встречного напряжения — и смысл его бескомпромиссного свидетельства о времени и о себе...

По сгущенной энергии переживаний, по драматическому рисунку рано оборвавшейся жизни к Целану близка Ингеборг Бахман (1926—1973), поэтесса, которая нередко достигала удивительной лирической силы и стала своего рода «легендой» в литературе послевоенной Австрии. Философ по образованию, она оставила философию ради поэзии (как поздней — поэзию ради прозы), но уроки немецкого экзистенциализма ясно прочитываются в ее стихах. Хотя, естественно, сильней, чем теория экзистенциализма, в стихах сказалась его трудноопределимая, но впечатляющая эмоциональная атмосфера:

Еще не погибло солнце,
еще уцелела земля,
Но стали иными, как новые звезды,
Мы выплыли в мир из аэропорта.
. . . . . .
Нам дан закон одиноких,
Нам дозволено здесь ждать чуда,
Это все.
. . . . . .
Думать — не дело пилота.
Летчики видят на карте
Линии трасс и знаки аэродромов,
Географию мира, где все известно
раз навсегда.

(«Ночной полет», перевод Г. Ратгауза)

Философские умозрения Бахман переводила на язык поэтической исповеди. Она объединяла полярные противоположности в своих стихах. Включала камерные драмы в сгусток «окруженной призраками власти» человеческой истории. Ее поэзия литературна. Свое поэтическое кредо она облекла в усложненную форму «гёльдерлиновского» гимна:

Как Орфей, я хвалю
Смерть, союзницу древнюю жизни
И всей земной красоте...
. . . . . .
Говорю мои темные речи.

(«Темные речи», перевод Г. Ратгауза)

Вместе с тем Бахман тяготела к простоте, к ясной речи. Ее стихи — это непрерывный ряд более или менее успешных опытов нисхождения с высот элитарности к людям, попыток контакта с ними. Неокончательность этих попыток, предельность контакта, суровое одиночество поэта — все эти темы образуют центральный (хотя и скрытый) нерв поэзии Бахман. У Бахман была глубокая, этическая по своей природе, потребность в создании целостной картины мира — такой, где все компоненты звучат в унисон и ни один не противоречит другому. Поэтому и в любовной лирике у нее движение чувства совпадает с движением времени, внешний мир и душа образуют сложное единство:

Ночь Рим ноябрь и больше не тревожь
прощанье без упреков и обиды
из темноты растут карнатиды
качаются колонны и пилястры
цветет сухое небо вянут астры
ныряет лунный диск во тьму колодца
уснуть неровно нервно как придется

(«Письмо в двух редакциях», перевод В. Топорова)

Бахман — последняя из тех поэтов антологии, кто пытается решать основные проблемы существования, не ставя под сомнение структуры буржуазного общества.

Нам остается сказать о поэте, в творчестве которого органическим элементом вошли перспективы исторического прогресса, принципиально новая концепция человека и времени. Это Гуго Гупперт (род. в 1902 г.), поэт-коммунист, на протяжении всей жизни тесно связанный с нашей страной, великолепный переводчик Маяковского, которому он многим обязан в своей поэтической работе. Гупперт — поэт с темпераментом трибуна и кругозором историка, с голосом, звучащим открыто и сильно. Он чувствует, как развивается история, видит магистрали этого развития.

От других участников антологии Гупперта отличает и особое отношение к поэтическому наследию прошлого. Ощущению разрыва с культурным пантеоном, столь острому, например, у Бахман и Целана, Гупперт противопоставляет сознание личной сопричастности всем высшим проявлениям человеческого гения, его поэзия — как бы открытый диалог с лучшими поэтами, писавшими по-немецки, от Клопштока до Вайнерта. Ясность мировоззрения обуславливает свободу и широкое дыхание его поэтического голоса. Живую фактуру его поэзии составляет движение времени в конкретных деталях, видоизменениях; это своего рода хроника нашего времени с датами, фактами, именами. В антологию вошли поэтические портреты Маяковского, Томаса и Генриха Маннов, Хулиана Гримау. Долгие годы Гупперт работает над поэтическим воплощением образа Ленина, воспринимая его как центральный образ современности:

Повседневное присутствие Ленина
оперяет молодые мысли,
проясняет горизонты,

очищает легкие и бронхи —
чтобы легче,
чтобы громче прозвучал голос радости
в ратоборстве за мир...

(«Рапсодия: хлеб и розы», перевод Ю. Хазанова)

Сила этих, как и других, стихов Гупперта — в том, что написаны они с высоким пристрастием человека, уверенного в своей правоте, знающего правду века.

А. ЧАНЦЕВ

Издано за рубежом

КРОВЬ И ПЛАМЯ КУБЫ

Manuel Cofiño. Cuando la sangre se parece al fuego. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1975.

Показать, как в сознании одного человека живут и борются два мировосприятия — мифологическое и реалистическое, как одно уступает место другому по мере сложного духовного роста героя, обогащения знаниями и воспитания чувств,— такую цель поставил перед собой и осуществил в романе «Когда кровь похожа на пламя» молодой кубинский писатель Мануэль Кофиньо. При этом он сумел добиться того неразрывного единства формы и содержания, которая, по словам С. Эйзенштейна «отличает подлинные произведения искусства».

Имя Мануэля Кофиньо известно читателям «Иностранной литературы» — на ее страницах в 1973 году был опубликован его первый роман «Последняя женщина и близкий бой». В 1971 году этому произведению была присуждена — по единодушному решению жюри — премия «Каса де лас Америкас». Второй роман писателя, на мой взгляд, представляет собой значительное достижение, явление действительно заметное среди многих произведений современной латиноамериканской прозы, прозы, которая при всем различии контекстов — экономических, политических, культурных, расовых — стремится отразить, по выражению Алехо Карпентьера, эпическую сторону действительности.

Я бы назвала роман Кофиньо своего рода лирической эпопеей. Герой книги, молодой мулат Кристино Мора Аргудин, рассказывающий на ее страницах свою историю, похож на многих других вышедших из народа юношей. В его судьбе, в его маленькой вселенной (дом на окраине Гаваны с его обитателями, трушобы Лас-Ягуас, где мальчик родился и рос) как в зеркале отражена судьба народа, частицей которого является сам Кристино, так стремящийся познать открывающийся за пределами его узкого мирка широкий мир кубинского общества. Вот почему прочитав знаменитую речь Фиделя Кастро «История меня оправдает», он скажет: «Там говорилось и обо мне».

Роман «Когда кровь похожа на пламя» написан так, что, читая его, словно бы становишься свидетелем идейного и духовного преображения Кристино Моры. Выросший в семье портового грузчика, рано потерявший отца, он с самого детства погружен в атмосферу древних африканских верований, некогда привезенных на Кубу неграми-рабами. Для Кристино, хотя и живущего в середине XX века, африканские «святые» и их могущество столь же реальны, сколь и камни, морские раковины, растения, животные, явления природы, в которых они якобы воплощаются. Он верит в покровительство богов, в колдовство и заговоры, в порчу и сглаз, в амулеты и талисманы, с таким мастерством и на любой случай жизни изготовляемые его бабкой, «знахаркой» и «ведуньей», как считают окружающие. Повзрослев, Кристино, побуждаемый сыновней привязанностью и глубоким уважением к памяти убитого батистовской охранкой отца, принимает его религию и вступает в секту «абакуа».

Постепенно сама жизнь да и общение с друзьями: Анхелем, Бруно, Роли — будущими участниками революционных боев на Кубе — порождают в юноше первые сомнения в том, что раньше без колебаний принималось на веру. Дружба с благородными, самоотверженными людьми заставляет его включиться — поначалу, правда, только из чувства симпатии к ним — в подпольную борьбу против кровавой диктатуры Батисты. И вот — проделав мучительный и долгий путь, став свидетелем торжества революции (1959) победы при Плайя-Хирон (1961), дней октябрьского кризиса (1962), все глубже осмысляя новую действительность — Кристино сбрасывает, наконец, груз старинных верований. Его убеждениями становятся идеи революции, которую он принимает как свою.

Жизненные перипетии героя и история его взаимоотношений со множеством персонажей, чьи судьбы переплетаются с его собственной, изложены в двадцати шести главах, написанных от первого лица. Однако как бы ни были интересны и волнующи эти фрагменты особую глубину и объемность произведению придает авторское умение чередовать и накладывать один на другой разные временные и пространственные планы, пласты объективной и «субъективной» реальности. Добиваясь желаемого эстетического эффекта, романист располагает события и персонажей в определенной перспективе, которая помогает выявить их неповторимые особенности.

Стремясь создать вполне живой и яркий образ своего героя, Кофиньо строит повествование так, что облик Кристино, каким он предстает из его собственного рассказа, постепенно дорисовывается и уточняется «свидетельствами» других действующих лиц романа. «Свидетельства» эти как бы вкрап-

лены между автобиографическими признаниями и воспоминаниями Кристино. Воспоминания охватывают героя, уже зрелого человека, когда он приходит взглянуть на дом своего детства — в последний раз, ибо его должны снести; опустевший дом, готовый вот-вот рухнуть, как рухнули прежние верования Кристино, становится для него символом уходящей жизни, на смену которой идет новая...

Поток образов прошлого, проносящихся в сознании Кристино Моры, дан как бы с известной дистанции и предстает словно «вторая» реальность. «Эффект удаления» достигается тем, что рассказ в эти моменты ведется от второго или третьего лица. Воспоминания героя, таким образом, проецируются извне, то зыбкие и расплывчатые, то более четкие и близкие.

И, наконец, оригинальное обрамление, а может быть, фон книги составляют девятнадцать «виньеток», изображающих богов и богинь афро-кубинских мифов. «Виньетки» включены в повествование так, что почти ощутимо воссоздают фантастический мир, который в сознании Кристино переплетается с миром реальным: близкие ему люди причудливо соотносятся в его воображении с персонажами мифов, словно обретая свое продолжение в образе того или иного божества... Например, образ бабушки, служащий в книге связующим звеном между мифом и реальностью, тесно спаян с образом ее покровителя—одноглазого бога Осаина: он «шагает, опираясь на палку, сделанную из сплетенных древесных корней, от него исходит запах соков растений и трав, кожа его, подобно коре деревьев, хранит следы разных времен, отпечатки многих весен».

В последней «виньетке» тонко намечена самая заветная и важная для автора параллель, подводящая к пониманию перелома в сознании героя, его обращения к революции.

Сказочно-мифологические «виньетки» никоим образом не нарушают реалистического рисунка романа, вернее — того особого характера его реализма, который Алехо Карпентьер определил в свое время как «чудесную реальность». Произведение Мануэля Кофиньо (сюжетную основу его все же составляют события строго реальные) убедительно подтверждает слова Маркса, вынесенные в эпиграф: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами природы»[1], когда человек осознает это «действительное господство» над ними

В отличие от буржуазных писателей-антиреалистов Кофиньо вовсе не «апеллирует к мифу». В своей фантазии люди придумывали богов по своему образу и подобию, а их действия и поступки представляли по образу и подобию собственных. Вот почему, переплетая миф и реальность, писатель лишь усиливает поэтическое звучание и воздействие произведения. Этот прием дает ему возможность показать своих героев многомерно, создать яркие и запоминающиеся картины.

Рисуя столкновение двух типов сознания — мифологического и реалистического, научного,— он обнажает борьбу противоположных начал в духовном мире человека. Герой книги обретает, наконец, равновесие: его прошлое перестает быть преградой для настоящего. Отныне он может, говоря словами Уитмена, также служащими эпиграфом к роману, «наполнить будущим душу свою».

МЭРИ КРУС

. Гавана

[1] Сборник «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». М., «Искусство», 1967, т. I, стр. 121.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПРОЗРЕНИЕ

Alexandru Ivasiuc. Iluminări. Bucureşti, Editura Eminescu, 1975.

Ежегодное появление новых произведений Александра Ивасюка стало уже привычным для румынских читателей Вступив в литературу всего десять лет тому назад, писатель выпустил только за последние годы две книги эссе и три романа — «Птицы»[1] (1971), «Водоворот» (1973), «Прозрение» (1975). Привычным стало и то, что каждая книга Ал Ивасюка, как и его еженедельные выступления на страницах журнала «Ромыния литерарэ» под общим заголовком «Pro domo», встречается у нас в Румынии с большим интересом и порождает бурные дискуссии среди читательской и писательской аудитории.

При всех разногласиях по частным вопросам критики единодушно признают талант Ал. Ивасюка. Его прозу определяют в первую очередь такими эпитетами, как «трезвая», «аналитическая», «объективная» — в противовес «субъективной» лирической прозе, прочно утвердившейся в румынской литературе в последние годы и представленной такими разными писателями, как Захария Станку, Фэнуш Нягу, Штефан Бэнулеску и другие Произведения Ивасюка относятся к разряду интеллектуальной, философской прозы, в которой большое внимание уделено идеологическому спору, борьбе мнений. В поисках родословной некоторые критики ссылаются на такой давний жанр, процветавший во французской литературе XVII—XVIII веков, как «речь», «выступление» (discours), и считают, что главная цель романиста — это не только поведать о чем-то, но... и доказать, *убедить*. По мнению же самого писателя, достоинство прозы определяется «количеством» тех

[1] Рецензия на роман «Птицы» была опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 1973.

философских идей... нагрузку которых могут выдержать персонажи и описанные автором ситуации, и отсылает своих читателей к более близкой традиции, общей для многих романистов нашего века. «Можно считать,— сказал в одном из интервью Ал. Ивасюк,— что писатель достиг успеха, если он сумел включить органически в свое произведение фундаментальное эссе вроде легенды о Великом Инквизиторе, которую Иван Карамазов рассказывает... для того, чтобы выразить самого себя в ходе напряженного эпического действия».

В соответствии с таким кредо романист создает произведения, в которых приемы эпического повествования уступают место внутреннему монологу, диалогу, своего рода поединку мнений. Ал. Ивасюк стремится вовлечь читателя в сложный спор, который возникает в ходе утверждения или опровержения выдвинутой им идеи. Отсюда определенная афористичность стиля, абстрактная метафоричность, склонность к философским обобщениям, к символике (взять хотя бы заглавия: «Водоворот», «Прозрение» и т. д.). Успешное использование психологического и социального анализа, зоркость писателя, хорошо владеющего оружием диалектики, позволяют ему избежать тезисности, которая могла бы возникнуть в ином случае.

Таким образом, в структурном плане романы Ал. Ивасюка скорее всего повторяют друг друга, как здания, построенные в основном по одному и тому же архитектурному замыслу. Правда, «Водоворот» открыл новые грани романического таланта Ивасюка, подтвердив способность автора создать эпическое произведение в духе традиционного романа. Однако роман «Прозрение» возвращает нас вновь к предыдущим художественным поискам. Не случайно критик К. Регман, определяя его место в творчестве писателя, заметил: «Перед нами прежний Ивасюк». Но, как всегда бывает у подлинных талантов, это не возвращение на прежние, изведанные позиции, а еще один виток спирали: более развернутой стала интрига, расширился и углубился историко-социальный фон

Последовательным единством отличается проза Ал Ивасюка и в тематическом плане. Все герои Ивасюка мучительно пытаются найти ответ на вопрос: в чем правда жизни? Что есть добро, в чем находит оно выражение и как утверждается в современном мире? В этом смысле Паул Аким, ведущий персонаж романа «Прозрение», напоминает таких героев, как Ливиу Дунка («Птицы») или Паул Дунка («Водоворот»), а многие окружающие его лица (Николае Георге, Татьяна Добреску, Диною и другие) имеют черты, также присущие образам, ранее созданным писателем.

Морально-философский спор в романе «Прозрение» развертывается вокруг вопроса о путях постижения правды и смысла жизни. Роман отвечает на этот вопрос, исходя из противного и показывая, *как не следует жить*, каким путем *нельзя* добиться ни правды, ни счастья в жизни. Он весь направлен на разоблачение карьеризма, стремления к самоутверждению вопреки справедливости, правам и интересам других людей.

Действие книги развивается в среде ученых, той научно-технической интеллигенции высшей квалификации, где, по мнению автора, «особенно остро встают некоторые вопросы современного общества, проблемы строительства социализма».

В романе ощущается хорошее знание этой среды, даже определенная осведомленность в специальных научных проблемах, но в центре внимания автора — морально-этические вопросы.

Паул Аким — профессор, доктор наук, авторитетный ученый, директор крупного научно-исследовательского института — переживает духовный кризис. У него и наступает «прозрение».

И начинается оно неожиданно. Ничего, кажется, не угрожает блестящей карьере Акима. Но внезапно, как это случается иногда и с героями Достоевского, Паул Аким решает критически пересмотреть свое существование. «Я посредственность. Я очень, очень посредственный человек...» — вот слова, с которых начинается «прозрение».

Подобные кризисные ситуации, дающие толчок развитию интриги, мы встречаем во многих произведениях Ивасюка. В публицистических выступлениях автор не раз подчеркивал, что человеку свойственна «радикальность». Под «радикальностью» писатель понимает стремление к ломке определенных установившихся, но уже изживших себя структур и взаимоотношении во имя создания новых.

Естественно, «радикальность» героев Ивасюка приводит порой к трагическим конфликтам. Паул Аким разрушает внешне гармонические «структуры», определяющие его до сих пор благополучное существование, подвергая суровому суду прошлое и настоящее. Память восстанавливает путь, который привел его к осуществлению мечты, возникшей у молодого начинающего исследователя: «У меня будет *свой* институт. Не лаборатория, а *институт*». «Свой институт» для Акима — это вершина самоутверждения. Но его жизненная дорога — это дорога лжи, предательств по отношению к самой науке и к людям, которые защищают подлинную науку. Год за годом, по мере того как Аким «продвигается вверх», он все дальше и дальше уходит от правды. «Ваш ум,— говорит ему инженер Строеску,— которым я так восхищался, столь утонченный, гибкий, я бы сказал, необычный... стал вашим главным, смертельным врагом, он повел вас по пути к варварству».

«Варварством» (то есть утверждением грубой силы, разрушающей разумное, возвышенно интеллектуальное начало) является вся научная карьера Акима, достигнутая с помощью ловких и хитрых интриг. Это именно карьера, а не служение науке, циничная борьба за продвижение, за награды и посты, а не горение в поисках правды. Естественно, что окружает себя Аким людьми серыми, лишенными таланта, но страстно стремящимися к карьере и

ради нее готовыми на любые компромиссы. В них, как в системе зеркал, отражаются и судьба самого Акима, и та ситуация, на фоне которой развивается кризис героя. Большой, прекрасно оборудованный научно-исследовательский институт, где, казалось бы, должны разрабатываться сложные и важные проблемы, оказывается заселенным посредственными людьми, среди которых много и просто невежд. Наиболее интересен в этом смысле образ Николае Георге, заместителя Паула Акима. Их связывает давняя дружба, совместные выступления в защиту «подлинной науки» и «принципиальности», вследствие которых были вытеснены из института честные, умные и способные сотрудники. Крепколобый, но упорный Николае Георге, спокойно утверждающий, что «*любая* научная теория, *любое* уравнение *может* стать опасным»,— уродливое alter ego Паула Акима. Взаимоотношения этих двух персонажей напоминают в какой-то степени взаимоотношения Ивана Карамазова и Смердякова.

Аким подсказывал Николае Георге разного рода «ходы», аргументы и пути борьбы. Сам он только восседал в президиумах, выступал с высоты якобы объективной научной точки зрения; все склоки, интриги, всю «черную работу» вел Николае Георге. Этим и объясняется его особое отношение к Акиму. «Я твой невидимый защитник против сумасшествия»,— говорит он герою. Николае Георге, для которого идеальный мир — это мир, полный стабильности, лишенный в одинаковой мере как блеска, так и потрясений, не может рассматривать духовный кризис Акима иначе как сумасшествие. «Радикальность» Акима, если вернуться к этому термину, ему кажется нелепой, опасной и непонятной. Но уже наступивший у Акима процесс переоценки продолжается, и именно с него, с Николае Георге, начинается разрушение «установленных структур» и разрыв установленных отношений. Аким пересматривает, переоценивает работу всего института, всех сотрудников, и пытается разобраться в собственных ошибках.

Кризис, казалось бы, разрешен, и разрешен в положительном смысле. «Кризис — лучший признак. Нет большей надежды, чем кризис»,— говорит один из персонажей романа.

Однако же, в противовес естественно ожидаемому развитию, герой не приходит к новым рубежам, в его жизни не начинается новый этап. Все остается по-прежнему. Вспышка «радикальности» и самокритики не привела ни к коренным изменениям в жизни института, ни к моральному возрождению его директора. Прозрение не состоялось в подлинном и глубоком смысле слова. Но в этом-то и особый внутренний смысл книги, и значение таких образов, как Паул Аким и Николае Георге. «Прозрение— это ироническое заглавие»,— подчеркивает Ал. Ивасюк в своих выступлениях и интервью по поводу романа, где положительный идеал и та правда, которую утверждает автор, ярко выступают из подтекста.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ

г. Бухарест

НОВЫЕ КНИГИ МИГЕЛЯ ДЕЛИБЕСА

ГЛАЗАМИ КИКО

Miguel Delibes. El príncipe destronado. Barcelona, Edición "Destino", 1974.

Первое, что бросается в глаза на голубой обложке,—смешной и трогательный детский рисунок: под солнцем, очень похожим на удивленный глаз, кривой паровоз тащит сцепленные вагоны, а два бородатых человечка, босые, но в шляпах, растопырили руки рядом с крохотной машиной. Что это — книга для детей? Вовсе нет. Новое произведение испанского писателя Мигеля Делибеса, уже известного советскому читателю, адресовано взрослым.

На родине автора роман «Развенчанный принц» имел успех. С декабря 1973 по сентябрь 1974 года он выдержал четыре издания. В центре романа — трехлетний мальчик Кико, пятый ребенок из шести детей сеньора Инфанте. Книга состоит из случайно подслушанных Кико разговоров взрослых, в которых беспорядочно мелькают имена, намеки на события, минувшие и предстоящие, и только к концу складывается общая картина и проясняются отношения между действующими лицами. Наивное, незапятнанное предрассудками «взрослого» мира восприятие ребенка используется Делибесом для того, чтобы показать драматические коллизии, вызывающие взаимную ожесточенность членов семьи Инфанте, и в более широкой перспективе — социальные противоречия, присущие современному испанскому обществу.

В романе Делибес вплотную приблизился к самому раннему детству в тот момент, когда человек становится человеком, начинает мыслить и запоминать. Для Кико вещи пока еще существуют отдельно одна от другой, вне логической взаимосвязи, что делает его внутренний мир похожим на цветную картинку, составленную из маленьких ярких кусочков. Фантастические образы в сознании ребенка не менее реальны, чем действительные. «Кто ему рассказал все это?» — удивляются взрослые. Все и никто. Просто детское сознание сцепляет запомнившиеся моменты в единую цепь, поражающую своими причудливыми формами.

Маленькие дети многого не понимают, но многое чувствуют, особенно если это связано с переменой отношения к ним. В таких случаях дети переживают душевную травму, как это случилось с Кико. С рождением младшей сестры жизнь его совершенно изменилась: из кумира семьи он превращается в «развенчанного принца». Нет прежней любви и ласки. Теперь ему уделяют внимание только в том случае, когда хотят убедиться, что он не испачкал

штанишки, ничего не порвал и не изрезал, когда его заставляют есть или гонят из комнаты. Кико твердят, что он надоедлив, и шлепают за каждую провинность.

Безуспешно пытается Кико вернуть утраченное внимание и любовь. Родители заботятся лишь о том, чтобы ребенок был сыт и здоров. А «переживания» малыша им кажутся смешными и забавными.

Проблема воспитания живо волнует Делибеса. Как вырастить ребенка, сохранив его индивидуальность? Занятая личными делами, сеньора Инфанте не сразу прислушивается к предупреждениям тети Кико (сестры мужа) и врача Эмилио о том, что необходима постоянная забота о нравственном воспитании ребенка. Ситуация осложняется тем, что между родителями Кико уже давно идет скрытая война. Сталкиваются два начала, два различных взгляда на жизнь. Отец хочет видеть своих детей «настоящими мужчинами с автоматами в руках», поощряет военные игры, разжигает в сыновьях милитаристский дух. Бывший участник войны, ныне занимающий высокий пост, он все-таки недоволен — слишком много сложных проблем, слишком много ответственности за решения налагает на него мирная жизнь. Иное дело — война! По мнению сеньора Инфанте, на войне легко и просто: главное — исполнять приказ, убивать и не быть убитым. Жертвой подобного воспитания становится его сын Хуан. Возбужденный рассказами о войне, которую отец называет «святым делом», мальчик только и думает что о пушках и танках, о военнопленных и убитых. Обычное пристрастие мальчишек к военным играм перерастает у него в настоящую манию.

Глава семьи любит разглагольствовать о честности и достоинстве, об уважении человеческой личности. На деле же он запрещает старшему сыну иметь «свое мнение», отличное от его собственного, и заставляет его пойти на манифестацию по случаю 25-летия вступления франкистских войск в Барселону. И хотя мать Кико, воспитанная в семье с прогрессивными убеждениями, пытается привить детям чувство справедливости и человечность, в обстановке лжи, лицемерия и грубого нажима эти ростки добра могут быстро погибнуть.

Действие «Развенчанного принца» длится всего двенадцать часов. День, прожитый Кико и его родными на страницах романа, точно обозначен — это 3 декабря 1963 года. Автор не случайно относит действие к началу 60-х годов. В 1962 году состоялась грандиозная забастовка горняков Астурии. Участились выступления студентов и интеллигенции в разных городах страны. Разрозненные дотоле проявления недовольства грозили слиться в то мощное движение, что потрясает сегодня испанское государство.

Сеньор Инфанте, этот рядовой и вместе с тем полномочный представитель франкистского режима, много лет после войны не испытывавший ни малейших сомнений в прочности и всесилии порядка, который он помог установить, внезапно сталкивается с сопротивлением — пока еще пассивным, но сопротивлением — в его собственном доме.

Камерная ситуация романа Делибеса в этом смысле символична — свежему, обостренному восприятию маленького испанца, только вступающего на порог сознательной жизни, противостоит общество, чреватое конфликтами, расколотое на подавляющих и подавляемых, обманывающих и обманутых, властвующих и тех, кто больше не хочет безропотно подчиняться.

Н. ИЛЬИНА

СУДЬБА ПАСИФИКО ПЕРЕСА

Miguel Delibes. Las guerras de nuestros antepasados. Barcelona. Edición "Destino", 1975.

Совершенно справедливо отмечает Н. Ильина, что в «Развенчанном принце» Делибес, используя камерную ситуацию романа, показывает, как «сталкиваются два начала, два различных взгляда на жизнь». В «Развенчанном принце» явно звучат тревога и предупреждение, но не безнадежность. Сегодня Кико нужна пушка, «чтобы идти на папину войну»; совершенно ошалел от книг и разговоров о войне Хуан. Но знаменательно, что самый старший брат Кико — шестнадцатилетний Пабло — осмеливается высказывать идеи, прямо противоположные отцовским. И поэтому хочется думать, что юный герой сумеет разобраться, на какой стороне ему быть в «своей войне», а она уже начинается, ибо скоро Кико и его сверстники войдут в аудитории университетов.

Таким образом, в книге, казалось бы вводящей нас в безоблачную страну детства, необратимо жестко поставлен вопрос о становлении человеческой личности.

Появившийся вслед за «Развенчанным принцем» роман «Войны наших отцов» (1975) отличается от первого и по своей тональности, и по жизненному материалу. Это исповедь крестьянского парня Пасифико Переса, совершившего немотивированное убийство, присужденного к гарроте, замененной тридцатилетним заключением. И тем не менее обе книги близки по духу, по тем нравственным и социальным вопросам, которые в них поставлены.

Семь вечеров подряд рассказывает Пасифико Перес тюремному врачу Бургеньо Лопесу историю своей жизни. Семь вечеров подряд звучит его грубоватый голос, прерываемый направляющими вопросами врача. Первые три вечера — предыстория преступления. И здесь необычайно жизненно воспроизведено бытие маленькой деревушки Уман. Люди радуются и горюют, собирают урожай и охотятся, молятся и грешат и... убивают людей с такой же простотой, как и животных. Вместе с автором входим мы в дома крестьян, видим их за столом, вникаем в старинные обряды и обычаи, вслушиваем-

ся в неповторимый народный говор, любуемся сдержанной природой Кастилии. Эти страницы — вероятно, лучшее, что создал писатель о горячо им любимой старой испанской деревне, которой он посвятил немало книг.

Но сегодня для него это лишь фон, на котором разыгрываются основные события. Пасифико родился в семье, где многие поколения вели беспощадную войну. Прадед, дед, отец Пасифико — каждый из них прошел через свою войну. Прадед — участник карлистских войн, потрясавших страну в XIX веке. Дед воевал в Африке. Отец — на стороне франкистов — в войне 1936—1939 годов. Жестокость и кровь для них привычны и обыденны. Прадед орудовал «примитивным» методом — штыком. Дед нажимал на гашетку пулемета. Отец не видел своих жертв. Смерть становилась безликой и всеобщей. «До мозга костей мы пропитаны войной»,— говорит дед. Война — гарантия мужского достоинства для этих людей. С нетерпением ходят они ежедневно на почту, чтобы узнать, не пришла ли телеграмма о войне, предназначенной для Пасифико. На вопрос врача, какую же войну ждали для него, Пасифико отвечает: «Они ждали мою войну, откуда бы она ни пришла». Непрерывно в деревне идет и своя малая война — между семействами Уман и Отеро.

И в этом мире, агрессивном и враждебном, рождается ребенок с «патологическими» отклонениями от «нормы» — добрый, ласковый, не способный к злу, страдающий от того, что деревьям больно, когда им подрезают ветви, умеющий различать голоса рек. Образ Пасифико для писателя не нов. Уже в романе «Дорога» (1950) появляется сын бедного деревенского сапожника Герман, по прозвищу Паршивый, беззаветно любящий птиц и изучивший их инстинкты и повадки. Жизнь центрального персонажа романа «Крысы» (1962)[1], мальчика Нини, проходит в тесном общении с природой. Полтора десятка лет тому назад эти герои воспринимались как вполне реальные типы крестьянских ребят, хотя, впрочем, и тогда уже маленький мудрец Нини, постигший тайны природы, временами отрывался от жизненной почвы и превращался в собирательный образ народного знания и умения. Образ Пасифико, при всем его правдоподобии и при всей жизненности окружающих его реалий,— условность, позволяющая писателю выявить трагический конфликт между существующим строем жизни и дорогим ему идеалом.

Символично само имя героя: ведь Пасифико по-испански — мирный. Пасифико был единственным в роду, кто не стремился к войне. Но, по воле старших, вся его короткая жизнь превращается в ожидание и подготовку к ней. За то, что Пасифико не разделяет вражды, испытываемой его близкими к другому семейству, ему так достается от прадеда, что мальчик месяц залечивает раны. А позже его заставляют принять участие в торжественном ритуале убиения проштрафившегося дворового пса. И когда, наконец, хладнокровно и без всяких угрызений совести Пасифико убивает брата своей возлюбленной Канди, ничего дурного ему не сделавшего, воспитание во зле как бы завершается.

Какую же роль играет в романе Канди? Она — девушка из города, типичная представительница современного студенчества. С увлечением рассуждает о прогрессе, правах женщины, презирает предрассудки, выступает сторонницей свободной любви и изъясняется на таком языке, что заставляет краснеть жителей селения, курит, пробует наркотики. Образ Канди противоречив и по-своему символичен, как и многое в этой книге, звучащей временами как притча. Канди олицетворяет влияние города, к которому с такой настороженностью относится Делибес. Она любит Пасифико, готовится стать матерью его ребенка. С одной стороны, любовь ее по-своему спасительна для Пасифико. На какое-то время девушке удается освободить его от гнетущей атмосферы, где господствует инстинкт убийства и смерти. Она говорит Пасифико: «Ты и я... мы идем в поисках общества более чистого». Но оторвав Пасифико от природы, Канди ослабляет и его естественный иммунитет к злу. И символично, что именно встреча с ней привела Пасифико к преступлению.

Пасифико обречен. Он был чужим в собственной семье. Чужим он остается и в тюрьме. Не случайно доктор Бургеньо говорит о нем: «Казалось, он был совершенно далек от всего окружающего». И тут проступает второй, глубинный пласт романа и выявляется парадоксальная и тем не менее истинная мотивация убийства и поведения Пасифико. Если бы Делибес лишь показал, что, убив, он стал таким же, как и его родные,— это была бы еще одна грустная история человека, сломленного обстоятельствами. Но Делибесу необходимо выявить абсолютную несовместимость нравственных начал, заложенных в Пасифико, и окружающей его среды. И поэтому, убив, герой внутренне не изменился. Но он не мог и не убить. Для него — это единственная трагическая возможность вырваться из своей среды, причем не иллюзорная, как в случае с Канди. И убийство — первый шаг на пути к избавлению, противоестественный способ возвращения к естественному состоянию. Поэтому так спокойно относится Пасифико к утрате свободы и к тому, что его ожидает.

Но надежда на то, что стены тюрьмы защитят его от жестокости и деспотизма родных, рушится. Некий дон Сантьяго заставляет больного Пасифико вместе с другими заключенными рыть подземный ход, чтобы совершить побег. Но вот Сантьяго убивает надзирателя, и происходит, казалось бы, непонятное. Вину на себя берет Пасифико — но отнюдь не потому, что боится

[1] См.: Мигель Делибес. Избранное. Москва, «Прогресс», 1975.

Сантьяго или хочет помочь заключенным. Нет. «Признание» Пасифико вполне логично: и в тюрьме он не нашел желанной свободы. Единственно доступный теперь для него способ обретения ее — «уйти совсем».

Избранная форма повествования подчеркивает драматизм ситуации. Исповедь смертельно больного, вбираемая равнодушной машиной — магнитофоном, превращается в символ. Все было. Семья, возлюбленная, природа, к которой его так тянуло. Впереди — ничего. Вместе с Пасифико уходит образ жизни, который он воплощал. И как лейтмотив его исповеди, всей книги — чувство ностальгии по безвозвратно исчезающей доброй старой деревенской Кастилии.

Разоблачая и осуждая насилие над человеческой личностью, Делибес отвергает не только насилие и войну вообще. Здесь, как и в «Развенчанном принце» (а это в еще большей степени внутренне объединяет обе книги), на ход действия накладывает отпечаток вполне реальная война, развязанная франкистами против испанского народа. Спустя двадцать пять лет она определяет систему мышления и поведения отца Кико, ведь война — основа его жизненных успехов. Война, отношение к ней — один из водоразделов в этой семье. Разобщенная на два враждующих лагеря деревня Уман в «Войнах наших отцов», средоточение ненависти и жестокости — сама разделенная Испания. Война становится источником бед и гибели Пасифико.

В обоих романах этическая и социальная критика буржуазного общества и его конкретного испанского варианта — франкизма становится всеобщей. С каких же позиций осуществляется эта критика?

Писатель по своим убеждениям католик, и это находит прямое отражение в его книгах. Сегодня в Испании левые католики вместе с коммунистами и другими честными людьми требуют коренных преобразований и выступают против общества, чертами которого, по определению Делибеса, является «рост насилия, автаркии, недоверия, несправедливости и эксплуатации человека человеком». И в своих произведениях писатель защищает бедных и угнетенных, их прошлое, настоящее и будущее, их чувство собственного достоинства.

В. ЯСНЫЙ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

«ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ» Р. ХОЛЛА

Журнал «Оверлэнд» высоко оценил сборник «Избранных стихотворений» Роднэя Холла, где собраны стихи последнего десятилетия. Холл находит форму, которая удачно соответствует его поэтической индивидуальности, пишет журнал. По мнению критиков, мастерство Холла становится все более отточенным. Диапазон его дарования поистине велик: он с успехом пишет нежные лирические стихи и едкую сатиру. Этот сборник, подчеркивает журнал, не может оставить равнодушным ни одного истинного ценителя поэзии.

АНГЛИЯ

СБОРНИК СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

В издательстве «Артс каунсл» вышла первая книга новой серии современного английского рассказа, которую собирается отныне выпускать известная английская писательница Маргарет Дрэббл.

АНГОЛА

В Польшу вернулась съемочная группа студии документальных фильмов во главе с режиссером и оператором Антони Ст-ськевичем. Целью поездки были съемки документального фильма об Анголе — стране, которая обрела независимость и приступила к строительству новой жизни после пятисот лет неволи.

Редактор картины Хенрик Янтос рассказал: «Мы проделали тысячи километров по стране на самых разных машинах, в самолетах и пешком, что было нелегко с киноаппаратурой на плечах. Но отсняли пять тысяч метров цветной и почти полторы тысячи черно-белой пленки. Мы были свидетелями празднования Первого мая в Анголе. И я подумал, глядя на марширующих людей: вот идут те, кто ждал этого марша несколько столетий. Было в этом марше нечто величественное и возвышенное».

На снимке: кадры из фильма.

(Журнал «Экран»)

В предисловии к сборнику М. Дрэббл пишет, что задача этой публикации не в том, чтобы ознакомить английского читателя с лучшими рассказами прозаиков Великобритании, а в том, чтобы дать возможно полное представление о состоянии современного английского рассказа и открыть новые имена.

Из 700 присланных на конкурс рассказов отобрано только 39. Среди них — произведения таких известных писателей, как Джайлз Гордон, Габриэль Джозиповичи, Дервент Мэй, Дейвид Холбрук, Норман Левин, а также начинающих прозаиков — Ричарда Остина, Эсмэ Доддридж и других.

Вэлентин Каннингхем, рецензент «Таймс литерари сапплмент», отмечая несомненный интерес выпущенного Маргарет Дрэббл сборника рассказов, тем не менее отмечает, что это еще одно свидетельство плачевного состояния современной британской прозы, в которой усматривается засилие «скучных тем, скучных героев, скучных проблем».

БОЛГАРИЯ

ПОЭТЫ АПРЕЛЯ

Как значительное событие литературной жизни отметила болгарская литературная общественность 20-летие Апрельского пленума Центрального Комитета Болгарской Коммунистической партии, состоявшегося в 1956 году и сыгравшего большую роль не только в политической и экономической, но и в культурной жизни страны. Влияние новой общественной атмосферы отразилось прежде всего на болгарской поэзии, где вскоре после пленума появилось целое поколение поэтов, за которым прочно утвердилось название «апрельского».

Стихи поэтов этого поколения составили вышедшую в связи с 20-летием пленума антологию «Поэты Апреля», получившую высокую оценку критики. Первым провозвестником новых веяний, отмечает журнал «Септември» в рецензии на антологию, певцом социалистического строительства был Пенью Пенев. Вслед за ним появилась когорта молодых поэтов, родившихся в 1930—1937 годах, но считающих годом своего настоящего рождения год 1956-й. В это время ими были написаны первые стихотворения, вышли их первые сборники стихов. То был новый этап в болгарской литературе, отличительной чертой которой, особенно поэзии, стало органическое слияние гражданского и лирического начал.

«Вряд ли в нашей литературной истории,— пишет «Септември»,— есть другой пример такого яркого вхождения в литературу поэтической смены со своей четко выраженной новой стилистикой, художественной палитрой, своим пониманием искусства.

Антология «Поэты Апреля» содержит цвет нашей апрельской поэзии, здесь представлены: П. Пенев, В. Башев, Л. Левчев, Ан. Стоянов, Е. Евтимов, Д. Дамянов, Слав Хр. Караславов, А. Германов, Н. Христозов, П. Караангов, Н. Динков, С. Цанев, П. Стефанов, М. Ганчев, Х. Фотев, И. Николов...»

В общем, подчеркивает журнал, несмотря на то, что в книге отражено творчество многих поэтов, она «звучит как цельное, законченное произведение».

ВЕНГРИЯ

СУДЬБЫ МОЛОДЫХ

Примечательным явлением театральной жизни стала здесь премьера спектакля «Молодожены» по пьесе Анны Йокаи, поставленного передвижным Театром имени Дерине. «Драма, в которой писательница «анатомирует» современные общественно-нравственные проблемы, держит зал в состоянии высочайшего напряжения»,— пишет на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика» критик Енё Иллеш.

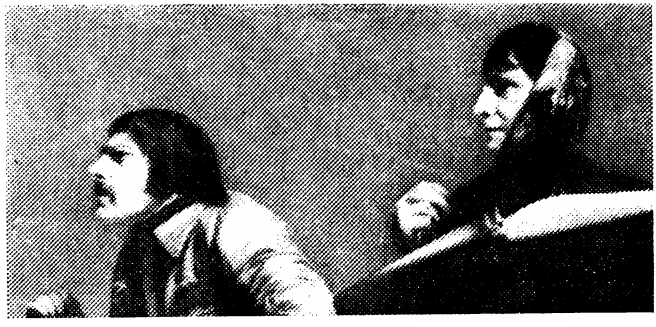
Миклош и Илдико, став мужем и женой, преисполнены самых радужных надежд. Илдико — учительница. Каждый день она спешит из школы, неся в общий дом вместе с ученическими тетрадями и свои маленькие радости, свои заботы. Но не спешит домой Миклош. И возвращается он всегда навеселе... Молодоженам угрожает опасность разрыва. Пьеса рассказывает, как окружающие Миклоша и Илдико люди не остались безучастными к их

«О добродетельном городе и его благородных гражданах...» — таково ироничное название болгарского художественного фильма, снятого режиссером Веселиной Гериской по произведению Любена Станева «Районный прокурор».

В основу сюжета положен рассказ о преступлении, совершенном в маленьком городе. Однако авторов фильма интересует не детективная линия, а нравственная сторона дела: отношение людей к преступлению, их моральные принципы.

На снимке: режиссер В. Гериская и оператор П. Вагенщайн во время съемок.

(Журнал «Филмови новини»)



Сцена из спектакля «Молодожены». В главных ролях: Ласло Колдуш Надь (Миклош), Агнеш Зубор (Илдико), Ласло Гавел (отец Миклоша).

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

судьбе, как самоотверженно помогают они молодой жене бороться за то доброе и хорошее, что заложено в характере Миклоша и за что она полюбила его...

Тема морали, нравственности всегда была в центре внимания литературы и искусства. С ростом благосостояния людей в условиях социализма значение морального, нравственного фактора, соотнесения материальных и духовных ценностей неизмеримо возрастает. И наряду с важной общественной проблемой «на что жить» все большее значение приобретает вопрос «как жить».

Можно сказать, что редко кто с такой активностью, как Анна Йокаи, возвращается в своих произведениях к осмыслению этой проблемы. Свидетельствует о том и ее пьеса «Молодожены».

ВЬЕТНАМ

ВЬЕТНАМСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Недавно кинорежиссер Бать Зиеп, снявшая картины «Люди возвращаются на поля» (см. «ИЛ» № 2, 1974) и «Чан Куок Тоан ведет войска в бой», приступила к съемкам двухсерийного фильма «Святой день». Основой для сценария послужил роман известного вьетнамского писателя Тю Вана «Тайфун с моря», запечатлевший трудный процесс перехода к новой жизни крестьян-католиков, которых священники нередко настраивали против народной власти. Одну из главных ролей исполнит популярная киноактриса Ча Жанг, известная советским зрителям по фильмам «Девушка Ты Хао», «17 параллель — дни и ночи», «Девочка из Ханоя».

На снимке: актриса Ча Жанг в фильме «Святой день».

(Газета «Кыу куок»)

На Ханойской студии художественных фильмов, кроме того, идет работа над лентами: «Августовские звезды» (режиссер Чан Дак), «Приемный ребенок» (автор сценария писатель Нгуен Кхай), экранизируются несколько пьес. Всего в 1976 году студия выпустит семь художественных картин.

СОЗДАНО НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Как сообщает еженедельник «Ван нге», в Ханое при Союзе писателей Вьетнама создано издательство «Так фам мой» («Новые произведения»), которое будет знакомить вьетнамских читателей с наиболее интересными произведениями современных авторов. В составе редакционного совета издательства — известные прозаики, поэты, литературоведы. На церемонии открытия издательства выступил писатель Нгуен Динь Тхи, Генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ

Издательство «Реклам» (Лейпциг) выпустило сборник критических статей «Спутники. Пятнадцать писателей ГДР», в котором представлены писатели разных поколений — от Анны Зегерс до Фолькера Брауна. Книга, содержащая литературные портреты Эрвина Штриттматтера, Канта, Брезана, Фюмана, Кунерта, Кристы Вольф, Нойча, Новотного и других ведущих писателей ГДР, по мнению рецензента журнала «Нойе дойче литератур» Гуннара Мюллер-Вальдека, имеет большое познавательное значение Составители ее, Клаус Ярмац и Кристель Бергер, сумели показать индивидуальные черты каждого писателя, особенности их творчества.

Ганс Юрген Вольф и Катарина Тальбах — исполнители главных ролей в фильме «Страдания юного Вертера».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

Подробную рецензию на сборник поместил и журнал «Веймарер байтреге». «В нем,—пишет Вернер Кале,— с разных точек зрения освещаются эстетические, философские и идеологические стороны литературного процесса. Результатом коллективного труда литературных критиков явилась книга очень интересная, содержательная, поднимающая важные проблемы. Она рассказывает о достижениях и успехах современной литературы Германской Демократической Республики».

НА ЭКРАНЕ — «СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА»

Режиссер Эгон Гюнтер создал по сценарию Хельги Шюц фильм «Страдания юного Вертера» (студия ДЕФА). Это первая экранизация романа Гёте. Пресса Германской Демократической Республики широко откликнулась на появление фильма.

«Авторы фильма пытаются языком кино по-новому пересказать знаменитый роман... Можно считать, что их попытка удалась»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

«Проза Гёте зазвучала по-современному»,— пишет газета «Нойес Дойчланд», отмечая хорошую игру актеров, удачную музыку, тонкую операторскую работу.

Еженедельник «Зоннтаг» поместил интервью с Эгоном Гюнтером. На вопрос, почему известный режиссер, экранизировавший недавно «Лотту в Веймаре» Томаса Манна, а еще раньше романы Арнольда Цвейга и Иоганнеса Бехера, вновь обратился не к современности, а к классике, Эгон Гюнтер ответил: «Я действительно хотел вернуться к современности, которая меня по-прежнему привлекает. Но когда прочел сценарий Хельги Шюц, я был просто очарован и уже кроме «темы Вертера» ни над чем работать не мог. Хорошая проза всегда интересна, и, я бы сказал, всегда современна, и актуальна. В романе Гёте подняты «вечные» вопросы, которые никогда не перестанут интересовать людей. Думаю, что новый фильм, который мы выпускаем и в телевизионном варианте, вызовет интерес у современного зрителя и многому его научит».

АНТОЛОГИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издательство «Фольк унд вельт» (ГДР) выпустило в свет обстоятельную антологию, озаглавленную «Швейцария сегодня». В ней дается широкая панорама швейцарской литературы за последние семь лет. Антология разнообразна по жанру: повесть и драма соседствуют здесь с эссе, репортажами, стихами. На страницах антологии представлено творчество более чем шестидесяти швейцарских писателей — от авторов с мировым именем, таких, как Макс Фриш или Фридрих Дюрренматт, до тех, кто известен только в своей стране. Здесь и молодые авторы, только начавшие свой путь в литературе. Достоинство новой книги также в том, что она дает возможность познакомиться с писателями из разных кантонов, с теми, кто пишет на немецком, французском, итальянском или ретороманском языке.

Казалось бы, замечает рецензент информационного бюллетеня «Дер бюхеркаррен», в столь многоплановой книге трудно выделить некую общую тенденцию, тем не менее она существует. Это размышления швейцарских писателей о своей стране, о ее настоящем и будущем. Все они, отмечает рецензент, хотели бы видеть Швейцарию открытой для сотрудничества с другими странами, не замыкающейся в собственной скорлупе и не стоящей в стороне от волнующих сегодня мир социальных и политических проблем. Именно на это ориентируется большинство современных швейцарских писателей, творчество которых представлено в антологии. Они воспринимают современную действительность реалистически, анализируя ее, осмысляя и критически комментируя, соотнося господствующие в стране отношения с теми, какие им хотелось бы видеть в будущем.

ФРГ

ТРЕБУЮТСЯ ОТВЕТЫ

«Как сегодня умирает писатель?» Этот вопрос, заданный журналистом Хорстом Крюгером на страни-

цах «Франкфуртер альгемайне цайтунг», непосредственно связан с другим: как сегодня живет писатель? Речь идет о ФРГ, об условиях жизни и обстоятельствах смерти писателей в государстве, не желающем беречь тех, кого именуют «цветом нации».

«Может ли писатель позволить себе заболеть? — спрашивает Крюгер.— Кто оплатит ему ноябрьский грипп? Кто финансирует его отпуск? Кто обеспечит его средствами существования на рождественские дни? Кто позаботится о его старости? Если писатель не в состоянии сделать все это сам, он погибнет. И разве кого-нибудь в стране это касается?»

Гибель писателя — далеко не всегда физическая его смерть. Случаются самоубийства, но чаще бывает другое: писатель остается в живых, но перестает быть писателем, не выдержав испытаний, на которые его обрекает общество. А ведь это не только испытание материальной необеспеченностью. Крюгер уподобляет западногерманских писателей эквилибристам на трапеции, они, по его словам, в любой момент могут сорваться с высоты, а сеток им не подставляют. «Они не так уж свободны»,— иронически замечает Крюгер.

Журналист подвергает сомнению и систему выплаты гонораров, производимую по усмотрению издателей, в особенности систему взимания налогов, при которой получается, что писателю то и дело грозит опись имущества. Крюгер устанавливает, что писатель находится в положении кустаря-одиночки.

В ФРГ, по данным ПЕН-клуба, насчитывается пятьсот писателей, по приблизительным подсчетам Крюгера — только триста, а вероятнее всего, еще меньше. Неужели же нельзя, спрашивает Крюгер, создать для них атмосферу благожелательности, приняв во внимание неповторимое своеобразие их творческого труда, благодаря которому нация из века в век обретает культуру?

ДАНИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Высокую оценку критики получили новые поэтические сборники, выпущенные несколькими издательствами Дании.

В сборник «Фарерские песни», подготовленный к печати Датско-Фарерским обществом, включены памятники устного народного творчества. «Эта своеобразная антология знакомит читателя с историей, культурой и фольклорными традициями датско-фарерской поэзии»,— отмечает литературный обозреватель газеты «Ланд ог фольк».

Книга молодой поэтессы Сандры Хольм «Созвать зверей» (издательство «Гюльдендаль») объединяет лирические циклы и отдельные стихотворения. По словам критика, творческая манера Хольм отмечена искренностью и лиризмом, умением увидеть удивительное в заурядном, обнаружить новые грани человеческих чувств и настроений. Хольм избегает словесной эквилибристики, которой чрезмерно увлекается молодое поколение поэтов. Ее стихам присущи камерность и эмоциональность, емкость формы и отточенность стиля.

Карл Юрген Карлсен в сборнике стихов «Антигерои» (издательство «Юринде и Юрингель»), пишет далее обозреватель, выступает против стандартизации образа жизни, против деперсонализации и бездуховности климата в современном «обществе потребления», превратившем людей в механизмы, «роботов», устремления и идеалы которых сводятся к личному успеху и материальному благополучию.

ПЛАНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ФРЕМАД»

Издательство «Фремад» («Вперед») объявило о своих планах на ближайшие месяцы. В числе произведений, которые, по мнению издательства, должны заинтересовать читателей,— новый, пятый по счету, роман Марты Кристенсен «Наша единственная Ирэн». Эта книга посвящена актуальным проблемам жизни датского пролетариата. Предполагается выпустить две книги Джона Нема: автобиографический роман «Разыскивается Стотсед» и сборник рассказов «Мир пролетария». В издательстве выйдет также роман Флемминга Мадсена «Эрезунд», где рассказывается о движении Сопротивления во время фашистской оккупации Дании.

ЕГИПЕТ

«ГИБЛЫЕ МЕСТА»

Как сообщает газета «Ас-Саура», египетский писатель и журналист Сабри Муса был награжден недавно орденом Науки и Искусства первой степени и государственной поощрительной премией.

Сабри Муса удостоен этих наград за книгу «Гиблые места», представляющую собой, как пишет газета, «роман-исследование», действие которого происходит в Аравийской пустыне вблизи египетско-суданской границы среди бишариев, абабде и других племен, кочующих там со времен фараонов.

В романе разоблачается хищническая эксплуатация ископаемых природных богатств этого района иностранными монополиями и всякого рода авантюристами, приведшая край к запустению, а его население — к вымиранию.

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

Египетский журнал «Аль-Кятиб» поместил заметки своего корреспондента *Иб-*

рахима аль-Макхафи о литературной жизни Йемена и деятельности Союза йеменских писателей.

Союз йеменских писателей, пишет аль-Макхафи, был создан в 1970 году. В него вошли писатели как Йеменской Арабской Республики, так и Народной Демократической Республики Йемен.

В апреле 1974 года в Адене состоялся Первый съезд Союза йеменских писателей, оформивший организационное единство писателей и избравший исполнительный совет. Вскоре после этого стал выходить печатный орган Союза — журнал «Аль-Хикма».

Недавно руководством Союза был организован семинар, обсудивший состояние йеменской литературной критики. На семинаре, продолжавшемся несколько дней, детальному анализу подверглись три новые книги: «Тематика и художественные особенности современной поэзии в Йемене» Абд-аль-Азиза аль-Мукалиха, «Путешествие в йеменскую поэзию» Абдаллаха аль-Бараддуни и «Аз-Зубейри — певец-патриот» Омара аль-Джави. Участники семинара дали положительную оценку состоянию критики Йемена, делающей свои первые шаги.

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА-ТРИБУНА

Как сообщает газета «Нью эйдж», прогрессивная общественность Калькутты торжественно отметила 50-летие со дня рождения поэта-трибуна, коммуниста Шуканто Бхоттачарджо (1926—1947). Почтить память поэта пришли видные общественные деятели, известные писатели и поэты. Процессия проследовала к дому, в котором родился поэт, ставший гордостью индийской литературы. Здесь состоялся краткий митинг, посвященный памяти поэта, который умер, не дожив двух месяцев до того дня, когда Индия стала независимой. Выступавшие единодушно отмечали, что прекрасный мир поэзии Шуканто Бхоттачарджо не подвластен времени — его стихам суждена долгая жизнь.

Правительство штата Западная Бенгалия выпустило книгу воспоминаний о Шуканто Бхоттачарджо и статей о его творчестве.

Фильм «Кадамбари», в котором молодая индийская киноактриса Шабана Азми играет главную роль, поставлен по рассказу «Земля, море и ракушки» видной пенджабской писательницы Амриты Притам. Это история взаимоотношений двух молодых людей. «Фильм очень актуален, — пишет рецензент газеты «Джан юг». — Он противопоставляет мутной волне бездарных детективов и мелодрам подлинное киноискусство, воспевает любовь в самом прекрасном значении этого слова».

(Газета «Джан юг»)

ИОРДАНИЯ

«СТАРЫЕ СТЕНЫ РАССКАЗЫВАЮТ»

Под таким названием, сообщает иракский журнал «Аль-Аклям», Кооперативным обществом типографских рабочих в Аммане издан сборник рассказов молодого иорданского писателя Муфида Нахли.

В сборнике, который открывается предисловием самого автора, десять рассказов. Часть их посвящена палестинской проблеме, в других Нахли рисует мир современной иорданской деревни.

ИРАК

ПЕРЕВОД ИССЛЕДОВАНИЯ О ГОРАНЕ

Как сообщает журнал «Аль-Аклям», управление курдской культуры при министерстве информации Ирака издало книгу об Абдалле Горане — выдающемся поэте-революционере Иракского Курдистана.

Эта книга представляет собой перевод исследования, написанного советским ученым Гусейном Алихановым на азербайджанском языке. На курдский язык книгу перевел Шукур Мустафа.

«ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» НА АРАБСКОМ

По сообщениям иракской прессы, Издательство министерства информации Ирака подготовило к выпуску в свет книгу Уолта Уитмена «Листья травы».

На арабский язык стихи Уитмена перевел известный иракский поэт Саади Юсуф.

ИРЛАНДИЯ

«МАТЬ-ИРЛАНДИЯ» ЭДНЫ О'БРАЙЕН

Последнюю книгу известной ирландской писательницы Эдны О'Брайен рецензент журнала «Лиснер» Э. Теннант назвал «гибридом». Это и роман о жизни молодой девушки, в основу которого положен автобиографический материал, и мемуары писательницы, и, как пишет рецензент, «путеводитель для американских туристов».

Ирландия Эдны О'Брайен — это прежде всего Ирландия прошлых времен, знакомая ей по детским впечатлениям. Это Ирландия монастырских школ, тихих провинциальных городков,

прекрасный зеленый Эрин народных преданий.

Однако, по мнению рецензента, книгу несколько портит отсутствие в ней живой действительности, тем более что Эдне О'Брайен несвойствен идиллический тон и она вовсе не стремится видеть все в розовом свете.

ИСПАНИЯ

В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ КНИГИ

Испанская полиция продолжает поиски старинной «Книги эстампов», украденной семь лет назад из музея собора в городе Леоне на севере страны. Книга относится к XII веку и считается одним из ценнейших памятников национальной культуры. Она состоит из 43 пергаментных листов (in folio), заполненных рукописным текстом и многоцветными гравюрами с изображениями древних испанских королей. Обложка была сделана из дерева, покрытого красной замшей с золотым тиснением.

До 1969 года книга выставлялась в центральной витрине соборного музея в Леоне, пока однажды служители не обнаружили ее исчезновения. Видимо, вор не представлял себе истинной ценности книги и разорвал ее, пытаясь сбыть отдельные гравюры. Разрозненные листы по очень низкой цене приобрел в букинистическом магазине один студент университета в Сантьяго-де-Компостела. У него тоже они долго не задержались и, сменив несколько владельцев, попали в руки немецкого коллекционера. Тот предложил антикварную находку одному из университетов своей страны.

Гравюра из «Книги эстампов».

Поскольку к этому времени сообщения о пропаже и подробные описания украденной книги были разосланы в крупнейшие культурные центры мира, немецкие специалисты сразу определили происхождение гравюр. Но пока они связывались с Испанией, листы были спешно проданы в Англию.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД О КАЛЬДЕРОНЕ

Мадридское издательство «Гредос» выпустило двухтомник «Кальдерон и критика: история и антология». Составители антологии Мануэль Дуран и Роберто Гонсалес Эчеверрия в предисловии отмечают, что до сих пор наследию великого драматурга меньше всего внимания уделяли сами испанцы. По их словам, «на фоне обильной европейской критики количество испанских работ о Кальдероне более чем скромно».

«Этот фундаментальный труд,— пишет о двухтомной антологии журнал «Арбор»,— внесет огромный вклад в дело исследования творчества Кальдерона...» Рецензент выражает надежду, что читатель по достоинству оценит собранные в двухтомнике работы как зарубежных, так и испанских литературоведов.

ПРЕМИИ КРИТИКИ-76

В нынешнем году в Ситхесе, близ Барселоны, в двадцать первый раз были присуждены Национальные премии критики. «Как известно,— пишет журнал «Ресенья»,— эти премии являются почетными и не предполагают никакого денежного вознаграждения, так как присуждаются не от имени издательства, фирмы или какого-нибудь другого коммерческого учреждения, что дает жюри возможность быть независимым в своем решении».

Первые премии критики за лучшие произведения в прозе, изданные в истекшем году на испанском языке, получили Эдуардо Мендиса за роман «Правда о деле Савольты» и Мигель Делибес за книгу «Войны наших отцов».

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ МОНТАЛЬДО

Джулиано Монтальдо, один из видных представителей прогрессивного направления «политического кино», в интервью корреспонденту журнала «Чинема суд» рассказал о работе над своим новым фильмом, посвященным Розе Люксембург.

«В настоящее время,— сказал Монтальдо, — на сценах Италии идет пьеса о героической жизни и гибели этой выдающейся деятельницы рабочего движения, я же попытаюсь рассказать о пламенной революционерке языком кино. Фильм о Розе Люксембург будет третьим моим фильмом о страшных преступлениях правящего класса: в одном я рассказал о гибели на электрическом стуле Сакко и Ванцетти, в другом — о сожжении Джордано Бруно».

Над сценарием нового фильма работают кинодраматурги Андреа Барбато и Итало Москати, на исполнение главной роли Монтальдо намеревается пригласить актрису Джейн Фонда. «Я ищу не физического сходства,— говорит режиссер,—а политического, идей-

Изабелла Росселлини, дочь известного режиссера Роберто Росселлини и киноактрисы Ингрид Бергман, вместе со своей матерью снялась в фильме Винченце Миннелли «Нина».

(Журнал «Фильм»)

кино, но попадают на совсем не подходящую для торжественной даты непристойную картину. Во второй новелле наивный и скромный провинциальный интеллигент устраивается на работу в издательство, а затем обнаруживает, что оно специализировалось на выпуске порнографических книжонок. Третья новелла высмеивает судью-ханжу, который без разбору запрещает любые фильмы и книги, если в них ему померещится намек на непристойность. В последней новелле показана история постановки эротического фильма по роману английского писателя Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» — ведь на Западе теперь жертвами подобных «экранизаций» становятся многие известные книги.

В фильме вместе с Альберто Сорди будут сниматься Клаудиа Кардинале, француз Филипп Нуаре и другие крупные актеры.

ного слияния внутренней сущности героини с образом, который создает актриса».

Монтальдо подчеркнул, что стремится, как и раньше, создать фильм для широкого зрителя, а не для горстки «избранных». «Моя цель,— говорит он,— рассказать о событиях и людях, о которых в Италии знают мало, ибо их имена долгие годы замалчивались». Его предыдущие фильмы о Сакко и Ванцетти и о Джордано Бруно обсуждались на многочисленных массовых встречах со зрителями—студентами, рабочими, жителями городских окраин и рабочих поселков.

К работе над сценарием привлечен в качестве консультанта видный историк Лелио Бассо.

В заключение режиссер рассказал, что действие фильма будет охватывать только два последних месяца жизни Розы Люксембург — с момента ее выхода из тюрьмы во Бреславе и прибытия в Берлин до зверского убийства ее и Карла Либкнехта контрреволюционерами в 1919 году.

«ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» АЛЬБЕРТО СОРДИ

Популярный комедийный актер Альберто Сорди давно уже выступает и в роли режиссера: на его счету семь с половиной поставленных им самим фильмов, в которых он исполняет главные роли. Теперь, шутит актер, он готовится к съемкам своего фильма «Восемь с половиной» — ведь у Федерико Феллини названием фильма стал просто порядковый номер его очередной работы. Впрочем, новый свой фильм Сорди обозначает не номером — он будет называться «Обычный стыд». Сценарий написан Сорди вместе с кинодраматургом Родольфо Сонего.

По замыслу его создателя, фильм должен высмеять стремление буржуазной «масскультуры» превратить порнографию в статью дохода. Как рассказал журналистам Сорди, фильм будет состоять из четырех самостоятельных киноновелл, связанных этой общей темой. В первой рабочий-металлист и его жена решают отметить свою серебряную свадьбу, отправившись в

КАНАДА

«ЧЕРТОВ КАМЕНЬ»

Так назван вышедший в свет пятый по счету сборник стихов талантливой поэтессы Сьюзен Масгрейв. Отмечая успех нового сборника, журнал «Букс ин Кенэда» пишет, что в последних стихах Масгрейв уже нет перенасыщенности драматизмом, которую поэтесса восприняла, возможно, от американок Энн Секстон и Сильвии Плат. Даже в ее стихотворениях сугубо личного плана напряженность сюжета не входит в противоречие с четкой структурой стиха. Новая книга Сьюзен Масгрейв, делает вывод рецензент, убедительно свидетельствует о росте ее таланта, и «если она сможет и дальше успешно развивать свой дар, умно и глубоко мыслить, облекая мысль в ясную форму, она внесет огромный вклад в канадскую литературу».

КУБА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

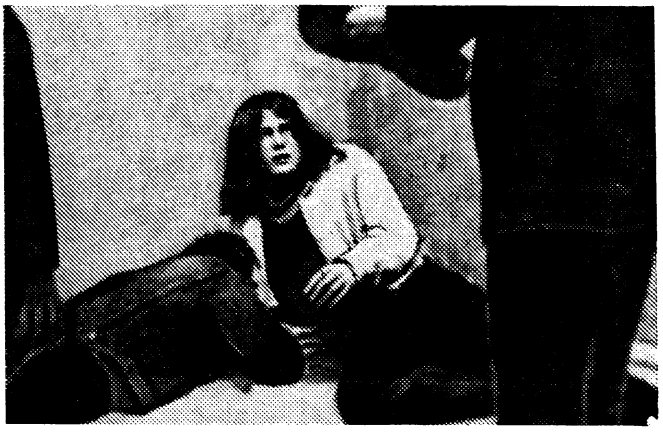
Приятным подарком юным кубинским зрителям была премьера спектакля «Властолюбивая сова» в Национальном детском театре. Спектакль поставлен по мотивам сказки известного кубинского писателя Онелио Хорхе Кардосо. Режиссер Эктор Ангуло совместно с Армандо Моралесом подготовил к постановке притчу о сове, которая, пользуясь своей ночной зоркостью, подчинила себе всех животных в лесу.

Критика встретила пьесу единодушным одобрением, отмечая, что оптимизм, мудрость и простота сказки в сочетании с красочностью декораций и прекрасной игрой актеров (Хиомары Паласио, Абделя Лечусы, Эктора Ангуло) будут по достоинству оценены не только детьми, но и взрослыми. Философский и исторический подтекст притчи о властолюбивой сове понятен любому кубинцу: с восходом солнца герои пьесы начинают борьбу и завоевывают себе свободу.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Морис Джи стал первым лауреатом учрежденной в этом году национальной премии в области литературы «Нью Зиленд бук уорлд», которой известный новеллист был удостоен за сборник рассказов «Отличное утро, товарищ» (его перу принадлежат также сборники «Проигравшие», «Удачный сезон», «Особый цветок»). «Необходимо, чтобы как можно больше новозеландцев знакомилось со своими писателями,— сказал министр культуры Новой Зеландии, вручая премию Морису Джи,— и учились у лучших из них наблюдать и оценивать окружающий мир».



На снимке: кадр из фильма «Лассе и Гейр».

(Газета «Фрихетен»)

НОРВЕГИЯ

ФИЛЬМ О МОЛОДЕЖИ

Социальным и нравственным проблемам современной молодежи посвящен фильм режиссера Свена Вала «Лассе и Гейр».

Главные герои повествования, именами которых названа кинолента,— молодые люди, жители пригорода Осло. После долгих и бесплодных поисков работы они встают на путь преступления.

«На страницах нашей печати,— пишет рецензент газеты «Фрихетен»,— постоянно дискутируются вопросы, связанные с высоким процентом преступности среди молодежи. Но чаще всего речь идет о системе наказания и исправительных мерах. К сожалению, мало кто из официальных деятелей задумывается о моральных аспектах этой проблемы. Кто они, эти молодые люди, заклейменные наркоманами, взломщиками, скандалистами? Что их толкает на опасный и сомнительный путь — путь насилия и грабежа? В чем они видят смысл своей жизни? Как относятся к своему будущему?»

Режиссер Свен Вам, отмечает рецензент, пытается в своем фильме ответить на эти и многие другие вопросы, обнажить социальные и психологические стороны конфликта «отщепенцев» с родителями, с обществом.

ПОЛЬША

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Союз польских писателей, Общество польско-советской дружбы, издательство «Ксёнжка и ведза», Центральный совет профсоюзов в связи с 60-летием Великой Октябрьской социалистической революции объявили литературный конкурс под девизом «Польско-советское трудовое содружество». Конкурс решено проводить очень широко. Рассматриваться будут произведения различных жанров: роман, рассказ, репортаж, воспоминания.

МОЖНО ЛИ ЭТО ЗАБЫТЬ?

В краковском издательстве «Выдавництво литерацке» вышла книга Ежи Осуховского «Не могу забыть» с подзаголовком «Воспоминания узника «малого лагеря» в Бухенвальде». Книга эта, как отмечает Анджей Гаевский в журнале «Нове ксёнжки», «имеет форму дневника, написанного языком простым и страстным».

«Малый лагерь» в Бухенвальде был отделен от главного колючей проволокой, в нем находились поляки и евреи, которым грозило поголовное уничтожение.

«Появление воспоминаний Ежи Осуховского,—подчеркивает Анджей Гаевский,—убеждает, что память о тех днях жива. Мы не можем забыть о земле, которая поглотила миллионы людей в период великого унижения человека. Автор, публикуя свои воспоминания, чувствовал моральную ответственность перед всеми замученными в «малом» лагере товарищами, он должен был рассказать миру, в каких условиях они жили и как умирали. И, пожалуй, трудно выполнить свой долг перед погибшими товарищами лучше, чем это сделал Ежи Осуховский».

ПЕРВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВАРШАВЫ

Государственное научное издательство выпустило в свет «Энциклопедию Варшавы». Подготовка издания длилась два года. Была создана редколлегия во главе с видным историком и знатоком истории Варшавы, покойным профессором Станиславом Хербстом. После его кончины главным редактором издания стал профессор Рышард Колодзейчик.

Энциклопедия насчитывает 816 страниц, 5500 названий, 1241 иллюстрацию, 54 таблицы.

Выход ее — большое событие в культурной жизни Польши, но, как отмечает Юлиуш В. Гомулицкий в своей рецензии в журнале «Нове ксёнжки», это издание имеет ряд недостатков, снижающих его ценность.

«Работа над первой «Энциклопедией Варшавы» была нелегкой,— признает Гомулицкий,— и обычный читатель многое благодаря ей узнает, но мне очень жаль, что, перед тем, как быть изданной, она не была всесторонне и глубоко проанализирована всеми специалистами».

Режиссер Ян Рыбковский поставил по хорошо знакомой советскому зрителю пьесе Габриэлы Запольской «Мораль пани Дульской» фильм под названием «Дульские». На снимке: исполнительницы главных ролей Барбара Вжесинская и Анна Собик.

(Журнал «Кино»)

РУМЫНИЯ

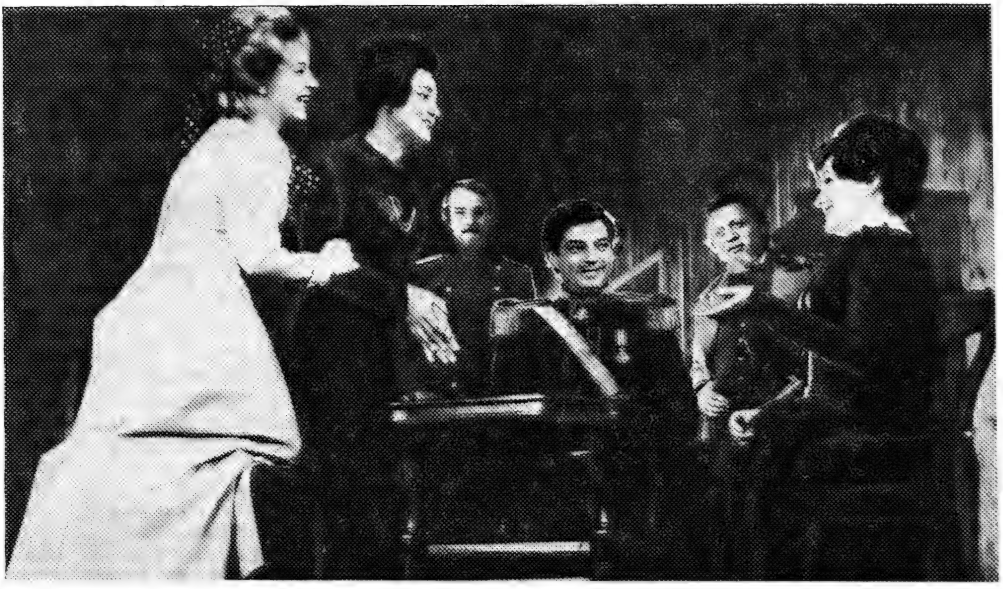
ДИСКУССИЯ О ПИСАТЕЛЬСКОМ МАСТЕРСТВЕ

Состоявшийся в этом году конгресс по политическому воспитанию и культуре СРР призвал писателей «воплощать в своих произведениях самые благородные чувства строителей нового общества и одновременно бичевать отсталые, реакционные взгляды, рисуя перед широкими массами вдохновляющую перспективу созидания и борьбы за новое». Румынские литераторы обсуждают конкретные проблемы писательского мастерства.

На страницах журнала «Ромыния литерарэ» из номера в номер публикуются выступления на тему «Сущность и формы литературного конфликта». Высказывания участников дискуссии затрагивают многие важные аспекты этой сложной проблематики—отвергаются утверждения теоретиков о так называемой «гибели конфликта» (Р. Мунтяну), подробно рассматриваются различные формы соотношения действительности и художественного сознания (М. Х. Симионеску), новые формы решения трагического конфликта в условиях социализма (И. Паскади), специфика конфликта в современной поэзии (Э. Ману) и роль метафоры в его выражении (А. Бландиана), различия между открытым и скрытым конфликтом (С. Тител), роль реплики для драматургического конфликта (Ал. Войтин) и т. д.

ГОЛОС ПАМЯТИ

С интересом встретили румынские читатели выпуск Политическим издательст-



Сцена из спектакля «Три сестры».

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

вом серии книг «Голос памяти», посвященных жизненному подвигу видных деятелей социалистического и коммунистического движения Румынии.

С красных обложек смотрят портреты А. Бакалбаши, И. Нэдежде-Армашу, Е. Арборе — представителей первого поколения борцов за социализм в Румынии. Рядом с ними — портреты С. Пырвулеску, Ал. Русу и других героев, отдавших жизнь за те же светлые идеалы в годы коммунистического подполья или в совместной борьбе бок о бок с советскими воинами против фашизма.

Рецензент журнала «Эра сочиалистэ» видит в содержании этих книг «великий урок патриотизма, интернационализма, непреклонности и отваги».

ПОСТАНОВКА «ТРЕХ СЕСТЕР» В БУХАРЕСТЕ

Классическая драматургия, в том числе русская, занимает видное место в репертуаре современного румынского театра. Так, только в Бухаресте недавно состоялись две премьеры — «Женитьба» Гоголя в Национальном театре и «Три сестры» Чехова в Театре комедии.

Многие видные румынские режиссеры, обращаясь к классике, стремятся прочесть ее по-новому. По этому пути пошел и постановщик «Трех сестер» режиссер Л. Джуркеску.

Он построил спектакль на сочетании «комического видения с трагическим подтекстом», придав тем самым ему новое звучание и новое освещение, пишет критик Мира Иосиф в журнале «Театрул».

Талантливый коллектив исполнителей во главе с такими известными актерами, как Стела Попеску (Маша), Силвину Стынкулеску (Вершинин), Владимир Гэитан (Тузенбах), Василика Тастаман (Наташа), обеспечил успех постановки, «одной из наиболее интересных в данном театральном сезоне», пишет рецензент «Ромыния литерарэ» Богдан Улму.

СЕНЕГАЛ

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ

Два года действует в Сенегале Бюро авторских прав — единственное объединение такого рода во франкоязычной Африке. Оно контролирует деятельность издательств, театров, радио, телевидения, способствует публикации книг сенегальских писателей и, кроме того, присуждает ежегодную поощрительную премию. При нем создана пенсионная касса и общественный фонд, из которого авторам выдаются ссуды и субсидии.

Сенегальское бюро авторских прав поддерживает контакты со всеми странами — членами Международной конвенции и уже подписало соглашения с несколькими французскими обществами.

СЫН ХЕМИНГУЭЯ ОБ ОТЦЕ

Младший из трех сыновей Хемингуэя, Грегори, опубликовал в издательстве «Хоутон Миффлин» книгу воспоминаний, озаглавленную «Папа», с предисловием известного писателя Нормана Мейлера.

За последние годы вышло немало воспоминаний о Хемингуэе, в частности его сестры Марселины и младшего брата писателя — Лестера. Однако в поле зрения мемуаристов редко оказываются самые плодотворные для Хемингуэя тридцатые годы, когда он жил во Флориде, в небольшом рыбацком городке Ки-Уэсте, где были созданы «Иметь и не иметь», «Пятая колонна» и первые главы романа «По ком звонит колокол». Об этом времени и рассказывает Грегори Хемингуэй.

«Он не был ни задирой, ни нудной самовлюбленной знаменитостью... — пишет Грегори Хемингуэй о своем отце.— Человек, который остался в моей памяти, был добрым и умел тонко понимать чувства других. Он все на свете переживал с детской непосредственностью, и поэтому многое причиняло ему боль. Мы называли его Папой, и для нас это слово всегда писалось с большой буквы, но не потому, что мы его боялись, а потому, что любили».

Грегори Хемингуэй вспоминает, как ребенком перенес загадочную тропическую болезнь, похожую на полиомиелит; отец, бросив все, дежурил у его постели ночами, рассказывая ему сказки.

Интересен вошедший в книгу рассказ о морской охоте у берегов Кубы, когда перевернулся катер и Грегори получил ранение. Хемингуэй с риском для жизни переправил его на себе через кишащую акулами лагуну. Впоследствии он описал этот эпизод в романе «Острова в океане».

Автор книги не касается писательского труда Хемингуэя, ограничившись рассказом о нем как о личности. Этот рассказ содержит много нового и интересного.

Норман Мейлер отмечает: «При чтении книги мы словно видим ее героя живым, он все время рядом с нами». Рецензируя воспоминания Грегори Хемингуэя в «Нью-Йорк таймс бук ревью», романист Рейнольдс Прайс пишет: «Хотя эта книга не дает всего, что мы вправе были бы от нее ожидать,— в ней ничего не сказано о Хемингуэе как писателе,— ее нужно тем не менее признать достойным памятником человеку, о котором она повествует».

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН С. Д. Б. БРАЙЕНА

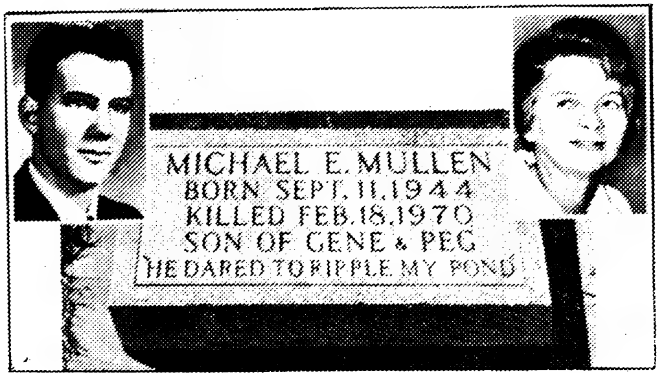
Новая книга о последствиях вьетнамской войны выпущена в США. Автор документального романа «Дружеский огонь» С. Д. Б. Брайен рассказывает историю Джин и Пэг Муллен — четы фермеров из штата Айова, потерявшей во Вьетнаме своего старшего сына, 25-летнего Майкла. Смерть его была случайной и нелепой. Во время учений снаряды американской артиллерии не долетели до цели и, упав слишком близко, убили двух спящих солдат. Одним из них был Майкл Муллен. По выражению автора романа, Майкл пал жертвой не вражеского, а «дружеского огня». Это горько-ироническое словосочетание, давшее название книге, по мере развития повествования приобретает все более глубокий смысл. Оно становится как бы символом того зла, которое могут причинить друг другу граждане одной страны, отмечает критик журнала «Ньюсуик» Уолтер Клемонс.

Много месяцев родители Майкла посвятили выяснению обстоятельств гибели своего сына. Им кажется, что в официальном извещении их обманули, что за его нелепой смертью скрывается нечто другое, о чем им не хотят сообщать. Их индивидуальные судьбы, по мнению автора романа, отражают очень серьезную социальную проблему. Война во Вьетнаме вывела из равновесия нас всех и нанесла стране неизлечимые раны, пишет Брайен.

В книге описана сцена, когда сам автор встречается с родителями погибшего. «Я чувствовал, — рассказывает он,— что и на меня они смотрят с подозрением, думая о том, можно ли доверять мне или я тоже являюсь частью конспиративной системы, созданной для того, чтобы скрывать правду». Продолжая свои размышления, романист пишет: «Оставшиеся в живых сыновья и дочери Муллеров никогда больше не смогут доверять своей нации и ее руководителям. А это... столь же великая трагедия, как потеря сына».

На снимке: прототипы романа «Дружеский огонь» Майкл Муллен и его мать.

(Журнал «Ньюсуик»)



УРУГВАЙ

МАРИО БЕНЕДЕТТИ О СЕБЕ И О НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Известный уругвайский писатель Марио Бенедетти[1] дал на Кубе интервью корреспонденту журнала «Боэмия». «Для меня,— говорит писатель, — литература — это возможность искренне выразить самого себя, порой даже способ уяснения моей собственной внутренней борьбы и моих колебаний. Литературное творчество — важнейший центр всей моей жизни. Правда, у меня были периоды, например 1971—1973 годы, когда я писал мало и почти все свое время отдавал политической деятельности... Но сегодня, находясь в вынужденном изгнании, я вновь вернулся к творчеству».

Вспоминая начало своей литературной деятельности, Бенедетти сказал: «Я начал с книги стихов. Она называлась «Невидимое забрало» и была опубликована в 1945 году. Впоследствии эта книга показалась мне столь плохой, что я даже стыдился включать ее в свои сборники... Но интерес к писательству у меня был сызмальства. Уже в начальной школе — лет в 11 — я писал стихи и рассказы, тогда мною был написан первый роман — о рыцарях плаща и шпаги, с мушкетерами и всем прочим...

Начиная с пятидесятых годов я писал регулярно, и сейчас у меня опубликовано уже 35 книг. Интересно, что критика обычно с похвалой отзывается о моих книгах лишь после шестого или седьмого издания. Поэтому для меня прежде всего важно признание читателя.

Жанр, которому я отдаю предпочтение, — роман. Но в нынешних условиях очень трудно браться за такую большую работу, поскольку порой не знаешь, где окажешься завтра или через неделю. Последний раз, когда я смог написать роман, был период моей работы на Кубе, в Центре литературных исследований Дома Америк. За восемь месяцев была написана книга «День рождения Хуана-Анхела». Это были мои последние годы спокойной и уверенной жизни...»

«Как вы смотрите сегодня на уругвайскую литературу?» — спросил его корреспондент.

«До 1973 года уругвайская литература обладала той жизнестойкостью, силой и постоянством, которые ставили ее на одно из первых мест в Латинской Америке. Произведения таких писателей, как Фелисберто Эрнандес, Хуан Карлос Онетти, Франсиско Эспинола, Хуан Хосе Моросоли, Либер Фалко, Хуан Кунья, Марио Арреги, Карлос Мартинес Морено, Сара де Ибаньес, Идеа Вилариньо, Хосе Педро Диас, Хесуальдо, Маурисио Росенкоф, Эдуардо Галеано, создавали весьма пеструю в эстетическом и идеологическом плане картину. Но это была ободряющая, разнообразная картина, это была литература высокого уровня.

После переворота 1973 года начался этап обскурантизма, когда литература стала рассматриваться как один из главных врагов режима. И это в стране, где самый низкий процент неграмотных в Латинской Америке, где раньше кипела университетская жизнь, где переживало настоящий расцвет издательское дело. Сегодня в Уругвае публикуются лишь учебники, идут пьесы классиков других эпох, университетская жизнь задушена. В целом нынешняя диктатура отбросила страну на десять—двадцать лет назад».

«А что делают сегодня другие уругвайские писатели?»

«Как можно знать, что они делают... Одни—в тюрьмах, другие — в изгнании, третьи остались в стране, но без малейшей возможности увидеть свои произведения напечатанными. Наверно, они продолжают писать, потому что я не знаю такой диктатуры, которая могла бы убить искусство. Они будут писать: одни — в изгнании, охваченные ностальгией и с надеждой на возвращение, другие — те, что остались в стране,— будут хранить написанное от случайных обысков полиции. Но все ныне сознают, что их свидетельства ценны, что они даже могут стать жизненно важными, когда в стране придет время общественных перемен и уругвайцам будут возвращены свободы».

[1] Известен читателям «Иностранной литературы» по роману «Спасибо за огонек», опубликованному в № 8, 9 за 1969 г.

ФРАНЦИЯ

«РОМАН-СОН»

Так называется новый роман Андре Стиля. Писатель рассказывает в нем историю любви современных Ромео и Джульетты, взяв за основу сюжета трагическое происшествие, о котором прочел в газете.

Драма разыгрывается в маленьком городке на севере Франции в рабочей среде. Восемнадцатилетние юноша и девушка — Даниэль и Дениза — с первой же встречи поражены, как они могли жить друг без друга. Но Денизе совсем не хочется рассказывать о своей обыденной жизни простой работницы — о тех убогих условиях, в которых она вынуждена жить. А Даниэль, уже представляя себе долгую жизнь вдвоем, хочет знать, кто его возлюбленная, в чем она будет нуждаться, что он должен делать, чтоб она всегда была счастлива. Тогда Дениза выдумывает, что ее отец инженер, мать элегантная дама, а сама она студентка — ведь она хочет представить свою жизнь красивой и поэтичной. Даниэлю, реалистичному юноше из рабочей семьи и тоже рабочему, становится ясно, что Дениза для него недостижима. И когда она не приходит в условленный час на свидание, Даниэль приводит в порядок свою комнату, пишет письмецо, в котором все объясняет, и кончает с собой.

Газетный репортер в разделе происшествий объясня-

ет, что Даниэль стал жертвой мифоманки. Нет, Дениза не мифоманка. Она просто отгородилась детской ложью от тяготившей ее социальной тюрьмы. Даниэль же, поверив ей, не нашел иного выхода, кроме смерти.

«Что привлекло вас в этом происшествии?» — спрашивает А. Стиля корреспондент «Юманите». «Его невероятность в такую эпоху, как наша,— отвечает писатель.— Его можно представить себе только как проявление очень молодой любви, определенной наивности — как в хорошем, так и в плохом смысле, а также в данном социальном контексте».

На вопрос, существенно ли то, что все это происходит в рабочей среде, А. Стиль отвечает: «В данном случае чрезычайно важно. Не только потому, что рабочие продолжают оставаться вне литературы в качестве персонажей и слишком часто еще и как читатели. В другой среде эта любовная история рассыпалась бы в прах...»

В ответ на вопрос о том, какое место занимает этот роман в его творчестве, писатель говорит: «Несколько обособленное... Но есть и некоторая преемственность. «Роман-сон» среди моих книг ближе всего к другому роману о любви и молодости — «Мы будем любить друг друга завтра».

Пресса единодушна в оценке нового произведения А. Стиля.

«Прекрасный роман, проникнутый человечностью, насыщенный тонкими нюансами»,— пишет Мари Луиз Кудер в «Юманите диманш».

«В этом романе А. Стиль показывает пропасть, разделяющую социальные классы. Именно она разъединяет любящих», — утверждает критик «Монд» Жезан Дюранто, отмечая поэтичность этого «романа-сна», этой современной сказки.

В небольшом вступлении к «Роману-сну», публикующемуся на страницах «Юманите», Анэре Вюрмсер пишет: «А. Стиль создал волнующий роман об истинной любви... Он написан совершенно новым языком. На мой взгляд, это одна из самых прекрасных его книг. В этом коротком романе, скорее большой новелле, оправдан каждый образ, каждая реплика, каждое слово. При всей его верности правде обыденной жизни «Роман-сон» — это и роман, и сон».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ЭРОП»

Номер журнала «Эроп» за июль — август 1976 года целиком посвящен алжирской литературе. Составленный совместно французскими и алжирскими литераторами, он во многом восполняет наше представление о своеобразной литературе Алжира.

Новый раздел алжирской классической и отчасти народной поэзии открывается эпическими стихами вождя алжирского сопротивления 1830-х годов эмира Абделькадера. Современную литературу кроме широко известных имен Катеба Ясина, М. Диба, М. Маммери представляет молодая проза, развивающаяся уже после обретения Алжиром независимости. Здесь, прежде всего, должны быть названы Рашид Буджедра, автор трех романов и публицистики, и Набиль Фарес, выпустивший ряд романов и сборник стихов. Образцы их творчества, как и молодых поэтов, даны в номере.

Ряд серьезных статей посвящен алжирской литературе на арабском языке, литературе франкоязычной, творчеству Рашида Буджедры и Набиля Фареса, а также молодой поэзии (автор— Башир Хадж Али). В них подчеркнута определяющая роль Катеба Ясина, автора «Неджмы» (1956), создавшего стиль современной алжирской литературы, стиль трагедийной атмосферы (резкое нарушение исторической хронологии и замена ее «субъективным временем», широкое использование образов бреда и галлюцинаций и т. д.). В русле, проложенном «Неджмой» Катеба Ясина, пошло и более позднее творчество М. Диба, и литература молодых. Сложный стиль этот возник на алжирской почве и не может быть объяснен только общеевропейскими влияниями. Почва его — годы кровопролитной освободительной войны, жестокость репрессий, огромные потери Алжира.

Очень ценной является обширная библиография номера. В ней — основные этапы и факты истории Алжира со времен Рима до 1930 года, литературная библиография на историческом и политическом фоне с 1930 года до наших дней, художественная литература на арабском языке, общая библиография—антологии, статьи и научные работы авторов разных стран об алжирской литературе, наконец, данные об отдельных писателях.

Этот тщательно и любовно подготовленный номер может послужить ценным пособием при изучении алжирской литературы.

ЧИЛИ

КРИЗИС ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

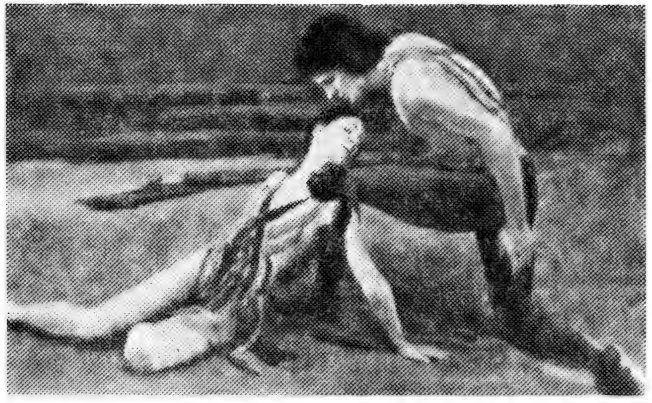
Издательское дело в Чили неуклонно ухудшается. Ныне подавляющее большинство книжной продукции составляют лишь переиздания. Многие чилийские писатели уже эмигрировали, а те, что остались в стране, вынуждены заниматься каким-либо ремеслом, поскольку быть сейчас в Чили писателем рискованно.

Проведенная реакционной чилийской газетой «Меркурио» в середине нынешнего года анкета о положении на книжном рынке показала, что 11 из 15 опрошенных издательских работников расценивают положение как кризисное. Одним из показателей кризиса является то обстоятельство, что за 1975 год не вышло ни одного нового произведения чилийского автора, кроме «Мемуаров» престарелого экс-диктатора Гонсалеса Виделы.

Отражением издательского кризиса являются непрекращающиеся сокращения персонала издательств. В марте 1976 года одно из крупнейших издательств «Габриэла Мистраль» (бывшее «Киманту») уволило 234 человека.

Положение в издательском деле Чили разительно контрастирует с тем, которое существовало при правительстве Народного единства. Достаточно сравнить последний каталог национального издательства «Киманту» в августе 1973 года и перечень книг всех издательств Чили в 1975 году. Если «Киманту» собиралось выпустить 327 названий, то чилийская книжная продукция 1975 года составила всего 50 названий, подавляющее большинство которых — переиздания.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ



С огромным успехом идет на сцене пражского Национального театра балет Арама Хачатуряна «Спартак». Постановка была посвящена XV съезду КПЧ и 55-летию со дня основания партии. Хореографы-постановщики — И. Блажек и Р. Мазалова, дирижер — Ф. Вайнер.
На снимке сцена из балета: Спартак — заслуженный артист ЧССР Властимил Гарапес, Фригия — молодая танцовщица Гана Влачилова.

(Газета «Руде право»)

◆

Авторы этого номера

СИТАКАНТ МАХАПАТРА — SITAKANT MAHAPATRA (род. в 1937 г.).

Индийский поэт, пишет на языке ория и на английском. Получили известность сборники его стихов «Спокойная ярость» («Quiet Violence», 1970), «Другое безмолвие» («Other Silence», 1973), «Старик летом» («Old Man in Summer», 1975). В 1974 г. ему присуждена премия Литературной академии Индии.

Стихи Ситаканта Махапатры публиковались в литературных журналах ряда стран, а также включены в антологии индийской поэзии выходившие в Великобритании и США. (Подробнее о нем см. вступление М. Салганик.)

Предлагаемая подборка стихов взята из сборника «Спокойная ярость».

КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский поэт. Автор сборников стихов «Землепроходцы» (1960), «Метель заходит в город» (1966), «Золотые холмы» (1971), «Вечная спутница» (1973), «В сентябре и в апреле» (1975) и др. Переводил многих поэтов советских республик. Выступает также со статьями о современной поэзии.

НАДА КРАЙГЕР — NADA KRAIGHER.

Югославская словенская писательница, участница народно-освободительной борьбы против фашизма 1941—1945 гг.; работала в подполье в оккупированной Любляне, сражалась в партизанском отряде. После войны окончила экономический и юридический факультеты Люблянского университета. Первая ее книга «Пять темных светлых лет» («Pet temnih svetlih let», 1963) посвящена борьбе Освободительного фронта в Словении в годы фашистской оккупации. Нада Крайгер — автор романов «Мой Леня» («Moj Lonja», 1966), «Пока мы живы» («Doklek živimo», 1969), «Мая» («Maja», 1971), а также нескольких повестей и книг для детей.

Роман «Terminus», который мы печатаем в журнальном варианте, был опубликован в Любляне в 1973 г. (Ljublana, Slovenska Matica) и вскоре переведен на сербско-хорватский и английский языки.

РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (род. в 1932 г.).

Советский литературовед-славист, выступает со статьями о литературах социалистических стран Европы. Переводил с сербско-хорватского и словенского языков произведения Иво Андрича, Меши Селимовича, До-

брицы Чосича, Цирила Космача, Мирко Божича, Антоние Исаковича, Драгана Еремича и других югославских писателей.

■

ЭМИЛИ ДИКИНСОН — EMILY DICKINSON (1830—1886).

Американская поэтесса. Родилась и прожила всю свою жизнь в г. Амхерсте (штат Массачусетс). Написала около 2000 стихотворений, из которых при ее жизни было напечатано лишь три-четыре. В 1890 г. вышла первая книга стихов Эмили Дикинсон.

(Подробнее о ней и ее творчестве см. вступление В. Марковой.)

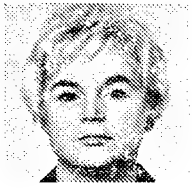
Предлагаемая читателю подборка стихотворений Э. Дикинсон взята из полного собрания ее стихов в трех томах, изданного Гарвардским университетом («The Poems of Emily Dickinson edited by Thomas H. Johnson»). The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1963).

■

МАРКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик и литературовед. Ей принадлежит немало переводов из классической японской литературы (поэзии, прозы). В последние годы в ее переводах вышли «Японские трехстишия» (1973). «Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья» (1975), «Две старинные японские повести» (1976); она также автор ряда статей по истории японской поэзии, прозы и театра.

■



ЧЕЖЕГОВА ИННА МИХАЙЛОВНА

Советский поэт-переводчик. В ее переводах вышла книга стихов мексиканской поэтессы Хуаны Инес де ла Крус, опубликованы стихи многих поэтов Латинской Америки, Испании и Португалии (Амадо Нерво, Николаса Гильена, Хуаны де Ибарбуру, Сесара Вальехо, Рауля Гонсалеса Туньона, Рафаэля Альберти и др.), а также романы, повести и новеллы бразильских и португальских писателей.

■

УРНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1936 г.).

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР. Автор книг «Как возникла страна чудес (Льюис Кэролл)» (1968), «Робинзон и Гулливер» (1972), а также статей о Джозефе Конраде, Джеймсе Джойсе и других английских писателях. Статьи Д. М. Урнова неоднократно публиковались в «Иностранной литературе».

■

ДЕННИС СМИТ — DENNIS SMITH (род. в 1940 г.).

Американский писатель. Более пятнадцати лет работает профессиональным пожарным. Приобрел известность документальными книгами о нелегкой профессии пожарного.

(Подробнее см. вступительную статью К. Чугунова.)

Мы печатаем отрывки из книги Денниса Смита «Пожарная команда № 82» («Report from Engine Co. 82». New York, Pocket & Books, 1973).

■

ЖАН ОЖЕ ДЕ ГОМБО — JEAN OGIER DE GOMBAUD (1570?—1666).

Французский поэт, прозаик, драматург. Один из первых членов Французской Академии. Автор романа «Эндимион» («Endimion»), драматических пасторалей, множества сонетов, которые печатаются и в современных антологиях французской поэзии. Признанный мастер коротких эпиграмм.

■

ФРАНСУА ДЕ МЕНАР — FRANÇOIS DE MEYNARD (1582—1646).

Поэт школы Малерба — реформатора французской поэзии. Попытки Менара завоевать себе положение при дворе не увен-

чались успехом, и он вернулся в свою провинцию. Его перу принадлежат лирические стихи и остроумные, порой язвительные эпиграммы.

НИКОЛА БУАЛО-ДЕПРЕО — NICOLAS BOILEAU-DESPRÉAUX (1636—1711).

Французский поэт, критик, теоретик классицизма («французских рифмачей суровый судия», как отозвался с нем Пушкин). Автор стихотворных сатир героико-комической поэмы «Налой» («Lutrin») и знаменитого трактата в стихах «Поэтическое искусство» («L'art poétique», 1674), в котором он изложил основные эстетические принципы французского классицизма. Никола Буало-Депрео отдал дань и короткой эпиграмме, с помощью которой он нередко расправлялся со своими литературными врагами.

ХЕНРИК БАРДИЕВСКИЙ — HENRYK BARDIJEWSKI (род. в 1932 г.).

Польский прозаик, сатирик, автор юмористических рассказов пьес, текстов для радио и литературных кабаре. Окончил филологический факультет Варшавского университета. Начал печататься в 1955 г. на страницах журнала «Шпильки».

Ранние сатирические рассказы составили сборник «Рисунки на песке» («Rysunki na piasku», 1962). Затем появился сборник одноактных пьес «На малой сцене» («Na małej scenie» 1963), «Талисман и другие рассказы» («Talizman i inne opowiadania», 1965), скетчи и монологи «Алиби» («Alibi», 1965).

Сборник «Зеркала» («Lustra»), в котором были напечатаны предлагаемые читателю короткие рассказы Х. Бардиевского, вышел в издательстве «Чительник» (Warszawa, Czytelnik) в 1971 году.

ИШТВАН КРИШТО НАДЬ — KRISTÓ NAGY ISTVÁN (род. в 1921 г.).

Венгерский литературовед и критик, главный редактор ежемесячника «Кёньввилаг». Его эссе и статьи, посвященные мировой литературе, вышли отдельным сборником под названием «Романы, драмы, надежды» («Regények, drama, remények», 1971).

Статья «Об «Эстер Эгетё» — четверть века спустя», публикуемая с сокращениями, была напечатана в журнале «Кортарш» (№ 4, 1976).

МЭРИ КРУС — MARY CRUZ

Кубинская писательница, литературовед. Автор литературной биографии Игнасио Аграмонте, кубинского патриота и борца против испанского колониального ига («El Mayor», 1972), критико-биографического эссе «Крето Ганга» («Creto Gangá», 1974) и других работ. Рассказы и стихи Мэри Крус неоднократно печатались в кубинских и зарубежных журналах. Ее поэма «В Мавзолее», посвященная памяти В. И. Ленина, переведена на русский язык. В «Иностранной литературе» напечатана статья М. Крус «Хемингуэй — навсегда» (№ 8, 1976).

Публикуемая в этом номере статья «Кровь и пламя Кубы» получена редакцией в рукописи.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — TATIANA NIKOLESKU

Румынский литературовед, критик. Многие ее работы посвящены русской и советской литературе, в том числе книга «Толстой и румынская литература» («Tolstoi si literatura romînă», 1963), монография об И. А. Бунине. Статьи и рецензии Т. Никлеску неоднократно печатались в «Иностранной литературе».

Статья «Несостоявшееся прозрение» получена от автора в рукописи.

◆

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1976 год (№ 1 — 12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

А. Квеи Арма — Осколки (Роман. Перевод с английского М. Лорие и А. Кистяковского. Вступление Л. Яблочкова), № 3, 4.

Бенью, Ян — Парни поют..., Так-то, господа!.. (Рассказы. Переводы со словацкого Т. Мироновой и Н. М. Аросевой), № 8.

Берта, Булчу — Влюбленные, сотканные из солнечного света (Рассказ. Перевод с венгерского Л. Васильевой), № 11.

Борген, Юхан — Кровать и др. рассказы (Переводы с норвежского Юрия Нагибина и В. Смородского. Вступление Юрия Нагибина), № 9.

Вамош, Миклош — Чужой дом (Рассказ. Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 11.

Гарднер, Джон — Джон Нэппер плывет по вселенной (Рассказ. Перевод с английского Р. Райт-Ковалевой), № 7.

Гарсиа Павон, Франсиско — Рыжие сестры (Роман. Перевод с испанского и послесловие Л. Синянской), № 3.

Гутьеррес, Хоакин — Умрем, Федерико?.. (Роман. Перевод с испанского Юрия Павлова), № 2.

Д'Агата, Джузеппе — Четверо повешенных на пьяцца дель Пополо (Повесть. Перевод с итальянского Ю. Добровольской. Послесловие Г. Смирнова), № 11.

Дегенхардт, Франц-Йозеф — Бикфордов шнур (Роман. Авторизованный перевод с немецкого И. Зильбермана и В. Котелкина. Предисловие Фридриха Хитцера), № 1, 2.

Дионизиу, Мариу — Бег (Рассказ. Перевод с португальского Инны Тыняновой), № 9.

Галл, Иштван — Лейтенант (Рассказ. Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 11.

Гомеш Феррейра, Жозе — Серебряные руки (Рассказ. Перевод с португальского Лилианы Бреверн), № 9.

Кавалец, Юлиан — Переплывешь реку... (Роман Перевод с польского М Игнатова и К. Старосельской, послесловие Григория Бакланова), № 6, 7.

Капоте, Трумэн — Гость на празднике (Рассказ. Перевод с английского С. Митиной), № 7.

Крайгер, Нада — Terminus (Роман. Перевод со словенского Александра Романенко), № 12.

Лопес Микельсен, Альфонсо — Избранные (Роман. Перевод с испанского Людмилы Новиковой. Вступление Юрия Дашкевича), № 10.

Лэне, Паскаль — Кружевница (Повесть. Перевод с французского Нины Кудрявцевой. Послесловие Л. Зониной), № 9.

Мэнов, Эмил — Сын директора (Роман. Перевод с болгарского Алексея Собковича), № 1, 2.

Мештерхази, Лайош — Загадка Прометея (Роман. Перевод с венгерского Е. Малыхиной), № 4, 5.

Мюллер, Вольфганг — Прошел! (Рассказ. Перевод с немецкого Е. Вильмонт), № 9.

Намора, Фернанду — Саботаж (Рассказ. Перевод с португальского Лилианы Бреверн), № 9.

Новотный, Иоахим — «Малепартус» и др. рассказы (Перевод с немецкого И. Щербаковой), № 9.

Папп, Ян — Братья (Рассказ. Перевод со словацкого Н. Шульгиной), № 8.

Петишка, Эдуард — Прежде чем умру и др. рассказы (Перевод с чешского В. Каменской), № 3.

Портер, Кэтрин Энн — Как была брошена бабушка Вэзеролл (Рассказ. Перевод с английского Ю. Волжиной), № 7.

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ США (Предисловие А. Мулярчика), № 7.

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ ГДР, № 9.

РАССКАЗЫ ПОРТУГАЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 9.

РАССКАЗЫ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 11.

Сабо, Иштван — На остановке рейсового автобуса (Рассказ. Перевод с венгерского Л. Васильевой), № 11.

Уайлдер, Торнтон — Теофил Норт (Роман. Перевод с английского В. Голышева), № 6, 7, 8.

Уайт, Патрик — На свалке (Рассказ. Перевод с английского Н. Волжиной), № 4.

Феррейра, Вержилиу — Письмо и др. рассказы (Перевод с португальского Лилианы Бреверн), № 9.

Фицджеральд, Ф. Скотт — Опять Вавилон (Рассказ. Перевод с английского М. Кан), № 7.

Фриз, Фриц Рудольф — Мои друзья. Когда он родится (Рассказы. Перевод с немецкого И. А. Горкиной), № 9.

Хилл, Сьюзен — Немного пения и танцев и др. рассказы (Переводы с английского И. Якушкиной и Г. Габриэляна), № 1.

Чивер, Джон — Жители пригорода (Рассказ. Перевод с английского О. Сороки), № 7.

Шуберт, Хельга — Собака и др. рассказы (Перевод с немецкого Э. Львовой), № 9.

Юрик, Любош — Камень с кулак (Рассказ. Перевод со словацкого А. Косорукова), № 8.

СТИХИ

Гарсиа Бireш — Повстанцам Четвертого февраля (Перевод с португальского О. Чугай), № 9.

Данн, Дуглас — Отъезд с Терри-стрит и др. стихи (Перевод с английского В. Топорова), № 2.

Джудичи, Джованни — Из трех книг (Перевод с итальянского Евгения Солоновича. Вступление Ц. Кин), № 1.

Диаварра, Гауссу — Реквием памяти Амилкара Кабрала (Перевод с французского Михаила Курганцева), № 6.

Йонкер, Ингрид — Маргаритки Намакваленда и др. стихи (Переводы с языка африкаанс Д. Сильвестрова, Е. Витковского. Вступление А. Давидсона), № 1.

Караславов, Слав Хр. — «Ты говоришь...» и др. стихи (Перевод с болгарского Риммы Казаковой), № 5.

Лец, Ежи Станислав — Стихи и фрашки (Перевод с польского и вступление В. Британишского), № 10.

Мак-Суини, Б. — Под впечатлением пожара, превратившего в пепелище здание Армии спасения в Ньюкасле (Перевод с английского Г. Симановича), № 2.

Матош, Руй де — Война (Стихи. Перевод с португальского В. Краско), № 9.

Махапатра, Ситакант — Мой сад и др. стихи (Перевод с английского Ст. Куняева. Вступление М. Салганик), № 12.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ АНГОЛЫ (Вступление Евг. Долматовского). **№ 9.**

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, № 2.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ЯПОНИИ, № 9.

Монтале, Эудженио — Лимоны и др. стихи (Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича), № 7.

Негро, Мутомбо — Что делать (Перевод с португальского Н. Григорьевой), № 9.

Пэттен, Брайен — Признание маленького Джонни и др. стихи (Переводы с английского Я. Берлина и И. Левидовой), № 2.

Родригиш, Газмин — Я не умею плакать. Коль нету дороги... (Перевод с португальского Н. Григорьевой), № 9.

Рэкози, Карл — Посвящение и др. стихи (Перевод с английского и вступление В. Британишского), № 4.

Спенсер, Николау — Когда (Перевод с португальского О. Чугай), № 9.

Теодореску, Вирджил — Все тот же звездный знак и др. стихи (Перевод с румынского Л. Беринского и Кирилла Ковальджи. Вступление Кирилла Ковальджи), № 4.

Техада Гомес, Армандо — Песенка об одном песо и др. стихи (Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко), № 3.

Томас, Д. М. — Слепой шахтер из Боталлака (Перевод с английского Е. Витковского), № 2.

Тосио Тикано — С войной я близко не знаком... (Перевод с японского А. Долина), № 9.

Фаиз Ахмад Фаиз — «О, вечер в городе моей любви...» и др. стихи (Перевод с урду Г. Плисецкого), № 2.

Форд, Р. А. Д. — Древо вечера и др. стихи (Перевод с английского Олега Чухонцева. Вступление А. Зверева), № 11.

Фудэ Фудзибара — Ты не должен молчать! (Перевод с японского А. Долина), № 9.

Хамиси, Абд ар-Рахман аль- — Мечтой... виденьем... зарницей... ты придешь? (Поэма. Перевод с арабского Н. Горской), № 11.

Хини, Шеймас — Полночь и др. стихи (Перевод с английского А. Кистяковского), № 2.

Хьюз, Ленгстон — Стихи разных лет (Перевод с английского Э. Шустера и А. Ибрагимова), № 7.

Хьюз, Глин — Снег. Ветер (Перевод с английского Я. Берлина), № 2.

Шимон, Иштван — Рапсодия времени. Рапсодия конца лета (Перевод с венгерского Натэллы Горской), № 8.

ИЗ НОВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Ботев, Христо — На прощание и др. стихи (К 100-летию со дня гибели. Перевод с болгарского Алексея Суркова), № 6.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Абэ Кобо — Человек-ящик (Роман. Перевод с японского В. Гривнина. Предисловие Т. Грушина), № 8, 9.

Малерба, Луиджи — Сальто-мортале (Повесть. Перевод с итальянского Л. Вершинина. Послесловие Ц. Кин), № 5.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ВЬЕТНАМСКАЯ ПОЭЗИЯ X—XIV веков (Перевод с вьетнамского (ханвана) и послесловие Л. Эйдлина. Вступление профессора Данг Тхай Мая). **№ 9.**

Д'Арбо, Жозеф — Чудище из Ваккареса (Повесть. Перевод с французского Натальи Кончаловской. Послесловие Н. Котрелева), № 6.

Джойс, Джеймс — Портрет художника в юности (Роман. Перевод с английского М. Богословской-Бобровой), № 10, 11, 12.

Дикинсон, Эмили — «Такой — крошечный — крошечный — Челнок...» и др. стихи (Перевод с английского и вступление Веры Марковой), № 12.

Корбьер, Тристан — Дневной Париж и др. стихи (Перевод с французского и вступление Михаила Кудинова), № 8.

Рамос, Грасилиано — Сан-Бернардо (Роман. Перевод с португальского Лилианы Броверн и Инны Чежеговой. Вступление Лилианы Броверн), № 11, 12.

Рингельнац, Иоахим — Афишные тумбы и др. стихи (Перевод с немецкого и вступление Льва Гинзбурга), № 5.

У Хань — Разжалование Хай Жуя (Историческая драма в 9 действиях. Перевод с китайского и вступление В. Годыны. Стихи в переводе Л. Черкасского), № 10.

Цанкар, Иван — Крестный путь и др. рассказы (К 100-летию со дня рождения. Перевод со словенского и вступление Е. Рябовой), № 5.

КРИТИКА

Альварадо Арельяно, Уберто — Они сражались оружьем слова... (Перевод с испанского Инны Тыняновой. Вступление Юрия Дашкевича), № 1.

Анджапаридзе, Г. — Всматриваясь в очевидное, № 1.

Балашова, Т. — Как скопировать абсурд? (Французские структуралисты о законах реализма), № 6.

Барабаш, Ю., Суровцев, Ю.— Критика в современном мире (На международном конгрессе МАЛК), № 9.

Богданов, Ю.— Момент самосознания в словацкой прозе, № 2.

Бранка, Витторе — Беспокойная поэзия Микеланджело (Перевод с итальянского Е. Солоновича), № 10.

Гирнус, Вильгельм — Западно-восточные вандалы (Перевод с немецкого Н. Михайловой), № 8.

Гуревич, А.— Мировая культура и современность, № 1.

Делюсин, Л.— Еще раз о Востоке и Западе, № 12.

Зверев, А.— Меняющиеся ориентиры, № 3.

Злобин, Г.— Мифы американской советологии, № 7.

Иккиде, Име — Африканская литература и проблема поколений (Перевод с английского В. Рамзеса), № 9.

Книпович, Е.— «Чудодей» снова в пути, № 5.

К КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ, № 9.

Курганцев, Михаил — Время совершеннолетия, № 9.

Лакшин, В.— Дом Иштвана Шимона, № 8.

Ландор, М.— Шервуд Андерсон и его главная книга, № 6.

Новиченко, Леонид — Опыт ценный и многообещающий, № 4.

Перюс, Жан — Память о войне и долг писателя, № 3.

Петров, В.— Лу Синь и Советский Союз, № 10.

Рехо, К.— Образ рабочего в современной литературе Японии, № 5.

Рзоунек, Витезслав — Новые черты современной чешской прозы (Перевод с чешского Н. Аросевой), № 11.

Стемпень, Мариан — Традиции и опыт современной польской литературы (Перевод с польского К. Староселькой), № 6.

Урнов, Д.— Другая книга Джеймса Джойса (О романе «Портрет художника в юности»), № 12.

Хачатурян, Д.— Лицом к лицу (О некоторых тенденциях в современной шведской документальной прозе), № 8.

Яцковская, К.— Монгольский писатель Лодонгийн Тудэв, № 2.

Яцковская, К.— Певец новой Монголии (К 70-летию со дня рождения Дашдоржийна Нацагдоржа), № 12.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Нагибин, Юрий — Островитянин (Сон о Юхане Боргене), № 11.

Плугарж, Зденек — Несколько слов о чешской прозе наших дней (Перевод с чешского Т. Мироновой), № 8.

Федоренко, Н.— Творческое воображение и реальность (Размышления над итогами лондонского конгресса ПЕН-клуба), № 12.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Млечина, И.— Вольфганг Кёппен и его «злые книги», № 4.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Павлова, Н.— Забота и надежда — человек, № 2.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Левертов, Дениза — Поэзия в сегодняшнем мире (Перевод с английского Э. Медниковой), № 10.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Гинзбург, Лев — В поисках святого Грааля, № 3.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Федоренко, Н.— Флорентийский международный конгресс, № 3.

ОБСУЖДАЯ НАПЕЧАТАННОЕ

Кон, И. С.— Странный мир Луиджи Малербы, или Феноменология жестокости, № 7.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗМА — В ЦЕНТРЕ СПОРА. Вадим Назаренко — Оставим модернистское модернистам. **Д. Затонский** — Взгляд на искусство — взгляд на эпоху, **№ 5.**

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Крус, Мэри — Хемингуэй — навсегда (Перевод с испанского Г. Вержховской), № 8.

Кэнкити Ямамото — Кунио Янагида: жизнь и творчество (Вступление Т. Григорьевой. Перевод с японского В. Т. Федяинова), № 11.

ПУБЛИЦИСТИКА

Березницкий, Ян — Кумиры и тренеры молчаливого большинства (Публицистические заметки на кинематографические и театральные темы), № 7.

Вальраф, Гюнтер — I. Португалия: как был раскрыт заговор. II. Раскрытие заговора и последствия (Вступление Константина Симонова. Перевод с немецкого Александра Науменко. Послесловие Л. Безыменского), № 10, 11.

Вулф, Том — Раскрашенное слово (Отрывки из книги. Перевод с английского В. Воронина. Предисловие Н. Дмитриевой), № 5.

Кан, Альберт—Радости и печали. Размышления Пабло Казальса, поведанные им Альберту Кану (Фрагменты книги. Перевод с английского М. Кан), № 3.

Карцева, Е.— Сон разума, № 5.

Конколевский, Кшиштоф — Как вы теперь поживаете? (Перевод с польского С. Ларина. Послесловие Льва Гинзбурга), № 8.

Олдридж, Джеймс — Опошление свободы (Перевод с английского Г. И.), № 9.

Риффо, Мадлен — Больница как она есть (Фрагменты книги. Перевод с французского Тамары Ивановой. Предисловие С. Зыкова), № 2.

Селезнев, К.— К штыку приравняв перо... (Немецкие писатели-антифашисты в годы войны), № 9.

Смит, Деннис — Пожарная команда № 82 (Фрагменты книги. Перевод с английского Ф. Лурье. Предисловие К. Чугунова), № 12.

Стояновская, Евгения — Жизнь писателя — повесть об ответственности (С магнитофоном в Будапеште), № 6.

Теркел, Стадс — Работа. Люди рассказывают, чем они занимаются весь день и что об этом думают (Отрывки из книги. Перевод с английского И. Гуровой и Н. Толкуновой. Предисловие С. Кондрашова), № 1.

Хайтов, Николай — Колючая роза (Перевод с болгарского Лидии Баша), № 4.

ДОКУМЕНТЫ

КУРСОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА. СВИДЕТЕЛЬСТВА ДРУЖБЫ, № 11.

Бенюк, Михай — В пушкинских краях, № 11.

Караславов, Слав Хр.— Дань великому художнику, № 11.

Кунгуров, Г.— Академик Б. Ширендыб, № 11.

Федоренко, Н.— Интернационалист Мате Залка. Нерасторжимые связи, № 11.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Маткович, Мариян — Американский триптих (Фрагменты книги. Перевод с хорватско-сербского и послесловие Н. Вагаповой), № 5.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАТЕ ЗАЛКИ, № 5.

К 75-ЛЕТИЮ А. А. ФАДЕЕВА. Певец подвига, № 12.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

Александров, Д.— Личность — общество — литература, № 2.

Баграмов, Л.— Канада: национальная культура и национальный нигилизм, № 7.

Бейлис, Виктор — Африканский роман: социология и социологизирование, № 11.

Будагова, Л.— Зерна дают всходы, № 7.

Ваксмахер, Морис — Поэзия как зеркало культуры № 5

Вержховская, Г.— Цель — социалистическая культура, № 5.

Волжанин, В.— Древность на службе современности (Критическое обсуждение романа «Речные заводи» в КНР), № 4.

Гиленсон, Б.— «Черный бум»: искусство и стереотипы, № 9.

Джинджихашвили, Нодар — Компьютеры и искусство?, № 1.

Ермонский, А.— Писатели о читателях, № 8.

Ершов, Д.— О мерах и полумерах, № 11.

Зверев, А.— На пути к Городу человека, № 6.

Иерусалимский, В.— «Статья 3/3», № 10.

К.— Кризис политики — кризис культуры, № 9.

Кожевников, Ю.— Дискуссия о румынской поэзии, № 7.

Матяш, Н.— Испания и мировая культура, № 11.

Мяло, К.— Современная утопия (Молодежь Запада в поисках новых ценностей: находки и потери), № 12.

П. С.— Эпопея незабываемых, № 2.

Потабенко, С.— Поворот к реализму, № 6.

Собкович, Алексей — В духе Хельсинки, № 3.

Фридман, М.— «Секолул 20», № 3.

Хорев, В.— Зерна и плевелы культуры, № 1.

ИНТЕРВЬЮ

Кош, Эрих — «Это проклятое писательское ремесло...» (Перевод с сербско-хорватского Т. Вирты), № 9.

Нгуги Ва Тхионго: «Темы литературы определяет ход самой жизни» (Интервью подготовил В. Перехватов), № 3.

Теодор Солотарофф: «Требования времени обязывают нас обратиться к реальности» (Перевод с английского Т. Ротенберг), № 4.

Тимашева, О.— Действенная сила добра (Беседа с Бернаром Клавелем), № 7.

НАШИ ГОСТИ

Бреверн, Лилиана — Урбану Тавариш Родригиш (Португалия), № 4.

В. Д.—Встреча с друзьями (В «Иностранной литературе» — кубинские писатели Мануэль Кофиньо Лопес и Густаво Эгурен), № 1.

Гениева, Е.— Эмма Смит (Великобритания), № 11.

Гутнин, А.— Стефан Хермлин (ГДР), № 9.

К. Ч.— Брендэн Гилл (США), № 5.

Мюрисец, Н.— Эрве Базен (Франция), № 5.

Пархомовская, С.— Болгарские писатели в «Иностранной литературе», № 11.

Салганик, М.— Связь времен (В редакции «Иностранной литературы» — пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз), № 2.

Федоров, М.— Вильгельм Гирнус (ГДР), № 4.

Филипчикова, Р.— Отстоять критерии социалистического реализма, № 3.

Чернышев, В.— Бхишам Сахни (Индия), № 11.

Чугунова, А.— Поэзия помогает человеку стать лучше, № 3.

АНТИРУБРИКА

Бардиевский, Хенрик — Зеркальное отображение (Рассказы. Перевод с польского Дмитрия Шурыгина), № 12.

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ XVII ВЕКА (Перевод Михаила Кудинова), **№ 12.**

Лем, Станислав — Путешествие двадцать восьмое. Глава из книги «Звездные дневники» (Перевод с польского Ариадны Громовой), № 10.

Ленч, Леонид — «Смех — это человек», № 10.

Незнакомов, Петр — Флорентийский чиновник Америго Веспуччи, или Сила обмана (Рассказ Перевод с болгарского Лидии Баша), № 11.

Нэш, Огден — Видеть — значит верить (Стихи). Незнакомец в доме (Рассказ. Перевод с английского Александра Жукова), № 11.

СТАРИННЫЕ КИТАЙСКИЕ АНЕКДОТЫ (Перевод с китайского Алексея Желоховцева), **№ 12.**

Тэрбер, Джеймс — Вечер у драматурга и др. рассказы (Перевод с английского Андрея Кистяковского), № 10.

Хейн, Пит — Грани разных лет (Стихи. Перевод с датского Норы Киямовой), № 10.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Алькаева, Л. — О Назыме Хикмете, № 5.

Анашенков, Борис — И встанут новые бойцы..., № 4.

Ашкинадзе, Георгий — Глазами души, № 8.

Балашов, П. — Панорама ирландского рассказа, № 9.

Бернштейн, И. — Исторический роман Б. Ржиги, № 7.

Богенский, Г. — Феномен Павезе, № 2.

Бочаров, Анатолий — На грани мрака и света, № 5.

Бочкарева, И. — О мечтателях и одиночках, № 11.

Винокуров, Евгений — Поэтическое многоголосье, № 10.

Ермонский, А. — Польша: литературные портреты, № 12.

Жирмунская, Тамара — «Жить ради правды...», № 1.

Жирмунская, Тамара — С миром связь, № 5.

Казакова, Римма — «...И все-таки надежда жива!», № 7.

Ковальджи, Кирилл — Простор и теснота жанра, № 2.

Курганцев, Михаил — «Искры пламени», № 7.

Левидова, И. — Еще один облик американского Юга, № 8.

Малевич, Олег — «Не аплодируйте на концертах», № 6.

Можейко, Игорь — Писатель и эпоха, № 4.

Нагибин, Юрий — Покоя нет..., № 2.

Нагибин, Юрий — Прозрение Мэгги Драм, № 6.

Надь, Иштван Кристо — Об «Эстер Эгетё» — четверть века спустя, № 12.

Намора, Фернандо — История моей книги, № 11.

Озеров, Лев — Наш друг из Казанлыка, № 1.

Озеров, Лев — Бунин-переводчик, № 9.

Павлова, Н. — Письма Томаса Манна, № 6.

Рожновский, С. — Встреча с книгой, № 3.

Ротенберг, Т. — Сопротивляясь своей эпохе, № 11.

Рощин, Михаил — Желая лучше узнать и понять страну..., № 1.

Рытхэу, Юрий — Этот прекрасный, волшебный и реальный мир, № 6.

Стахеев, Б. — Историческая проза Мариана Брандыса, № 3.

Тейтельбойм, В. — Трагедия больше не должна повториться, № 2.

Тишков, А. — «...Вдохновенье не будет временем сметено!..», № 9.

Фоняков, Илья — Как дерево среди руин, № 3.

Фоняков, Илья — В поисках нового, № 10.

Хорне Инаса: «Уасипунго» сорок два года назад и теперь...», № 8.

Чанцев, Алексей — Право называться человеком..., № 4.

Чанцев, А. — Диалог со временем, № 12.

Издано за рубежом

Анастасьев, Н. — Искусство и мастерство, № 5.

Апт, С. — Не по схеме, а по традиции, № 7.

Балашов, Виктор — «Светлые голоса братства...», № 4.

Боске, Ален — Призрачный свет Жана Жубера, № 9.

Буковска, Анна — Три поколения Ковалей, № 9.

Васильева, И. — Воспоминание о будущем, № 7.

Гальперина, Е. — Помни Рубена, № 8.

Гамарра, Пьер — Познать и воскресить прошлое, № 4.

Гениева, Е. — «Человек один не может...», № 7.

Грушко, Павел — Элисео Диего: время, ставшее словом, № 2.

Гусев, Ю. — Итоги тридцатилетнего пути, № 11.

Дымова, Лорина — Человек живет надеждой, № 3.

Ерофеев, Николай — В поисках Джона Буля. № 4.

Ивашева, В. — Английский Растиньяк, или Человек, умевший слушать, № 6.

Ильина, Галина — Сказка или быль?, № 6.

Ильина, Н. — Глазами Кико, № 12.

Ильинская, С. — «Будьте мужественными...», № 6.

Киффер, Розмари — Люксембург: свет и тени в нашей литературе, № 6.

Кожевников, Ю. — «Когда листва алеет, как заря...», № 8.

Косиков, Г. — Перед концом исторического антракта, № 5.

Крус, Мэри — Кровь и пламя Кубы, № 12.

Кямилев, К. — Турецкий театр за 50 лет, № 9.

Литвинец, Н. — После жаркого лета, № 3.

Львов, Сергей — Жизнь Жан Поля Фридриха Рихтера, рассказанная Гюнтером де Бройном, № 11.
Мельников, А.— История Генри Мейра — поэта и рабочего, № 11.
Мотылева, Т.— Ромен Роллан: новые страницы, № 3.
Муравьев, В.— Австралийская сюита, № 1.
Мурадян, К.— Швеция глазами рабочих, № 5.
Николеску, Татьяна — Несостоявшееся прозрение, № 12.
Никольский, С.— Поэзия уверенности, № 10.
Н. П.— «Скройся, вещь!», № 2.
Петриковская, А.— Страницы австралийского детства, № 11.
Попова, Н.— Шаги под окном, № 10.
Ремакль, Андре — Когда поэт обращается к своему народу, № 1.
Рудницкий, М.— Гордое ли имя Штольц?, № 8.
Смирнов, Г.— Политический роман Фернандо Камона, № 10.
Стеженский, Владимир — Новые горизонты, № 4.
Стиль, Андре — «Отверженные», № 9.
Таск, С.— Новое имя, № 1.
Тимм, Уве — Изменить мир, № 3.
Токарев, Лев — Две притчи о современности, № 9.
Ульрих, М.— Имре Добози рассказывает, № 2.
Фридман, М.— Первопроходцы, № 11.
Хамадан, Алексей — «Нежелательные элементы», № 4.
Чугунов, Константин — Творческая биография Нгуги Ва Тхионго, № 4.
Шагаль, В.—Проза Южного Йемена: новое имя, № 11.
Ясный, В.— Судьба Пасифико Переса, № 12.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ

Ивашкевич, Ярослав — Эпическое повествование о Сибири (Перевод с польского В. Борисова), № 12.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/X 1976 г. А 01823. Подписано в печать 4/XI 1976 г.
Бумага 70 108¹/₁₆. 9 бум. л.=18 п. л.+1 вкл. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. 29,21.
Тираж 585 000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.) Зак. 3134.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

ИВАН РАБУЗИН. Ореховая гора

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394